

Исаак Дойчер

ТРОЦКИЙ



Leon Trotsky

БЕЗОРУЖНЫЙ ПРОРОК

1921—1929

Исаак Дойчер

-

Isaac Deutscher

THE PROPHET UNARMED

TROTSKY

1921 — 1929

Исаак Дойчер

ТРОЦКИЙ

БЕЗОРУЖНЫЙ ПРОРОК

1921 — 1929



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ
2006

ББК 63.3(2)
Д62

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление художника И.А. Озерова

Дойчер И.

Д62 Трoцкий. Безоружный пророк. 1921—1929 гг. /
Пер. с англ. Л.А. Игоревского. — М.: ЗАО Центрполи-
граф, 2006. — 495 с.

ISBN 5-9524-2155-5

Исаак Дойчер, автор целого ряда исторических и социологических исследований, рассматривает жизнь Трoцкого сквозь формулу слов Макиавелли о том, что «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли».

Эта книга о времени, наступившем после завершения Гражданской войны, когда Трoцкий, еще находясь на вершинах славы и власти, возглавил грандиозную внутрипартийную борьбу после смерти Ленина.

Главный противник Сталина, единственный кандидат на руководство большевиками, «преждевременный» проповедник индустриализации и плановой экономики, критик теории «социализма в одной отдельно взятой стране», защитник «пролетарской демократии» был изгнан из страны, в которой победил.

В талантливом изложении одного из лучших европейских исследователей вы познакомитесь с панорамой политических взглядов и личной жизнью выдающегося публициста и оратора, полмира воспламенившего своими идеями.

ББК 63.3(2)

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2006
© Художественное оформление,
ЗАО «Центрполиграф», 2006

ISBN 5-9524-2155-5

ТРОЦКИЙ

БЕЗОРУЖНЫЙ ПРОРОК

1921—1929

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кирлейль писал, что в качестве биографа Кромвеля ему пришлось вытаскивать лорда-протектора из-под «горы дохлых собак» — неподъемной груды клеветы и забвения. Мне, как автору биографии Троцкого, пришлось проделать нечто подобное, с той лишь разницей, что в тот момент, когда я подступился к своей «горе дохлых собак», разразились великие события, которые нанесли по ней сокрушительный удар. Книгу «Вооруженный пророк» — первую часть своего труда о Троцком — я закончил еще при жизни Сталина, когда его культ казался вечным, а позорные пятна, лежавшие на Троцком, — несмываемыми. Большинство рецензентов «Вооруженного пророка» соглашались с одним британским критиком, писавшим, что «одна-единственная книга покончила с тремя десятилетиями сталинистской клеветы», но, разумеется, ни эта книга, ни приведенные в ней документы не удостоились ни единого отзыва со стороны советских историков и критиков, которые обычно уделяют гипертрофированное внимание любым, даже самым дрянным, «советологическим» работам, которые появляются на Западе. Затем последовали смерть Сталина, XX съезд и «секретная» речь Хрущева. Землетрясение пошатнуло «гору дохлых собак», наполовину уменьшив ее, и какое-то время казалось, что вторая половина тоже вот-вот рухнет. Впервые за тридцать лет в советских периодических изданиях начали появляться исторически правдивые упоминания о роли Троцкого в русской революции, хотя их скудность и осторожный характер свидетельствовали о том, насколько тесно в данном деле переплелись история и политика и каким шекотливым остается этот вопрос.

Когда идол «вождя народа» был низвергнут, а сталинские фальсификации истории официально и решительно залеймены, тень главного противника Сталина неизбежно начала привлекать к себе свежий и оживленный, хотя и несколько недоуменный интерес. В Москве, Пекине, Варшаве и Восточном Берлине люди снова задумались над тем смыслом и моралью, какие несла в себе борьба Троцкого со Сталиным. Молодые историки, перед которыми неожиданно раскрылись надежно запертые двери архивов, принялись жадно искать ответ в неизвестных большевистских документах. Когда Хрущев заявил, что Сталин ликвидировал внутривнутрипартийную критику, прибегнув к ложным и чудовищным обвинениям, историки, естественно, стали ожидать полной реабилитации жертв «больших чисток». Во многих случаях такую реабилитацию воспринимали как дело само собой разумеющееся. Например, в Польше цитировались и даже переиздавались сочинения Троцкого, Бухарина, Раковского и Радека (а также мои собственные книги и статьи), так как от них ждали ответов на мучительные загадки сталинской эпохи.

Однако вскоре посягательства на «гору дохлых собак» остановились. В конце 1956-го или в начале 1957 года, во время подавления венгерского восстания, в Москве отдали команду прекратить восстановление исторической истины. Проблемы и колебания текущей политики снова нашли отражение в исторических сочинениях, и в первую очередь это сказалось на отношении к Троцкому. На смену дискредитированному сталинскому «Краткому курсу истории ВКП(б)» пришло новое официальное изложение партийной истории, в котором сделана попытка снова подвергнуть Троцкого анафеме, пусть в несколько ином и более смягченном виде, а число статей в советской периодике, исподтишка пытающихся опорочить Троцкого, резко возросло по сравнению с последними 10—15 годами сталинской эпохи.

И тем не менее бывшая трагедия превратилась в откровенный фарс. Сталинская анафема, при всей ее абсурдности, обладала некоей логикой и последовательностью: Сталин понимал, что не сумеет поддерживать ее на плаву без масштабных, беззастенчивых и систематических фальсификаций прошлого. Хрущев же пытался наложить запрет на правду о Троцком, не прибегая к откровенным фальсификациям, — он ограничивался «умеренной» дозой искажений, и одно это сделало его

анафему целеной. Так, авторы новой истории партии превозносят работу Военно-революционного комитета в 1917 году и Военно-морского наркомата времен Гражданской войны, ни разу не обмолвившись, что во главе обоих этих учреждений стоял Троцкий; но чуть ли не в следующей строчке они упоминают этот факт, когда в работе данного комитета или наркомата требуется найти изъяны (совсем как ребенок, который, еще не уяснив смысла игры в прятки, дергает мать за юбку и кричит: «Я здесь, найди меня»). Очевидно, хрущевские историки полагали, что советским читателям не хватит ума догадаться, что адресатом похвал и критики выступает один и тот же человек. Сталин пусть по-своему извращенно, но куда выше оценивал проницательность своих подданных, старился не давать им никаких фактов, которые бы вели к еретическим догадкам, и не оставлял места для таких догадок. Новые версии партийной истории также основаны на односторонней трактовке разногласий между Лениным и Троцким, но, опубликовав замалчивавшиеся работы Ленина и открыв архивы, новые партийные вожди фактически сделали все необходимое для реабилитации Троцкого. И поэтому все их попытки снова вычеркнуть его из анналов революции останутся тщетными.

Призрак Троцкого, очевидно, по-прежнему беспокоит преемников Сталина. Надеюсь, что на этих страницах читатель получит хотя бы частичное объяснение этого странного факта. Несмотря на великие перемены, произошедшие в советском обществе с 1920-х годов, а может быть, вследствие этих перемен, некоторые важнейшие источники разногласий между Сталиным и Троцким сохраняют свою актуальность и сегодня. Троцкий обличал «бюрократическое вырождение» пролетарского государства; в лицо «монолитной» сталинской партии с ее «непогрешимым» руководством он бросал требование свободы мнений, дискуссий и критики, считая, что только на ней может и должна основываться добровольная и подлинная коммунистическая дисциплина. Его голос был заглушен в России 1920-х годов; но многогранное развитие индустрии, образования и общества в Советском Союзе вернуло эту идею к жизни, и она завладела умами многих коммунистов. Свою дань в недолгий час правды ей успели от-

дать Хрущев и Микоян, Мао и Гомулка, Кадар и Тольятти, не говоря уже о Тито и Имре Наде. В том вкладе, который каждый из них внес в «десталинизацию», пусть даже самом жалком и случайном, можно найти следы «троцкизма». В этот час правды Троцкий предстал как их грандиозный предшественник, так как ни один из вышеперечисленных в своем подходе к сталинизму не проявил ничего подобного глубине, размаху и энергии критической мысли Троцкого. Позже, напуганные собственной смелостью, они дали отбой; советский режим и КПСС, сделав два шага вперед и один назад, никак не могут преодолеть свое «бюрократическое вырождение».

Тот факт, что вопросы, поставленные в свое время Троцким, к настоящему моменту решены в лучшем случае наполовину, делает историю его борьбы со сталинизмом не менее, а более злободневной. Кроме того, противостояние Троцкого со сталинской бюрократией — не единственный аспект его борьбы, сохранивший значение в наше время. Значительная часть настоящей книги посвящена конфликту между интернационализмом Троцкого и изоляционистской самодостаточностью позднего большевизма, воплощенного в Сталине. Этот конфликт снова проявился и обострился незадолго до окончания сталинской эпохи; с того момента чаша весов начала склоняться в сторону интернационализма. Перед нами еще одна нерешенная проблема, придающая дополнительный интерес спорам 1920-х годов.

Преемники Сталина живут в таком гротескном ужасе перед тенью Троцкого потому, что боятся тех вопросов, которыми пришлось заниматься ему, намного опередившему свое время. Их поведение можно объяснить отчасти объективными обстоятельствами, а отчасти — инерцией, так как Хрущев и его союзники, даже восстав против сталинизма, остаются эпигонами Сталина. Кроме того, они руководствуются самыми узкими мотивами самозащиты. Суть тех затруднений, с которыми они сталкиваются, иллюстрирует следующий инцидент, произошедший на пленуме ЦК в июне 1957 года. На этом пленуме Хрущев, призывая к изгнанию Молотова, Кагановича и Маленкова, припомнил «большие чистки» — тему, которая неизменно фигурировала во всех тайных дискуссиях после смерти Сталина. Указывая на Молотова и Кагановича, Хрущев воскликнул: «Ваши руки запач-

ваны кровью наших партийных вождей и бесчисленных невинных большевиков» — «И ваши тоже!» — закричали в ответ Молотов с Кагановичем. «Да, мои тоже, — ответил Хрущев. — Я это признаю. Но во время «больших чисток» я лишь исполнял ваши приказы. В то время я даже не был членом Политбюро и не отвечаю за его решения. А вы отвечаете». Когда позже Микоян рассказывал об этом случае московским комсомольцам, его спросили, почему сообщники сталинских преступлений не предстали перед судом. «Мы не можем их судить, — якобы ответил Микоян, — потому что, если сажать таких людей на скамью подсудимых, неизвестно, где мы сможем остановиться. Мы все в той или иной мере несем ответственность за чистки». Итак, наследники Сталина вынуждены не выпускать на волю призраки иных сталинских жертв, хотя бы из чувства самосохранения. А что касается Троцкого, то не безопаснее ли оставить его там, где он лежит, — под полуразрушенной пирамидой клеветы — вместо того, чтобы впускать его в пантеон революции?

Я не считаю и никогда не считал, что память о Троцком нуждается в какой-либо реабилитации со стороны правителей и партийных вождей (думаю, что им в первую очередь следует позаботиться о своей реабилитации!). Однако в мои намерения совершенно не входит создавать какой-либо культ Троцкого.

Безусловно, я полагаю, что Троцкий был одним из самых выдающихся революционных вождей всех времен, проявив себя как истинный боец, мыслитель и мученик. Но я не собираюсь преподносить читателям своего героя в ореоле славы, без каких-либо пятен и пороков. Я старался изобразить его таким, каким он был, показав его истинное величие и силу, но также со всеми слабостями; пытался продемонстрировать исключительную влияние фантазии и оригинальность мышления Троцкого, но также и его изъяны. При разговоре об идеях, которые представляют собой несомненный вклад Троцкого в марксизм и современную мысль, я старался отделить то, что, по моему мнению, имеет и наверняка еще долго будет иметь объективную ценность, от того, в чем отразились случайные веяния момента, субъективные эмоции или неверные суждения. Я изо всех

сил старался воздать должное героическому характеру Троцкого, которому в истории найдется немного равных, но помимо того, показал его в многочисленные мгновения нерешительности и колебаний; я описываю, как моего титана перед лицом врагов одолевают неуверенность и опасения, но он все же выходит на бой, навстречу судьбе. В Троцком я вижу характерного представителя досталинского коммунизма и предтечу постсталинского коммунизма. Тем не менее я вовсе не считаю, что будущее коммунизма лежит в троцкизме. Я склонен думать, что историческое развитие выйдет за рамки и сталинизма и троцкизма, стремясь к чему-то более широкому, чем какое-либо из этих учений. Но каждое из них, вероятно, будет «преодолеваться» по-своему. У сталинизма Советский Союз и коммунизм позаимствовали главным образом его практические достижения; в других отношениях, когда речь идет о методах управления и политических акциях, идеях и моральном климате, наследие сталинской эры оказывается более чем негодным, и чем скорее от него избавятся, тем лучше. Однако именно в этих отношениях у Троцкого есть чему поучиться, и политическое развитие едва ли может перешагнуть через него иначе, чем вобрав в себя и приложив к реальности куда более развитой, многосторонней и сложной, чем та, которая была ему известна, все, что сохраняет актуальность в его мыслях.

В предисловии к «Вооруженному пророку» я отмечал, что намереваюсь поведать всю историю жизни и трудов Троцкого начиная с 1921 года, в одной книге под названием «Безоружный пророк»¹. Обозреватель литературного приложения к «Таймс» высказывал сомнение, что одной книги хватит для достаточно подробного изложения. Его сомнение оказалось оправданным. «Безоружный пророк» заканчивается на изгнании Троцкого из Советского Союза в январе 1929 года; история бурных двенадцати лет последней ссылки Троцкого и окончательная оценка его роли приводятся в другой книге, «Изгнанный пророк».

¹ Стоит напомнить, что оба эти названия представляют собой аллюзии на изречение Макиавелли: «Все вооруженные пророки побеждали, все безоружные погибали».

Три тома настоящей работы, конечно, взаимосвязаны. Разумеется, связаны между собой, хотя и не так жестко, все части большого цикла. Но я задумал их так, чтобы каждый том был, насколько возможно, самодостаточным и его можно было читать как отдельную книгу. В данном томе речь пойдет о годах, на которые во многих отношениях пришлось период формирования Советского Союза. Книга начинается с 1921 года, сразу же после завершения Гражданской войны, когда Троцкий еще находился на вершинах славы и власти, а заканчивается 1929 годом — Троцкий на пути в Константинополь, а Советский Союз входит в эпоху насильственной индустриализации и коллективизации. Между этими годами разворачивается драма большевистской партии, которая после смерти Ленина погрузилась, вероятно, в самую свирепую и самую грандиозную политическую борьбу современной эпохи, не зная, какую проводить политику, шагая из стороны в сторону, запутавшись в социальных и политических трениях и в логике однопартийной системы, в конце концов оказавшись в полной власти Сталина. В этот период Троцкий неизменно стоит в центре борьбы как главный противник Сталина, единственный альтернативный кандидат на руководство большевиками, «преждевременный» проповедник индустриализации и плановой экономики, критик теории «социализма в отдельно взятой стране» и защитник «пролетарской демократии».

Большая часть документов, на которых основывается мой рассказ, доселе оставалась в неизвестности. Я широко пользовался, во-первых, архивом Троцкого, который дает превосходное представление о деятельности Политбюро и ЦК и работе всех фракций большевистской партии; во-вторых, обширной и весьма поучительной перепиской Троцкого, Радека, Раковского, Преображенского, Сосновского и многих других выдающихся большевиков; в-третьих, стенограммами партийных съездов и конференций, подшивками современных русских и зарубежных газет и журналов; в-четвертых, опубликованными и неопубликованными свидетельствами очевидцев. Свои плоды принесли личные встречи с вдовой Троцкого Натальей Седовой, Гейнрихом Брандлером, Альфредом Росмером, Максом Истменом и другими уцелевшими участниками борьбы, оказавшими любезность и ответившими на мои вопросы, а порой согласившимися подвергнуться

продолжительным и неоднократным расспросам. В попытке воссоздать окружение и атмосферу того времени известную пользу принес мой собственный опыт. С середины 1920-х годов я был активным членом Польской коммунистической партии, которая стояла к большевизму ближе, чем какая-либо другая партия; вскоре после этого я стал ведущим глашатаем внутрипартийной оппозиции, находившейся под большим влиянием идей Троцкого, а в 1932 году несколько курьезно прославился как первый коммунист, изгнанный из Польской компартии за антисталинизм.

Думаю, что доступ к неподцензурным источникам позволил мне дать совершенно или отчасти новые версии многих ключевых событий и эпизодов. Отношения между Троцким и Лениным в последние годы жизни; превратности последующей борьбы; взаимоотношения Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Радека и других вождей; формирование и разгром различных антисталинских оппозиций; события первого года ссылки Троцкого поблизости от советско-китайской границы и особенно разногласия внутри троцкистской оппозиции, предвещавшие ее крах задолго до московских процессов, — почти все это рассматривается и интерпретируется в свете доселе неизвестных фактов. Кроме того, я, как и в предыдущем томе, уделил особое внимание Троцкому-писателю и посвятил много страниц его взглядам на науку, литературу и искусству, в частности, его работе как ведущего российского литературного критика начала 1920-х годов. Эта работа, замечательная широтой взглядов и недвусмысленным отрицанием партийного руководства наукой и искусством, также получила особое значение в нынешней ситуации: прогресс в этих областях, который был осуществлен в Советском Союзе за время постсталинской «оттепели», шел в направлении идей Троцкого, хотя, вероятно, пройдет еще много времени, прежде чем такие же недогматические и смелые взгляды, которые он исповедовал, снова появятся в Советском Союзе.

Как бы я ни старался восстановить различные стороны и подробности этой исторической драмы, мне никогда не удавалось изгнать из своих размышлений трагическую тему, которая присутствует в ней от начала до конца и сказалась почти на всех ее персонажах. Перед нами современная трагедия в том смысле, в котором ее определял сам Троцкий (см. главу 3): «До тех пор пока человек не овладел своей

общественной организацией, она возвышается над ним, как рок... Трагедия нашей эпохи есть столкновение личности с коллективом, или столкновение двух враждебных коллективов через личность». Как полагал Троцкий, «успеет ли искусство революции дать «высокую» революционную трагедию, предвидеть трудно». Советский драматург, безусловно, еще не создал ее; но какой современный Софокл или Эсхил может сочинить трагедию столь же высокую, какой была сама жизнь Троцкого? И стоит ли надеяться, что это будет «оптимистическая трагедия», в которой не все страдания и жертвы оказались напрасными?

* * *

Выражаю огромную признательность мистеру Дональду Тирману, вычитавшему рукопись данного тома, а также моих предыдущих книг, неизменно ободрявшему меня в моей работе; также я очень признателен мистеру Дэну Дэвину и мистеру Джону Беллу за ценные предложения и замечания по стилю. Как всегда, единственным помощником в исследованиях и моим первым, самым суровым и самым снисходительным критиком была моя жена.

Глава 1

ВЛАСТЬ И МЕЧТЫ

Большевики в 1917 году совершили Октябрьскую революцию в убеждении, что их начинание станет для человечества «скачком из царства необходимости в царство свободы». Они полагали, что не только в России, но и по всему миру рухнет буржуазный строй и перестанет существовать классовое общество. Они верили, что все народы наконец-то восстали, не желая оставаться игрушками социально не организованных производительных сил и терпеть анархию собственного существования. Большевики воображали, что мир вполне готов освободиться от необходимости рабски трудиться, чтобы обеспечить себе средства к существованию, а также положить конец положению, при котором один человек властвует над другим. Они приветствовали зарю новой эры, когда каждый человек сможет полностью самореализоваться, свободно распоряжаясь всей своей энергией и способностями, и гордились тем, что открыли для человечества «переход от предыстории к истории».

Эти блестящие фантазии служили вдохновением для разума и души не только вождей, идеологов и мечтателей большевизма — они вселяли надежду и рвение также в сердца многочисленных рядовых борцов за власть Советов, которые сражались на фронтах Гражданской войны, не зная пощады к врагам и жалости к себе, потому что верили, что таким образом дают России и всему миру возможность совершить великий скачок от необходимости к свободе.

Наконец, одержав победу, они обнаружили, что революционная Россия надорвалась и скатилась на дно ужасающей

имы. Ни одна другая страна не последовала ее революционному примеру. Россия оказалась в одиночестве посреди враждебного или в лучшем случае безразличного мира, обескровленная, голодающая, содрогающаяся от холода, опустошаемая болезнями и охваченная унынием. Русские люди из кровавого болота смерти отчаянно тянулись за глотком воздуха, за слабым лучиком света, за коркой хлеба. «И это, — спрашивали они, — царство свободы? Это сюда завел нас великий скачок?»

Какой ответ могли они услышать от вождей? Те отвечали, что великие и прославленные революции прошлых эпох также сталкивались с аналогичными суровыми преградами, но тем не менее и они сами, и их свершения оказались оправданы в глазах потомков и что русская революция тоже окончится триумфом. Никто не утверждал этого с большей убежденностью, чем главный персонаж нашей книги. Троцкий перед голодными толпами Петрограда и Москвы вспоминал те лишения и бедствия, которые революционная Франция испытывала в течение многих лет после разрушения Бастилии; он рассказывал им, как первый консул республики каждое утро лично посещал парижский рынок, с беспокойством смотрел, как немногочисленные крестьянские телеги везут продовольствие из деревень, и уходил, понимая, что парижанам придется голодать дальше. Аналогия бросалась в глаза; однако утешительные исторические параллели, при всей их правдивости и уместности, не могли наполнить пустых желудков россиян.

Никто не был способен оценить глубину той пропасти, в которую свалилась страна. Там, внизу, руки и ноги судорожно искали любую надежную точку опоры — что-нибудь, на что встать и за что схватиться, чтобы вылезти наверх. Раз однажды революционная Россия проделала этот путь, она наверняка сумеет повторить скачок от необходимости к свободе. Но как осуществить это восхождение? Как утихомирить пандемию на дне пропасти? Как призвать отчаявшиеся массы к дисциплине и вывести их наверх? Каким образом Советской республике преодолеть ужасную разруху и хаос, чтобы после этого построить обещанный коммунизм?

Сперва вожди большевиков не пытались обманывать своих сторонников, преуменьшая или приукрашая трудности. Они старались правдивыми словами вернуть людям отвагу и

надежду. Но голая правда была слишком сурова, чтобы помочь в беде и преодолеть отчаяние, — и тогда на помощь призвали утешительную ложь, которая поначалу должна была всего лишь скрыть разрыв между мечтами и реальностью, но вскоре стала заявлять, что царство свободы уже найдено — там, на дне пропасти. «Если люди отказываются верить, их надо заставить поверить насильно». Ложь постепенно разрасталась, становясь все более многогранной, сложной и обширной — такой же обширной, как и пропасть, которую она была призвана скрыть. Она находила среди большевистских вождей своих глашатаев и убежденных сторонников, которые полагали, что без лжи и сопровождающего ее насилия невозможно вылезти из болота. Однако целительная ложь не пережила бы столкновения с первоначальными идеями революции. Не могли и толкователи этой разрастающейся лжи встать лицом к лицу или бок о бок с истинными вождями Октября, для которых идеи революции были и оставались нерушимыми.

Последние не сразу возвысили свой голос в протесте. Они даже не сразу распознали фальшивку, поскольку она раскрывала свои инсинуации медленно и неопутимо. Вожди революции оказались впутаны в нее с самого начала, но потом, один за другим, нерешительно и с колебаниями, принялись обличать и опровергать ложь, призывая себе на подмогу невыполненные обещания революции. Однако их голоса, когда-то столь мощные и вдохновенные, глухо звучали на дне пропасти и не вызывали отклика у голодных, измученных и запуганных масс. Из всех этих голосов ни один не нес в себе такой же глубокой и гневной убежденности, как голос Троцкого. Он начал подыматься в полный рост, как безоружный пророк революции, который не имел возможности навязать свою веру силой и, следовательно, мог опираться лишь на силу убеждения.

1921 год наконец-то принес мир в большевистскую Россию. На полях сражений Гражданской войны затихали последние выстрелы. Белые армии развалились и сгнули. Армии интервентов отступили. С Польшей заключили мир. Европейские границы Советской России были определены и зафиксированы.

Среди спустившейся на поля боев тишины большевистская Россия внимательно прислушивалась к звукам из внешнего мира и начала мучительно осознавать свою изоляцию. Еще с лета 1920 года, когда Красная армия потерпела поражение у ворот Варшавы, революционная лихорадка в Европе угасла. Старое мироустройство обрело некое равновесие, оставаясь нестабильным, но достаточно реальным, чтобы консервативные силы начали оправляться от смятения и паники. Коммунисты не могли надеяться на неминуемое продолжение революции, и попытки вызвать это продолжение могли привести лишь к дорогостоящим поражениям. Это стало ясно в марте 1921 года, когда в Центральной Германии разразилось отчаянное и плохо подготовленное коммунистическое восстание. Восставших поощряли, а отчасти подстрекали Зиновьев — председатель Коминтерна — и Бела Кун, неудачливый вождь венгерской революции 1919 года, считавший, что восстание может «электризовать» и пробудить к действию апатичные массы немецкого рабочего класса. Однако массы остались безучастными, и немецкое правительство подавило восстание без особого труда. Это поражение привело германских коммунистов в замешательство, и среди взаимных горьких упреков вождь Германской компартии Поль Леви порвал с Интернационалом. Таким образом, мартовское восстание еще больше ослабило коммунистические силы в Европе и усугубило чувство изоляции в большевистской России.

Страна, возглавляемая Лениным, находилась в состоянии, близком к распаду. Были поколеблены сами материальные основы ее существования. Достаточно вспомнить, что к концу Гражданской войны национальный доход России сократился втрое по сравнению с 1913 годом, российская промышленность производила впятеро меньше товаров, чем до войны, добыча угля сократилась более чем в десять раз, сталеплавильные заводы использовались лишь на сороковую часть своих мощностей, железные дороги были разрушены, все запасы и ресурсы, на которых основана любая экономика, полностью исчерпались, товарооборот между городом и деревней замер, российские города так обезлюдели, что в 1921 году в Москве осталась лишь половина, а в Петрограде — третья часть прежнего населения, а жители двух столиц много месяцев жили на дневном рационе в полсотни граммов хлеба и несколько мороженых картофелин и отапливали свои дома, сжигая мебель, — тогда мы

получим некоторое представление о тех условиях, в которых страна оказалась на четвертом году революции.

Большевики были не в настроении праздновать победу. Кронштадтское восстание в конце концов заставило их отменить военный коммунизм и объявить нэп — новую экономическую политику. Ее непосредственной целью было побудить крестьян продавать продовольствие, а частных торговцев — доставлять его из деревни в город, от производителя потребителю. Так началась длительная серия уступок частной инициативе в сельском хозяйстве и торговле, то «вынужденное отступление», на которое, по признанию Ленина, его правительству пришлось пойти, выполняя требования преобладающего в стране анархического мелкособственнического элемента.

Вскоре на страну обрушилось очередное бедствие. Густонаселенное сельское Поволжье стало жертвой голода, почти не знающего себе равных в истории. Уже весной 1921 года, сразу после Кронштадтского мятежа, Москва была встревожена сообщениями о засухе, пыльных бурях и вторжении саранчи в южные и юго-восточные губернии. Правительство поступило с гордостью и обратилось за помощью к буржуазным благотворительным организациям за границей. В июле возникли опасения, что жертвами голода станут десять миллионов крестьян. К концу года число голодающих выросло до тридцати шести миллионов. Бесчисленное множество людей бежало от пыльных бурь и саранчи, блуждая в бесцельном отчаянии по обширным равнинам. Как ужасная насмешка над высокими социалистическими идеалами и чаяниями, пришедшими из столичных городов, возродился каннибализм.

Семь лет мировой войны, революции, Гражданской войны, интервенции и военного коммунизма вызвали в обществе такие изменения, что обычные политические понятия, идеи и лозунги практически полностью лишились смысла. Социальная структура России оказалась не просто перевернута с ног на голову — она была разрушена и уничтожена. Социальные классы, которые так неумолимо и яростно сражались друг с другом во время Гражданской войны, за частичным исключением крестьянства, были полностью обескровлены и истощены либо распылены. Помещики погибли либо вместе со своими сторевшими имениями, либо на полях Гражданской войны; уцелевшие бежали за границу вместе с белыми армиями, развеявшимися по ветру. Многие представители буржу-

азии, которая никогда не отличалась многочисленностью и политической влиятельностью, также погибли или эмигрировали. Те, кто спасли свою шкуру, остались в России и пытались приспособиться к новому режиму, представляли собой не более чем обломки прежнего класса. Старая интеллигенция и в меньшей степени чиновничество разделили судьбу буржуазии: одни ели эмигрантский хлеб на Западе, другие же служили новым хозяевам России как «специалисты». С возобновлением частной торговли появился новый средний класс. Составлявшие его выскочки, которых презрительно называли «нэпманами», старались, не тратя времени, воспользоваться возможностями, предоставленными нэпом, в кратчайшие сроки сколачивали огромные состояния и прожигали жизнь с тем чувством, что позади остался один потоп, а второй поджидает впереди. Этот новый класс, презираемый даже остатками старой буржуазии, и не пытался развить собственные политические взгляды. Символом его социального существования и нравственности оставалась Сухаревка — огромный и неприглядный рынок в Москве.

Одним из мрачных и парадоксальных последствий борьбы стало то, что класс промышленных рабочих, который теперь должен был воспользоваться своей диктатурой, также оказался в распыленном состоянии. Самые отважные и политически зрелые рабочие либо расстались с жизнью во время Гражданской войны, либо занимали ответственные должности в новом правительстве, армии, милиции, руководстве промышленности и в многочисленных новых учреждениях и организациях. С гордостью помня о своем происхождении, эти пролетарии, превратившиеся в комиссаров, фактически больше не принадлежали к рабочему классу. С течением времени многие из них все больше отдалялись от рабочих и сближались с бюрократическим окружением. Основная масса пролетариата также деклассировалась. Множество рабочих в голодные годы бежало из города в деревню; будучи преимущественно горожанами в первом поколении, не потерявшими своих сельских корней, они быстро вернулись в ряды крестьянства. В первые годы нэпа началось переселение в обратном направлении — исход из деревни в город. Некоторые старые рабочие вернулись в города; но большинство пришельцев составляли неграмотные крестьяне от сохи, не имевшие никаких политических, а тем

более культурных традиций. Однако в 1921—1922 годах миграция из села в город была не более чем ручейком.

Распыление старого рабочего класса создало вакуум в городской России. Старое, уверенное в себе и классово сознательное рабочее движение с многочисленными учреждениями и организациями, профсоюзами, кооперативами и просветительскими клубами, где гремели бурные и страстные дискуссии и велась оживленная политическая работа, — это движение превратилось в пустую оболочку. Ветераны классовой борьбы кое-где собирались маленькими кружками и дискутировали о перспективах революции — вот и все. Когда-то они действительно составляли «авангард рабочего класса». Теперь же их осталась только горстка, и они не видели позади себя основную массу своего класса, которая когда-то прислушивалась к ним, руководствовалась их сигналами и следовала за ними в гущу социальной борьбы.

Диктатура пролетариата одержала верх, но сам пролетариат практически исчез. Он и прежде представлял собой лишь ничтожное меньшинство населения и сыграл решающую роль в трех революциях не благодаря своей численности, а вследствие поразительной мощи своего политического сознания, инициативы и организации. В лучшие времена на крупных промышленных предприятиях России работало не более трех миллионов человек. К концу Гражданской войны на производстве осталась лишь половина от этого числа, причем многие бездельничали, потому что заводы простаивали. Правительство в рамках своей социальной политики сознательно не увольняло их, чтобы сохранить ядро рабочего класса на будущее. Эти рабочие, фактически, превратились в безработных на пособия. Если трудящийся получал жалованье деньгами, то оно ничего не стоило вследствие катастрофического обесценивания рубля. По сути, он жил благодаря случайным подработкам, торговле на черном рынке и экспедициям за продовольствием в соседние деревни. Если трудящийся получал зарплату натурой, особенно продукцией своего предприятия, то немедленно мчался на черный рынок, чтобы обменять пару ботинок или отрез ткани на хлеб и картошку. Когда менять было нечего, он возвращался на завод, чтобы украсть какой-нибудь инструмент, горсть гвоздей или мешок угля, которые тоже нес на черный рынок. Кража на заводах стала таким обыденным явлением, что, по оценкам, половина рабочих воровала то, что

сама производила¹. Можно себе представить, какой эффект голод, холод, полнейшее безделье на рабочем месте и толчея черных рынков, воровство и обман — практически биологическая борьба за существование — оказывали на нравственность людей, которые считались правящим классом нового государства.

В качестве социального класса уцелело одно лишь крестьянство. Мировая война, Гражданская война и голод, конечно, собрали свой урожай, но не пошатнули основ сельской жизни, не снизили крестьянской живучести и способности к возрождению. Даже самые ужасные катастрофы не могли рассеять огромную массу крестьянства, бессмертного, как сама природа. Чтобы выжить, ему достаточно было работать на лоне матери-земли, в то время как промышленные рабочие рассеялись, когда рухнуло искусственно созданное машинное производство, от которого зависело их существование. Крестьяне сохранили свой характер и место в обществе. Их позиции укрепились за счет помещиков. Сейчас они могли себе позволить подсчитать и приобретения, и потери, которые принесла им революция. После того как отменили продразверстку, у крестьян появилась надежда наконец-то полностью собрать урожай со своих сильно увеличившихся наделов. Пусть они жили в полной нищете — но и это, и сопровождавшая нищету отсталость были неотъемлемой частью их социального наследия. Освободившись из-под власти помещиков, крестьяне предпочитали нищету на своих наделах непостижимому бескрайнему изобилию при коммунизме, которое обещали им городские агитаторы. Отныне речи агитаторов не слишком волновали мужиков. Крестьяне заметили, что в последнее время те старались не задевать их и даже пытались польстить и сдружиться с ними. На какое-то время мужик, несомненно, стал «Вениамином для большевистского руководства»², которое стремилось восстановить «связь города с деревней» и «союз рабочих и крестьян». Поскольку рабочий класс был не в силах заявить о себе, тем весомее становилась роль крестьянства. Ежемесячно, еженедельно крес-

¹ На IV съезде профсоюзов прозвучало утверждение, что на некоторых заводах воруют до 50 процентов продукции, а зарплата рабочих, по всем оценкам, была впятеро ниже прожиточного минимума.

² Имеется в виду библейский миф об Иакове, любимым сыном которого был Вениамин. (Примеч. пер.)

тьянин получал тысячу свежих доказательств своего выросшего значения; соответственно возрастала и его уверенность в себе.

Однако именно этот класс, единственный, кто сохранил свой характер и место в обществе, по самой своей природе был политически инертным. Карл Маркс в свое время дал поразительную картину «идиотизма деревенской жизни», который в предшествовавшем столетии помешал французскому крестьянству «защищать свои классовые интересы от своего собственного имени», и эта картина вполне соответствует русскому крестьянству 1920-х годов:

«...крестьяне составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг с другом. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того чтобы вызывать взаимные сношения между ними. Эта изолированность еще и усиливается вследствие плохих путей сообщения французов и бедности крестьян. Их поле производства, парцелла, не допускает никакого разделения труда при ее обработке... а следовательно, и никакого разнообразия развития, никакого различия талантов, никакого богатства общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти что довлеет сама по себе, производит непосредственно большую часть того, что потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. Парцелла, крестьянин и семья; рядом другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Кучка этих единиц образует деревню, а кучка деревень — департамент. Таким образом, громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, как мешок картофеля образует мешок с картофелем»¹.

«Гигантский мешок с картофелем», который представляла собой сельская Россия, также оказался не способен защитить себя «от своего собственного имени». Прежде от ее имени говорили и выступали на ее защиту интеллигентно-народники или социалисты-революционеры. Однако партия эсеров, дискредитировавшая себя отказом санкционировать аграрные реформы, а позже загнанная в подполье и уничтоженная большевиками, отныне не играла никакой роли.

¹ Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта.

«Мешок с картофелем» оставался огромным, грозным и... немым. Он всем бросался в глаза; никто не мог игнорировать его или нагло попирать; он уже шарахнул городскую Россию по голове, и большевистским вождям приходилось склоняться перед ним. Но «мешок с картофелем» не мог обеспечить прочность, форму, волю и голос для рыхлого, распадающегося общества.

Итак, через несколько лет после революции страна была не в состоянии решить свои проблемы и защитить свои интересы через институт реальных представителей. Старые правящие классы были уничтожены, а от нового правящего класса, пролетариата, осталась лишь тень. Ни одна партия не могла претендовать на защиту интересов распяленного рабочего класса, а рабочие не обладали контролем над партией, которая претендовала на то, чтобы выступать от их имени и управлять страной в их пользу.

Кого же представляла партия большевиков? Только саму себя, то есть свою былую связь с рабочим классом, нынешнюю претензию играть роль защитника пролетарских классовых интересов и намерение в ходе экономической реконструкции воссоздать новый рабочий класс, который со временем был бы способен взять судьбу страны в свои руки. Пока же партия большевиков удерживала власть как узурпатор. Не только враги считали ее узурпатором — сама партия выглядела узурпатором, даже если судить по ее собственным стандартам и собственной идее революционного государства.

Как мы помним, враги большевизма с самого начала объявили Октябрьскую революцию, а затем и разгон Учредительного собрания в 1918 году актами узурпации. Большевики не принимали это обвинение близко к сердцу; они отвечали, что правительство, у которого они отобрали власть в октябре, не опиралось ни на какой выборный представительный орган, и революция привела к власти правительство, которое пользуется поддержкой подавляющего большинства выборных и представительных Советов рабочих и солдатских депутатов. В Советах, по определению представлявших собой орган диктатуры пролетариата, заседали представители классов. Всеобщее избирательное право в стране отсутствовало; помещики и буржуазия были лишены права голоса, а крестьянству выделялось

столько мест, чтобы обеспечить преобладание городских рабочих. Рабочие голосовали не по отдельности на традиционных избирательных участках, а на заводах и в мастерских как члены тех производительных единиц, из которых состоял их класс. Лишь такое классовое представительство большевики после 1917 года считали имеющим законную силу.

Однако ленинское правительство постепенно теряло свою представительность именно в смысле большевистской концепции пролетарского государства. Формально его основу по-прежнему составляли Советы. Но Советы 1921—1922 годов, в отличие от Советов 1917 года, не были и не могли быть представительными — они просто не могли представлять фактически исчезнувший рабочий класс. Советы являлись порождением большевистской партии, и, хотя ленинское правительство утверждало, что получило свои полномочия от Советов, на самом деле оно само себя наделило этими полномочиями.

Большевистская партия помимо своей воли оказалась в положении узурпатора. Она не могла жить по своим принципам, поскольку рабочий класс перестал существовать. Что могла и должна была делать партия в таких обстоятельствах? Опустить руки и расстаться с властью? Революционное правительство, победившее в жестокой и опустошительной Гражданской войне, не отрекается от власти на следующий день после победы и не сдается на милость побежденных врагов, мечтающих о мести, даже если выясняется, что оно не может править в соответствии со своими идеями и больше не пользуется той поддержкой, которую имело в начале Гражданской войны. Большевики лишились этой поддержки не вследствие смены предпочтений у своих бывших сторонников, а вследствие исчезновения последних. Они знали, что их мандат на управление республикой не был должным образом продлен представителями рабочего класса — не говоря уже о крестьянстве, но кроме того, знали, что их окружает вакуум, который можно лишь медленно заполнить в течение долгих лет, и в данное время никто не может ни продлить, ни отменить этот мандат. В узурпаторов их превратили форсмажорные обстоятельства, социальная катастрофа, и поэтому они сами не считали себя узурпаторами.

Столь стремительное исчезновение энергичного и воинствующего социального класса с политической арены и атрофия общества в результате Гражданской войны привели к возник-

новению странного, но не уникального исторического феномена. Во время других великих революций общество также оказывалось в полной прострации и революционные правительства претерпевали аналогичную трансформацию. И английская пуританская революция, и Великая французская революция поначалу противопоставили старому режиму новый принцип представительного правительства. Пуритане поддерживали парламент в его противостоянии с королем. Вожди французского третьего сословия поступили аналогичным образом, провозгласив себя Национальным собранием. В результате последующего восстания и Гражданской войны силы старого режима лишились возможности управлять обществом, но и классы, поддерживавшие революцию, оказались слишком разобщены и слишком обессилены, чтобы удержать власть, в результате чего представительное правительство стало невозможным. Единственной организацией, обладавшей достаточным единством воли, организованностью и дисциплиной, чтобы обуздать хаос, оставалась армия. Она объявила себя защитницей общества и установила «власть меча» — откровенно узурпаторскую форму правления. В Англии две главные фазы революции нашли воплощение в одном человеке: Кромвель сперва повел общины против короля, а затем, как лорд-протектор, узурпировал прерогативы и короны, и общин. Во Франции обе фазы оказались разделены отчетливым промежутком, и в каждой фазе на первый план выходили разные люди: узурпатор Бонапарт не играл серьезной роли на ранних этапах революции.

В России таким сплоченным и дисциплинированным органом, вдохновляемым единой волей, способным возглавить страну, являлась партия большевиков. Во время прежних революций такой партии не существовало. Главная сила пуритан заключалась в армии Кромвеля; в результате армия стала верховодить ими. Якобинская партия возникла лишь в ходе восстания, являясь составной частью непостоянной революционной волны, и распалась и исчезла, когда волна пошла на убыль. Наоборот, большевистская партия сформировалась как крепкая и централизованная организация задолго до 1917 года. Это позволило ей возглавить революцию, а после спада революционного накала играть в течение десятилетий ту роль, которую армия играла в революционной Англии и Франции, создать стабильное правительство и приступить к интеграции и переустройству жизни страны.

Благодаря своим умонастроениям и политическим традициям большевистская партия оказалась чрезвычайно хорошо подготовлена и в то же время необычайно плохо приспособлена к роли узурпатора. Ленин воспитывал своих последователей как «авангард и элиту рабочего движения». Большевики никогда не оставались простыми выразителями реальных настроений и чаяний рабочего класса. Они считали своей задачей формировать эти настроения, поощрять и развивать их, рассматривая себя как политических наставников рабочего класса и пребывая в убеждении, что в качестве последовательных марксистов они лучше притесненного и невежественного рабочего класса знают, в чем состоят его реальные исторические интересы и что следует сделать для их воплощения. Как мы помним, именно поэтому молодой Троцкий обвинял большевиков в склонности «подменять» своей партией рабочий класс и игнорировать подлинные запросы и желания рабочих. Но когда Троцкий впервые выдвинул это обвинение в 1904 году, оно далеко опережало свое время. В 1917 году, как и в 1905-м, участие большевиков в революции целиком зависело от уровня поддержки пролетарских масс, на который они могли рассчитывать. Ленин и его «штаб» холодным и трезвым взглядом оценивали самые малейшие колебания в политических настроениях рабочих и старательно увязывали с ними свою политику. Тогда им ни разу не приходило в голову, что они могут захватить или удержать власть без одобрения большинства рабочих или рабочих и крестьян. Вплоть до революции, во время ее и несколько позже они неизменно стремились подчинить свою политику «вердикту пролетарской демократии», т. е. голосу рабочего класса.

Однако к концу Гражданской войны понятие «вердикт пролетарской демократии» превратилось в бессмысленную фразу. Как рабочий класс мог выразить этот вердикт, если сам он рассеялся и деклассировался? Путем выборов в Советы? Посредством «нормальных» процедур советской демократии? Большевики считали, что с их стороны будет величайшей глупостью руководствоваться в своих действиях волеизъявлением отчаявшихся остатков рабочего класса и настроениями случайного большинства, которое может образоваться в призрачных Советах. Теперь они — а вместе с ними и Троцкий — действительно подменили рабочий класс своей партией. Они отождествляли свою волю и идеи с тем, что считали волей и идеями полноценного рабочего класса, если бы таковой существовал.

Привычка рассматривать себя как единственных выразителей интересов пролетарского класса еще больше облегчила эту подмену. В качестве старого авангарда партия считала естественным выступать в роли временного заместителя рабочего класса в течение странного и, как надеялись, короткого промежутка, пока этот класс находится в состоянии распада. Таким образом, большевики находили моральное оправдание для своей роли узурпаторов как в собственных традициях, так и в реальном состоянии общества.

Однако большевистская традиция представляла собой причудливое сочетание разнородных элементов. Уверенность партии в своей нравственной правоте, своем превосходстве, чувство революционного долга, внутренняя дисциплина и глубоко укоренившееся убеждение, что пролетарская революция невозможна без твердой руки, — все это привело к формированию авторитарных аспектов большевизма. Однако они сдерживались тесной связью партии с реальным, а не гипотетическим рабочим классом, искренней преданностью партии этому классу, страстной верой в то, что началом и концом революции является благо эксплуатируемых и притесненных и что рабочий рано или поздно станет настоящим хозяином нового государства, потому что в конце концов история его устами вынесет суровый и справедливый вердикт всем партиям, включая большевиков, и их деяниям. Идея пролетарской демократии была неразрывно связана с такими умонастроениями. Ссылаясь на нее, большевик тем самым выражал презрение к формальной и лицемерной буржуазной демократии, свою готовность в случае необходимости железной рукой обуздать все непролетарские классы, но также и уверенность в том, что он обязан уважать волю рабочего класса, даже если в данный момент не согласен с ней.

На ранних этапах революции пролетарско-демократическая идея преобладала в характере большевика. Теперь же его одолевала склонность к авторитарному руководству. Отныне за плечами большевика не стояло нормального рабочего класса, но он вследствие долгой привычки по-прежнему ссылался на волю этого класса, чтобы оправдать любые свои поступки. Однако большевик ссылался на нее лишь как на теоретическое допущение и идеальный стандарт поведения — короче, как на что-то мифическое. Он начал усматривать в своей партии воплощение не только абстрактных идеалов социализ-

ма, но и конкретных желаний рабочего класса. Когда большевик — хоть представитель Политбюро, хоть последний член ячейки — заявлял, что «пролетариат настаивает», или «требует», либо «никогда не согласится» на то или иное, он имел в виду, что «настаивает», «требует» и «никогда не согласится» его партия или ее вожди. Без такой полуосознанной мистификации большевистский разум просто бы оказался в ступоре. Партия не могла признаться даже себе самой, что уже давно не опирается ни на какую пролетарскую демократию. Правда, в моменты суровых просветлений сами большевистские вожди откровенно говорили об этом затруднении. Но они надеялись, что время, экономическое возрождение и восстановление рабочего класса решат проблему, и продолжали говорить и действовать так, будто такого затруднения никогда не возникало и они по-прежнему имеют недвусмысленный и законный мандат от рабочего класса¹.

К тому моменту большевики окончательно расправились со всеми прочими партиями и создали собственную монополию на власть. Они считали, что, давая своим противникам возможность свободно самовыражаться и обращаться к советскому электорату, подвергают и себя, и революцию серьезнейшей опасности. Организованная оппозиция могла обратить хаос и недовольство себе на пользу, поскольку большевики были не способны мобилизовать энергию рабочего класса. Они не желали подвергать риску ни себя, ни революцию. Партия, подменяя собой пролетариат, одновременно подменяла своей дикта-

¹ На съезде Советов в декабре 1921 г. Ленин, выступая против тех, кто слишком часто называл себя «представителями пролетариата», заявил: «Простите, а что называется пролетариатом? Это класс, который занят работой в крупной промышленности. А крупная промышленность где? Какой это пролетариат? Где ваша промышленность? Почему она стоит?» В марте 1922 г. на XI съезде партии Ленин снова утверждает: «Со времен войны на фабрики и заводы пошли люди вовсе не пролетарские с тем, чтобы спрятаться от войны; разве у нас сейчас общественные и экономические условия таковы, что на фабрики и заводы идут настоящие пролетарии? Это неверно. Это правильно по Марксу, но Маркс писал не про Россию, а про весь капитализм в целом, начиная с пятнадцатого века. На протяжении шестисот лет это правильно, а для России теперешней неверно». Шляпников, выступая от имени «рабочей оппозиции», так ответил Ленину: «Владимир Ильич вчера сказал, что пролетариат как класс в понимании Маркса не существует [в России]. Разрешите поздравить вас с тем, что вы являетесь авангардом несуществующего класса». За этой насмешкой скрывалась горькая истина.

турой диктатуру пролетариата. «Пролетарская диктатура» больше не представляла собой власть рабочего класса, который через свои организации — Советы — передал власть большевикам, но по закону имел право сместить последних или «отрешить» от должности. Отныне диктатура пролетариата стала синонимом неограниченной власти большевистской партии. Пролетариат имел не больше возможностей «отрешить» от должности или сместить большевиков, чем «отрешить» или сместить самого себя.

Ликвидировав все партии, большевики привнесли такие радикальные изменения в свое политическое окружение, которые не могли не затронуть их самих. Они выросли при царском режиме в рамках полуразрешенной, полузапрещенной многопартийной системы, в атмосфере напряженных споров и политической конкуренции. В качестве воинствующей революционной организации они имели собственную доктрину и дисциплину, которая даже тогда отделяла их от других партий, но тем не менее дышали тем же воздухом, что и их окружение, и многопартийная система задавала тон внутренней жизни их собственной партии. Постоянно участвуя в дискуссиях с противниками, большевики открывали дорогу разногласиям в своих собственных рядах. Прежде чем член партии вставал на ту или иную платформу, чтобы дать отпор кадетам или меньшевикам, он обсуждал в рамках собственной партийной ячейки или комитета те вопросы, которые занимали его, аргументы противника, ответы на них, позицию партии и ее тактические шаги. Если он полагал, что партия в каком-то пункте ошибается или что ею неправильно руководят, он говорил это без опаски или без пристрастия, стараясь привлечь товарищей на свою сторону. Пока партия боролась за демократические права рабочих, она не могла отказать в этих правах своим членам в рамках своей собственной организации¹.

Разрушая многопартийную систему, большевики не имели представления, чем это окончится для них самих. Они пола-

¹ О том, насколько непримиримы были большевики к собственной однопартийной системе даже на пятом году революции, можно прочесть между строк в этом отрывке из речи Зиновьева на XI съезде: «Мы являемся партией, единственно легальной в стране... мы имеем, так сказать, «монополию легальности»; это оскорбляет слух партийного патриотизма... Мы отказали в политической свободе нашим противникам... Поступить иначе, я думаю, мы не могли». (Курсив автора.)

гали, что вне этой системы останутся теми, кем были всегда: дисциплинированным, но свободным союзом воинствующих марксистов. Они считали само собой разумеющимся, что коллективный разум партии, как и прежде, будет формироваться в ходе обычного обмена мнениями, столкновения политических и теоретических аргументов, не понимая, что не могут запретить все разногласия вне своих рядов и сохранить их внутри своих рядов; они не могли лишить демократических прав общество в целом, оставив эти права лишь себе самим.

Однопартийная система представляла собой терминологическую нелепицу: единственная партия не может оставаться партией в общепринятом смысле. Ее внутренняя жизнь обречена на усыхание и умирание. От «демократического централизма» — ключевого принципа большевистской организации — остался только централизм. Партия сохраняла свою дисциплину, но не демократические свободы. По-иному и не могло быть. Если бы большевики теперь безоглядно пустились в споры, если бы их вожди выставили свои разногласия на публику, если бы рядовые члены получили право критиковать вождей и их политику, они бы подали пример небольшевикам, которых бы тоже нельзя было заставить удержаться от споров и критики. Если бы членам правящей партии разрешили создавать фракции и группировки, чтобы в рамках партии отстаивать те или иные взгляды, то разве удалось бы запретить людям, не входящим в партии, создавать собственные ассоциации и формулировать собственные политические программы? Ни один политический орган не может быть на девяносто процентов немым и на десять процентов говорящим. Заставив замолчать небольшевистскую Россию, ленинская партия в конце концов была вынуждена замолчать сама.

Но партия так легко не могла с этим примириться. Революционеры, привыкшие не повиноваться никаким властям, подвергать сомнению общепринятые истины и критически относиться к собственной партии, не могли неожиданно склониться перед властью в безусловной покорности. Даже подчиняясь, они продолжали задавать вопросы. После того как X съезд в 1921 году запретил внутрипартийные фракции, в собраниях большевиков по-прежнему бушевали дискуссии. Сходно мыслящие коммунисты по-прежнему объединялись в «лиги», выдвигали свои «платформы» и «тезисы» и подверга-

ли вождей едкой критике. Их действия грозили подорвать основу однопартийной системы. Подавив сопротивление всех врагов и противников, партия большевиков не могла существовать иначе чем в процессе постоянного самоподавления.

Партию на этот путь толкали сами обстоятельства ее роста и успеха. В начале 1917 года в ней по всей России числилось не более 23 тысяч членов. В ходе революции это число утроилось и учетверилось. В разгар Гражданской войны в 1919 году в рядах партии состояло четверть миллиона человек. Этот рост отражал неподдельную привлекательность партии для рабочего класса. К 1922 году численность партии снова утроилась, достигая до 700 тысяч человек. Однако по большей части этот рост был вызван искусственно. Стремление примкнуть к победителям набирало обороты. Партии приходилось заполнять бесчисленные должности в правительстве, промышленности, профсоюзах и т. д., и она старалась назначать туда людей, признававших партийную дисциплину. В этой массе новопривывших подлинными большевиками оказались в явном меньшинстве¹. Они понимали, что тонут в чужеродном элементе, и, встревожившись, стремились отделить плевелы от зерна.

Но как это сделать? Было достаточно затруднительно отличить тех, кто вступил в партию из искренних побуждений, от «перекрасившихся» и карьеристов. Еще труднее было определить, прониклись ли целями и чаяниями партии даже те, кто стремился к членству в ней по другим мотивам, и готовы ли они за нее сражаться. Пока имелось несколько партий, оглашавших свои программы и рекрутировавших сторонников, их непрерывная конкуренция гарантировала правильный отбор человеческого материала и его распределение между партиями. Тогда новичок в политике имел все возможности сравнить конкурирующие программы, принципы действия и лозунги. И если он шел за большевиками, то делал это вследствие осознанного выбора. Но у тех, кто вступал в политику в 1921—1922 годах, такого выбора не было. Они знали лишь партию большевиков. В других обстоятельствах, возможно, они были бы склонны присоединиться к меньшевикам, эсерам или к любой другой группировке. Теперь же их стремление к политической работе вело в единственную существующую партию, единственную,

¹ Согласно Зиновьеву, большевики, работавшие в подполье до февраля 1917 г., в 1922 г. составляли лишь 2 процента от численности партии.

которая обещала выход их энергии и пылу. Многие из новых партийцев были, по словам Зиновьева, «бессознательными меньшевиками» или «бессознательными эсерами», которые искренне считали себя «хорошими большевиками». Наплыв подобных элементов грозил извратить характер партии и выхолостить ее традиции. В самом деле, на XI партийном съезде в 1922 году Зиновьев заявлял, что в большевистской организации уже существует две или больше потенциальных партий, состоящих из тех, кто искренне заблуждается, считая себя большевиками. Таким образом, один только факт однопартийности вел к тому, что партия лишалась единомыслия и в ее собственной среде начали формироваться рудиментарные суррогаты запрещенных партий. Социальный фон со всем его подавлявшимся разнообразием интересов и политического менталитета давал о себе знать, напирая на единственную существующую политическую организацию и просачиваясь в нее со всех сторон.

Вожди старались защитить партию от этого проникновения. Они начали чистку. Призыв к чистке прозвучал из уст «рабочей оппозиции» на X съезде; первая чистка была проведена в 1921 году. Милиция и суды не имели никакого отношения к этой процедуре. На публичных заседаниях контрольные комиссии, т. е. партийные трибуналы, исследовали послужной список и моральный облик каждого члена партии, какое бы высокое положение он ни занимал. Каждый присутствующий на собрании мог выступить в защиту проверяемого или против него, после чего контрольная комиссия объявляла его достойным или недостойным членства в партии. Недостойные не несли никакого наказания, но изгнание из правящей партии в большинстве случаев лишало человека шансов занять ответственную должность.

Таким образом, за короткое время из партии было изгнано 200 тысяч человек — примерно треть от ее общей численности. Контрольная комиссия разделяла исключенных на несколько категорий: простые карьеристы; бывшие члены антибольшевистских партий, особенно бывшие меньшевики, вступившие в партию после окончания Гражданской войны; большевики, возвращенные властью и привилегиями; и, наконец, политически незрелые люди, не имевшие даже элементарного представления о партийных принципах. Судя по всему, людей, чья вина состояла только в том, что они критиковали политику партии и ее вождей, не исключали. Но вско-

ре стало ясно, что чистка, хоть и необходимая, оказалась обоюдоострым оружием. Она дала менее щепетильным возможность для запугивания и предлог для сведения личных счетов. Рядовые члены партии рукоплескали изгнанию «перекрасившихся» и коррумпированных комиссаров, но ужасались размаху чистки. Стало известно, что чистки будут периодически повторяться, и люди размышляли о том, что случится на следующий год или через год, если уже сейчас из партии изгнали треть ее членов. Боязливые и осторожные начали задумываться, прежде чем осмеливались подать рискованное замечание или сделать шаг, который во время следующей чистки может навлечь на них упреки в политической незрелости или отсталости. Чистка, замышлявшаяся как средство очистить партию и сохранить ее характер, стала служить партии как самый мощный инструмент самоподавления.

Мы видели, что, когда рабочий класс перестал существовать в качестве эффективной социальной силы, этот класс подменила собой партия во всей ее грозной реальности. Однако теперь партия также начала превращаться в нечто столь же неясное и гризрачное, как и то, что она подменила. Имелось ли какое-либо реальное содержание и могла ли существовать какая-либо независимая жизнь в партии, которая за один лишь год объявила треть своих членов недостойными и изгнала их? 200 тысяч вычищенных человек, по-видимому, до сих пор принимали участие во всех нормальных процедурах партийной жизни, голосовали за резолюции, выбирали делегатов на съезды и, таким образом, формально играли существенное значение при формировании партийной политики. Однако их изгнание не привело к заметным изменениям или корректировкам этой политики. В партийном мировоззрении невозможно найти ни следа от этой грандиозной хирургической операции, когда от партии оказалась отрезана ее треть. Один лишь этот факт доказывает, что уже какое-то время большинство членов партии не имело ни малейшего влияния на ее поступки. Большевицкая политика определялась крохотной «головкой» партии, которая подменила собой целое.

Кто же входил в эту «головку»? Сам Ленин ответил на этот вопрос со всей ясностью. В марте 1922 года он писал Молотову, который тогда был секретарем ЦК: «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее соста-

вом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать «старой партийной гвардией»¹. Отныне Ленин только эту гвардию считал хранительницей социалистических идеалов, опекуном партии и в конечном счете временным заместителем рабочего класса. Всего в гвардии числилось несколько тысяч настоящих ветеранов революции. Как сейчас полагал Ленин, основная масса партии, выросшая как гриб, была подвержена всяческим развращающим влияниям хаотичного и анархичного общества. Даже лучшие из младших партийцев нуждались в тщательном обучении и политической подготовке, прежде чем могли стать «истинными большевиками». Таким образом, отождествление партии с пролетариатом превратилось в еще более узкое отождествление пролетариата со «старой гвардией».

Но даже и эта «гвардия» с трудом удерживалась на той головокружительной высоте, на которую ей удалось подняться; не было никаких гарантий, что она сумеет противостоять развращающему влиянию времени, усталости и власти, а также давлению со стороны социального окружения. В единстве «старой гвардии» уже появились трещины. В письме Молотову Ленин отмечал: «Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет... ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» и «старая гвардия» окажется не способна контролировать события. Следовательно, было необходимо любой ценой сохранять солидарность «старой гвардии», поддерживать в ней дух высокой миссии и закрепить ее политическое главенство. Периодических партийных чисток для этого было недостаточно. Следовало обставить жесткими ограничениями прием новых членов, которым предстояло подвергнуться самым тщательным проверкам. Наконец, как полагал Ленин, внутри партии нужно создать особую иерархию, основанную на заслугах и продолжительности революционного стажа. Право занимать некоторые важные должности получают лишь те люди, которые вступили в партию не позже чем в начале Гражданской войны. Еще более ответственные должности будут доступны лишь для тех, кто состоит в партии с начала революции, а на самые высокие позиции не сможет попасть никто, кроме ветеранов подпольной борьбы с царизмом².

¹ Ленин В.И. Сочинения. Т. 33. С. 228—230.

² КПСС в резолюциях. Т. 1. С. 595—596, 612, 628—630.

Однако в этих правилах еще не чувствуется дух вульгарного патронажа. «Старая гвардия» по-прежнему руководствовалась своим аскетическим кодексом революционной морали. Согласно партмаксимуму, члены партии, даже занимающие самые высокие должности, получали жалование, не превышающее заработок квалифицированного заводского рабочего. Правда, некоторые сановники уже нашли различные лазейки и в придачу к скромной зарплате получали всевозможные пособия. Но такие отклонения по-прежнему оставались исключением: новые положения, касающиеся назначения на должности, были призваны служить не подачкой «старой гвардии», а гарантией того, что партия и государство останутся в ее руках надежными инструментами для строительства социализма.

«Старая гвардия» представляла собой грозную силу. Ее членов объединяли воспоминания о совместной героической борьбе, непоколебимая вера в социализм и убеждение, что среди всеобщего распада и апатии возможность построения социализма зависит от них, и практически только от них. Они действовали уверенно, но порой излишне высокомерно, были бескорыстны, но амбициозны, руководствовались самыми возвышенными чувствами, но были способны на беззастенчивую жестокость, отождествляли себя с историческими судьбами революции, но и эти судьбы отождествляли с собой. В своей исключительной преданности социализму они стали рассматривать борьбу за него как исключительно свое дело — едва ли не как частный бизнес, и были склонны оправдывать свое поведение и даже свои личные амбиции теоретической терминологией социализма.

Среди бедствий этих лет нравственная мощь «старой гвардии» являлась для большевизма бесценным активом. Возобновление частной торговли и частичное разрешение частной собственности внесло в ряды партийцев уныние. Многие коммунисты с беспокойством задумывались, куда приведет революцию провозглашенное Лениным «отступление»: казалось, что Ленин готов на любые подачки торговцам и частным земледельцам. Поскольку крестьяне отказывались продавать продовольствие за обесценившиеся банкноты, были «реабилитированы», а затем и укрепились деньги, презиравшиеся во время военного коммунизма как реликт старого общества. Теперь без денег ничего нельзя было получить. Государство уре-

зало субсидии, которое выделяло государственным предприятиям, и рабочие, не терявшие своих мест даже в самую худшую пору, оказывались за воротами. Государственные банки пустили свои скудные ресурсы на кредиты для поощрения частного предпринимательства. Тем не менее ЦК уверял партию, что государство, сохранив за собой «командные высоты» в крупной промышленности, в любом случае сумеет контролировать национальную экономику. Однако эти «командные высоты» имели жалкий и почти безнадежный вид; государственные заводы стояли, в то время как частная торговля уже процветала. Тогда Ленин пригласил старых концессионеров и иностранных инвесторов вернуться в Россию и вкладывать в нее деньги; этот важный элемент капитализма не появился в стране лишь потому, что инвесторы не откликнулись. «Но что бы случилось, — думали большевики, — если бы концессионеры вернулись»? А у нэпманов тем временем прибавлялось самоуверенности, они жировали среди голодных городов и высмеивали революцию. В деревне кулаки снова пытались прижать к ногтю батраков; тут и там кулаки и зависимые от них люди подчиняли себе сельсоветы, в то время как их сыновья становились коноводами в местных комсомольских организациях. В университетах учителя и студенты проводили антикоммунистические демонстрации и забастовки, а коммунистов били за пение «Интернационала» — революционного гимна. Когда же отступление закончится? «Рабочая оппозиция» требовала у Ленина ответа на этот вопрос на пленумах ЦК и партсобраниях. Он неоднократно обещал закончить отступление, и так же неоднократно события вынуждали его отступать дальше. Идеалисты были в шоке. Из рядов партии доносились возгласы о «предательстве». Нередко какой-нибудь рабочий, ветеран-красногвардеец, на глазах у своего парткома в негодовании рвал членский билет и бросал его в лицо секретарю. Подобные случаи стали таким признаком эпохи, что их описание можно найти во многих романах того времени, а партийное начальство говорило о них с нескрываемым беспокойством¹.

¹ Например, Мануильский на XI съезде выразил протест против того, что ветерана Гражданской войны, порвавшего свой партбилет, окружает ореол героизма, хотя с ним следует поступать как с предателем. Он сравнил преобладающие настроения с тем разочарованием, которое последовало за поражением революций в 1849-м и 1907 гг.

И среди этого уныния казалось, что революция может рассчитывать только на «старую гвардию», ее непреклонную веру и железную волю. Так ли это было?

В конце Гражданской войны Троцкий покинул бронепоезд, который служил ему полевым штабом, в котором он в течение трех судьбоносных лет носился из одного опасного места в другое вдоль линии фронта длиной 10 тысяч километров, прерывая свои поездки лишь недолгими совещаниями и публичными выступлениями в Москве. Поезд поставили в музей; его экипаж из машинистов, механиков, артиллеристов и секретарей распустили, а Троцкий впервые после революции взял отпуск. Он проводил его в деревне неподалеку от Москвы — охотился, ловил рыбу, писал и готовился к новому этапу в своей жизни. Вернувшись в Москву, от имени которой он выступал все эти годы, Троцкий оказался там практически чужаком. Впервые он попал в старую столицу на исходе века, когда его привезли в Бутырскую тюрьму в ожидании высылки в Сибирь, так что город своих будущих триумфов и поражений Троцкий увидел из-за решетки тюремной кареты. В следующий раз он оказался в Москве только двадцать лет спустя, в марте 1918 года, во время брест-литовского кризиса, после того как большевистское правительство оставило Петроград и обосновалось в Кремле. Вскоре Троцкий уехал на фронт. Всякий раз, возвращаясь, он чувствовал себя не на своем месте в этой гигантской «деревне царей», в Третьем Риме славянофилов с его византийскими церквями, азиатскими базарами и вялым восточным фатализмом. Во время революций 1905-го и 1917 годов Троцкий был связан с Петроградом — соперником Москвы и окном России в Европу; ему всегда было проще находить общий язык с инженерами, кораблестроителями и электриками Петрограда, чем с московскими рабочими, которые были заняты в основном на текстильных фабриках и по-прежнему обликом и поведением больше походили на мужиков, чем на горожан.

Еще более неуютно Троцкий ощущал себя среди стен и башен Кремля, на узких извилистых улочках древней крепости, в тени ее бастионов, где разносился звон древних колоколов, среди ее соборов, арсеналов, казарм, тюрем и колоколен, в позолоченных залах ее дворцов, в окружении бесчисленных чудотворных икон, которые цари собрали во

всех покоренных землях. Вместе с женой и детьми он занимал четыре маленькие комнаты в Кавалерском корпусе, где прежде жили придворные чиновники. Напротив поселились Ленин и Крупская; обе эти семьи совместно пользовались столовой и ванной — нередко Ленина можно было застать в коридоре или в ванной комнате играющим с детьми Троцкого. То и дело на правах члена семьи тут жил Раковский, Мануильский или кто-либо еще из старых друзей, прибывших из провинции по государственным делам. Семейная жизнь Троцких оставалась такой же скромной, как в эмиграции, когда они обитали в парижской мансарде или в венском многоквартирном доме, — а может быть, даже беднее, поскольку даже обитатели Кремля питались неважно¹. Дети — Лёве в 1921 году было пятнадцать, а Сереже тринадцать — оставались предоставлены сами себе: даже мать они видели очень редко, так как все свое время она проводила в Наркомате просвещения, где возглавляла отдел искусств.

Величественность Кремля создавала странный контраст с образом жизни его новых хозяев. Троцкий с улыбкой описывает смущение своей семьи, когда ей впервые прислуживал старый придворный лакей, который подавал обед на тарелках с царским гербом и тщательно следил за тем, чтобы на тарелках, поставленных перед взрослыми и детьми, царские орлы не оказались бы, боже упаси, вверх ногами. Из каждого угла на большевистских вождей взирало «тяжелое московское варварство», а когда звон старых колоколов прервал беседу Троцкого с Лениным, они «взглянули друг на друга, как бы поймав себя на одном и том же чувстве: из угла нас подслушивало притаившееся прошлое». И прошлое не просто их подслушивало — оно вело с ними борьбу. Так или иначе, как признается Троцкий, он так и не свыкся с кремлевской атмосферой, стараясь дистанцироваться от нее, и это вторжение революции в московскую святая святых лишь пробуждало у него чувство исторической иронии.

Его охватывало гнетущее чувство, что конец Гражданской войны стал и концом его удач. Троцкий подавлял это чувство,

¹ Артур Рэнсом рассказывает, что, когда в 1919 г. он дал Бухарину немного сахара к чаю, это был щедрый подарок; обед в штабе Зиновьева состоял из «супа с кусочками конины... небольшой порции каши... и чая с куском сахара».

разжигая в себе сознательный оптимизм — тот оптимизм, который никогда не покидал его как революционера; он предвкушал новые триумфы и своего дела, и свои собственные. Но в его речах и сочинениях уже проскальзывают ностальгические нотки о том, что героическая эпоха революции и Гражданской войны закончилась. Не то чтобы он идеализировал эпоху, в течение которой, по его словам, «лучшим орудием революции стала мужицкая дубина» — та самая первобытная дубина, которой крестьяне когда-то изгнали Наполеона, а теперь и помещиков из России. Не забывал Троцкий и о тяжелом наследии этой эпохи — те стихи разрушения, которые выпустила на волю Гражданская война, теперь отыгрывались на Советской республике, приступившей к решению конструктивных задач. Но годы разрушения, несмотря на все их лишения, нищету и зверства, были также годами творения, и Троцкий, мысленно возвращаясь к их могучему размаху, отваге и возвышенной надежде, ощущал ту пустоту, которая осталась на их месте.

Мозг и энергия Троцкого теперь были задействованы лишь наполовину. Военный наркомат утратил свое ключевое положение в правительстве. В армии шла демобилизация. К началу 1922 года численность войск составляла одну треть от списочной. Кроме того, армия теряла свой революционный идеализм и рвение. Ветераны Гражданской войны ушли, а свежепризванные возрастные группы, оказавшись в казармах, становились такими же вялыми и апатичными, как и крестьянские сыновья, попадавшие в те же казармы при царе. Обстоятельства вынудили Военный наркомат отказаться от давно вынашиваемых планов по преобразованию армии в современную, демократическую и социалистическую милицию; на Троцкого же навалилась унылая рутинная административная работа и учений. Он тратил время на борьбу со вшами в армии, на то, чтобы обучить бойцов смазывать жиром сапоги и чистить ружья, уговаривал лучших командиров и комиссаров оставаться на своих должностях. Троцкий призывал ЦК остановить массовое бегство коммунистов из армии, и ЦК издавал формальные запреты. Но все меры оказались неэффективными. На всероссийских конференциях Троцкий снова и снова заклинал политкомиссаров бороться с «заразными пацифистскими настроениями» и оплакивал падение морали в Красной армии. Он старался оградить армию от

заражения «духом Сухаревки», использовать ее как инструмент марксистской «Kulturkampf» против грязной, отсталой и суеверной матушки-Руси, но в первую очередь поддерживать в ней революционные традиции и интернационалистическую сознательность.

Это было время, когда юные командиры Гражданской войны, включая и будущих маршалов Второй мировой, прошли серьезную подготовку, а Красная армия получила свои законы и уставы. Троцкий являлся их вдохновителем, а отчасти и автором. Например, любопытно отметить сходство между «Пехотным уставом» Троцкого и кромвелевским «Солдатским катехизисом». «Ты и твои товарищи во всем равны, — читал красноармеец в уставе. — Командиры — твои братья, более опытные и более образованные. В бою, во время учений в казармах и на работе ты должен подчиняться им. Покинув казармы, ты становишься абсолютно свободен...» «Если тебя спросят, как ты воюешь, отвечай: «Я воюю винтовкой, штыком и пулеметом. Но кроме того, я воюю словом истины. Я обращаюсь с ним к вражеским солдатам, тоже рабочим и крестьянам, чтобы они знали, что я им брат, а не враг».

Любовь Троцкого к словам, и к простым, и к красивым, его чувство формы и цвета выразились в создании новой парадности, с помощью которой он старался воздействовать на воображение новобранца и насадить в армии чувство, что она — не просто пушечное мясо, разделенное на полки. В день Первого мая и в дни годовщины революции Троцкий в сопровождении командиров московского гарнизона выезжал на коне из кремлевских Спасских ворот на Красную площадь, чтобы провести смотр выстроившегося колоннами гарнизона. На его «Здравствуйте, товарищи» войска отвечали: «Служим революции!» — и эхо громом отражалось от куполов собора Василия Блаженного, разносясь над могилами героев революции у Кремлевской стены. Механическая помпезность и церемониал еще отсутствовали. После смотра наркомвоенмор присоединялся к другим членам ЦК, которые с ветхой деревянной трибуны или из кузова армейского грузовика принимали парад солдат и рабочих.

Облик и речи Троцкого по-прежнему завораживали толпу. Но его явно покинула способность наладить тесный контакт со слушателями, что неизменно удавалось ему во время Гражданской войны, как и Ленину с его скромной внешностью и про-

стыми словами. Троцкий на трибуне выглядел настоящим гигантом, а в его речах раздавались прежние героические нотки. Однако страна устала от героизма, от захватывающих дух перспектив, от возвышенных надежд и широких жестов, а Троцкий по-прежнему переживал падение популярности, вызванное его недавними попытками милитаризовать труд. Его ораторский гений все так же завораживал любое собрание. Но сквозь эту замороженность уже пробивались сомнения и даже подозрения. В его величии и революционных заслугах никто не сомневался; но не слишком ли он импозантен, не слишком ли ярок, не слишком ли амбициозен?

Его театральные манеры и героический стиль не казались такими неуместными в прежние годы, когда они соответствовали драматичности момента. Теперь же в них проглядывало позерство. Но Троцкий продолжал вести себя именно так, потому что не умел иначе. Он не нарочно представлял перед публикой как гигант — у него по-другому не получалось. Троцкий прибегал к выпяченному и драматическому языку не из аффектации или стремления к сценическому эффекту, а из-за того, что для него это был самый естественный язык, лучше всего приспособленный, чтобы выразить его драматический образ мышления и крайнюю эмоциональность. К Троцкому можно приложить слова, которыми Хазлитт описывает Берка, составлявшего ему полную противоположность¹: «Он «одерживал верх над противниками, примешивая к своим рассуждениям чувства и воображение»; люди, «не привыкшие к подобному явлению в области политики, были обмануты, не в состоянии отличить плоды от цветов». «Большая часть мира», как обычно, «стремилась устранить любые проявления ненужного блеска». Но «его золото не становилось менее ценным, будучи отлито в изящные формы»; а «силу человеческого разума не всегда следует оценивать в прямой пропорции с недостатком воображения. Его разум был не менее истинным, потому что являлся не единственным его талантом».

Подобно Берку, Троцкий был «общительным, велеречивым, блистающим». Его частные беседы своей манерой почти не отличались от публичных речей, и, обращаясь к своим домашним

¹ Х а з л и т т Уильям (1778—1830) — британский писатель и эссеист; Б е р к Эдмунд (1729—1797) — британский писатель, юрист и политик. (Примеч. пер.)

и друзьям, он прибегал к тем же образам, к тому же остроумию и даже к тем же ритмическим модуляциям, которыми пользовался на трибуне и в своих сочинениях. Если Троцкий был актер, то такой актер, для которого не существовало разницы между подмостками, артистическим фойе и собственным домом — такой, для которого жизнь и театр неразделимы. Разумеется, он был героическим персонажем в исторической драме и именно поэтому создавал впечатление нереальности и неестественности у прозаического или предвзятого поколения; именно поэтому Троцкий выглядел неуместной фигурой, чужаком в негероической атмосфере раннего нэпа.

Однако не следует преувеличивать романтическую сторону в характере Троцкого. Он оставался таким же уверенным реалистом, как и прежде. В любом случае он не был ветераном, «вовремя не ушедшим со сцены». Троцкий энергично занялся новыми экономическими и социальными вопросами, которые поставил перед страной нэп, и ни в коем случае не рассматривал нэп через призму революционного фундаментализма. Погрузившись в проблемы финансов, промышленности, торговли и сельского хозяйства, он направлял в Политбюро и ЦК конкретные политические предложения, о которых будет рассказано ниже, призвал на помощь все свое вдохновенное красноречие, чтобы защитить совсем не вдохновенное «отступление», и выступал как толкователь нэпа на III и IV конгрессах Коминтерна в 1921-м и 1922 годах. Интернационалу Троцкий отдавал больше времени и энергии, чем прежде, а на его Исполкоме противодействовал стремлению Зиновьева и Бухарина поднимать за границей несвоевременные и безрассудные восстания, такие как немецкую «Märzaktion», кроме того, возглавлял Французскую комиссию Коминтерна и принимал участие в работе всех основных его отделов.

Однако Военный наркомат, внутренние экономические проблемы и Коминтерн не поглощали всей его энергии. Троцкий взвалил на себя множество прочих дел, каждое из которых занимало бы все рабочее время у человека меньшей энергии и способностей. Например, он возглавлял Союз безбожников, пока его не сменил на этом посту Ярославский. Троцкий руководил союзом в духе философского просвещения, совершенно не склонного к тем эксцессам, оскорбительным для чувств верующих, которые омрачили работу союза при Ярославском (он даже возглавлял секретную комиссию

по конфискации и сбору церковных сокровищ, которые пошли на оплату закупленного за границей продовольствия, предназначенного для голодающего Поволжья). В то время Троцкий был главным интеллектуальным вдохновителем России и ведущим литературным критиком. Он нередко выступал перед учеными, врачами, библиотекарями, журналистами и людьми других профессий, объясняя им отношение марксизма к тем вопросам, которые занимали их. В то же время внутри партии Троцкий вел борьбу против уже проявившейся тенденции убивать культурную жизнь страны, загоняя ее в единообразные рамки. Во многих своих статьях и речах он в популярном стиле проводил мысль о необходимости насаждать в неотесанной России цивилизацию и хорошие манеры, поднимать уровень гигиены, бороться с засорением устного и письменного языка, сильно деградировавшего после революции, расширять и гуманизировать интересы членов партии и т. д. и т. п. Поскольку Ленин все меньше и меньше появлялся на публике, Троцкий стал главным и самым авторитетным партийным оратором в эти последние годы ленинской эпохи.

Романтический темперамент Троцкого еще не восставал против жесткого реализма тех методов, которыми партия — вернее, «старая гвардия» — создавала и укрепляла свою политическую монополию. И до и после провозглашения нэпа Троцкий, безусловно, оставался одним из самых решительных сторонников дисциплины, хотя его призывы к дисциплине основывались на убедительных аргументах, вызывавших к разуму. Он по-прежнему заявлял об «историческом праве первородства» партии и утверждал, что процедуры пролетарской демократии невозможно соблюдать в условиях социального неустойчивости и хаоса, что судьба революции не должна зависеть от непостоянных настроений сильно сократившегося и деморализованного рабочего класса и что долг большевиков перед социализмом состоит в том, чтобы поддерживать свою «железную диктатуру» всеми средствами, имеющимися в их распоряжении. В прошлом Троцкий намекал, что политическая монополия партии является чрезвычайным средством, от которого следует отказаться, как только минует угроза, но теперь он не вспоминал об этом. Более чем через год после Кронштадтского мятежа Троцкий писал в «Правде» о признаках экономического возрождения и «подъеме», заметном во всех областях, и ставил вопрос, не пришло ли время покон-

чить с однопартийной системой и снять запрет хотя бы с меньшевиков, сам же ответив на этот вопрос категорическим «нет». Теперь он оправдывал монополию не столько внутренними проблемами республики, сколько тем фактом, что республика является «осажденной крепостью», внутри которой нельзя потерпеть никакой оппозиции, даже самой незначительной. Троцкий настаивал на введении однопартийной системы на весь период международной изоляции России, хотя и не ожидал, что этот период затянется так надолго. Вспоминая, что когда-то сам высмеивал попытки различных правительств подавить политическую оппозицию, лишь продемонстрировавшие их крайнюю неэффективность, он объяснял видимую перемену в своих настроениях следующим аргументом, который в будущем ударит по нему самому. «Репрессивные меры, — писал он, — не достигают своей цели, когда анахронистическое правительство и режим применяют их против новых и прогрессивных исторических сил. Но в руках исторически прогрессивного правительства эти меры могут служить очень действенным средством для быстрой очистки сцены от тех сил, которые пережили свое время».

Троцкий повторил эти слова в июне 1922 года, во время знаменитого суда над эсерами. Он произнес блестящую и свирепую обвинительную речь, взвалив на подсудимых политическую ответственность за покушение Доры Каплан¹ на жизнь Ленина и другие террористические акты. Суд происходил одновременно с «конференцией трех Интернационалов» в Берлине. На этой конференции, призванной создать «единый фронт» коммунистических и социалистических партий Запада, большевиков представляли Бухарин и Радек. Вожди западной социал-демократии выразили протест против суда, и, чтобы облегчить переговоры, Бухарин и Радек дали обещание, что подсудимым не вынесут смертного приговора. Ленин негодовал на то, что Бухарин и Радек «поддались шантажу» и позволили европейским реформистам вмешиваться во внутрисоветские дела. Троцкий был возмущен не меньше. Но с целью избежать провала конференции он предложил компромисс: смертный приговор будет вынесен, но не приведен в исполнение при условии, что партия социалистов-революционеров воздержится от совершения и поощрения новых террористических актов.

¹ Более известна как Фанни Каплан. (Примеч. пер.)

Отношение Троцкого к дисциплине проявилось и внутри партии. От имени ЦК он обличил «рабочую оппозицию» перед лицом партии и Коминтерна. Начиная с X съезда, на котором деятельность и взгляды «рабочей оппозиции» подверглись осуждению, ее нападки на партийное руководство становились все более резкими. Шляпников и Коллонтай обвиняли правительство в защите интересов новой буржуазии и кулаков, в попрании прав рабочих и вообще в предательстве революции. Потерпев поражение в партии, «рабочая оппозиция» обратилась к Коминтерну, пытаясь найти защиту от Ленина, который угрожал ей изгнанием. Троцкий выступил против нее на Исполкоме Коминтерна и добился того, что это обращение осталось без внимания. После этого весной 1922 года на XI съезде РКП(б), когда снова встал вопрос о «рабочей оппозиции», Троцкий опять выступил в роли прокурора. В его словах не было ни недоброжелательства, ни вражды и даже чувствовалась известная симпатия к оппозиции, но тем не менее он твердо огласил свой вердикт. «Рабочая оппозиция», говорил он, вышла за рамки своих прав, решившись на беспрецедентный шаг и пожаловавшись на РКП Коминтерну. Шляпникова и Коллонтай он обвинял в том, что они повели дискуссию на недопустимо высоких тонах и говорили о себе и о партии как о «нас» и «них», словно бы у Шляпникова и Коллонтай «была какая-либо другая партия в запасе». «Подобные настроения, — утверждал Троцкий, — ведут к расколу и льют воду на мельницу врагов революции». Он защищал правительство, его аграрную политику, уступки частным собственникам, а также и свое мнение, подвергнувшееся не менее жестким нападкам, что страну ждет «долгий период мирного сосуществования, мирного делового сотрудничества с буржуазными странами».

Не одна лишь «рабочая оппозиция» выражала свое разочарование. На XI съезде, последнем, где присутствовал Ленин, и на него, и на Троцкого обрушились с упреками старые и близкие друзья: Антонов-Овсеенко, говоривший о капитуляции партии перед кулаком и иностранным капитализмом; Рязанов, метавший молнии против ширящейся политической деморализации и деспотизма, с которым Политбюро управляет партией; Лозовский и украинский нарком Скрыпник, протестовавшие против чрезмерной централизации власти, которая, по словам последнего, слишком сильно напоминает пре-

жнюю «единую и неделимую» Россию; Бубнов, по-прежнему децист¹, говоривший о том, что партии грозит «мелкобуржуазное вырождение»; Преображенский, один из ведущих теоретиков-экономистов и бывший секретарь ЦК. В дальнейшем многие из этих критиков окажутся видными членами «троцкистской» оппозиции, а сам Троцкий по примеру Шляпникова и Коллонтай обратится в Коминтерн с жалобой на ЦК РКП(б). Но сейчас с горячего одобрения Ленина Троцкий выступил против оппозиции как глашатай большевистской «старой гвардии», требуя дисциплины, дисциплины и еще раз дисциплины.

И все же он оставался чужаком даже в «старой гвардии» — был с ней, но не в ней. Уже на съезде 1922 года Микоян, тогда еще юный делегат от Армении, заявил это с трибуны, и никто ему не возражал. В ходе дискуссии Ленин, Зиновьев и Троцкий выражали беспокойство по поводу слияния партии и государства и говорили о необходимости в какой-то мере разделить их функции. Тогда Микоян заметил, что он не удивлен, услышав это от Троцкого, который «не имеет представления о губкомах, он военный человек»; но как подобные идеи могут защищать Ленин и Зиновьев? Такая мысль возникла у Микояна не на пустом месте. Он подытожил то, что думали, но еще не решались произнести публично многие представители «старой гвардии»: в их глазах Троцкий был человеком государства, а не партии.

Теперь, когда «старая гвардия» вознеслась на неслыханные высоты, поднявшись над народом, над рабочим классом и над партией, она начала создавать культ своего прошлого и легенд о нем, проявляя набожность, которая всегда так или иначе встречается среди любых ветеранов, сохранивших память о великих битвах и совместных победах. Страна ничего или почти ничего не знала о людях, которые вышли из мрака подпольного движения и встали в ее главе. Пора было рассказать народу, кто эти люди и что они сделали. Партийные историки принялись копаться в архивах с намерением воссоздать эпическую историю большевизма. Они повествовали о почти сверхчеловеческом героизме большевиков, их мудрости и преданности сво-

¹ Децисты — демократические централисты, фракция, возникшая в 1919 г. из остатков фракции левых коммунистов. Во главе децистов стояли В. Осинский, В. Сапронов, В. Смирнов. (Примеч. пер.)

ему делу. Ни в коем случае нельзя сказать, что историки занимались сознательными фальсификациями. Большая часть их рассказов была правдой, и они искренне верили даже более сомнительным сведениям. Когда члены «старой гвардии» глядели на себя в тусклом зеркале прошлого, это зеркало неизбежно прояснялось, а их отражения увеличивались в ретроспективном блеске победоносной революции. В этом же зеркале они не могли не увидеть Троцкого как своего противника, меньшевика и союзника меньшевиков, вождя «Августовского блока» и полемиста с острым языком, опасного для них, даже оставшись без союзников. Они перечитывали все разгромные эпитеты, которыми Троцкий с Лениным когда-то обменивались в открытой полемике; а в архивах, содержащих неизвестные рукописи и письма, нашлось множество других грубых замечаний этих людей друг о друге. Каждый документ, связанный с прошлым партии, даже самый банальный, высоко ценился и благоговейно публиковался. Вставал вопрос — нужно ли убирать из изданий старые антибольшевистские тирады Троцкого. Такой вопрос перед ним поставил Ольминский, начальник партийных архивов, когда в документах царской жандармерии было найдено письмо Троцкого к Чхеидзе от 1912 года, в котором Ленин назывался «интриганом», «дезорганизатором» и «эксплуататором русской отсталости». Троцкий воспротивился публикации. «Было бы глупостью, — сказал он, — привлекать внимание к разногласиям, которые давным-давно улажены»; кроме того, Троцкий не думал, что ошибался во всех своих прежних обвинениях против большевиков, но не был склонен вдаваться в соответствующие исторические комментарии. Возмутительный документ не появился в печати; но содержание письма было настолько пикантным, что среди старых и проверенных партийцев начали ходить его копии. «Вот как Троцкий поносит Ленина!» — возмущались они. И в письме кому? Чхеидзе, старому предателю; и Троцкий все еще говорит, что не всегда ошибался! Правда, с тех пор Троцкий многократно искупил свои грехи, если в таком искуплении имелась нужда; в 1920 году, на пятидесятилетие Ленина, Троцкий отдал ему дань в очерке, полном не только психологической проницательности, но и восхищения. Но так или иначе, разные эпизоды из прошлого напоминали тем, кто по отношению к основателю партии никогда не чувствовал ничего, кроме восхищения, что Троцкий пришел к большевизму, в сущности, совсем недавно.

Не только воспоминания о старых стычках мешали «старой гвардии» признать в Троцком своего человека. Его яркая личность не желала сливаться со «старой гвардией» и принимать ее защитную окраску. Троцкий возвышался над старыми «ленинцами» благодаря одной лишь силе разума и могучей воле. Обычно он приходил к заключениям, даже если те совпадали с выводами других, исходя из собственных предпосылок, совершенно по-своему и без оглядки на аксиомы, освященные партийной традицией. Тройкикой объявлял свое мнение с легкостью и свободой, составлявшими резкий контраст с тяжеловесным стилем ортодоксальных формулировок, которыми пользовалось большинство учеников Ленина, и выступал как человек, наделенный властью, а не просто партийный чиновник. Сама широта и разнообразие его интеллектуальных интересов возбуждали затаенные подозрения у тех, кто, вследствие необходимости, самотречения или по своей склонности, привык заниматься узкими политическими и организационными вопросами и гордился своей ограниченностью как добродетелью.

Таким образом, практически все черты Троцкого — его плодовитый ум, ораторская смелость, литературная оригинальность, административные способности и энергия, четкие методы работы, жесткие требования к сотрудникам и подчиненным, его независимость, отсутствие тривиальности и даже неспособность к пустым разговорам, — все это порождало у членов «старой гвардии» чувство неполноценности. Троцкий никогда не пытался снизить до их уровня, ему это даже не приходило в голову. Не то что он с готовностью терпел дураков — наоборот, обычно давал им почувствовать их глупость. Людям из «старой гвардии» всегда было гораздо проще с Лениным — признанным вождем, который обычно щадил их чувствительность. Например, когда Ленин нападал на какие-либо политические взгляды, разделявшиеся некоторыми из его сторонников, он старался не приписывать эти взгляды тем, кого надеялся переубедить; таким образом он всегда давал возможность отступить, сохранив лицо. Намереваясь переманить кого-либо на свою точку зрения, Ленин всегда говорил с ним так, что последний уходил в убеждении, что он сам, вследствие собственных размышлений, а не давления со стороны Ленина, пришел к новым взглядам. Троцкого мало интересовали такие тонкости; он почти никогда не мог устоять перед искушением напомнить дру-

гим об их ошибках и лишний раз доказать свое превосходство и предвидение.

Само это предвидение, пусть показное, но от этого не менее проницательное, носило наступательный характер. Беспокойный и изобретательный разум Троцкого стремился поразить, смутить и разозлить. Троцкий не позволял своим коллегам и подчиненным отдаваться на волю инерции обстоятельств и идей. Партия не успевала одобрить новую политику, как он уже выявлял ее «диалектические противоречия», видел ее последствия, предчувствовал новые проблемы и трудности и настаивал на новых решениях. Он был прирожденный возмутитель спокойствия. Его суждения в большинстве случаев оказывались верными, но неизменно порождали сопротивление. Та скорость, с которой работал его мозг, ошеломляла окружающих, изматывала их, вызывала в них негодование и отчуждение.

И все же, оставаясь почти чужаком в Москве, в Кремле и в «старой гвардии», Троцкий рядом с Лениным по-прежнему сохранял свое верховенство на революционной сцене.

В апреле 1922 года произошел инцидент, который сильно омрачил отношения Ленина и Троцкого. 11 апреля, на пленуме Политбюро, Ленин предложил назначить Троцкого заместителем председателя Совнаркома. Троцкий отказался занимать эту должность категорически и даже высокомерно. Ленин был раздражен как самим отказом, так и его формой; этот случай лишь подлил масла в огонь былой вражды, раскалывавшей Политбюро.

Ленин надеялся, что Троцкий согласится стать его заместителем во главе правительства. Это предложение он сделал через неделю после назначения Сталина Генеральным секретарем партии. Хотя считалось, что Генеральный секретарь лишь следит за исполнением решений Политбюро и ЦК, назначение Сталина было призвано поднять дисциплину в партии. Как мы знаем, Ленин уже требовал исключения вождей «рабочей оппозиции»; в ЦК ему не хватило всего одного голоса, чтобы набрать большинство в две трети, необходимое для такого решения. Он надеялся, что Сталин осуществит запрет на организацию внутрипартийной оппозиции, который провозгласил на закрытом заседании X съезда. В этих обстоя-

тельствах Генеральный секретарь почти неизбежно должен был получить широчайшие полномочия.

Ленин испытывал некоторые опасения по поводу назначения Сталина, но, пойдя на этот шаг, он, очевидно, решил в противовес назначить Троцкого на столь же влиятельную и ответственную должность в Совнарком. Возможно, он задумал такое распределение должностей между Сталиным и Троцким как средство отделить партию от государства, на необходимость чего настаивал на съезде. Для того чтобы это отделение состоялось, представлялось необходимым, чтобы работой государственного аппарата руководил столь же энергичный человек, как тот, что будет управлять партийным аппаратом.

Однако по плану Ленина Троцкий становился не единственным «вице-премьером». Ту же должность получали Рыков, возглавлявший также Высший совет народного хозяйства, и Цюрупа, нарком продовольствия. Позже Ленин предложил, чтобы и Каменев занял аналогичную должность. Каждый «вице-премьер» отвечал за отдельные сферы руководства или группы наркоматов. Но, хотя номинально Троцкому предлагали стать одним из трех или четырех «вице-премьеров», нет особых сомнений в том, что, по мысли Ленина, он становился вторым человеком в государстве. Не занимая никакой формальной должности, Троцкий в любом случае выполнял такую роль во всех областях управления исключительно по своей собственной инициативе, и предложение Ленина имело своей целью упорядочить и повысить его статус.

Какие надежды возлагал Ленин на то, что Троцкий займет эту должность, видно из того, что он снова и снова возвращался к этому вопросу и повторил свое предложение несколько раз на протяжении девяти месяцев. Впервые выдвинув его в апреле, он еще не был болен, и мысль о том, кто унаследует его руководство, вероятно, еще не приходила ему в голову. Но Ленин перетруился и устал. Он страдал от длительных бессонниц и был вынужден снять с себя часть ноши. В конце мая с ним случился первый удар, и он вернулся к работе лишь в октябре. Однако 11 сентября, еще больной, Ленин позвонил Сталину, несмотря на требование врачей соблюдать абсолютный покой, и попросил, чтобы вопрос о назначении Троцкого снова поставили перед Политбюро в самой настоятельной форме. Наконец, в начале декабря, когда вопрос о преемнике уже вызывал у Ленина серьезное беспокойство,

он снова поднял эту тему, на этот раз непосредственно в частном разговоре с Троцким.

Почему Троцкий отказался? Возможно, его гордость была задета назначением, формально ставившим его на один уровень с другими «вице-премьерами», которые были не более чем подчиненными Ленина. Он заявил, что не видит необходимости в таком количестве «вице-премьеров», и саркастически отозвался об их слабо определенных и взаимно пересекающихся полномочиях. Кроме того, Троцкий указал на различие между реальным и призрачным политическим влиянием и предположил, что Ленин предлагает ему призрачное. Все рычаги власти находились в руках партийного секретариата, т. е. в руках Сталина. Антагонизм между Троцким и Сталиным пережил Гражданскую войну. Он неизменно проявлялся в разногласиях по вопросам политики и в стычках по поводу назначений, проходивших в Политбюро. Троцкий не сомневался, что даже в качестве заместителя Ленина он на каждом шагу зависел бы от решений, принимаемых в Генеральном секретариате, который подбирал персонал из большевиков в различные правительственные учреждения и таким образом реально контролировал их. В этом отношении мнение Троцкого, как и мнение Ленина, было противоречивым: он хотел, чтобы партия, вернее, ее «старая гвардия» обладала исключительным контролем над правительством, но пытался не допустить, чтобы партийный аппарат вмешивался в работу правительства. Невозможно было одновременно осуществить и то и другое хотя бы потому, что «старая гвардия» и партаппарат в основном, но не полностью представляли собой одно и то же. Отклонив предложение Ленина, Троцкий сперва выдвинул собственный план по реорганизации правительства, но потом вынес убеждение, что никакой подобный план не приведет к желательным результатам, пока власть Генерального секретариата (и Оргбюро) остается неограниченной.

Как обычно, к политическим разногласиям примешивались личная вражда и административные соображения.

Сейчас главный предмет забот Политбюро составляла экономика. Общие контуры новой экономической политики не обсуждались. Все были согласны, что военный коммунизм не оправдал себя и что его следует заменить смешанной экономикой, в которой будет сосуществовать и в каком-то смысле

конкурировать друг с другом частный и социалистический (т. е. государственный) сектора. Все видели в нэпе не просто временную меру, а долговременную политику, обеспечивающую условия для постепенного перехода к социализму, и считали само собой разумеющимся, что нэп имеет двоякое назначение: его ближайшей целью было возрождение экономики с помощью частной инициативы, а основной целью — развивать социалистический сектор и обеспечить его постепенное расширение на всю экономику. Но если по поводу этих общих положений разногласий не было, проблемы возникали тогда, когда на смену общим принципам приходили конкретные меры. Некоторые вожди большевиков в первую очередь видели необходимость поощрять частное предпринимательство, в то время как другие, не отрицая этой необходимости, стремились прежде всего развивать социалистический сектор.

В первые годы нэпа преобладающим настроением была крайняя неприязнь к военному коммунизму. Большевики старались убедить страну, что возврата к военному коммунизму бояться не надо, и сами были убеждены в недопустимости такого возврата (разве что в случае войны). Не было более важной цели, чем поднять экономику из полных руин; большевики считали, что лишь крестьянин и частный торговец в состоянии *начать* этот процесс. Поэтому ни одна уступка крестьянину и торговцу не казалась чрезмерно либеральной. Результаты не замедлили последовать. Уже в 1922 году крестьяне собрали урожай в размере примерно трех четвертей от довоенного. Это радикальным образом сказалось на положении в государстве, так как в примитивной сельскохозяйственной стране один хороший урожай может сотворить чудеса. С голодом и эпидемиями было покончено. Но этот первый успех нэпа сразу же обнажил все опасности положения. Промышленность восстанавливалась очень медленно. В 1922 году она производила лишь одну четверть от предвоенного уровня, но даже это незначительное достижение произошло главным образом в легкой промышленности, в первую очередь на текстильных фабриках. Тяжелая промышленность оставалась парализованной. Страна сидела без угля, стали и машин. Это грозило новой остановкой легкой промышленности, которая не могла ремонтировать и обновлять свой станочный парк и страдала от нехватки топлива. Цены на промышленные товары взлетели, сделав их недоступными для потребителя. Рост

цен произошел вследствие громадного неудовлетворенного спроса, неполной загрузки предприятий, нехватки сырья и т. д., к тому же ситуация обострялась из-за нехватки у большевиков опыта руководства промышленностью и бюрократической неэффективности. Застой в промышленности угрожал неблагоприятно сказаться на сельском хозяйстве, снова разорвав еще очень непрочную связь между городом и деревней. Крестьянин не торопился продавать продовольствие, так как не мог купить на свои деньги промтовары. Уступки частному земледелию и торговле, при всей их необходимости, сами по себе не могли решить проблему. Не стоило ждать и того, что «рынок» сам все урегулирует и быстро исправит положение через механизм стихийного спроса и предложения, без ущерба для социалистических чаяний правительства.

Правительство не вполне понимало, как справиться с ситуацией. Оно жило лишь сегодняшним днем и предлагало паллиативы, но их выбор диктовался всеобщей усталостью от военного коммунизма. Вожди большевиков уже обожгли пальцы в безрассудной попытке запретить всякую рыночную экономику и теперь старались не вмешиваться в дела рынка. При военном коммунизме они без стеснения отбирали продовольствие и сырье у крестьян, и поэтому теперь в первую очередь пытались умиловить крестьянина. Вожди надеялись, что острый спрос на потребительские товары станет двигателем экономики, благодаря чему и тяжелая промышленность кое-как оправится. Такие же настроения проявлялись и в финансовой политике. При военном коммунизме предполагалось, что деньги и кредиты, презиравшиеся как реликты старого порядка, отомрут. Затем Наркомат финансов и Госбанк заново открыли значение денег и кредита и стали вкладывать свои ресурсы в предприятия, обещавшие немедленную прибыль, а не в те, что имели национальное значение. Они накачивали кредитами легкую промышленность и пренебрегали тяжелой промышленностью. До какого-то момента эта реакция на военный коммунизм была естественной и даже полезной. Но такие партийные вожди, как Рыков и Сокольников, отвечавшие за экономику и финансы, стремились довести эту тенденцию до крайностей.

Следует помнить, что по вопросам, связанным с провозглашением нэпа, Троцкий ни в чем не расходился с другими вождями. Он сам выдвигал принцип, лежащий в основе нэпа,

за год до того, как ЦК решился на смену курса; поэтому имел право частным образом укорять Ленина за то, что правительство занялось неотложными экономическими вопросами с опозданием в два или полтора года. Однако, будучи первым сторонником нэпа, Троцкий не доводил отрицание военного коммунизма до крайней степени. Он не был так склонен, как его коллеги по Политбюро, полагать, что дальнейших уступок крестьянам и торговцам будет достаточно для возрождения экономики и что автоматические механизмы рынка восстановят баланс между сельским хозяйством и промышленностью и между тяжелой и легкой индустрией. Не разделял он и энтузиазма Сокольников и Рыкова, заново открывших для себя положительные стороны ортодоксальной финансовой политики.

Эти разногласия не имели существенного значения в 1921 году и начале 1922 года, когда сельское хозяйство и частная торговля еще не пошли в рост. Но позже в правительстве разгорелись серьезные споры. Троцкий полагал, что первые успехи нэпа требуют срочного пересмотра промышленной политики и что крайне важно ускорить темпы восстановления промышленности. «Бум» в легкой промышленности имеет поверхностный характер и узкую основу, он не может долго продолжаться, если легкая промышленность не будет иметь возможности ремонтировать и обновлять станочный парк. (Сельское хозяйство также для своего развития нуждалось в машинах.) Поэтому необходимо сосредоточить все усилия для прорыва в тяжелой промышленности: правительство должно принять «всеобъемлющий план» для промышленности в целом, а не полагаться на действие рынка и спонтанную игру спроса и предложения. Следует выработать список экономических приоритетов с тяжелой промышленностью на первом месте. Ресурсы и рабочую силу следует рационально сосредоточить в тех государственных трестах, которые имеют ключевое значение для национальной экономики, в то время как предприятия, которые не могут внести быстрый и эффективный вклад в возрождение, должны быть закрыты, даже если их персонал временно останется без работы. Финансовую политику следует подчинить нуждам промышленной политики; в ее основе должны лежать национальные интересы, а не соображения прибыльности. Кредиты необходимо направлять в тяжелую промышленность, а Госбанк должен сделать дол-

говременные инвестиции в ее переоснащение. Подобная переориентация политики, настаивал Троцкий, тем более необходима вследствие резкой диспропорции между частным и социалистическим секторами. Частный бизнес уже получает прибыль, накапливает капитал и развивается, а большая часть государственных предприятий работает себе в убыток. Контраст между двумя секторами создает угрозу социалистическим направлениям правительственной политики.

Эти идеи, через тридцать—сорок лет нашедшие подтверждение, сперва казались слишком надуманными. Еще более надуманными выглядели настойчивые напоминания Троцкого о необходимости планирования. Идея о важнейшей роли планирования в социалистической экономике представляла собой аксиому марксизма, с которой большевики, конечно, были знакомы и в принципе всегда с ней соглашались. Во время военного коммунизма они воображали, что имеют возможность немедленно учредить полномасштабную плановую экономику, и Троцкий не встречал сопротивления, когда говорил о необходимости «единого плана» с целью обеспечить сбалансированную экономическую реконструкцию¹. Непосредственно перед отменой военного коммунизма, 22 февраля 1921 года, правительство решило создать Государственную плановую комиссию — Госплан. Но после введения нэпа, когда все усилия были направлены на возрождение рыночной экономики, идея планирования ушла в небытие. В умах людей она была так тесно связана с военным коммунизмом, что напоминания о ней казались совершенно несвоевременными. Правда, сразу же после провозглашения нэпа, 1 апреля 1921 года, Государственная плановая комиссия была учреждена, а ее главой назначен Кржижановский. Однако новое учреждение вело призрачное существование. Его полномочия были слабо определены, и мало кто горел желанием исправлять этот недостаток; оно не имело возможности вырабатывать долговременную политику, планировать и воплощать планы в жизнь. Госплан всего лишь выполнял роль советника при промышленном руководстве, решающем повседневные административные проблемы.

¹ Однако даже тогда Ленин писал в короткой и энергичной записке Кржижановскому: «Мы нищие. Голодные, разоренные нищие. Цельный, цельный... план для нас теперь — «бюрократическая утопия».

Троцкий едва ли не сразу начал критиковать такое положение дел. Он утверждал, что после перехода к нэпу нужда в планировании стала более, а не менее острой и что правительство не право, относясь к планированию как к маргинальному или чисто теоретическому вопросу. Именно вследствие наличия в стране рыночной экономики, указывал Троцкий, правительство должно стремиться к контролю за рынком и обладать средствами такого контроля. Он вновь потребовал создать «единый план», без которого, по его словам, невозможно рационализировать производство, сосредоточить ресурсы в тяжелой промышленности и восстановить баланс между различными секторами экономики. Наконец, Троцкий призывал четко определить prerogatives Госплана, чтобы тот стал полноценным планирующим учреждением, имеющим право оценивать производственные мощности, резервы рабочей силы и запасы сырья, на годы вперед устанавливать задачи для промышленности и обеспечивать «необходимую пропорциональность между различными ветвями национальной экономики». Уже 3 мая 1921 года Троцкий пишет Ленину: «К несчастью, наша работа по-прежнему ведется без плана и без понимания необходимости его, а плановая комиссия есть более или менее плановое отрицание необходимости практического и делового хозяйственного плана на ближайший период...»¹

Политбюро никак не отозвалось. Ленин был против. В соответствии с классической марксистской теорией Ленин полагал, что планирование может быть эффективным лишь при высокоразвитой и концентрированной экономике, а не в стране, где имелось двадцать с лишним миллионов мелких крестьянских хозяйств, разрушенная промышленность и варварски примитивные формы частной торговли. Ленин вовсе не отрицал необходимость долговременных планов развития. Он сам совместно с Кржижановским разработал план электрификации России и огласил его, снабдив знаменитым лозунгом: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация». Однако идею о «всеобъемлющем плане», охватывающем всю национализированную промышленность, он считал преждевременной и лишней. Троцкий заявлял, что даже ленинский план электрификации повиснет в пустоте, если не будет ос-

¹ В записке Зиновьеву Ленин отметил: «Настроение Троцкого вдвойне агрессивное».

нован на всеобъемлющем плане. «Каким образом, — спрашивал он, — можно планировать электрификацию, когда не запланировано производство техники для электростанций?» Троцкий тоже понимал, что в данных условиях то планирование, о котором говорит классическая марксистская теория, неосуществимо, поскольку теория имела в виду современное общество с высокоразвитыми и полностью социализированными производительными силами. Однако тот всеобъемлющий план, которого он добивался, должен был охватывать лишь государственные предприятия, а не частный сектор, и время для такого плана, по его мнению, уже вполне настало. Троцкий усматривал противоречие между национализацией промышленности и намерением правительства позволить всевозможным государственным предприятиям вести производство совершенно нескоординированным образом. «Национализация, — указывал он, — превратила всю промышленность в единый трест, которым невозможно эффективно управлять без общего плана»¹.

В то время это была смелая мысль, но еще смелее оказалась идея о «первоначальном социалистическом накоплении», которую Троцкий начал высказывать в 1922 году. Она представляла собой переработку одного из традиционных понятий марксизма об условиях социалистической революции в недоразвитой стране. Маркс называл «эпохой первоначального накопления» первый этап в развитии современного капитализма, когда нормальное накопление капитала едва началось и не приняло достаточно значительных масштабов, чтобы промышленность могла развиваться за счет собственных ресурсов, т. е. за счет прибыли. Ранняя буржуазия прибегала к насильственным, «надэкономическим» методам, стремясь сконцентрировать в своих руках средства производства; эти методы продолжали использовать до тех пор, пока капиталистическая промышленность не стала достаточно мощной и прибыльной, чтобы вкладывать крупные прибыли обратно в производство, создав тем самым в рамках собственной структуры основу для самоподдержания и развития. Захват земель мелкого крестьянства, ограбление колоний, пиратство, а впоследствии недоплата наемного труда — вот каковы основные источники этого первоначального накопления, которое в Англии, классической стра-

¹ См.: Троцкий Л. Сочинения. Т. 15. С. 215—232, 233—235.

не капитализма, продолжалось сотни лет. Лишь когда этот процесс заходит относительно далеко, наступает эпоха нормального накопления и «законные» прибыли создают главную, хотя и не единственную основу для крупномасштабных инвестиций и продолжения индустриализации.

В чем же должно было заключаться первоначальное социалистическое накопление? Марксистам никогда не приходило в голову, что социализм также может пройти через этап развития, аналогичный первоначальному накоплению при капитализме. Они всегда считали естественным, что социалистическая экономика вырастет на фундаменте современного индустриального богатства, накопленного буржуазным обществом, а затем национализированного. Но в России такого богатства было недостаточно, а после опустошений последних лет осталось и того меньше. Большевики, объявив своей целью социализм, обнаружили, что в России для него отсутствует материальная основа. Следовало ее заложить, прежде чем строить социализм. «Придется, — утверждал Троцкий, — заняться первоначальным накоплением, которое отличается от капиталистического тем, что в его основу будет положен принцип социалистической собственности».

Он вовсе не собирался заявлять, что социалистическое правительство может или должно прибегать к «кровавым и позорным» методам эксплуатации и грабежа, с которыми Маркс связывал первоначальное буржуазное накопление, или что социализм явится миру, как в свое время капитализм, — «запачканный с головы до ног кровью и грязью, сочащимися из всех пор». Однако без интенсивного и быстрого формирования капитала было не обойтись. Советская промышленность пока что не могла развиваться нормальным образом, вкладывая доходы в производство. По большей части она все еще работала в убыток, и даже при наличии прибыли ее совершенно не хватало, чтобы обеспечить ускоренную индустриализацию, это непременное условие социализма. Национальные фонды накопления можно было создать либо за счет доходов частного бизнеса и крестьянского хозяйства, либо за счет фонда заработной платы. Троцкий лишь некоторое время спустя стал настаивать на повышенном налогообложении нэпманов и богатых крестьян. В 1922 году он только весьма убедительно указывал, что экономика работает лишь за счет рабочих, и за их же счет ее можно реконструировать и развивать. Например, в октябре

он говорил на съезде комсомола: «Мы получили разоренную страну, и пролетариат, владеющий государством, вынужден пройти стадию, которую можно назвать стадией первоначального социалистического накопления. Мы не имеем возможности пользоваться той техникой, какая была до 1914 года. Она разрушена, ее приходится воссоздавать шаг за шагом в условиях рабочего государства, но путем колоссального напряжения живой рабочей силы». И снова: «К социализму можно прийти только путем величайших жертв и напряжения всех сил, крови и нервов рабочего класса».

Его призывы сразу же встретили отпор. Представители «рабочей оппозиции» уже заявляли, что нэп расшифровывается как «новая эксплуатация пролетариата», и эта острота стала своего рода лозунгом. Троцкий как будто нарочно подбирал аргументы для того, чтобы доказать и подчеркнуть истинность этого обвинения. Не пытается ли он на самом деле убедить рабочих покориться новой эксплуатации? Троцкий возражал, что об эксплуатации имеет смысл говорить лишь тогда, когда один социальный класс принуждают трудиться на благо другого класса. Он же просит рабочих трудиться ради их собственного блага. В худшем случае, говорил Троцкий, его можно обвинить в том, что он зовет их к «самоэксплуатации», так как призывает рабочих к «жертвам», чтобы те не жалели своей «крови и нервов» ради собственного пролетарского государства и социалистической промышленности.

Троцкий не в первый раз строил свою аргументацию на отождествлении рабочего класса с государством. В 1920-м и 1921 годах он на точно тех же основаниях выступал против независимости профсоюзов. У рабочих, говорил он, нет таких интересов, которые бы пришлось отстаивать перед лицом их собственного государства. Тогда Ленин ответил, что пролетарское государство, о котором говорит Троцкий, пока что остается абстракцией; оно еще не стало настоящим государством рабочих, ему нередко приходится искать баланс между рабочими и крестьянами, более того, оно подвержено бюрократическим извращениям. Рабочие обязаны защищать свое государство, но они также должны защищать от него себя. Троцкий опять утверждал, что интересы рабочего класса и его государства совпадают, и снова оказывался уязвимым для той же самой критики. Не призывает ли он рабочих взвалить на себя основную тяжесть первоначального социалистического накоп-

ления во имя абстрактной идеи? Не получит ли все выгоды бюрократия, а может быть, даже кулак и нэпман? И как осуществить первоначальное социалистическое накопление, если рабочий класс откажется брать на себя эту ношу? Этим вопросам в грядущие годы суждено было занимать умы многих людей. Сейчас же Троцкий ответил, что политику, которую он отстаивает, не следует и невозможно навязывать рабочим — ее следует выполнять лишь с их согласия. Поэтому основная проблема носит «просветительский характер»: рабочих следует ознакомить с тем, что необходимо и что требуется от них, так как без их готовности и социалистического энтузиазма ничего не получится. Он снова попытался сыграть на героической струнке рабочего класса, что ему удалось с невероятным успехом в 1919 году, когда белые армии угрожали Москве и Петрограду, и что он еще раз пытался сделать зимой 1920/21 года перед Кронштадтским мятежом, но тогда у него ничего не вышло. Следует отметить, что идея о первоначальном социалистическом накоплении на этом этапе не вызывала возражений в Политбюро, хотя большинство его членов старалось не компрометировать свою популярность, обращаясь к рабочим с откровенным призывом пожертвовать «кровью и нервами».

Таковы были основные экономические идеи, которые Троцкий выдвигал в первые годы нэпа, когда, по сути, играл роль предтечи советской плановой экономики. Он был не единственным ее основателем. Слова Троцкого отражали коллективное мышление небольшого кружка теоретиков и администраторов, близких к нему, хотя некоторые из них не одобряли его приверженности к жесткой дисциплине. По словам самого Троцкого, термин «первоначальное социалистическое накопление» первым пустил в оборот Владимир Смирнов, глава децистов, работавший в ВСНХ. Главным теоретиком этой идеи следует считать Евгения Преображенского: его работа «Новая экономика», опубликованная в 1925 году, отличается большей глубиной чисто теоретической аргументации, чем сочинения Троцкого; Преображенский, несомненно, в 1922—1923 годах представлял свои тезисы на обсуждение. Юрий Пятаков, идейный вдохновитель ВСНХ, также выступавший за единый экономический план, был встревожен состоянием тяжелой промышленности и критиковал кредитную политику Наркомата финансов и Госбанка. Безусловно, Троцкий многое позаимствовал у этих, а возможно, и у других людей. Но они были слыш-

ком поглощены теоретизированием или слишком погружены в управленческую работу и могли выдать лишь абстрактные трактаты или фрагментарные эмпирические заключения. Троцкий один преобразовал их идеи и выводы в политическую программу, которую отстаивал перед Политбюро и огласил в масштабах нации.

Ленин по-прежнему не горел энтузиазмом по поводу «единого плана» и «расширения полномочий Госплана». Он называл свой план электрификации «единственной серьезной работой в этой области» и отмахивался от «вялой болтовни о всеобъемлющем плане». Сталин поддерживал его; он делал все возможное, чтобы углубить раскол между Лениным и Троцким¹. Менее влиятельные вожди — Рыков и Сокольников — считали политику Троцкого подрывом их собственных позиций. Они скептически относились к планированию и решительно выступали против того, чтобы усилить роль Госплана, в своем кругу отмечая и готовясь выдвинуть публично обвинение, что Троцкий требует таких широких полномочий для Госплана, потому что надеется его возглавить; перестав быть военным диктатором страны, он решил стать ее экономическим хозяином. Мы не знаем, действительно ли Троцкий хотел возглавить Госплан. Но даже если и хотел, в этом пожелании не было ничего предосудительного. Он критиковал Кржижановского, начальника Госплана, за неэффективную работу, но свою кандидатуру никогда не выдвигал и отстаивал свою идею из интересов дела. Однако личные амбиции и зависть к чужим успехам вновь и вновь создавали помехи. Так, противники Троцкого заявляли, что Госплан с расширенными функциями станет конкурентом Совету труда и обороны, который возглавлял Ленин, а Троцкий был его заместителем. На пленуме ЦК 7 августа 1921 года Троцкий ответил, что, по его мнению, Совет должен заниматься высокой политикой, а задача Госплана — на основе решений Совета создавать конкретные экономические планы и следить за их исполнением. Однако ЦК не согласился с его доводами.

Параллельно с этими спорами продолжался конфликт по поводу Рабкринина — Рабоче-крестьянской инспекции. Главой Рабкринина с 1919-го по весну 1922 года был Сталин, после чего

¹ Сталин в письме к Ленину отзывался о Троцком с его идеями о планировании как о «средневековом ремесленнике, который воображает себя ибсеновским героем, призванным спасти Россию».

его назначили Генеральным секретарем, но он и впоследствии сохранял в Рабкрине большое влияние. Рабкрин имел широкие и разносторонние функции: ему предписывалось надзирать за моральным состоянием государственных служащих, без предупреждения инспектировать работу любого наркомата, оценивать эффективность всего административного аппарата и предписывать меры по ее поднятию. Ленин надеялся, что Рабкрин станет исполнять роль своего рода «супернаркомата», посредством которого госаппарат, не подлежащий демократическому контролю, сможет контролировать себя и поддерживать жесткую самодисциплину. В реальности же Сталин преобразовал Рабкрин в свою собственную полицию внутри правительства. Уже в 1920 году Троцкий критиковал Рабкрин, утверждая, что тот прибегает к путаным и неэффективным методам инспекции и все, что ему удастся, — вставлять палки в колеса государственной машины. «Нельзя, — говорил он, — создать отдельное ведомство, которое сосредоточило бы в себе, так сказать, государственную мудрость и было бы действительно способно проверять остальные ведомства... Каждое ведомство знает, что во всех тех случаях, когда приходится менять курс и производить серьезные организационные реформы, у Рабоче-крестьянской инспекции не приходится искать указаний. Более того, сама инспекция становится наиболее явной жертвой несоответствия между декретом и аппаратом и превращается в могущественнейший фактор волокиты — с одной стороны, самоуправства — с другой». В любом случае такому органу, как Рабкрин, «требуется широкий государственный и хозяйственный кругозор, более широкий, чем у тех, кто эту работу производит». Троцкий описывал Рабкрин как прибежище и теплое местечко для разочарованных бездарностей, изгнанных из всех прочих наркоматов и оторванных «от действительно творческого строительства». Он даже не раз упомянул Сталина, которого считал сверхбездарностью, поднявшейся к вершинам власти.

Ленин встал на защиту Сталина и Рабкрин. Доведенный до отчаяния неэффективностью и коррумпированностью государственного аппарата, он возлагал большие надежды на Рабкрин, и поэтому его раздражали выпады Троцкого, которые он считал личной вендеттой. Троцкий утверждал, что путаница, по крайней мере в экономических ведомствах, стала результатом дурной организации, которая, в свою очередь, отражала отсут-

ствие каких-либо руководящих принципов в экономической политике. Инспекции Рабкрина не могли ничего изменить — противоядие следовало искать в планировании и в реформированном Госплане. Кроме того, некомпетентность невозможно излечить шоковой терапией и запугиваниями, которым сталинский наркомат подвергал госаппарат. В отсталой стране, говорил Троцкий, с худшими традициями нецивилизованного и коррумпированного управления главной задачей является систематическое обучение персонала госаппарата и приучение его к цивилизованным методам работы.

Если учесть все эти разногласия, отказ Троцкого стать «вице-премьером» становится не столь удивительным. Он не мог, не противореча себе, занять должность, на которой пришлось бы претворять в жизнь экономическую политику, которая, на его взгляд, была лишена стержня, и управлять административным аппаратом, по его мнению, обладавшим врожденными изъянами. Когда летом 1922 года Ленин уговаривал его использовать эту должность для борьбы с бюрократическими злоупотреблениями властью, Троцкий отвечал, что источник наихудших злоупотреблений находится на самом верху партийной иерархии. Он сетовал на то, что Политбюро и Оргбюро недопустимым образом вмешиваются в работу правительства и принимают решения, касающиеся различных наркоматов, не удосужившись проконсультироваться даже с их руководителями. Поэтому тщетно бороться с самоуправством в госаппарате, пока это зло процветает в партии, не встречая сопротивления. Ленин не воспользовался намеком Троцкого. Он полагался на Сталина как на Генерального секретаря партии в не меньшей степени, чем как на главу Рабкрина.

Летом 1922 года возникли новые разногласия по поводу того, как Москва осуществляла контроль за нерусскими республиками и губерниями РСФСР. Большевики гарантировали этим республикам право на самоопределение, которое недвусмысленно подразумевало и право выйти из состава Федерации; эта гарантия была записана в Конституции 1918 года. В то же время они настаивали на строго централизованном управлении и на практике подавляли автономию нерусских республик. Следует напомнить, что еще в начале 1921 года Троцкий протестовал против захвата Грузии, главным сторонником которого был Сталин. Впоследствии Троцкий примирился со свершившимся фактом и даже оправдывал это завоевание в

специальной брошюре. Еще позже, весной 1922 года, он промолчал, когда на XI съезде видные большевики обвинили правительство Ленина в забвении принципа самоопределения и восстановлении старой «единой и неделимой» России. Однако вскоре после этого он сам высказал то же обвинение на закрытом заседании Политбюро; поводом для конфликта снова послужила Грузия и действия Сталина в этой республике.

Как нарком по делам национальностей, Сталин только что приказал запретить в Грузии партию меньшевиков. Когда ведущие грузинские большевики — Мдивани и Махарадзе — стали протестовать, он попытался запугать их и заглушить их протесты. Действия Сталина при этом вполне соответствовали общему направлению большевистской политики; если можно запретить меньшевиков в Москве, то почему бы не сделать того же и в Тифлисе? Троцкий одобрял этот запрет в России, но возражал против его распространения на Грузию. Он указывал, что российские меньшевики вследствие своих контрреволюционных настроений дискредитировали себя, а грузинские пока что пользуются широкой народной поддержкой. Это было вполне верно, но такая аргументация сохраняла убедительность лишь в том случае, если бы большевики по-прежнему строили свою власть на основе пролетарской демократии. Троцкий же сам признавал, что большевики в интересах революции имеют право на политическую монополию вне зависимости от того, поддерживает ли их народ, и поэтому его доводы прозвучали несколько натянуто. Лишь один шаг отделял от создания однопартийной системы до преследования тех грузинских большевиков, которые сопротивлялись ей, хотя это был шаг от логики к абсурду. Сталин, пытаясь запугать Мдивани и Махарадзе, впервые подверг репрессиям членов большевистской партии. Кроме того, он серьезно скомпрометировал политику большевиков по отношению к нерусским народностям — ту политику, вдохновителем которой сам являлся и которая своей широтой вызывала у большевиков чувство глубокой гордости.

В ходе самозащиты Мдивани и Махарадзе выступили против ультрацентралистского принципа сталинской политики. Какое право, спрашивали они, имеет московский наркомат принимать решения относительно политической жизни в Тифлисе? Где же самоопределение? Разве это не значит, что

малые народности снова загоняются в Российскую империю, «единую и неделимую»? Это были весьма уместные замечания, тем более что одновременно Сталин готовил новую конституцию, носившую куда более централистский характер, чем Конституция 1918 года; права нерусских народностей в ней урезались и сокращались, а Советская Федерация республик преобразовывалась в Советский Союз. Грузины, украинцы и прочие выражали протесты и против этой конституции.

Когда эти протесты прозвучали на Политбюро, Троцкий поддержал их. Сейчас он убедился в опасениях, которые ранее вынуждали его выступать против захвата Грузии. В поведении Сталина он усматривал скандальное и вопиющее злоупотребление властью, которое доводит централизм до опасных крайностей, оскорбляет достоинство нерусских национальностей и дает им понять, что «право на самоопределение» — обман. Сталин и Орджоникидзе подготовили обвинительный акт против Мдивани и Махарадзе, в котором утверждали, что эти «национал-уклонисты» противились введению советских денег в Грузии, отказывались сотрудничать с соседними кавказскими республиками, делиться с ними скудными запасами продовольствия и в целом действовали в духе националистического эгоизма к ущербу для Советской Федерации в целом. Если эти обвинения были правдивыми, подобное поведение членов партии являлось недопустимым. Но Троцкий не верил в истинность обвинений. Ленин и большинство членов Политбюро принимали этот конфликт за семейную ссору между двумя группировками грузинских большевиков и полагали, что для Политбюро самое разумное — согласиться с точкой зрения Сталина. Сталин был экспертом Политбюро по этим вопросам, и Ленин не видел оснований подозревать, что именно Сталин, автор знаменитого трактата «Марксизм и национальный вопрос», этого классического призыва к самоопределению, станет злонамеренно оскорблять национальное достоинство своих соотечественников. Ленину снова казалось, что за поступками Троцкого кроется личная вражда или тот «индивидуализм», который заставлял его идти против Политбюро во многих других случаях. Вернувшись к делам в октябре 1922 года, Ленин первым делом позаботился выразить упрек Мдивани и Махарадзе и поддержать авторитет Сталина.

При изучении этих дискуссий в Политбюро и той роли, которую играл в них Троцкий, поражаешься тому, насколько сам Троцкий изменился всего лишь за год. В первой половине 1922 года он по-прежнему выступает главным образом как сторонник большевистской дисциплины, а во второй половине года уже конфликтует с бывшими единомышленниками. Эта перемена проявляется во многих его заявлениях, но она вырисовывается наиболее ярко, если вспомнить, что в начале года Троцкий от имени Политбюро заклеил «рабочую оппозицию» перед лицом партии и Коминтерна. К концу же года он сам становится выразителем тех взглядов, которых ранее придерживалась оппозиция (и децисты). Именно «рабочая оппозиция» первой выразила недовольство рядовых большевиков нэпом и говорила о необходимости придать нэпу социалистическую перспективу. Именно «рабочая оппозиция» первой выступила с критикой новой бюрократии, протестуя против злоупотреблений властью и требуя отменить новые привилегии. Именно эта оппозиция и децисты первыми восстали против чрезмерной власти партаппарата и призвали к восстановлению внутрипартийной демократии. Троцкий сперва выразил им резкий упрек, предупредив, что большевики ни в коем случае не должны противопоставлять себя вождям партии, называя себя «мы», а их — «они». Однако в течение 1922 года он, похоже, воспринял большинство их идей и проникся настроениями, которые вынуждали его выступать против большинства в Политбюро по схеме «мы» и «они». Действительно, дело выглядело так, будто в процессе обуздания «рабочей оппозиции» Троцкий перешел на ее точку зрения и стал самым видным из ее сторонников.

На самом деле все это время ему не давала покоя дилемма, которая занимала и партию, как таковую, — только Троцкий размышлял над ней более напряженно, чем другие. Речь идет о дилемме власти и свободы. Троцкий почти в равной мере прислушивался к требованиям и той и другой. Пока революция вела борьбу не на жизнь, а на смерть, он ставил власть на первое место. Он провел централизацию Красной армии, милитаризовал труд, старался подчинить профсоюзы государству, заявляя о необходимости сильной, но цивилизованной бюрократии, не считался с пролетарской демократией и содействовал разгрому внутрипартийной оппозиции. Но даже на этом этапе «социалистический вольнодумец» продол-

жал жить в нем и подавал голос, и даже в самых жестких призывах к дисциплине слышалась, подобно контрапункту, мощная идея социалистической свободы. В самых безжалостных поступках и самых суровых словах Троцкого еще пылал огонь гуманизма, который отличал его от большинства прочих борцов за дисциплину. Троцкий уже на самом первом этапе революции обвиняющим перстом указывал на «нового бюрократа» — необразованного, подозрительного и надменного, представляющего собой «погибельный балласт и настоящую угрозу делу коммунистической революции», тому делу, которое «полностью оправдывает себя тогда лишь, когда каждый труженик и труженица почувствуют, что их жизнь стала легче, свободнее, чище и достойнее».

Окончание военных действий обострило конфликт между властью и свободой в коммунистическом движении, а также в душе Троцкого. «Рабочая оппозиция» и близкие к ней группировки воплощали в себе неприязнь к власти. Троцкий выступил против них вследствие своего глубокого понимания жизненных реалий. Он не мог так просто отмахнуться от этих реалий, вызвавших к твердой руке, но не мог и сохранять спокойствие, когда видел, как ликвидируется свобода — социалистическая свобода. Перед ним стояла реальная дилемма, в то время как «рабочая оппозиция» замечала лишь одну из ее сторон и цеплялась за нее. Троцкий пытался восстановить баланс между большевистской дисциплиной и пролетарской демократией; и чем больше баланс склонялся в пользу первой, тем настойчивее Троцкий поддерживал последнюю. Решительные сдвиги, нарушившие баланс, произошли в 1921—1923 годах, и именно в эти годы требования внутрипартийной демократии постепенно перевесили в Троцком требования дисциплины.

Однако он не стал простым «свободолюбом», которого возмущают поползновения властей. Троцкий оставался большевистским *государственником*, как и прежде, убежденным в необходимости централизованного государства и сильного партийного руководства, так же неустанно заботящимся об охране их прерогатив. Он нападал не на сам принцип прерогатив, а на злоупотребления ими. В его самых резких выпадах против бюрократии и в самых возвышенных призывах к внутрипартийной демократии по-прежнему пробивались отчетливые дисциплинарные нотки. Сознывая, что «бюрократизм есть эпоха в развитии человечества» и что все беды бюрократии про-

являются «в отношении обратной пропорциональности с развитостью масс, с их культурным уровнем, политической сознательностью», Троцкий старался не вызвать ни у кого иллюзии, что от этих бед возможно избавиться одним махом. Однако он пока не выступал против бюрократии, как таковой, а скорее пытался найти в ее прогрессивных и просвещенных представителях союзников по борьбе с отсталыми и деспотическими элементами и надеялся, что первые вместе с передовыми рабочими способны обуздать, переобучить, а если надо, то и ликвидировать последних. Троцкий несомненно переменил свою точку зрения, сблизился с «рабочей оппозицией» и родственными группировками, неявно признавая рациональную сторону их бунта против власти, но, в отличие от них, он не стал работником этого бунта. Троцкий не просто «отвергал» бюрократию. Перед ним по-прежнему стояла реальная дилемма, но по-другому, чем прежде, и повернувшись другой стороной.

Именно по этой причине невозможно точно обозначить перемену во взглядах Троцкого и более четко определить, что ее вызвало и когда она произошла. Причиной этой перемены не являлось никакое конкретное событие, она не произошла в какой-либо конкретный момент. Политика Политбюро по многим вопросам отходила от пролетарской демократии в сторону тоталитарного государства. Одновременно менялись и взгляды Троцкого — но в противоположном направлении. Он начал протестовать против крайностей централизма, когда те стали проявляться, начал отстаивать права малых наций, когда их права стали нарушаться, вступил в борьбу с партийным аппаратом, когда этот аппарат оказался неподвластен партии и подчинил себе и ее, и государство. Поскольку процессы, против которых он выступал, развивались постепенно и неочевидным образом, его реакция также была постепенной и неоднозначной. Троцкий ни разу не ощущал необходимости в резком пересмотре своих взглядов, потому что сейчас, в антибюрократической фазе, он говорил то же самое, что и в дисциплинарной фазе, хотя не столь подчеркнуто и в ином контексте. Он перешел из одной фазы в другую, практически не заметив этого.

Среди всех сдвигов в политике оставался один относительно стабильный вопрос — соперничество между Сталиным и Троцким. Как мы помним, оно проявлялось даже в ходе Гражданской войны; его порождал почти инстинктивный антаго-

низм темпераментов, происхождения, политических склонностей и личных амбиций. Сталин в этом соперничестве играл активную и наступательную роль — его оскорбляла второстепенность занимаемой им должности. Троцкий далеко не сразу осознал это соперничество и включился в него, предпринимая ответные шаги, с большой неохотой. До сих пор это соперничество не всплывало на поверхность, так как мешало влияние Ленина; и ему не придавали сколько-нибудь серьезного значения, так как еще не отождествляли его с каким-либо явным конфликтом политических воззрений и интересов. Такое отождествление началось в 1922 году. В качестве управляющего партийным аппаратом Сталин, некоторое время пользуясь поддержкой Ленина, начал представлять власть во всех ее крайностях, силой навязывать свои притязания и добиваться повиновения. Тогда и стал принимать форму глубокий конфликт политики и интересов, вобравший в себя личный антагонизм, который даже оставался в фокусе этого конфликта до тех пор, пока его не задвинул на задний план, при этом усилив, более широкий конфликт.

Описание дискуссий, в ходе которых Троцкий выступал против Ленина, Сталина и большинства Политбюро, может породить одностороннее впечатление о его реальной позиции в большевистском руководстве. Биограф обязан пролить свет на события и ситуации, из которых выросла последующая борьба Троцкого со Сталиным и которые, следовательно, оказали важнейшее влияние на его судьбу. Однако эти события и ситуации не имели такого же значения в глазах современников. Кроме того, описанные здесь разногласия не оказали особенно большого влияния на положение Троцкого среди большевистских вождей, особенно на его отношения с Лениным. Дискуссии ограничивались стенами Политбюро. Партия и страна не имели о них представления. В глазах публики имя Троцкого по-прежнему стояло рядом с именем Ленина, а в глазах мира он оставался одним из главных вдохновителей большевистской политики. И по правде говоря, его разногласия с Лениным с точки зрения их совместной работы не перевешивали прочного и тесного согласия по несравненно более широкому кругу внутренних и внешних вопросов.

В качестве наркомвоенмора Троцкий пользовался полной поддержкой Ленина. Даже после Гражданской войны Троцкому пришлось бороться с «военной оппозицией», которая и раньше нападала на его политику. Тухачевский по-прежнему пытался заручиться поддержкой партии для осуществления своей излюбленной идеи об Интернациональном Генштабе Красной армии. Фрунзе и Ворошилов, поощряемые Зиновьевым и Сталиным, все так же старались получить официальную санкцию для своей концепции «пролетарской стратегии» и «наступательной военной доктрины». Эти вопросы оказались достаточно важными, чтобы разобрать их на специальном закрытом заседании XI съезда. Троцкий добился окончательного отклонения требований своих оппонентов; на руку ему сыграла и поддержка Ленина с его авторитетом. Ленин привык так высоко ценить военную деятельность Троцкого, что почти автоматически соглашался с его суждениями в этой сфере. В качестве иллюстрации можно привести любопытный случай. После Кронштадтского мятежа Ленин предложил Троцкому затопить или законсервировать Балтийский флот. Матросы, заявляя он, ненадежны, флот бесполезен и поглощает уголь, продовольствие и одежду, в которых отчаянно нуждается страна; следовательно, его роспуск принесет одни выгоды. Троцкий выступил против. Он был полон решимости сохранить флот в уверенности, что сумеет реорганизовать его и поднять у моряков воинский дух. Вопрос решался крайне неформальным образом, посредством записочек, которыми Троцкий и Ленин обменивались на заседании Политбюро (21 марта 1921 года). Ленин согласился с доводами Троцкого, и флот был спасен.

Ленин также неоднократно выказывал перед партией и Коминтерном свое уважение к Троцкому как к истолкователю марксизма; кроме того, он всецело поддерживал то выдающееся влияние, которое Троцкий играл в культурной жизни России (об этой стороне деятельности Троцкого речь пойдет в следующей главе). Оба они отвергали амбиции шумных группировок писателей и художников, особенно Пролеткульта, претендовавших на главенство в «пролетарской культуре» и «пролетарской литературе». В вопросах просвещения, которые после окончания Гражданской войны считались предметом особой важности, и во всех вопросах, связанных с пропагандой марксизма, оба призывали к осторожности и тер-

пимости, оба жестко критиковали грубый подход, самонадеянность и фанатизм, которые начали проявляться у влиятельных членов партии.

Наконец, Троцкий оставался чрезвычайно активен во внешней политике, постоянно выдвигая новые инициативы. Решение по важным вопросам дипломатии принимал маленький комитет, состоявший из Ленина, Троцкого и Каменева; в дискуссиях также приглашали участвовать наркома иностранных дел Чичерина, а нередко и Радека. В тот момент усилия советской дипломатии были направлены на укрепление мира и установление отношений с буржуазной Европой. Как мы помним, Троцкий воспользовался всем своим влиянием, чтобы добиться окончательного заключения мира с Польшей в 1921 году — мира, к которому Ленин не очень стремился. Точно так же Троцкий изо всех сил старался получить согласие Политбюро на демаркацию границ и на заключение мира с малыми Прибалтийскими республиками. Уже в 1920 году Троцкий уговаривал Ленина пойти на уступки Великобритании, но его совету последовали лишь некоторое время спустя. Но самая важная инициатива Троцкого в сфере дипломатии приходится на начало 1921 года, когда он предпринял ряд смелых и чрезвычайно тонких шагов, которые в итоге привели к заключению Рапальского договора с Германией — безусловно, самого выдающегося достижения советской дипломатии за два десятилетия между Брест-Литовским миром и советско-германским соглашением 1939 года.

В качестве наркомвоенмора Троцкий старался оснастить Красную армию современным оружием. На советскую военную промышленность, отсталую и разоренную, надежд не было. Через своих агентов за границей Троцкий приобретал вооружение где только мог, даже в США. Но эти закупки носили случайный характер, а Красная армия попадала в опасную зависимость от иностранных поставок. Троцкий намеревался построить в России с зарубежной помощью современную оборонную индустрию. Но вставал вопрос — откуда получить такую помощь? Буржуазия какой страны согласится вкладывать деньги в усиление военной мощи коммунистического государства? Имелась единственная страна, к которой можно было обратиться с надеждой на успех, — Германия. Согласно Версальскому договору Германии запрещалось производить оружие. Ее оружейные заводы, самые

современные в Европе, простаивали. Не соблазнятся ли их хозяева поставить оборудование и оказать технологическое содействие, если это предприятие покажется им достаточно привлекательным? В начале 1921 года Виктор Копп, бывший меньшевик, когда-то работавший в венской «Правде», от имени Троцкого наладил тайные контакты с крупными концернами «Крупп», «Блом унд Фосс» и «Альбатрос Верке». Уже 7 апреля 1921 года он докладывал, что эти концерны готовы к сотрудничеству и согласны продавать оборудование и технологию, необходимые для производства в России самолетов, подводных лодок, пушек и прочего вооружения. В течение всего года между Москвой и Берлином курсировали посланники; Троцкий информировал Ленина и Чичерина о каждом этапе процесса. Политбюро уполномочило его продолжать переговоры в строжайшем секрете, и он держал все нити в своих руках во время подготовки к подписанию Рапалльского договора, пока не настал момент выйти на сцену дипломатам.

Пока шли переговоры, масштаб сделок расширялся. В Германии стояла без дела не только оружейная промышленность. Незанятым оказался также старый блестящий офицерский корпус. Его представители были рады заняться обучением русских солдат и летчиков; в обмен они получили разрешение секретно тренировать в России германские военные кадры, чего не имели права делать на родине. Так был заложен фундамент для длительного сотрудничества между рейхсвером и Красной армией, которое продолжалось еще десять лет после отставки Троцкого с его должности и внесло значительный вклад в модернизацию советских вооруженных сил перед Второй мировой войной.

Однако вплоть до весны 1922 года все эти шаги еще были нерешительными; колебания сохранялись и в Москве, и в Берлине, так как и там и там дипломаты по-прежнему надеялись на примирение со странами Антанты на предстоящей Генуэзской конференции — первом международном мероприятии, на которое были приглашены и Германия, и Советский Союз, изгой дипломатии. И лишь когда эти надежды угасли, был заключен Рапалльский договор. Он представлял собой скорее трезвую и деловую сделку, нежели подлинный союз. Стремясь в ходе уступок приобрести для себя как можно больше, большевики, как правило, старались не поощрять в

Германии ревизионизм и реваншистские поползновения, хотя сами они с самого начала принципиально отвергали Версальский договор, пока их правительство не было признано даже Германией и пока были еще свежи воспоминания о Брест-Литовском мире.

Троцкий, в частности, стремился предотвратить какие-либо связи советской политики с германским национализмом. И до и после Рапалло он стремился улучшить отношения России с Францией. Осенью 1922 года он принял в Кремле Эдуарда Эррио, который в качестве вождя левого блока вскоре стал французским премьер-министром. Эррио подробно описывает этот визит и вспоминает ту убежденность, с которой Троцкий выступал за улучшение отношений между двумя странами. Он заверял Эррио, что лишь слепая враждебность Антанты вынудила Россию договариваться с Германией сперва в Брест-Литовске, а затем в Рапалло и что Рапальский договор не содержит статей, направленных против Франции. Он ссылался на якобинские традиции во Франции и призывал французских политиков и французское общественное мнение постараться понять русскую революцию. «Пока Троцкий говорил о сходстве якобинства и большевизма, — вспоминает Эррио, — мимо прошел отряд красноармейцев, распевая по-французски «Марсельезу», и через открытое окно в зал влетели слова «*Nous saignons mourir pour la liberté*»¹.

То значение, которое отныне дипломатия приобрела в советских делах, было связано с поражением коммунистического движения за пределами России. В Европе волна революции шла на спад, и Коминтерн оказался на мели. За его партиями следовало лишь меньшинство европейского рабочего класса, и они были слишком слабы, чтобы предпринимать лобовую атаку на буржуазный строй хотя бы с минимальными шансами на успех. Тем не менее большинство коммунистических партий не желали признавать поражение. Они были склонны полагаться на собственную силу и продолжали инспирировать восстания и путчи в надежде, что при достаточной настойчивости удастся увлечь за собой большинство рабочих. Переориентация Коминтерна давно назрела, и этим

¹ Мы сумеем умереть за свободу (фр.).

совместно занялись Ленин с Троцким. В отношении Интернационала они работали в тесном и сплоченном партнерстве, которое, насколько можно судить, ни разу не было поколеблено ни малейшими разногласиями¹.

Ни Троцкого, ни Ленина не покидала глубокая вера в то, что Октябрьская революция в России открыла эпоху всемирной пролетарской революции; Троцкий цеплялся за это убеждение в течение следующих двух десятилетий, до конца жизни. Но сейчас он начал понимать, что классовая борьба вне России будет более сложным и длительным делом, чем сперва представляли себе и он и прочие. Отныне Троцкий не был абсолютно убежден в ее итоге и стремился рассеять самонадеянность, проистекавшую из такого убеждения, и «ультралеваяцкие» иллюзии в Коминтерне. Так, в июле 1921 года он обрушился с резкой критикой на тех коммунистов, которые считали приход социализма неизбежным. Такая вера в predeterminedность исторического процесса, утверждал он, основана на «механистической» интерпретации марксистского подхода к истории:

«Человечество не всегда двигалось снизу вверх... Бывали длительные периоды застоя и рецидивы варварства. Общества поднимались вверх, достигали известного уровня, но на такой высоте не могли удержаться... Человечество не стоит на месте, его равновесие, вследствие классовой и национальной борьбы, неустойчиво; если нельзя двигаться вверх, общество падает вниз, и, если нет класса, который поднял бы его выше, распадается и открывает дорогу варварству».

Именно в этом состояла главная причина гибели античных цивилизаций — в разложении правящих классов в Риме и Греции; а эксплуатируемые классы, рабы, были от природы не способны на революционную борьбу и политическое лидерство. Их судьба должна служить предупреждением нашей эпохе. Загнивание буржуазного строя несомненно. Правда, американский капитализм по-прежнему представляет собой динамичную и развивающуюся силу, хотя даже в США социализм уже мог бы более рационально и с большей пользой для общества разрабатывать ресурсы нации, чем капитализм. Но европейский капитализм исторически исчерпал свои возмож-

¹ Из всех советских вождей лишь Ленин и Троцкий были избраны почетными председателями на III конгрессе Коминтерна.

ности. Он не способен серьезно развивать производительные силы. Он не играет никакой прогрессивной роли. Он не может открыть новые горизонты. Если бы это было не так, сама мысль о пролетарской революции в наше время была бы донкихотством. Но хотя европейский капитализм деградирует, буржуазный строй не рухнул и не рухнет сам собой. Его следует разрушить, что способен сделать лишь рабочий класс в ходе революции. Если рабочий класс потерпит поражение, то оправдается мрачное предсказание Освальда Шпенглера, сделанное им в «Закате Европы». История бросает рабочим вызов, как бы говоря им: «Вы должны знать, что если не победите буржуазию, то погибнете под обломками цивилизации. Постарайтесь исполнить свой долг!»

Пока же европейскому капитализму удалось выдержать потрясение мировой войны и послевоенных кризисов. Собственные классы Западной Европы извлекли урок из русской революции: они не позволят застать себя врасплох, подобно царизму; они мобилизовали все свои ресурсы и стратегические идеи. Симптомом этой мобилизации является возникновение фашизма — Троцкий говорил это в 1922 году, в год похода Муссолини на Рим; имеется и опасность, добавлял он, что к власти может прийти и «немецкий Муссолини».

Все это служило серьезным предупреждением дальнейшему ходу социалистической революции. Само ее развитие, с неожиданной последовательностью этапов, которую не могли предвидеть ранние марксисты, может оказаться невыгодным для социализма. Пролетарские революции принесли бы максимум результата, если бы произошли сперва в США или хотя бы в Великобритании, в условиях высокоразвитых производительных сил. Вместо этого революция победила в России, где существовали лишь ограниченные возможности для демонстрации ее преимуществ. Еще более худшие условия существуют в более отсталых, чем Россия, странах Азии и Африки. Вследствие этого Троцкий делает меланхоличное замечание о том, что «история этот клубок разматывает... с другого конца», то есть с наименее созревших стран.

Троцкого все еще не оставляла надежда, что «клубок» все же станет разматываться и с западного, европейского конца. Задержка революции, мобилизация контрреволюционных сил, перспектива тупика в классовой борьбе и заката европейской цивилизации были для него не неизбежностями, которые сле-

дует принимать с фатализмом, а опасностями, которые нужно учитывать и предотвращать. Шансы на победу революции до сих пор чрезвычайно высоки, но многое зависит от настрое коммунистических партий. Именно их долг — вывести европейское общество из тупика. Они должны бороться за лидерство, но преуспеть в этой борьбе смогут лишь в том случае, если станут воинствующими и сознательными партиями, сведущими в стратегии и тактике революции и привыкшими подчиняться жесткой интернациональной дисциплине для согласования своих усилий. Они обречены на поражение, если останутся лишь радикальной разновидностью прежних социал-демократических партий, если будут питать иллюзии по поводу буржуазного парламентаризма и если ограничат свою работу рамками национальной политики. Но они потерпят неудачу и в том случае, если отойдут от социал-демократических традиций и превратятся в узкие, замкнутые секты, закосневшие в мировоззрении и в тактике, если ограничатся чисто негативным и бесплодным бойкотом институтов буржуазного общества вместо того, чтобы распространять революционные идеи даже в рамках этих институтов, и если и дальше будут штурмовать бастионы капитализма, не учитывая всех обстоятельств и баланса сил.

Коммунистическим партиям не сразу представится возможность совершить революцию. Их задача — копить силу и привлечь на свою сторону большинство рабочих, без поддержки которых революция никогда не победит.

Вместе с Лениным Троцкий разрабатывал тактику «единого фронта»¹. Суть ее была в следующем: коммунистические партии, еще слишком слабые, чтобы разрушить существующий строй, должны стать самыми активными участниками в повседневной борьбе рабочих за повышение заработной платы, сокращение рабочего дня и демократические свободы. При этом следует не разменивать идею социализма на мелкую монету тред-юнионизма и парламентских реформ, а вносить в борьбу за «частичные требования» собственный революционный дух и задачи. Рабочие должны понять, как ничтожны все те уступки, которые они могут вырвать у капита-

¹ Троцкий представил доклад «Мировой кризис и новые задачи Коминтерна» на втором заседании конгресса 23 июня 1921 г. Доклад «О тактике» представил Радек вместо Зиновьева, который склонялся к «уль-тралевацкой оппозиции».

лизма, и сплотиться, даже в ходе борьбы за эти уступки, для решающей битвы. Социал-демократы управляют борьбой за «частичные уступки» таким образом, чтобы сдерживать воинствующую энергию рабочих в рамках капитализма; они прибегают к реформам, чтобы отвлечь пролетариат от революции. Напротив, коммунисты должны воспользоваться реформами как трамплином для революции.

Но поскольку коммунисты должны бороться за частичные уступки и реформы, у них появляются основания, пусть самые узкие, для союза с социал-демократами и умеренными тред-юнионистами. Следует вместе с ними предпринять совместные действия в рамках единого фронта. Для этого следует преодолеть по крайней мере одно опасное последствие фундаментальных и неизбежных разногласий между реформизмом и коммунизмом, а именно раскол рабочего класса и распыление его энергии. Выступая по отдельности, коммунисты и реформисты должны наносить совместные удары по буржуазии всякий раз, когда она им угрожает или есть надежда вырвать у нее уступки. Совместную работу следует продолжать в парламентах и на выборах, во время которых коммунисты должны быть готовы к поддержке социал-демократов. Но главная область борьбы единого фронта лежит за пределами парламентов — в профсоюзах, на заводах и «на улице». Коммунисты должны преследовать двойную цель: стараться закрепить непосредственные успехи единого фронта и вместе с тем утверждать собственную точку зрения в рамках единого фронта с целью отучить социал-демократических рабочих от реформистского образа мысли и развивать в них революционную сознательность.

Ленин выдвинул эти идеи уже в 1920 году в работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», где описывал тот вред, который причинило коммунизму неразумное ультрарадикальное сектантство. Необходимость самым жестким и формальным образом заклеить «ультрарадикализм» остро дала о себе знать после германского мартовского восстания в 1921 году. Именно тогда Ленин выступил с предложением о новой политике на Исполкоме Коминтерна, но столкнулся с сильным противодействием в лице Зиновьева, Бухарина, Белы Куна и других. В какой-то момент даже казалось, что ультрарадикалы одержат верх, и лишь после оживленных дискуссий, в ходе которых Ленин и Троцкий объединили свои усилия против оппо-

зиции, им удалось убедить Исполком дать добро на политику «накопления сил» и уполномочить их обоих выступить с разъяснением этой политики на грядущем конгрессе Коминтерна¹.

На конгрессе в июле 1921 года ультрарадикалы дали бой. Они пользовались большим влиянием в немецкой, итальянской и голландской партиях, черпая свою силу из мощного эмоционального течения, пронизывавшего весь Коминтерн. Коммунистические партии возникли в ходе отчаянной борьбы против вождей старых социалистических партий, которых обвиняли в поддержке «империалистической бойни» 1914—1918 годов, последующем подавлении революции в Европе, в убийстве Розы Люксембург и Карла Либкнехта и в двусмысленном отношении к европейской интервенции в России. Неудивительно, что многих коммунистов охватило недоумение и негодование, когда они услышали, как Ленин и Троцкий призывают их хотя бы временно признать поражение и вступить в сотрудничество с ненавистными «социал-империалистами» и «социал-предателями». Это для ультрарадикалов означало капитуляцию и даже предательство. На конгрессе, как и ранее на Исполкоме, Троцкому и Ленину пришлось призвать на помощь все свое влияние и красноречие, чтобы преодолеть сопротивление оппозиции, — они даже грозили расколом Коминтерна, если тот поддержит ультрарадикалов.

Конгресс проголосовал за новую политику, но с мысленными оговорками и без ясного понимания соответствующих вопросов. Ленин и Троцкий поставили компартиям двойную задачу — бороться рука об руку с реформистами против буржуазии и вырвать у реформистов влияние на рабочий класс. В идее единого фронта воплощался весь тактический опыт большевиков, которые сами сражались сперва против царизма, потом против кадетов, потом против Корнилова вместе с

¹ На Исполкоме Ленин выступил с речью, в которой заявил о своей полной солидарности с Троцким, и подверг резким нападкам Бела Куна, главного оратора ультралевых, по некоторым сообщениям обозвав его дураком. В частности, Ленин сказал: «Я пришел сюда, чтобы выразить протест против слов Бела Куна, который выступил против товарища Троцкого, вместо того чтобы защитить его, что ему следовало бы сделать, если бы он хотел поступить как истинный марксист... Товарищ Троцкий тысячу раз прав... Я считаю своим долгом поддержать все самые существенные моменты из сказанного товарищем Троцким». Кроме того, Ленин поддержал Троцкого в столкновении с Кашеном и Фроссаром, которые на конгрессе представляли крайнее правое крыло.

меньшевиками и эсерами, образовав подобие единого фронта, пока в конце концов не одержали верх и над ними. Успех большевизма был обеспечен не только изобретательностью его вождей, но и крахом всего социального порядка и последующим поворотом *справа налево*, типичным для всех классических революций. Даже если все другие тактики с точки зрения коммунистов были нереальными, могла ли такая тактика быть применена вне России с сопоставимыми шансами на успех? В Европе старый строй сохранил известную стабильность, что и породило смутивший многих, но вполне отчетливый поворот *слева направо*. Один лишь этот фактор был способен обеспечить верховенство реформистов в любом едином фронте. Кроме того, среди европейских коммунистов не было ни одного вождя, который своим тактическим мастерством мог сравняться с Лениным или Троцким. Поэтому европейские коммунисты не сумели воспользоваться тактикой единого фронта в обоих ее аспектах. Некоторые со всей искренностью отнеслись к задаче сотрудничества с социал-демократами. Другие же прежде всего стремились социал-демократов дискредитировать. Одни видели в едином фронте серьезную попытку объединить рабочий класс в борьбе за частичные требования. Другие рассматривали единый фронт как ловкий прием. Третьи колебались между двумя этими точками зрения. Так Коминтерн начал раскалываться на правое и левое крылья, на промежуточные и крайние группировки — «центристов» и «ультралевых».

На этом конгрессе Троцкий и Ленин боролись главным образом с оппозицией в лице ультрарадикалов, и поэтому порой считали нужным поддержать правое крыло. В частности, Троцкий уничижительно и презрительно отзывался об ультра-радикалах — например, вождей коммунистической организации в Берлине Аркадия Маслова и Рут Фишер он называл «пустоголовыми крикунами, которые не имеют ничего общего с марксизмом и в любой момент могут обратиться к самому беспринципному оппортунизму». Все умеренные делегаты с восторгом аплодировали ему; аплодисменты переросли в овацию, когда от имени большинства делегатов знаменитый ветеран немецкого коммунизма Клара Цеткин торжественно и трогательно отдала ему дань уважения.

На следующем, IV конгрессе Ленин, уже больной, говорил недолго и с большим трудом; на первый план как главный

толкователь стратегии и тактики Коминтерна вышел Троцкий. Он снова выступал за единый фронт и сделал следующий шаг, призывая коммунистические партии на определенных условиях поддерживать социал-демократические правительства и даже в особых обстоятельствах, во время предреволюционных ситуаций, когда такие коалиции могут открыть путь для пролетарской диктатуры, участвовать в них. Оппозиция негодовала. Коминтерн с первого дня своего существования провозгласил аксиомой своей политики, что коммунистическая партия никогда не должна участвовать ни в каких коалиционных правительствах: ее задача — разрушить машину буржуазного государства, а не захватывать ее изнутри. Однако конгресс одобрил эту тактическую новинку, и коммунистические партии получили приказ при всякой возможности входить в правительственную коалицию с социал-демократами. Это решение сыграло важнейшую роль во время кризиса немецкого коммунизма осенью 1923 года.

Таковыми были тактические усилия, с помощью которых Троцкий (и Ленин) все еще надеялись «размотать клубок революции» с его «правильного», то есть с европейского конца.

В течение лета 1922 года дискуссии в Политбюро по внутренним вопросам продолжались, не приходя ни к какому решению. Разлад между Троцким и Лениным сохранялся. 11 сентября Ленин из подмосковных Горок связался со Сталиным и попросил его крайне срочно еще раз поставить на Политбюро предложение назначить Троцкого «вице-премьером». Сталин по телефону передал просьбу Ленина тем членам и кандидатам в члены Политбюро, которые находились в Москве. Сам он и Рыков голосовали за это назначение; Калинин заявил, что не возражает, а Томский и Каменев воздержались. Против не голосовал никто. Но Троцкий снова отказался от должности. Поскольку Ленин настаивал, что это дело нужно решить безотлагательно, потому что Рыков собирался в отпуск, Троцкий ответил, что он тоже хочет взять отпуск и все равно выше головы занят подготовкой к предстоящему конгрессу Коминтерна. Это были несерьезные отговорки, так как Ленин не собирался назначать Троцкого «временным вице-премьером» на сезон отпусков. Не ожидая решения Политбюро, Троцкий покинул Москву. 14 сентября на заседании Политбюро Сталин предло-

жил проект резолюции, крайне пагубной для Троцкого: в ней тот фактически обвинялся в пренебрежении своим долгом. Обстоятельства этого дела свидетельствуют, что Ленин наверняка требовал от Сталина принять хоть какую-нибудь резолюцию. По крайней мере, Сталин действовал с его согласия.

Менее чем месяц спустя неожиданное событие положило конец раздорам Ленина с Троцким. В начале октября ЦК принял ряд решений относительно монополии на внешнюю торговлю. Советское правительство оставило за собой исключительное право на торговлю с зарубежными странами и централизовало все зарубежные коммерческие транзакции. Этот решительный шаг «социалистического протекционизма» (понятие, придуманное Троцким) был нацелен на то, чтобы защитить слабую советскую экономику от враждебного давления и непредсказуемых колебаний мирового рынка. Помимо того, эта монополия не позволяла частному бизнесу конкурировать с государством во внешнеторговой сфере, вывозить за рубеж нужные товары, ввозить ненужные и еще сильнее подрывать экономический баланс страны. Новые решения ЦК, принятые в отсутствие Ленина и Троцкого, не заходили настолько далеко, чтобы допустить частный бизнес во внешнюю торговлю, но они ослабляли центральный контроль за советскими торговыми представительствами за границей. В результате отдельные государственные объединения, работающие на внешних рынках, получали возможность для независимых действий, преследующих в первую очередь собственные выгоды; тем самым подрывался «социалистический протекционизм», чем в перспективе мог воспользоваться и частный бизнес.

Ленин сразу же подверг критике это решение, называя его серьезной угрозой для советской экономики. Он был встревожен, раздражен, как раз в это время его настиг приступ паралича. В недолгие моменты, когда удавалось вырваться из рук врачей и медсестер, Ленин диктовал записки, меморандумы, протесты и увещевания, но не мог повлиять на ЦК лично. Затем, к своему облегчению, он узнал, что Троцкий придерживается точно таких же взглядов. Почти на два месяца вопрос повис в воздухе. 13 декабря Ленин писал Троцкому: «Горячо заклинаю вас на ближайшем пленарном заседании [ЦК] взять на себя защиту наших общих взглядов относительно настоящей нужды сохранить и укрепить монополию на внешнюю торговлю». Троцкий с готовностью согласился. Однако, не-

однократно предупреждая Ленина и Политбюро, что их политика подталкивает должностных лиц государства к пассивному подчинению неконтролируемым силам рыночной экономики, Троцкий утверждал, что последнее решение ЦК демонстрирует полную обоснованность его предупреждений. Он снова настойчиво указывал на необходимость координации, планирования и наделения Госплана широкими полномочиями. Ленин по-прежнему пытался отложить вопрос о Госплане и умолял Троцкого в первую очередь заниматься торговой монополией. «Думаю, что мы пришли к полному согласию, — снова писал он Троцкому, — и я прошу вас заявить о нашей солидарности на пленарной сессии». Если им не удастся одержать верх, Троцкий должен заявить, что они пойдут на все, чтобы аннулировать решение ЦК: они оба выступят против ЦК публично.

Прибегать к таким решительным действиям оказалось не обязательно. Вопреки опасениям Ленина, когда ЦК приступил к рассмотрению этого вопроса во второй половине декабря, Троцкий без труда убедил его отменить свое решение. Ленин был в восторге. «Удалось взять позицию без единого выстрела... — отмечает он в записке Троцкому, написанной «с разрешения профессора Форстера»¹. — Я предлагаю не останавливаться, а продолжать наступление».

Этот случай сблизил вождей значительно сильнее по сравнению с предшествующим временем. Еще через несколько дней Ленин снова размышляет по поводу той критики, которой Троцкий подвергал экономическую политику в последние два года. Результат своих размышлений он сообщает Политбюро в записке от 27 декабря:

«Эта мысль [о прерогативах Госплана] выдвигалась тов. Троцким, кажется, уже давно. Я выступил противником ее... Но по внимательном рассмотрении дела я нахожу, что, в сущности, тут есть здоровая мысль, именно: Госплан стоит несколько в стороне от наших законодательных учреждений, несмотря на то что... обладает, в сущности, наибольшими данными для правильного суждения о [экономических] делах... В этом отношении, я думаю, можно и должно пойти на встречу тов. Троцкому»².

¹ Форстер — один из врачей Ленина.

² На самом деле Ленин полностью соглашался с основной идеей Троцкого, но не с его заявлениями о некомпетентности Кржижановского как главы Госплана.

Он понимал, что члены Политбюро будут разочарованы — отсюда и нотки извинения. Политбюро действительно было недовольно этой неожиданной сменой убеждений и, несмотря на протесты Троцкого, решило не публиковать замечания Ленина¹.

В последние недели и дни года Ленин очень далеко прошел «навстречу товарищу Троцкому» по другим разделявшим их вопросам. В начале декабря он снова призывал Троцкого занять должность «вице-премьера» — на этот раз в частном разговоре, без формальностей, принятых в Политбюро. Ленин в первую очередь был занят проблемой премника — он собирался писать свое завещание, но ни словом не обмолвился об этом Троцкому. Вместо этого Ленин с крайним беспокойством говорил о злоупотреблении властью, которое ширится на его глазах и которое необходимо как-то обуздать. На этот раз Троцкий не стал с ходу отклонять предложение. Он повторил, что борьба с бюрократическими злоупотреблениями в правительстве не принесет никаких результатов, пока в верховных партийных органах сохраняется терпимость к этим злоупотреблениям. Ленин ответил, что готов «блокироваться» с Троцким, т. е. готов к совместным действиям против бюрократии и в государственном аппарате, и в партии. Называть чьи-либо имена не было нужды. Подобные шаги могли быть направлены только против Сталина. Но времени заняться этим вопросом и обсудить какой-либо план действий уже не было. Несколько дней спустя Ленина постиг новый удар.

Во время их последнего разговора Ленин ничем не дал понять Троцкому, что снова задумывался над вторым из тех важных вопросов, которые служили источником разногласий между ними, а именно — над политикой Сталина в Грузии. Здесь Ленин тоже наконец шагнул «навстречу товарищу Троцкому». Ленина охватило настроение человека, который стоит одной ногой в могиле и с беспокойством оглядывается на дело своей жизни, охваченный мучительным осознанием ошибок. Несколькими месяцами раньше, на XI съезде, Ленин говорил, что у него нередко появляется жутковатое чувство водителя, который неожиданно понимает, что его машина

¹ Сталин уклончиво заметил: «Думаю, печатать это нет нужды, тем более что у нас нет разрешения Ленина».

едет совсем не туда, куда он рулит. Советское государство с верного пути сталкивали могучие силы: полуварварский индивидуализм российского крестьянина, давление со стороны капиталистического окружения и, прежде всего, глубоко укоренившиеся в стране традиции нецивилизованного абсолютистского правления. После каждого приступа болезни Ленин продолжал следить за работой государственного аппарата со все более возрастающей тревогой и с жалкой настойчивостью старался удержать штурвал своими парализованными руками.

«Машина», как стало ему ясно, съезжала в ужасно знакомую колею великорусского шовинизма. Во второй половине декабря Ленин еще раз изучил обстоятельства конфликта с грузинскими большевиками — конфликта, в котором прежде встал на сторону Сталина. Он тщательно собирал, просеивал и сопоставлял факты, выяснив при этом, как свирепо Сталин и подчинявшийся ему Орджоникидзе действовали в Тифлисе, поняв, что обвинения, выдвинутые против грузинских «уклонистов», были ложными, и рассердившись на себя за то, что позволил Сталину злоупотребить своим доверием и манипулировать собой.

В таком настроении Ленин 23 и 25 декабря продиктовал письмо к своим соратникам, которое фактически стало его последней волей и завещанием. Он собирался дать партийные характеристики на тех, кому вскоре предстояло возглавить партию. Ленин вкратце охарактеризовал нынешних вождей, чтобы партия знала его мнение о достоинствах и недостатках каждого. Он сдерживал эмоции и взвешивал слова, чтобы его суждение основывалось на многолетних наблюдениях, а не сформировалось под влиянием момента.

Партия, как писал Ленин, должна опасаться раскола в том случае, если Сталин и Троцкий, «два выдающихся вождя современного ЦК», вступят в противостояние как главные противники. За этим противостоянием не стоит никакого конфликта классовых интересов или принципов: это всего лишь, как полагает Ленин, столкновение личностей. Троцкий — «самый способный» из всех вождей партии, однако «чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела», а также склонный индивидуалистически противопоставлять себя Центральному комитету. Конечно, такие недостатки у большевистского вож-

дя значили очень много, так как подрывали его способность к коллективной работе и влияли на его суждения. Однако, добавляет Ленин, партия не должна ставить в вину Троцкому его предреволюционные разногласия с большевизмом. В предупреждении Ленина подразумевалось, что эти разногласия давным-давно ушли в небытие, но он понимал, что его сторонники совершенно не обязательно будут придерживаться такого мнения.

О Сталине он мог сказать лишь одно: «Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Такое предупреждение содержало явный намек, но не вело ни к каким выводам. Ленин воздержался от откровенных советов и демонстрации личных предпочтений. Кажется, что он даже сильнее подчеркивал изъяны Троцкого, чем Сталина, хотя бы потому, что говорил о них подробнее. Однако вскоре Ленин одумался и 4 января 1923 года написал короткий и многозначительный постскриптум, в котором утверждал, что Сталин груб, и этот недостаток «становится нетерпимым в должности генсека». Ленин советовал своим сторонникам «обдумать способ перемещения Сталина с этого места» и назначить на него «другого человека, который... более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.». Если это не будет сделано, конфликт между Сталиным и Троцким обострится еще сильнее и приведет к опасным последствиям для партии в целом. Ленин не сомневался, что его совет «переместить» Сталина мог привести лишь к выдвижению Троцкого на роль партийного вождя.

Сдержанность завещания и даже его постскриптума не дает представления о ярости, охватившей Ленина, и о его твердом намерении дискредитировать Сталина раз и навсегда. Это решение созрело в Ленине между 25 декабря и 1 января. Только что собрался съезд Советов, на котором Сталин провозглашал создание Союза Советских Социалистических Республик вместо федерации, созданной по Конституции 1918 года. Поддержав изменение конституции, Ленин вскоре заподозрил, что такой шаг полностью покончит с автономией нерусских республик и фактически восстановит «единую и неделимую» Россию. У него сложилось убеждение, что Сталин воспользовался необходимостью в централизованном управлении как ширмой,

скрывающей притеснение малых народностей. Это подозрение переросло в уверенность, когда Ленин смог взглянуть на Сталина с новой стороны и увидел всю его грубость, коварство и лживость. 30 декабря, в тот день, когда Сталин провозглашал создание Союза, Ленин, снова обманув врачей и свое здоровье, начал диктовать серию заметок о политике по отношению к малым народностям. Фактически, это стало его последним словом по данной теме, полным глубокими, страстными угрызениями и священного гнева.

Ленин писал, что «сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации». Сделать это ему помешала болезнь, хотя он делился своими опасениями и сомнениями с Зиновьевым. Но лишь теперь, после того, как он услышал доклад Дзержинского про Грузию, ему стало совершенно ясно, «в какое болото угодила партия». Все, что произошло в Грузии и других местах, оправдывалось на тех основаниях, что правительство должно обладать единой и сплоченной административной машиной, или «аппаратом». «Откуда исходили эти уверения? — спрашивает Ленин. — Не от того ли самого российского аппарата, который... заимствован нами у царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром». Для малых народов «свобода выхода из союза» становится пустой бумажкой. В реальности они оказались беззащитными перед нашествием «того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ». Пора защитить нерусские народности от «истинно русского держиморды... Тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина... Я боюсь также, что тов. Дзержинский... отличился тут тоже только своим истинно русским настроением (известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения)».

В канун Нового года Ленин продолжает:

«Интернационализм со стороны... так называемой «великой нации» (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы... то неравенство, которое складывается в жизни фактически... Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно

швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности... Ничто так не задерживает развития и упорядоченности пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость... Вот почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить».

Права грузин, украинцев и прочих народов более важны, чем необходимость в административной централизации, о которой заявляет Сталин, чтобы оправдать «империалистические отношения к угнетаемым народностям». При необходимости, делает заключение Ленин, новую конституцию, которую поддерживает Сталин, следует выкинуть вместе с новой централизованной организацией правительства.

Выразившись с такой тревогой и с безжалостной прямо-той, Ленин, очевидно, намеревался обдумать эту проблему со всех сторон и решить, какой курс действий избрать. Более двух месяцев он не передавал своих заметок никому из членов Политбюро.

Переворот в уме Ленина, заставивший его пересмотреть многие аспекты своей политики, может показаться еще более внезапным и ошеломляющим, чем перемена, произошедшая в 1921—1922 годах в Троцком. Он тоже явился результатом напряженного конфликта между мечтами революции и властью — конфликта, который происходил в сознании Ленина, и не только его. В ленинских мечтах партия большевиков видела себя дисциплинированной, но внутренне свободной организацией убежденных революционеров, которую власть не способна развратить. Такая партия была бы предана идее пролетарской демократии и уважала бы свободу малых наций, без чего невозможно подлинное движение к социализму. В погоне за этой мечтой большевики построили грандиозный централизованный аппарат власти, в жертву которому постепенно приносили все новые и новые куски своей мечты: пролетарскую демократию, права малых наций и, наконец, собственную свободу. Они не могли расстаться с властью, необходимой для осуществления своих идеалов,

однако власть начала подминать под себя эти идеалы и задвигать их в тень. Такое положение порождало самые серьезные дилеммы, а также глубокий раскол между теми, кто не желал расстаться с мечтой, и теми, кто не желал расстаться с властью.

Линия раскола пролегла нечетко, так как власть и мечта до какого-то момента оставались неразделимы. Преданность революции заставляла большевиков строить машину власти и управлять ею, а та отныне функционировала по собственным законам и в силу собственной инерции, требуя полной преданности уже по отношению к себе. Соответственно те, кто оставил мечты, ни в коем случае не желал уничтожения аппарата власти, а те, кто отождествлял себя с властью, не вполне забыл свои мечты. Те же самые люди, которые прежде стояли на одной стороне большевизма, перебежали на другую его сторону. В 1920—1921 годах никто не зашел дальше Троцкого в требованиях, чтобы все интересы и чаяния были полностью подчинены «железной диктатуре». Однако именно Троцкий первым из большевистских вождей восстал против машины этой диктатуры, когда та начала уничтожать его мечту. Когда впоследствии Троцкий оказался втянут в борьбу за наследование Ленину, многие из тех, кто слышал, как он провозглашал революционные идеалы, засомневались в его искренности и стали задаваться вопросом, не были ли эти идеалы для него всего лишь предлогом для борьбы за власть. Ленин стоял выше таких подозрений. Он был бесспорным вождем партии и поэтому не имел и не мог иметь никаких скрытых мотивов, когда в последние недели своей деятельности признавался с чувством вины, что недостаточно сопротивлялся новым притеснениям, которые слабые испытывают со стороны сильных, и когда пользовался последними каплями силы, чтобы нанести удар по сверхцентрализованной машине власти. Ленин ссылался на задачи революции без всякой задней мысли, из чувства глубокой и бескорыстной преданности этим задачам и вследствие раскаяния. Когда же наконец в воспаленном мозгу умирающего вождя возникло решение избавить революцию от ее тяжелой обузы, именно Троцкого он избрал себе в союзники.

Глава 2

АНАФЕМА

С самого начала Гражданской войны Политбюро служило мозгом и верховной властью в партии, хотя его существование даже не предусматривалось партийными уставами. На ежегодных съездах избирался лишь Центральный комитет, наделенный широчайшими полномочиями по выработке политики и вопросам организации; ЦК отчитывался перед следующим съездом. Он же избирал Политбюро. Поначалу Политбюро создавалось для того, чтобы принимать решения лишь по срочным вопросам, встававшим в недельные или двухнедельные промежутки между заседаниями ЦК. Затем, с расширением круга проблем, входящих в ведение ЦК, включая все больше и больше вопросов управления страной, и с увеличением нагрузки на членов ЦК, которых все сильнее затягивала работа в многочисленных ведомствах, из-за чего они нередко отсутствовали в Москве, ЦК постепенно и неформальным образом передал Политбюро часть своих полномочий. Центральный комитет когда-то состоял примерно из дюжины членов, но затем стал слишком большим и неуклюжим, чтобы эффективно работать. В 1922 году он собирался лишь раз в два месяца, в то время как члены Политбюро работали в тесном повседневном контакте. В своей работе они жестко придерживались демократической процедуры. Если по вопросу существовали различные мнения, он решался простым большинством. Именно в этих рамках Ленин обладал верховной властью как «первый среди равных».

Начиная с декабря 1922 года всех членов Политбюро в первую очередь занимала проблема преемников Ленина. Од-

нако в принципе эта проблема вообще не могла бы встать. Предполагалось, что партией управляет Политбюро как единый орган (а через него — и ЦК), с Лениным или без него, а воля Политбюро представляла собой волю большинства его членов. Следовательно, вопрос был не в том, кто сменит Ленина, а в том, какая расстановка сил сложится после Ленина в Политбюро и из кого будет состоять большинство, необходимое для стабильного руководства. До сих пор эта стабильность основывалась, по крайней мере отчасти, на бесспорном авторитете Ленина, его силе убеждения и тактическом мастерстве, которые, как правило, позволяли ему добиться, чтобы при решении любого вопроса большинство проголосовало за его предложения. Для этого Ленину не приходилось создавать своих собственных фракций в Политбюро. Новшеством либо в декабре 1922-го, либо в январе 1923 года, когда Ленин окончательно перестал участвовать в работе Политбюро, стало создание особой «фракции», единственной целью которой было не позволить Троцкому заручиться поддержкой большинства, чтобы занять место Ленина. Эта «фракция» представляла собой триумvirат Сталина, Зиновьева и Каменева.

Мотивы, заставившие Сталина пойти против Троцкого, вполне ясны. Их противостояние восходит к первым боям под Царицыном в 1918 году, а недавняя болезненная критика Троцкого в адрес наркома Рабкрин и Генерального секретаря лишь усугубила взаимную неприязнь. В декабре 1922 года или в январе следующего года Сталин не мог знать о «блоке», который сколачивали против него Ленин с Троцким, а также о решимости Ленина убрать его из Генерального секретариата и об атаке, которую Ленин готовил против его политики в Грузии и «великорусского шовинизма», но чувствовал опасность. Сталин видел, что Ленин и Троцкий действовали единодушно в вопросе о торговой монополии, а затем по поводу Госплана. Он слышал критику Ленина в адрес бюрократических злоупотреблений и, вероятно, знал от Зиновьева, что Ленин обеспокоен событиями в Грузии. В качестве Генерального секретаря Сталин уже обладал колоссальной властью: секретариат (и Оргбюро) забрал у Политбюро большинство его исполнительных функций, оставив ему только решения по вопросам высокой политики. Однако номинально Политбюро контролировало секретариат и Оргбюро и

поэтому могло отрешить Сталина от должности или оставить его на посту. Сталин был убежден, что ему не ждать ничего хорошего от Политбюро, если руководство им захватит Троцкий. На этом этапе он не собирался занимать место Ленина; скорее им руководило желание всего лишь сохранить свое влияние. Сталин понимал, что партия считает его не более чем главным техником и управляющим партаппаратом, а вовсе не политиком и толкователем марксизма, каким должен быть наследник Ленина. Несомненно, сталинское самолюбие было уязвлено такой недооценкой, но осторожность вынуждала его оставить все как есть.

Зиновьев намного обгонял в популярности других членов Политбюро, уступая лишь Ленину и Троцкому. Он был председателем Коммунистического интернационала, а в те годы, когда русские большевики еще не привыкли использовать Интернационал как свой инструмент, а добровольно подчинялись его нравственному авторитету, председательство в Коминтерне было самой высокой должностью, какую только мог занять большевик. Кроме того, Зиновьев возглавлял Северную коммуны — Петроградский Совет. Он был исключительно могучим агитатором и оратором и почти постоянно находился перед глазами партии как один из гигантов революции, воплощение большевистских добродетелей, неукротимый и непримиримый. Такой популярный образ личности Зиновьева не соответствовал его истинному характеру, сложному и неустойчивому. Его настроение менялось от вспышек лихорадочной энергии к приступам апатии, от взлетов самоуверенности к периодам уныния. Обычно его манили смелые идеи и политические предприятия, требовавшие для своего исполнения исключительной отваги и стойкости. Однако он обладал слабой, непостоянной и даже трусливой волей¹. Ему превосходно удавалось подхватить ленинские идеи и выступать в роли их громогласного и неистового оратора, но сам он не

¹ В письме к Ивану Смирнову (написанному в 1928 г. в Алма-Ате) Троцкий пересказывает такой «коротенький разговор» с Лениным вскоре после Октябрьской революции: «Я говорил ему примерно так: «Кто меня удивляет, так это Зиновьев. Что касается Каменева, то я его достаточно близко знаю, чтобы предвидеть, где у него кончится революционер и начнется оппортунист. Но Зиновьева я лично совсем не знал, а по описаниям и отдельным выступлениям его мне казалось, что это человек, который ни перед чем не останавливается и ничего не боится». На это В.И. ответил: «Он не боится, когда нечего бояться».

обладал серьезным умом, хотя был способен на самые возвышенные чувства. В свои лучшие моменты, попав в идеалистическую струю, Зиновьев настолько завладевал умами слушателей, что в одной-единственной речи на иностранном языке, продолжавшейся три часа, выступая против самых блестящих и авторитетных представителей европейского социализма, он убедил расколотый и колеблющийся съезд Немецкой независимой социалистической партии присоединиться к Коминтерну. Очевидцы называют власть Зиновьева над воображением российской толпы «демонической». Однако от высочайших чувств он мог мгновенно перейти к самым низменным уловкам и дешевому демагогическому юмору. За много лет, проведенных рядом с Лениным в Западной Европе, его быстрый разум впитал огромное количество знаний о мире, но остался при этом упрощенным и лишенным лоска. В отношениях с людьми Зиновьев проявлял сердечность и нежность, но мог быть грубым и жестоким. Искренне преданный принципу интернационализма и будучи человеком «широких взглядов», в то же время он представлял собой ограниченного политика, склонного решать величайшие вопросы путем мелочного торга и жалких маневров. Зиновьев поднялся на неслыханные высоты власти и, подгоняемый амбициями, пытался подняться еще выше, но его одолевали неуверенность и сомнения в самом себе.

Зиновьев больше всего гордился тем, что был ближайшим сторонником Ленина в десятилетний промежуток между 1907-м и 1917 годами — в эпоху реакции, изоляции и отчаяния, когда они оба старались сохранить партию и подготовить ее к великому дню, когда в дни Циммервальдской и Кинтальской конференций познакомили мир с идеей 3-го Интернационала. Но, к позору Зиновьева (по крайней мере, это считали позором он и его товарищи), он не прошел проверку в октябре 1917 года, когда выступил против восстания и Ленин заклеил его как «штрейкбрехера революции». Между гордостью и позором разрывалась вся его политическая жизнь. Зиновьев изо всех сил старался забыть о 1917 годе, и в этом ему помогал Ленин, который даже в своем завещании умолял партию не напоминать Зиновьеву и Каменеву об их «исторической ошибке». К 1923 году большинство членов партии почти забыло об этом серьезном инциденте или предпочитало не ворошить былое. «Старая

гвардия» старалась не помянуть прошлого хотя бы потому, что этот раскол, случившийся накануне Октябрьской революции, прошел прямо по ней и многие из ее членов тогда приняли сторону Зиновьева. С тем большим старанием историки и создатели мифов о «старой гвардии» направляли софиты на более ранний период, который и был предметом большой гордости Зиновьева. Если кто-либо в отсутствие Ленина мог говорить от имени «старой гвардии», так только Зиновьев.

Было немислимо, чтобы теперь он согласился признать Троцкого вождем. Дело не только в том, что память Зиновьева была полна воспоминаний о многочисленных инцидентах времен их дореволюционной вражды, когда с подачи Ленина он нередко яростно нападал на Троцкого. И не в том, что его главный позор был связан с событием, которое принесло Троцкому величайшую славу, — с Октябрьским восстанием. Еще с 1917 года Зиновьев выступал против Троцкого практически по каждому важнейшему пункту большевистской политики. Он был самым решительным сторонником Брестского мира, а в течение Гражданской войны потихоньку подстрекал военную оппозицию Троцкому. Весной 1919 года Троцкий прибыл в Петроград, чтобы организовать оборону от армии Юденича после того, как Зиновьев, официальный глава города, в панике поднял руки. Во время Кронштадтского восстания Троцкий обвинял Зиновьева в том, что тот сам без всякой нужды спровоцировал мятеж. С другой стороны, Зиновьев был одним из самых громких критиков Троцкого во время дискуссии о милитаризации труда и профсоюзов. Позже, в Политбюро, он голосовал против Троцкого по вопросам об экономической политике и Госплане, но потерпел поражение, когда Ленин «переметнулся» к Троцкому. Троцкий снова победил Зиновьева даже на Исполкоме Коминтерна, вместе с Лениным навязывая свою политику единого фронта. Неудивительно, что в отношении Зиновьева к Троцкому трусливое восхищение перемешивалось с завистью и тем чувством неполноценности, которое Троцкий вызывал у многих представителей «старой гвардии».

Каменев, как правило, разделял настроения Зиновьева. Политическое партнерство этих двух людей было настолько тесным, что большевики называли их Кастором и Поллуксом. Однако, как ни странно, политическими близнецами их делало не сходство, а противоположность умов и темперамен-

тов. Хотя Каменев возглавлял Московскую партийную организацию, он не пользовался такой популярностью, как Зиновьев, но его гораздо больше уважали во внутреннем кругу вождей. Менее самоуверенный на трибуне перед публикой, не склонный к цветастому ораторству и героическим позам, он обладал более сильным и утонченным интеллектом и более ровным характером, но ему не хватало зиновьевских страсти и воображения. Он был человеком идей, а не человеком лозунгов. В отличие от Зиновьева его, как правило, привлекали умеренные идеи и умеренная политика, но этой умеренности препятствовала сила его марксистских убеждений — его теоретическое мышление находилось не в ладах с политическими склонностями. Уступчивый характер делал Каменева хорошим переговорщиком, и Ленин в былые дни нередко использовал его как главного представителя партии во время контактов с другими партиями, особенно когда стремился к соглашению. Во внутрипартийных спорах Каменев также выступал как примиритель и отыскивал точки соприкосновения для противоположных мнений, но из-за своей умеренности не раз оказывался в конфликте с Лениным. Во время суда над большевистскими депутатами Думы, обвиненными в начале Первой мировой войны в «измене», Каменев заявил со скамьи подсудимых, что не одобряет ленинского «революционного пораженчества»; в марте и апреле 1917 года, перед возвращением Ленина в Россию, он вел партию к примирению с меньшевиками, а в октябре выступал против восстания. Однако Каменеву не хватало вовсе не храбрости. Не был он и простым приспособленцем. Отличаясь спокойствием и сдержанностью, не страдая от излишнего тщеславия и амбиций, Каменев за своим флегматичным обликом скрывал бесконечную верность партии. Его характер ярко проявился в день Октябрьской революции: публично выступив против восстания, он в самом начале событий появился в штабе инсургентов, предоставил себя в их распоряжение и искренне сотрудничал с ними, приняв на себя ответственность за ту политику, против которой возражал, и весь связанный с ней политический и личный риск.

К Зиновьеву Каменева так сильно тянула, вероятно, именно противоположность их личностей. В каждом из них действовали те импульсы, которые должны были развести их в разные стороны, но одновременно имелись и строгие запреты, сдержи-

вавшие склонность к конфликту, в результате чего они обычно находили точку соприкосновения на полпути между противоположными крайностями, к которым их тянуло.

Каменев не испытывал к Троцкому, своему бывшему шурина, той же ожесточенной враждебности, что Зиновьев и Сталин, и вероятно, он бы более спокойно примирился с ним как с вождем. На путь противоборства с Троцким его увлекли исключительно преданность «старой гвардии» и дружба с Зиновьевым. Какими бы ни были его личные склонности и вкусы, он отличался крайней чувствительностью к настроениям, преобладавшим среди старых большевиков, и давал им увлечь себя. Когда возобладал всеобщий настрой против Троцкого, Каменев, несмотря на тягостные предчувствия, с тяжелым сердцем поддался ему. Он не надеялся и не мог ничего выиграть для себя лично, присоединившись к триумvirату: он не питал надежды стать наследником Ленина. Но он поддерживал и поощрял беспокойные амбиции своего политического близнеца, отчасти из-за убеждения, что они безвредны, так как Зиновьев в любом случае не способен занять место Ленина, и поэтому триумвиры фактически будут править партией коллективно, а отчасти из-за того, что в своей умеренности Каменев испытывал неподдельный страх к властной и высокомерной личности Троцкого и к его рискованным идеям в политике.

Как бы Зиновьев, Сталин и Каменев ни различались своими характерами и побуждениями, они представляли собой плоть и кровь «старой гвардии»; казалось, что в них троих воплотились все стороны партийной жизни и традиций. В Зиновьеве можно было найти большевистские задор и привлекательность для масс; в Каменеве — более серьезные доктринерские побуждения и утонченность; в Сталине — самоуверенность и практическую хватку матерого партийца, закаленного в битвах. Объединив силы для того, чтобы преградить Троцкому путь к власти, они стали выразителями того недоверия и инстинктивной неприязни, которые испытывали к нему многие члены «старой гвардии». Однако пока что у них не было намерения изгнать Троцкого из партии или даже из ее руководящих органов. Триумвиры признавали заслуги Троцкого и хотели, чтобы он занимал видное место в Политбюро. Но они считали его недостойным занимать место Ленина и ужасались мысли о том, что, если ничего не предпринять, Троцкий способен это сделать.

Триумвиры поклялись согласовывать свои шаги и действовать единодушно¹. Поступив так, они автоматически становились хозяевами в Политбюро. В отсутствие Ленина Политбюро состояло лишь из шести членов: триумвиров, Троцкого, Томского и Бухарина. Даже если бы Троцкий перетянул на свою сторону двух последних, голоса бы все равно разделились поровну. Но пока он, Бухарин и Томский не образовали фракцию и голосовали каждый по-своему, стоило одному из них воздержаться или проголосовать вместе с триумвирами, как те получали большинство. Триумвиры знали заранее, что Томский не пойдет на союз с Троцким. Томский — честный рабочий, большевик-ветеран и в первую очередь профсоюзный вождь — был самым скромным из членов Политбюро. Он был готов осторожно и в известных пределах отстаивать требования рабочих и сумму их зарплаты, и поэтому в 1920 году он первый выступил против Троцкого по вопросу о милитаризации труда и поднял бурю, когда Троцкий пригрозил «встряхнуть» профсоюзы. Троцкий резко критиковал Томского как старомодного тред-юниониста, который по дореволюционной привычке поощряет «потребительские» настроения у рабочих и не обнаруживает понимания «производительной» направленности социалистического государства. В течение какого-то времени Томский возглавлял профсоюзы в их фактическом бунте против партии. Будучи изгнан из ЦК профсоюзов, он получил «назначение» в Туркестан, представлявшее собой едва замаскированную форму ссылки. После провозглашения нэпа Томский вернулся в Кремль и был введен в состав Политбюро. Но его мучили старые обиды, и в его отношении к Троцкому, этому вдохновителю милитаризации труда, ощущалась враждебность, которую многие большевистские тред-юнионисты испытывали после 1920 года.

Единственным членом Политбюро, по-прежнему дружелюбно настроенным к Троцкому, оставался Бухарин. В свои тридцать с небольшим лет он уже считался «старым большевиком» и был ведущим теоретиком партии, блестящим и глубоко образованным. Ленин критиковал его за склонность к схоластике и доктринерскую негибкость идей, однако эти идеи оказывали сильное влияние даже на самого Ленина, который нередко

¹ Сталин впервые публично признался в существовании триумвирата на XII съезде в апреле 1923 г.

брал их на вооружение, придавая им более реалистичное и гибкое выражение. Бухарин, несомненно, обладал негибким разумом; его больше привлекала логическая аккуратность абстрактных гипотез, чем запутанная и малопонятная реальность. Однако негибкость интеллекта сочеталась в нем с артистической чувствительностью и импульсивностью, деликатным характером и живым, порой почти мальчишеским чувством юмора. Склонность к жестко дедуктивной логике и любовь к абстракции и симметрии вынуждали Бухарина занимать крайние позиции: много лет он был вождем «левых коммунистов» и в результате радикального пересмотра взглядов впоследствии возглавил правое крыло партии.

Бухарин так же часто конфликтовал с Троцким, как соглашался с ним. Во время брест-литовского кризиса он возглавлял «партию войны» и протестовал против «позорного мира». Во время Гражданской войны Бухарин сочувствовал тем, кто сопротивлялся дисциплине и централизованной организации, внедренной Троцким в Красной армии. Позже, в ходе дискуссии о профсоюзах, он сблизился с Троцким, еще более страстно, чем Троцкий, защищал права нерусских национальностей и поддерживал грузинских «уклонистов». Но вне зависимости от сходства или различия взглядов Бухарина привлекала к Троцкому сильная привязанность и очарованность его личностью¹. Троцкий описывает, как в 1922 году, когда он приболел, Бухарин навестил его и рассказал о первом ударе, случившемся с Лениным:

«В тот период Бухарин был привязан ко мне чисто бухаринской, т. е. полуистерической, полуребяческой привязанностью. Свой рассказ о болезни Ленина Бухарин кончил тем, что повалился ко мне на кровать и, обхватив меня через одеяло, стал причитать: «Не болейте, умоляю вас, не болейте... есть два человека, о смерти которых я всегда думаю с ужасом... это Ильич и вы».

В другой раз он рыдал на плече у Троцкого. «Что мы делаем? — говорил он. — Мы превращаем партию в кучу навоза». Но, имея в Политбюро лишь одного друга, Троцкий мог сделать не многое: вздохи и рыдания Бухарина мало помогали ему в борьбе с триумвирами.

¹ Троцкий — блестящий и героический трибун Октябрьского восстания, неустанный и пылкий проповедник революции», — пишет Бухарин в своем рассказе о событиях 1917 г.

За исключением полноправных членов Политбюро, были еще два кандидата: Рыков, начальник ВСНХ, и Калинин, формальный глава государства. Оба были «умеренными» большевиками, оба происходили из крестьян и в значительной степени сохранили мужицкий характер и мировоззрение. У обоих восприимчивость к настроениям сельской России, к страхам и надеждам, а также и к некоторым предрассудкам крестьянства была сильнее, чем, вероятно, у любого другого вождя. Оба служили воплощением коренного элемента в партии — «истинной Руси» — и всего, что с этим связано: отчетливого антиинтеллектуального уклона, недоверия к европейскому элементу, гордости своими социальными корнями и известной флегматичности мировоззрения. Все это настраивало их против Троцкого. Крестьянство, как мы знаем, наслаждалось возвращенной свободой частной собственности и торговли и ничего так не боялось, как возврата к военному коммунизму. Рыков и Калинин представляли собой в партии рупор этих опасений и больше чем кто-либо другой ощущали угрозу этого возврата в идеях Троцкого о планировании. Когда Троцкий говорил об отсутствии каких-либо руководящих идей в ВСНХ и его склонности к советской разновидности принципа «laissez faire»¹, он подразумевал Рыкова. Рыков, в свою очередь, видел в проектах Троцкого по созданию нового Госплана покушение на собственные прерогативы, более того — на основополагающий принцип нэпа. Теперь он первый выдвигал против Троцкого обвинение во враждебности к крестьянству, которое в грядущие годы прозвучит во всех кампаниях против Троцкого.

Напротив, Калинин глубоко уважал Троцкого и испытывал к нему дружеские чувства, которые выражал даже на пике борьбы с троцкизмом. Отчасти это было связано с тем, что именно Троцкий в 1919 году поддержал кандидатуру последнего на должность главы государства вследствие исключительно авторитета Калинина среди крестьян. Однако когда Рыков заговорил о враждебности Троцкого к крестьянству, Калинин, несомненно, проникся его убеждениями. Ему нечего было возразить против политических предложений Троцкого, тем более что он в них мало что понимал; Калинин же, не питая никакой враждебности к Троцкому, решил, что самым безопас-

¹ Букв.: «предоставлять свободу действия» (фр.) — принцип невмешательства государства в стихийные рыночные процессы. (Примеч. пер.)

ным и разумным будет сдерживать его влияние, которое может стать пагубным для «союза рабочих и крестьян».

В то время с Политбюро были тесно связаны еще два человека — Дзержинский и Молотов, хотя и не входили в его состав. Дзержинский, начальник ЧК и ГПУ, был единственным в этой группе вождей, кто не принадлежал к «старой гвардии». Он являлся выходцем из Социал-демократической партии Королевства Польши и Литвы, которую основала Роза Люксембург, и перешел к большевикам лишь в 1917 году, примерно в одно время с Троцким. Его первая партия под влиянием Розы Люксембург относилась к большевикам практически так же, как Троцкий, — обычно критиковала и большевиков, и меньшевиков; это была единственная партия в Социалистическом интернационале, согласившаяся с теорией Троцкого о «перманентной революции». Дзержинский даже после перехода к большевикам оставался в оппозиции к Ленину по вопросу о симвоопределении нерусских народностей; опять же, вслед за Люксембург, он утверждал, что социализм должен преодолевать, а не поощрять сепаратистские тенденции малых наций. Парадоксально, но эти интернационалистские рассуждения заставляли его, поляка знатного происхождения, поддерживать ультрацентралистскую политику Сталина и выступать против грузин в качестве адвоката новой «неделимой» России.

Однако со взглядами Дзержинского до сих пор мало считались в партии. Он возглавлял революционную службу безопасности, но не был политическим вождем. Когда большевики решили создать «Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией», как поначалу называлась их политическая полиция, им понадобился человек с абсолютно чистыми руками, чтобы делать «грязную работу»; этим человеком оказался Дзержинский. Он был неподкупным, бескорыстным и неустрашимым, обладая глубокой поэтической чувствительностью и неизменно испытывая сочувствие к слабым и страдающим. В то же время его преданность делу была настолько велика, что он становился фанатиком, не останавливающимся перед проявлением жестокости, если был убежден, что они необходимы для дела. Живя в условиях постоянного противоречия между возвышенным идеализмом и повседневной палаческой работой, всегда на виду, сжигая свои жизненные силы, Дзержинский производил на своих товарищей странное впечатление «святой революции» из породы Савонаролы. К несчастью, его непод-

купный характер не был наделен сильным и пронизательным умом. Смыслом его жизни было служение делу, и он стал отождествлять это дело с партией, которую выбрал, а затем отождествлять эту партию с ее вождями — сперва с Лениным и Троцким, а теперь и с триумвирами, видя у них за спиной «старую гвардию». Не принадлежа сам к «старой гвардии», Дзержинский с тем большей готовностью отстаивал ее интересы и тем самым стал более большевиком, чем старые большевики, точно так же как был, по словам Ленина, более великороссом, чем сами русские.

Абсолютно бесцветный Молотов составлял разительный контраст Дзержинскому. Еще не достигнув тридцатилетнего возраста, он занимал высокую должность в партийной иерархии: стал секретарем ЦК до того, как Сталина назначили Генеральным секретарем, а после этого служил при Сталине как его главный помощник. Уже в это время узость и тугодумие Молотова вошли в большевистских кругах в поговорку; все считали его лишенным каких-либо политических талантов и неспособным ни на одну инициативу. Обычно он выступал на партийных конференциях как докладчик по второ- или третьестепенным вопросам, и его речи были унылыми, как болото. Молотов, выходец из семьи интеллектуалов, родственник великого композитора Скрябина, казался полной противоположностью интеллектуала — человеком без каких-либо собственных идей. Не то чтобы в нем никогда не было искры — эта искра проявилась в 1917 году, но с тех пор давно погасла.

Молотов представлял собой почти идеальный пример революционера, ставшего чиновником, и своей карьерой он был обязан полноте этой метаморфозы. Он обладал несколькими характерными качествами, которые способствовали его выдвижению: бесконечным терпением, невозмутимой выносливостью, робостью перед начальством и неутомимым, едва ли не механическим трудолюбием, что в глазах вышестоящих компенсировало его посредственность и некомпетентность. Молотов очень рано превратился в тень Сталина и так же рано ощутил глубокую неприязнь к Троцкому, сочетавшуюся со страхом. Рассказывают, будто Троцкий однажды явился в секретариат, чем-то недовольный, и, едва не тыкая в Молотова, стал гневно распекал работавших там тупоумных бюрократов. «Товарищ Троцкий, — заикаясь, бормотал Молотов, — товарищ Троцкий, не всем же быть гениями».

Таким образом, еще до начала «борьбы за наследство» Троцкий оказался в Политбюро практически в одиночестве. Впервые он начал догадываться, что против него ведутся согласованные действия, в первые недели 1923 года, за год до смерти Ленина, когда на заседаниях Политбюро Сталин стал нападать на него с совершенно неожиданной яростью и злобой, обвиняя в упорном нежелании становиться «вице-премьером». Он подверг сомнению мотивы Троцкого и безосновательно заявил, что тот не желает выполнять свой долг, потому что в стремлении к власти не может удовольствоваться должностью одного из заместителей Ленина. Затем на голову Троцкого посыпались совершенно надуманные обвинения в пессимизме, неверии и даже в пораженчестве. Так, демонстрируя «пораженчество» Троцкого, Сталин цеплялся за его замечание, однажды сделанное в частном разговоре с Лениным, о том, что «скоро кукушка прокукует смертный приговор Советской Республике».

Сталин преследовал несколько целей. Он все еще считался с возможностью, что Ленин вернется к делам, и поэтому поднял вопрос о предложенном Лениным назначении в надежде вбить клин между ним и Троцким. Сталин знал: ничто так не смутит Троцкого, как заявление, что он стремится занять место Ленина. Расчет был точный. Троцкого сильно задело за живое. Он с большими, чем Сталин, основаниями надеялся на возвращение Ленина, поскольку иначе их «блок» оставался бы в бездействии. Но и помимо этого Троцкий был настолько уверен в своем положении в партии и в стране и в своем превосходстве над противниками, что не собирался бороться за наследство. Он не пытался вербовать партнеров и союзников, и ему даже не приходило в голову как-то маневрировать, чтобы укрепить позиции. Однако для Троцкого было так же абсурдно опровергать обвинения и инсинуации Сталина, как опасно не замечать их. Они так и замышлялись, чтобы втянуть Троцкого в полемику и вырвать из него те опровержения и оправдания, о которых говорится: «Кто оправдывает, тот виноват». Когда такого высокопоставленного человека, как Троцкий, обвиняют в стремлении к власти, никакие опровержения с его стороны не рассеют поднявшихся подозрений, если только он немедленно не откажется от всех должностей, удалится в изгнание и перестанет вообще подавать голос. К этому Троцкий, разумеется, не был готов. Снова и снова

он объяснял, что не понимает, какую пользу может принести в качестве одного из «вице-премьеров», чьи функции перекрывают друг друга, и что разделение труда в правительстве дурно организовано, потому что «каждый нарком исполняет слишком много обязанностей, а каждую обязанность исполняет слишком много наркомов». Еще он добавлял, что как «вице-премьер» окажется без аппарата, чтобы вести работу, и без серьезного влияния. «Мое назначение на такую должность, по моему мнению, станет для меня политической смертью». Троцкий отвергал обвинения в пессимизме и пораженчестве: да, он говорил о кукушке, которая «прокукует смертный приговор Советской Республике», когда пытался убедить Ленина в губительных последствиях экономических убытков и канцелярщины, но его целью — надо ли говорить об этом? — было излечение этих недугов, а не распространение паники. К таким мелочам скатилась перебранка в Политбюро и тянулась много недель, в течение которых Троцкий, ожидая возвращения Ленина, предпочитал отмалчиваться.

У него были основания тянуть время. Доклады врачей о здоровье Ленина внушали надежду. Даже из постели Ленин наносил по Сталину удар за ударом с неумолимой решительностью, которая изумляла Троцкого. Он считал, что поступает совершенно правильно, оставив Ленину инициативу в этом вопросе. В начале февраля Ленин, в частности, подверг суровой критике Рабкрин и довел это до сведения Политбюро. Хотя Сталин уже не работал в Рабкрине, нападки Ленина задевали его лично, поскольку Ленин совершенно ясно дал понять, что считает работу этого наркомата под руководством Сталина крайне неудовлетворительной. О пороках наркомата он говорил почти теми же словами, что и Троцкий: «недостаток культуры», «путаница», «бюрократические злоупотребления и безответственность» и т. д., отпуская также язвительные замечания о «бюрократии в партии, как таковой». В итоге он выдвинул предложения по реорганизации Рабкрин, сокращении его персонала и создании Центральной контрольной комиссии, которая должна взять на себя многие функции Рабкрин. Троцкий несколько недель требовал опубликовать ленинскую критику, но Политбюро отказывалось.

В то же время Троцкий выдвинул план радикальной реорганизации Центрального комитета и его различных учреждений, приведя в поддержку своего проекта критический обзор

состояния партии. ЦК, подчеркивал он, потерял связь с рядовыми членами партии и превратился в самодостаточную бюрократическую машину. По этому вопросу открытые споры разгорелись следующей осенью, но уже в январе и феврале Троцкий ставит его на Политбюро с куда большей откровенностью, чем позволял себе впоследствии, во время публичных дискуссий. В некоторых деталях, таких как размер ЦК и его взаимоотношения с Центральной контрольной комиссией, план Троцкого расходился с предложениями Ленина. Триумвиры придрались к этим расхождениям, заявив, что Троцкий не только унижает Ленина, отказываясь идти к нему в заместители, но и пытается подменить ленинские организационные идеи своими собственными. В тот момент сведения об этих дискуссиях в Политбюро стали проникать на верхние уровни партийной иерархии, и ничто не могло повредить Троцкому как предполагаемому наследнику Ленина в глазах высокопоставленных партийцев больше, чем слухи о том, что он выступает против Ленина практически по каждому вопросу. Триумвиры тщательно просчитывали свои слова, чтобы они порождали именно такие слухи. Предъявленные Троцкому обвинения фиксировались в протоколах Политбюро и были доступны для изучения членам ЦК, которые охотно делились этими секретами с друзьями и подчиненными.

Кампания шла уже довольно долго, а Троцкий никак на нее не реагировал. Лишь 23 февраля 1923 года он направил в ЦК письмо, в котором говорит: «Некоторые из членов... высказались в том смысле, что проект тов. Ленина имеет своей целью сохранение единства, а мой — раскол. Эту инсинуацию выдумала и распространяет клика, которая в действительности скрывает письма Ленина от членов партии». Троцкий разглашает то, что произошло на Политбюро: «В то время как большинство... считало невозможным само напечатание письма тов. Ленина, я, наоборот, не только... настоял на напечатании письма, но и отстаивал основные его идеи, или, чтобы быть более точным, те идеи его, которые казались мне основными». «Я охраняю за собою, — пишет он в заключение, — право изложить эту фактическую сторону дела перед лицом всей партии, если того потребует отпор инсинуации, которая чувствовала и чувствует себя слишком безнаказанной ввиду того, что я почти никогда не реагировал на нее». Случай «изложить фактическую сторону дела» мог представиться на XII партийном съезде,

запланированном на апрель. Такая угроза была характерна для Троцкого: он полагал, что неписанный кодекс внутрипартийной лояльности обязывает его уведомлять противников о тех шагах, которые он может предпринять. Тем самым он лишал себя преимущества внезапности и давал им время парировать удар. Сталин придерживался противоположной тактики. Однако Троцкий даже не собирался выполнять свою угрозу. Он стремился всего лишь обуздать Сталина и выиграть время в ожидании выздоровления Ленина. Однако кое-чего он добился: 4 марта в «Правде» была наконец напечатана критика Ленина в адрес Рабкрина.

5 марта, из-за болезни тоже оказавшись в постели, Троцкий получил от Ленина крайне важное и срочное послание. Ленин заклинал его выступить на ближайшем заседании ЦК в защиту грузинских «уклонистов». Это был первый контакт Ленина с Троцким после декабрьского разговора о «блоке» и первый сигнал о том, что Ленин изменил свое мнение по грузинским делам. «Дело это сейчас, — писал Ленин, — находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным». К письму Ленин приложил копию своих заметок о национальной политике Сталина (о которых шла речь в предыдущей главе). Из этих заметок Троцкий впервые получил ясное представление о той непреклонности, с которой Ленин намеревался вести это дело до конца, — по сравнению с ними критика Рабкрин казалась очень умеренной. Секретари Ленина добавляли, что он готов, выражаясь его собственными словами, «заложить на съезде бомбу против Сталина». Более того, в последний момент изнурительного напряжения ума и воли Ленин умолял Троцкого не выказывать ни малейшей слабости или колебаний, не доверять «гнилым компромиссам», которые может предложить Сталин, и, что не менее важно, не предупреждать Сталина и его союзников о готовящемся ударе. На следующий день он сам отправил послание грузинским «уклонистам», передавая им слова теплого приветствия и обещая вступить за них. Примерно в то же время Троцкий узнал от Каменева, что Ленин написал письмо Сталину, угрожая «разрывом всяких отношений». Сталин оскорбительно вел себя по отношению к Крупской, когда та собирала для Ленина информацию по грузинским делам, и Ленин, узнав об этом, едва мог

сдержать свое негодование. Он решил, как сказала Крупская Каменеву, «разгромить Сталина политически».

Какое моральное удовлетворение и триумф испытывал в тот момент Троцкий! Ленин уже далеко не в первый раз признавал наконец, что Троцкий с самого начала был прав. Как часто бывало и раньше, смелое предвидение Троцкого обрекало его на временное политическое одиночество и вело к разногласиям между ним и Лениным; в дальнейшем сами события оправдывали его и заставляли Ленина сделать идентичные выводы, сперва по вопросу о Госплане, затем по поводу Рабкрин и «партийной бюрократии», а теперь и по вопросу о Грузии. Троцкий был уверен, что триумvirат уничтожен и Сталин разбит, а он сам — победитель и может диктовать свои условия. Его противники думали точно так же. Когда Каменев как их представитель 6 марта пришел к Троцкому, он был удручен, готов понести наказание и стремился умиловать Троцкого.

Все это было излишним. Троцкий отомстил, продемонстрировав великодушие и всепрощение. Забыв о предупреждении Ленина, он поспешил согласиться на «гнилой компромисс». Ленин намеревался понизить Сталина и Дзержинского в должности и даже исключить из партии «по крайней мере на два года» Орджоникидзе (когда-то своего любимца) из-за жестокостей в Тифлисе. Троцкий поспешил заверить Каменева, что сам он не стал бы предлагать таких суровых мер. «Я, — сказал он, — против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе, против снятия Дзержинского... Но я согласен с Лениным по существу». Все, что он просил от Сталина, — чтобы тот исправился: пусть лояльно ведет себя по отношению к коллегам, пусть извинится перед Крупской и пусть перестанет третировать грузин. Сталин только что подготовил для зачитания на партийном съезде «тезисы» о политике по отношению к нерусским нациям — он должен был выступить по этому пункту перед съездом как докладчик ЦК. Стремясь оправдать свое поведение, Сталин всячески делал акцент на осуждении «местного национализма». Троцкий предлагал Сталину перефразировать свою резолюцию, включить в нее осуждение великорусского шовинизма и идеи о «единой и неделимой» России и дать грузинам и украинцам твердую гарантию, что отныне их права будут уважаться. Больше он не требовал от Сталина ничего — никакого битья в грудь и никаких личных извинений.

На таких условиях он был готов оставить Сталина на должности Генерального секретаря.

Эти условия, разумеется, были для Сталина вполне приемлемыми, чтобы капитулировать или, по крайней мере, изобразить капитуляцию. В тот самый момент, когда ему грозила политическая гибель, а гнев Ленина переливался через край, Троцкий протянул ему всепрощающую руку — он не мог не чувствовать благодарности к судьбе за такой ее каприз. Сталин сразу же принял условия Троцкого. Он переформулировал свои «тезисы», включив в них все поправки Троцкого. Что касается других «условий», то тут он заявил, что если кого-либо оскорбил или задел, так только вследствие недоразумений, и ему самому не терпится все поскорее уладить.

Пока Каменев продолжал играть роль посредника, с Лениным случился новый удар. После этого он прожил еще десять месяцев, но парализованный, большую часть времени немой и постоянно теряющий сознание — эта пытка была для него вдвойне мучительней, поскольку в промежутках он остро и с чувством своей беспомощности ощущал плетущиеся вокруг него интриги. При известии об ухудшении его здоровья триумвиры сразу же оживились. Через несколько дней после униженной капитуляции перед Троцким они снова принялись с удвоенной энергией, но более осторожно добиваться его отстранения от ленинского наследия. Троцкий же по-прежнему ощущал себя на коне. Его не покидала надежда, что Ленин выздоровеет. В любом случае в его руках находились послания и рукописи Ленина, и, если появиться с ними на съезде, особенно с заметками о грузинских делах, у партии не останется и тени сомнения, на чьей стороне Ленин. Разумеется, делал он вывод, триумвиры должны об этом знать, и, боясь разоблачения, они будут соблюдать компромисс.

Триумвиры знали, что Троцкий обещал Ленину поднять вопрос о грузинских «уклонистах» и ознакомить съезд с точкой зрения Ленина (Каменев уже читал заметки по Грузии). Перед Сталиным встала задача — убедить Троцкого не исполнять это обещание. Но сделал ли он, Сталин, все, что требовал от него Троцкий? Конечно сделал; и поэтому Троцкий согласился представить заметки Ленина в Политбюро, чтобы то приняло решение, стоит ли знакомить с ними съезд, а если да, то в каком виде. Политбюро решило ни в коем случае не публиковать заметки и в строгой тайне ознакомить с их со-

держанием лишь избранных делегатов. Не этого ожидал от Троцкого Ленин, когда заклинал его сохранять твердость, выступить перед съездом, не смягчая выражений, и не допустить, чтобы от съезда были скрыты разногласия в верхах. Но все эти призывы и предупреждения пропали зря, поскольку Троцкий в приступе великодушия помог триумвирам скрыть от мира сделанные Лениным на смертном ложе признания, полные стыда и вины, о том, что в большевистском государстве возрождается дух царизма. Заметки Ленина о политике по отношению к нерусским нациям оставались неизвестными для партии в течение тридцати трех лет.

Задним числом поведение Троцкого кажется невероятно глупым. В этот момент его противники выдвигались на позиции, и каждый его шаг был будто нарочно просчитан для того, чтобы облегчить им путь. Через много лет Троцкий с тоской заметил, что если бы он выступил на XII съезде, опираясь на авторитет Ленина, то, вероятно, сразу же разгромил бы Сталина, но в долговременном плане у того все равно оставались бы шансы на победу. Правда же состоит в том, что Троцкий воздержался от нападения на Сталина, так как чувствовал себя в безопасности. В 1923 году ни один современник — и в первую очередь он сам — не видел в Сталине ту зловещую и грозную фигуру, какой тот стал впоследствии. Троцкий наверняка счел бы неудачной шуткой идею о том, что Сталин — упрямый и коварный, но неотесанный и лишенный дара красноречия человек, всегда державшийся в тени, — станет его соперником, не собирався марать из-за него руки, не собирався замечать ни его, ни даже Зиновьева, и, прежде всего, не собирався порождать у партии впечатление, что и он сам участвует в недостойной игре, которую затеяли последователи Ленина вокруг его еще пустого гроба. Поведение Троцкого было столь же неуклюжим и нелепым, как поведение любого героя высокой трагедии, неожиданно оказавшегося в низком фарсе.

А фарс там вполне хватало. На заседании Политбюро накануне съезда Сталин предложил, чтобы Троцкий выступил перед съездом как политический докладчик от ЦК, то есть в роли, доселе всегда остававшейся за Лениным. Троцкий отказался, сказав, что официальным докладчиком должен быть Сталин, как Генеральный секретарь. Сталин, сама умеренность и скромность, ответил: «Ни в каком случае... партия этого не

поймет, доклад должен делать самый популярный член ЦК». «Самый популярный член», которого лишь несколько недель назад обвиняли в стремлении к власти, сам отступал, чтобы доказать бессосновательность обвинения, и тем легче триумвирам было одолеть его. Политбюро решило, что с тем докладом, который партия привыкла слушать из уст Ленина, должен выступить Зиновьев.

XII съезд наконец приступил к работе в середине апреля. Открытие съезда превратилось в стихийное изъятие преданности Троцкому. Как обычно, председатель зачитывал приветствия съезду, которые присылали партячейки, профсоюзы и группы рабочих и студентов со всей страны. Почти в каждом приветствии содержались славословия в адрес Ленина и Троцкого. Довольно часто звучали имена Зиновьева и Каменева, а Сталин практически не упоминался. Зачтение приветствий затянулось на несколько заседаний; не оставалось сомнений в том, кого бы партия выбрала на место Ленина, если бы выбирать пришлось прямо сейчас.

Триумвиры были удивлены и раздосадованы, но бояться им было нечего. Ленин отсутствовал и не мог взорвать свою «бомбу», а Троцкий, тоже обещавший не взрывать ее, выполнил обещание. Он не дал съезду ни малейшего намека на разногласия между ним и триумвирами и старался держаться в тени. Тем временем триумвиры развернули закулисную деятельность. Их агенты посвящали делегатов в подробности кризиса руководства и даже здравицы в честь Троцкого ставили ему в вину. Они старались изо всех сил, внушая провинциальным делегатам, какие мнимые опасности кроются в исключительной популярности Троцкого: разве Бонапарт, «могильщик» французской революции, не поднялся к власти на волне такой популярности? Можно ли гарантировать, что властолюбивый и амбициозный Троцкий не станет злоупотреблять ею? Не будет ли в отсутствие Ленина «коллективное руководство» людей не самых выдающихся, но пользующихся в партии известностью и доверием, более предпочтительным, чем Троцкий с его авторитетом? Подобные вопросы, заданные тревожным шепотом, заронили подозрения в душу многим делегатам. Большевики привыкли оглядываться на великий французский прецедент и мыслить историческими аналогиями. Время от времени они усматривали в ком-то из своих вождей того непредсказуемого персонажа — потенциального Дантона или будущего Бонапарта, — который

может преподнести опасный сюрприз для революции. И казалось, что среди всех вождей никто не обнаруживает большего сходства с Дантоном, чем Троцкий; более того, никому другому, кроме него, не подошла бы так хорошо и маска Бонапарта. Выдающееся положение Троцкого внушало многим старым большевикам опасения, и по здравом рассуждении действительно казалось более безопасным, если партией будет управлять команда менее блестящих, но более надежных товарищей¹.

Триумвиры вели себя с похвальной скромностью. Они заявили, что просят партию поверить им лишь в одном: они всегда были верными и проверенными учениками Ленина. Именно на этом съезде с подачи Зиновьева и Каменева началось безмерное возвеличение Ленина, позже превратившееся в государственный культ. Несомненно, эти восхваления были отчасти искренними, ведь это был первый съезд большевиков без Ленина, и партия уже ощущала себя осиротевшей. Триумвиры сыграли на этих настроениях, зная, что прославление Ленина бросит отблески славы и на тех, кого партия знала как его старейших последователей. Однако им пришлось всю потрудиться, чтобы убедить съезд в своем праве говорить от имени Ленина. В рядах делегатов царило беспокойство. Когда Зиновьев вышел на трибуну как докладчик, его встретило угрюмое молчание. Его преувеличенные и даже нелепые выражения любви к Ленину были неприязненно восприняты са-

¹ Один из критиков (Дж.Л. Арнольд) моей книги «Сталин», где мной упоминается эта кампания слухов, пишет: «То, что в нем [Троцком] некоторые коммунисты видели потенциального Бонапарта, — открытие, недавно сделанное такими литераторами, как мистер Дойчер... В то время такие сравнения были не приняты». Однако автор, повествуя о «кампании слухов», не всегда может дать точную ссылку на первоисточник; в «Сталине» я ссылаюсь на эту конкретную кампанию на основании того, что слышал о ней в Москве, когда память о тех событиях была еще вполне свежа. Недавно свои воспоминания издал Альфред Росмер, который в 1923 г. находился в Москве в составе Исполкома Коминтерна и был исключительно хорошо осведомлен во всех вопросах, связанных с личностью Троцкого. Вот что он пишет: «Ноге́р [в 1923 г.] повсюду ходили слухи, свидетельствовавшие о тщательном подготовленном маневре: «Троцкий воображает себя Бонапартом», «Троцкий готов подражать Бонапарту». Эти слухи проникали во все уголки страны. Я слышал их от приезжавших в Москву коммунистов, они понимали, что против Троцкого что-то замышляется, и настоятельно просили меня: «Предупредите его об этом». Кроме того, ссылки на эту «кампанию слухов» встречаются и в литературе того времени. Так, в книге Истмена «После смерти Ленина» целая глава об этих событиях называется «Антибонапартистская фракция».

мыми пронизательными и критически мыслящими делегатами, но они оставались в меньшинстве и не осмеливались протестовать, чтобы их не поняли неправильно.

Затем триумвиры призвали к дисциплине, единству и единодушию. Партия, оказавшись без вождя, должна сплотить свои ряды. «Всякая критика партийной линии, — восклицал Зиновьев, — хотя бы так называемая «левая», является ныне объективно меньшевистской критикой». Он адресовал это предупреждение Коллонтай, Шляпникову и их сторонникам и, взвинтив себя, заявил, что они еще омерзительнее, чем меньшевики. По видимости он обращался только к «рабочей оппозиции», но его слова следовало понимать как намек любому потенциальному критику, какого ответа тому следует ждать. Заявление о том, что отныне *любая* критика будет априори рассматриваться как меньшевистская ересь, было новостью — прежде никто не провозглашал ничего подобного. Однако эта идея представляла собой логическое следствие аргументации, которую Зиновьев выдвинул на предыдущем съезде, когда говорил, что большевики вследствие своей политической монополии обнаружили в рамках своей партии две или больше потенциальных партий, одна из которых состоит из «бессознательных меньшевиков». Не задумываясь о дальнейших последствиях такого заявления и преисполнившись самоуверенности, Зиновьев сделал дальнейший шаг и заклеил любого оппонента ведущей партийной группы как возможного глашатая этих «бессознательных» и бессловесных меньшевиков. Отсюда следовало, что вожди — кем бы те ни были — имеют право и даже обязанность расправляться с оппонентами внутри партии, как они расправились с настоящими меньшевиками. Таким образом Зиновьев сформулировал будущий канон большевистского самоподавления.

Призыв к дисциплине и новый взгляд на единство не остались без отклика. Представители «рабочей оппозиции» и прочих недовольных поднялись на трибуну, чтобы обличить триумвират и потребовать его роспуска. Видный партийный работник Лутовинов выразил протест против «папской непогрешимости» и иммунитета для критики, которые Зиновьев потребовал для Политбюро. Косиор, еще один старый большевик, заявил, что партией управляет клика, что Генеральный секретариат преследует критику, что Сталин за первый год своего пребывания в должности подвергал гонениям и опале

вождей таких важных парторганизаций, как Уральская и Петроградская, и что все разговоры о коллективном руководстве — обман. Среди поднявшегося шума Косиор потребовал, чтобы съезд снял запрет 1921 года на внутривнутрипартийные группировки¹.

Однако триумвиры были на съезде хозяевами: Каменева выбрали председателем, Зиновьев формулировал политическую линию, а Сталин манипулировал партаппаратом. Больше они не скрывали своего партнерства, в ответ на обвинение «рабочей оппозиции» вызывающе сознавшись в существовании триумвирата. Но внутри самого триумвирата происходил сдвиг: Зиновьев терял свое положение главного триумвира. Он переоценил свои силы, оттолкнул от себя многих делегатов и стал мишенью для большинства атак снизу. Наоборот, Сталин осторожным поведением укрепил свою репутацию. Делегаты одобрительно бросали на него взоры, когда Ногин, старый, влиятельный и умеренный член ЦК, вознес ему хвалу, высоко оценив его незаметную, но крайне важную руководящую работу в Генеральном секретариате. «В сущности, — сказал Ногин, — ЦК и есть тот основной аппарат, который приводит в движение всю политическую работу в нашей стране. Самым важным в этом аппарате является Бюро Секретариата». Здравый смысл Сталина привлекал даже иных недовольных, которых отталкивала зиновьевская экстравагантность и демагогия.

Позиция Сталина еще более укрепилась во время дискуссии о политике по отношению к нерусским национальностям — той самой дискуссии, которая могла бы стать для него губельной. Грузины приехали в Москву, ожидая обещанной им Лениным сильной поддержки, но не получили ее. Их дело защищал Раковский, возглавлявший украинское правительство, но не имевший в Москве достаточного влияния. «Москва ведет политику обрусения малых народностей по примеру царских жандармов?» — спрашивал он. Грузинские делегаты смутились и недоумевали, когда услышали, как сам Сталин с праведным негодованием возмущался притеснением нерусских народностей, и когда обнаружили, что их собственные обличения великорусского шовинизма включены в текст

¹ Еще один оратор ссылался на анонимную листовку, распространяющуюся во время съезда, в которой содержался призыв к изгнанию триумвиров из ЦК. Он предположил, что листовку сочинила «рабочая оппозиция».

Сталинских «тезисов». Этот спектакль — итог компромисса Троцкого со Сталиным — казался им насмешкой над всеми их жалобами и протестами. Тщетно они добивались хотя бы зачитания ленинских замечаний. Члены Политбюро загадочно отмалчивались. Лишь один из них, Бухарин, нарушил заговор молчания и в длинной и волнующей речи — она стала «лебединой песней» Бухарина как вождя левых коммунистов — встал на защиту малых наций и разоблачил сталинское притворство. Он заявил, что порицание великорусского шовинизма было со стороны Сталина чистым лицемерием и это доказывает сама атмосфера съезда, на который собралась элита партии: каждое произнесенное с трибуны слово против грузинского или украинского национализма вызывает бурные аплодисменты, в то время как даже самые осторожные намеки на великорусский шовинизм встречаются иронией или ледяным молчанием. Таким же молчанием встретили делегаты речь самого Бухарина. Сталин, приободренный царившими на съезде настроениями, мог позволить себе отмахнуться от смысла и сути нападок Ленина на его политику и разгромить «уклонистов».

Троцкий бесстрастно следил за работой съезда или вовсе отсутствовал. Он скрупулезно соблюдал условия своего компромисса с триумвирами и принцип «солидарности кабинета», принятый в Политбюро. Однако этот принцип не помешал Зиновьеву отпускать в адрес Троцкого многозначительные намеки о его «одержимости планированием». Троцкий никак не отвечал. Остался невозмутимым он и в тот момент, когда ораторы от «рабочей оппозиции» потребовали роспуска триумvirата и нападали на Генеральный секретариат. Он ни разу не кивнул, чтобы приободрить обескураженных грузин, а когда началась дискуссия о национальностях, покинул собрание, отговорившись тем, что должен готовить собственный доклад съезду¹.

Когда наконец 20 апреля Троцкий выступил перед съездом, он не стал поднимать вопросы, обсуждавшиеся с таким пылом и страстью, а ограничился исключительно экономической

¹ Однако лишь месяц спустя Троцкий в «Правде» снова подверг критике политику Сталина в Грузии, не упоминая его имени. Он писал, что если на Кавказе одержит верх великорусский шовинизм, то советское вторжение на Кавказ окажется «величайшим преступлением».

политикой. Несомненно, это была серьезная тема, в которой Троцкий видел ключ ко всем прочим проблемам, и ему наконец-то представилась возможность в полном объеме изложить перед всероссийской аудиторией идеи, которые до тех пор он раскрывал лишь в самых общих чертах или в пределах ограниченного круга вождей. В рамках сделки с триумвирами Троцкий получил возможность выдать свои взгляды за официальную точку зрения, хотя Политбюро соглашалось с ним по этому вопросу не больше чем со сталинской политикой в отношении нерусских наций. Троцкий придавал величайшее значение возможности проводить свою политику в жизнь в качестве официальной «линии» партии, и в его глазах это, возможно, отчасти оправдывало уступки триумвирам. Фактически никто из членов Политбюро открыто не возражал ему, когда съезд обсуждал его выступление.

Троцкий призвал партию взять в свои руки экономические судьбы страны и приступить к важной и сложной задаче первоначального социалистического накопления. Он сделал обзор первых двух лет новой экономической политики и подверг пересмотру ее принципы. Двойная цель нэпа, указывал он, состоит в развитии экономических ресурсов России и в направлении этого развития по социалистическому каналу. Рост промышленного производства все еще идет очень медленно, отставая от возрождения частного сельского хозяйства. Из-за этого между двумя секторами экономики возникает перекося, выражающийся в «ножницах» между высокими ценами на промышленные товары и низкими — на сельскохозяйственные (эта придуманная Троцким метафора вскоре станет идиомой у экономистов всего мира). Поскольку крестьяне не в состоянии покупать промышленные товары и не имеют серьезных побуждений продавать свою продукцию, «ножницы» угрожают снова обрывать экономические связи между городом и деревней и разрушить политический союз рабочих и крестьян. Ликвидировать «ножницы» следует путем снижения цен на промтовары, а не повышения цен на сельхозпродукцию. Требуется рационализация, модернизация и концентрация производства, а при этом не обойтись без планирования.

Планирование стало его главным коньком. Троцкий вовсе не заявлял, вопреки позднейшим утверждениям его противников, что от нэпа следует отказаться в пользу планирования. Он призывал партию перейти от «отступления» к социалис-

тическому наступлению в рамках нэпа. «Нэп есть признанная нами законодательным порядком арена борьбы между нами и частным капиталом. Мы эту арену воссоздали, легализовали и на ней борьбу ведем всерьез и надолго». Ленин тоже говорил, что нэп вводится «всерьез и надолго», и его слова нередко цитировали противники планирования. «Да, ответил им Троцкий, новая экономическая политика нами установлена всерьез и надолго, но не навсегда. Новую политику мы завели для того, чтобы на ее основе и в значительной мере ее же методами победить ее. Как? Умело пользуясь действием законов рынка... вводя в их игру аппарат нашего государственного производства, систематически расширяя плановое начало. В конечном счете это плановое начало мы распространим на весь рынок, тем самым поглотив и уничтожив его».

Взгляды большевиков на взаимоотношения планирования и рыночной экономики до сих пор были чрезвычайно смутными. Большинство полагало, что нэп и планирование практически несовместимы. Они видели в нэпе акт попустительства частной собственности, на который пришлось пойти из-за собственной слабости, и полагали, что нужда в таком попустительстве еще долго не исчезнет, а следовательно, необходимо подчеркнуть стабильность нэпа и укрепить доверие крестьян и торговцев к нему. Партия лишь в более или менее отдаленном будущем сможет аннулировать уступки, сделанные частному капиталу, и отменить нэп; и лишь тогда появится возможность строить плановую экономику. Такие взгляды будут определять политику Сталина в течение всего десятилетия, причем поначалу он противился планированию во имя нэпа, а впоследствии во имя планирования провозгласил «отмену» нэпа, ликвидировал частную торговлю и уничтожил частное крестьянское хозяйство.

Согласно идеям Троцкого, нэп вводился не только ради уступок частной собственности. С учреждением нэпа создавались рамки для долговременного сотрудничества, соревнования и борьбы между социалистическим и частным секторами экономики. Сотрудничество и борьба представлялись Троцкому диалектически противоположными аспектами единого процесса. Соответственно он призывал партию защищать и расширять социалистический сектор, даже если это означает поощрение и развитие частного сектора. Социалистическое планирование нужно не для того, чтобы однажды покончить с нэпом одним

ударом. Планирование должно развиваться в рамках смешанной экономики до тех пор, пока социалистический сектор не получит такой перевес, чтобы постепенно поглотить, трансформировать или уничтожить частный сектор, и не перерастет рамки нэпа. Следовательно, в плане Троцкого не оставалось места для внезапной «отмены» нэпа, для запрета частной торговли по указу и для насильственного уничтожения крестьянского хозяйства, так же как не оставалось места для административного провозглашения «перехода к социализму». Это различие в подходах Троцкого и Сталина наиболее отчетливо проявилось лишь к концу десятилетия. Однако в данный момент Троцкий, настаивавший на необходимости вести наступательную социалистическую политику, казался многим людям принципиальным противником нэпа.

Нет необходимости вдаваться в экономические подробности аргументации, приведенной Троцким, или в призывы к первоначальному социалистическому накоплению — его взгляды на этот вопрос освещены в предыдущей главе. Достаточно сказать, что его выступление и представленные им «тезисы» входят в число важнейших документов по советской экономической истории; Троцкий обрисовал перспективы советской экономики на несколько десятилетий вперед — десятилетий, в течение которого эволюция Советского Союза должна была определяться процессами форсированного накопления капитала в недоразвитой, но в основном национализированной экономике. Историк-марксист в самом деле может описывать и анализировать эти десятилетия — сталинские десятилетия — как эпоху первоначально социалистического накопления, и пользоваться при этом терминами, позаимствованными у Троцкого, изложившего эту идею в 1923 году¹.

Но каким бы ни было историческое значение выступления Троцкого на XII съезде и какой бы интерес это выступление ни представляло для исследователя марксистских идей, оно несколько не улучшило положения Троцкого накануне ожидавшей его борьбы. Его ключевая идея в целом лежала за пределами понимания аудитории. Речь, как обычно, произвела на съезде большое впечатление, но скорее своим напором, а не

¹ В последующие годы Троцкий практически никогда не говорил о «первоначальном социалистическом накоплении».

содержанием. Те немногие выводы из идеи Троцкого, которые были доступны для основной массы делегатов, порождали сомнения и даже подозрения. Многие задумались, не призывает ли все-таки оратор отменить нэп и вернуться к катастрофической политике военного коммунизма. Когда Троцкий заявлял, что промышленное производство должно быть сосредоточено на немногих крупных и эффективных предприятиях, вставал вопрос, что случится с рабочими, которые потеряют свои места при закрытии неэффективных заводов. Когда Троцкий указывал, что рабочему классу придется взвалить на себя основную ношу промышленной реконструкции, он не делал ни малейшей попытки смягчить жестокий смысл своих слов. Напротив, он так настойчиво подчеркивал эту мысль, что многие рабочие были поражены и шокированы. «Могут быть моменты, — сказал Троцкий, — когда государство заработка не выплачивает или платит только половину, и ты, рабочий, кредитуешь свое государство за счет заработной платы». Именно таким образом, «забирая у рабочих половину зарплат», впоследствии осуществлял накопление Сталин, но тогда он говорил рабочим, что государство платит им в два или три раза больше, чем они зарабатывали прежде. Когда Троцкий поставил этот вопрос перед съездом со всей прямоотой и безжалостной откровенностью, рабочих поразила безжалостность, а не откровенность. «Он что, снова говорит нам, — не могли они не задаваться вопросом, — как и в то время, когда создавал трудовые армии, что мы должны встать на точку зрения производителя, а не потребителя?» Агентам триумвиров не стоило никакого труда убедить рабочих в этом подозрении.

А каким образом, размышляли другие, политика Троцкого скажется на крестьянстве? Не втянет ли она партию в столкновение с мужиком? Втянет — уже утверждали Рыков и Сокольников на Политбюро и в ЦК. Многозначительное происшествие на съезде дало новую пищу этим подозрениям. В ходе дискуссий Красин, старый товарищ Троцкого, лично обратился к нему и спросил, задумывался ли тот обо всех последствиях первоначального социалистического накопления? Ранний капитализм, указывал Красин, не только недоплачивал рабочим и полагался на «аскетизм» предпринимателя, чтобы обеспечить накопления. Он эксплуатировал колонии, «грабил целые материки», уничтожил крестьянское хозяйство в Англии, погубил индийских ткачей-ремесленников, и на их

костях, «которыми белели равнины Индии», поднялась современная текстильная промышленность. Не собирается ли Троцкий провести аналогию до ее логического заключения?

Красин поднял этот вопрос без всяких враждебных намерений. Он смотрел на вещи с конкретной точки зрения, а в качестве наркома внешней торговли пытался убедить ЦК в необходимости расширять внешнюю торговлю и пойти на новые уступки иностранному капиталу. Красин старался довести до съезда идею, что раз большевики не могут экспроприировать крестьянскую собственность и грабить колонии — а это считалось само собой разумеющимся, — то они должны привлекать внешние займы, и иностранный капитал способен помочь России в осуществлении первоначального накопления без тех ужасов, которые сопровождали это накопление на Западе. Однако большевики уже поняли, что вряд ли сумеют получить иностранные кредиты на приемлемых условиях, и поэтому вопрос, который поднял Красин, вставал во всей остроте: откуда взять ресурсы, необходимые для скорейшего накопления? Когда Красин говорил об ограблении крестьянства и «белых костях» индийских ткачей, Троцкий вскочил на ноги и воскликнул: «Я этого не предлагаю». Это было правдой. Однако, в конце концов, не вела ли логика его подхода к «ограблению крестьянства»? То, что Троцкий в негодовании вскочил на ноги, показывает: над его головой уже сгушалось облачко подозрений, пусть пока не превышавшее размером ладони, и он это чувствовал.

Сказав вполне достаточно, чтобы оттолкнуть от себя рабочих и посеять в партии опасения о столкновении с крестьянством, Троцкий далее настроил против себя промышленных управленцев и администраторов. Он не мог не говорить крайне непопулярных речей, если был убежден, что они имеют жизненно важное значение и что доводить их до сведения собравшихся — его долг. Поэтому он обрисовал состояние дел в промышленности такими мрачными красками и так безжалостно раскритиковал новую экономическую бюрократию за самодовольство, чванство и неэффективную работу, что она чувствовала себя крайне уязвленной и затаила на него вражду. Троцкий, отвечали управленцы, видит экономику в таком черном цвете и так недоволен ее работой, потому что не удовлетворится ничем меньшим, чем утопии плановой экономики.

Так медленно, но неудержимо начали разворачиваться и накапливаться обстоятельства, которые со временем привели к поражению Троцкого. Он упустил возможность разрушить планы триумвиров и дискредитировать Сталина, предал своих союзников и не сумел выступить от имени Ленина с той решительностью, какой Ленин ожидал от него. Перед лицом всей партии Троцкий оставил без защиты грузин и украинцев, за которых прежде заступался на Политбюро. Он промолчал, когда снизу раздавались призывы к внутривнутрипартийной демократии, выдвинул экономические идеи, историческое значение которых ускользнуло от понимания аудитории, но которые могли быть извращены его противниками настолько, чтобы и рабочие, и крестьяне, и бюрократы увидели в Троцком своего недоброжелателя и все социальные классы и группы начали дрожать от одной лишь мысли о том, что он может стать наследником Ленина. В то же самое время триумвиры усердно старались ублажить всех и каждого, что-нибудь пообещав любому социальному классу и группе, потворствуя всяческим проявлениям самодовольства и ублажая любое вообразимое тщеславие.

Наконец, Троцкий непосредственно сыграл на руку триумвирам, заявив о своей непоколебимой солидарности с Политбюро и ЦК и призвав рядовых партийцев «в этот тяжелый для нас момент» к жесточайшему самоограничению и крайней бдительности. Выступая по поводу резолюции, призывающей к единству и дисциплине в отсутствие Ленина, он заявил: «Я буду не последним в вашей среде в деле ее [этой резолюции] защиты, проведения и беспощадной борьбы со всяким, кто на нее покусится. Если [партия] в этом своем состоянии двумя или тремя чертами подчеркнет то, что ей представляется опасным, если она даже преувеличит, она права, потому что то, что при других условиях могло бы не быть опасным, сейчас должно быть взято под подозрение вдвойне и втройне». В таком состоянии тревоги и усилившейся подозрительности триумвиры, конечно, без труда могли укрепить свое положение, подавляя оппозицию. Троцкий разделял их беспокойство по поводу шока, в который смерть Ленина могла свергнуть партию, и в своей готовности усилить партию он ослаблял свою позицию в ней. Несомненно, он полагался на лояльность триумвиров. Будучи о них невысокого мнения, Троцкий тем не менее относился к ним как к товарищам и

ожидал, что они в поведении с ним будут соблюдать известные приличия. Он не мог и представить себе, что его бескорыстные жесты они немедленно обратят к своей личной пользе.

Расширенный Центральный комитет, избранный на XII съезде, снова назначил Сталина на должность Генерального секретаря. Троцкий никак не пытался предотвратить этого, во всяком случае, он не предлагал никаких других кандидатов, что несомненно сделал бы Ленин. Все равно в отсутствие Ленина у него не было возможности сместить Сталина. Триумвиры остались хозяевами в Политбюро и в ЦК. Кроме того, они держали в своих руках Центральную контрольную комиссию, призванную служить верховным дисциплинарным судом партии. Председателем комиссии был назначен Куйбышев, близкий соратник Сталина.

У триумвиров не было оснований ускорять столкновение с Троцким. Он не совершал никаких провокаций, а они еще не были уверены, как поведет себя партия, если конфликт выплывет наружу. Однако Сталин не терял времени, готовя почву. Он пользовался своими широкими кадровыми полномочиями, чтобы снимать с важных должностей и в центре, и в провинциях тех людей, которые могли встать на сторону Троцкого, а на освободившиеся места назначал приверженцев триумвирата, а лучше — своих собственных. Сталин тщательно старался оправдать каждое из этих повышений и понижений очевидными заслугами и промахами; в этом ему очень помогало установленное Лениным правило, что при назначениях следует учитывать партийный стаж кандидата. Это правило автоматически играло на руку «старой гвардии», особенно карьеристам из ее числа.

Именно в течение 1923 года Сталин, решительно пользуясь этой системой патронажа, незаметно стал в партии хозяином. Чиновники, которых он назначал на должности региональных и местных партсекретарей, знали, что своим местом и продлением своих полномочий обязаны не членам данной парторганизации, а Генеральному секретариату, и, естественно, гораздо внимательней прислушивались к настроениям Генерального секретариата, чем к голосам, раздававшимся в местных парторганизациях. Сплоченный строй этих секретарей начал «под-

менять» собой партию и даже «старую гвардию», важным подразделением которой они являлись. Чем больше они привыкали единообразно действовать по приказам Генерального секретариата, тем больше последний фактически подменял собой партию в целом. В теории партия по-прежнему управлялась Центральным комитетом и руководствовалась решениями партийных съездов. Но отныне съезд представлял собой фикцию: как правило, его делегатами оказывались избранные лишь ставленники Генерального секретариата.

Троцкий следил за этими переменами в партии, понимал их смысл, но не имел возможности их остановить. Он мог оказать противодействие единственным способом: открыто обратиться к рядовым партийцам и призвать их сопротивляться решениям Генерального секретариата. Но поскольку Сталина поддерживало Политбюро и большинство в ЦК, это представляло бы собой подстрекательство против новоизбранного законного руководства. Ни один член Политбюро, каким бы высочайшим авторитетом он ни обладал, не мог пойти на такой риск. И меньше всего Троцкий был склонен рисковать сейчас, после того как скрыл от партии свои разногласия с триумвирами, торжественно провозгласил о полной солидарности с ними и поклялся стать самым ревностным и бдительным стражем дисциплины. Если бы он попытался поднять партию на борьбу с триумвирами, то все бы решили, что он действует лицемерно, из личной вражды или амбициозно намереваясь занять место Ленина.

До поры до времени Троцкий мог вести борьбу со Сталиным лишь в Политбюро и ЦК. Но здесь он находился в изоляции и его слова почти ничего не стоили. Даже Бухарин сильнее, чем когда-либо, склонялся на сторону триумвиров. (Среди сорока членов нового ЦК у Троцкого было не более трех политических союзников: Раковский, Радек и Пятаков.) Заседания Политбюро, проводившиеся в его присутствии, превращались в чистую формальность: все карты были на руках у противников, и реально Политбюро работало в его отсутствие. Так вскоре после XII съезда Троцкий начал расплачиваться за свое промедление. Он уже стал политическим узником триумвиров. Не в силах ничего противопоставить им в руководящих партийных органах и не в состоянии предпринять никаких шагов против них извне, он мог лишь выжидать в надежде на какое-нибудь событие, открывающее ему новые перспективы.

Летом 1923 года Москву и Петроград внезапно сотрясла политическая лихорадка. В течение июля и августа происходили волнения среди рабочих. Они полагали, что на них взвалили слишком большую долю промышленного возрождения. Платили им жалкие гроши, а зачастую они не получали даже этого. Руководители предприятий, будучи не в состоянии обеспечить прибыль и не получая от государства субсидий и кредитов, не могли платить рабочим, задерживали им жалованье на много месяцев и прибегали к недостойным трюкам и обману, чтобы уменьшить долги по зарплате. Профсоюзы, не желая задерживать восстановление промышленности, отказывались выдвигать какие-либо требования. В конце концов на многих заводах начались «неорганизованные» забастовки. Их размах ширился, и они сопровождались опасными вспышками недовольства. Выражения протеста застали врасплох и профсоюзных лидеров, и партийных вождей. В воздухе висела угроза всеобщей стачки, а события готовы были обернуться политическим бунтом. Никогда еще со времен Кронштадтского мятежа рабочий класс не был столь взбудоражен, а правящие круги столь встревожены.

Потрясение оказалось тем более суровым из-за его неожиданности. Правящие круги, самодовольно наблюдая за экономической ситуацией, похвалялись непрерывным подъемом. Они не получили вовремя сигналов о приближении беды, а если какие-то предупреждения и доходили, то на них не обращали внимания. И когда их грубо вырвали из спячки, они принялись искать злодеев, которые подстрекали рабочих. Ниже, в партийных документах, волнения заставляли людей серьезно задуматься, почему через два года после введения нэпа в народе сохраняется такое острое недовольство? Стоят ли чего-нибудь, спрашивали себя рядовые партийцы, официальные парадные отчеты? Не потеряли ли вожди в своем самодовольстве контакт с рабочим классом? Поиск виновных не мог ничего дать, пока эти вопросы оставались без ответа.

Зачинщиков найти было нелегко. Призывы к забастовкам не удавалось приписать каким-либо остаткам антибольшевистских партий — те, совершенно раздавленные, давно бездействовали. Подозрения вождей обратились на «рабочую оппозицию». Но и для ее вождей забастовки стали неожиданностью. Запуганная постоянными угрозами изгнания из партии, «рабочая оппозиция» вела себя смиренно и теряла

единство. Однако отколовшиеся от нее группы были до некоторой степени вовлечены в агитацию в пользу забастовок, которая главным образом велась спонтанно. Самой важной из этих группировок была «рабочая группа», которую возглавляли трое рабочих — Мясников, Кузнецов и Моисеев, все члены партии по меньшей мере с 1905 года. В апреле и мае, сразу же после XII съезда, они распространяли манифест с обличением «Новой Эксплуатации Пролетариата» и призывами к рабочим бороться за советскую демократию. В мае Мясникова арестовали, но его последователи не прекращали пропаганду своих взглядов. Когда начались забастовки, они задумались, не идти ли им на заводы и не призвать ли к всеобщей забастовке, и все еще вели об этом споры, когда ГПУ арестовало их — всего около двадцати человек¹.

Известия о том, что на заводах действуют эта и аналогичные группы, такие как «Рабочая правда», вызвали у партийных вождей испуг, с виду совершенно непропорциональный его причинам. Но, какими бы крохотными ни были эти группы, они обладали многочисленными связями в партии и профсоюзах. Рядовые большевики прислушивались к их аргументам с явной или тайной симпатией. Поскольку профсоюзы молчали, а партия обращала слишком мало внимания на проблемы рабочих, маленькие политические секты могли очень быстро приобрести обширное влияние и встать во главе возмущения, если их вовремя не остановить. Подстрекатели Кронштадтского мятежа тоже не были ни особенно многочисленными, ни влиятельными, но там, где скопилось много горючего материала, нескольких искр достаточно для пожара. Партийные вожди старались затоптать эти искры. Они решили преследовать «рабочую группу» и «рабочую правду» на том основании, что члены этих организаций больше не считают себя связанными партийной дисциплиной и ведут полуподпольную агитацию против правительства. Задачу преследования поручили Дзержинскому. Расследуя деятельность мнимых виновников, тот обнаружил, что даже бесспорно лояльные члены партии считают их товарищами и отказываются давать против них показания. Тогда он обратился в Политбюро и попросил от его имени объявить, что долг любого члена партии — сообщать в ГПУ о тех, кто в рамках

¹ По-видимому, эта группа насчитывала 200 членов в Москве.

партии предпринимает агрессивные действия против официальных вождей.

Этот вопрос встал на Политбюро сразу же после того, как у Троцкого произошло несколько стычек с триумвирами, снова обостривших их отношения, требование Дзержинского показалось ему абсолютно непомерным. Троцкий совсем не стремился защищать «Рабочую группу» и аналогичные оппозиционные группировки. Он не протестовал, когда их приверженцев бросали в тюрьмы. Хотя Троцкий полагал, что их недовольство в значительной степени оправданно и их критика в основном хорошо обоснована, но не симпатизировал их гробу и анархическому разглагольствованию. Не был он склонен и сочувствовать рабочим волнениям, так как не имел понятия, каким образом правительство сможет удовлетворить требования рабочих, пока промышленное производство остается ничтожным; не было смысла повышать зарплату, если на нее все равно не купишь товаров. Троцкий полагал, что забастовки, замедляющие возрождение промышленности, лишь усугубляют ситуацию, и не желал искать популярности, раздавая невыполнимые обещания и наживаясь на чужих бедах. Вместо этого он снова призывал к давно требующимся изменениям в экономической политике. Троцкий совершенно не стремился поддерживать требования возродить советскую демократию в той крайней форме, в какой их выдвигали «рабочая оппозиция» и ее осколки, но его возмущали те методы, которыми триумвиры и Дзержинский предполагали бороться с проблемой, и то упорство, с каким они подавляли симптомы недовольства, вместо того чтобы разобраться с их причинами. Когда Троцкий увидел, что Политбюро готово приказать членам партии шпионить и доносить друг на друга, это охватило негодование.

Дзержинский своим требованием затронул деликатный вопрос, потому что отношение большевиков к ГПУ не имело ничего общего с тем высокомерным отвращением, с которым приличный буржуазный демократ обычно взирает на любую политическую полицию. ГПУ являлось «мечом революции», и каждый большевик гордился, что помогает ему в борьбе с врагами революции. Но после окончания Гражданской войны, когда общество устало от террора, многие из тех, кто добровольно пошел служить в ГПУ, стремились покинуть его ряды. «В ГПУ могут работать лишь святые и негодяи, — примерно в то

время жаловался Дзержинский Радеку и Брандлеру, — а теперь все святые от меня разбегаются и остаются одни негодяи». Однако, и лишившись лучших кадров, ГПУ оставалось стражем большевистской монополии на власть. Ранее оно охраняло ее лишь от внешних врагов — белогвардейцев, меньшевиков, эсеров и анархистов. Вопрос был в том, должно ли ГПУ охранять эту монополию и от предполагаемых врагов в стане большевиков? Если должно, то ГПУ могло выполнить эту задачу, лишь действуя внутри самой партии.

Троцкий открыто не заявлял в Политбюро, что оно должно отвергнуть требование Дзержинского. Избегая этого вопроса, он затронул самую суть проблемы. «Казалось бы, — говорится в его письме в ЦК от 8 октября 1923 года, — требование уведомлять партийную организацию о том, что ее отделения используются враждебными к ней элементами, настолько элементарно, что нет необходимости принимать по этому поводу специальную резолюцию через шесть лет после Октябрьской революции. Само требование такой резолюции представляет собой чрезвычайно тревожный симптом, наряду с другими, не менее явными». Троцкий указывал на пропасть, отделявшую вождей от рядовых партийцев, — эта пропасть только расширилась после XII съезда и углублялась благодаря сталинской системе покровительства.

Когда Троцкий указал на это, триумвиры напомнили ему, что он сам при военном коммунизме управлял профсоюзами через своих назначенцев. Троцкий ответил, что даже в разгар Гражданской войны «система партийных назначений была развита раз в десять меньше, чем сейчас. Назначение секретарей провинциальных комитетов стало правилом. В результате партсекретарь становится фактически независимым от местной организации». Троцкий не оспаривал в явном виде прерогативы Генерального секретаря — он всего лишь призывал его к тому, чтобы пользоваться ими умеренно и разумно, и признался, что, когда на последнем съезде раздавались призывы к пролетарской демократии, многие из них «казались мне преувеличенными и в значительной степени демагогическими, потому что полнокровная рабочая демократия несовместима с режимом диктатуры». Однако партии не следует и дальше жить под давлением дисциплины времен Гражданской войны. Ее «нужно заменить более живой и широкой партийной ответственностью. Нынешний режим... гораздо

дальше от какой-либо рабочей демократии, чем режим самых суровых времен военного коммунизма». «Секретариатский отбор» ведет к «неслыханной бюрократизации партийного аппарата». Иерархия секретарей «создает партийное мнение», препятствует рядовым партийцам выразить и даже иметь собственные взгляды и разговаривает с простыми членами партии исключительно на языке команд и приказов. Неудивительно, что недовольство, которое не может «рассосаться» благодаря открытому обмену мнениями на партийных собраниях и посредством влияния на парторганизацию массы ее членов... втайне накапливается и порождает напряжения и стрессы».

Троцкий также возобновил нападки на экономическую политику триумвиров. Волнения среди рабочих, указывал он, усиливают брожение в партии, и это стало итогом нехватки экономического предвидения. Сейчас Троцкому было ясно, что единственная победа, которую триумвиры позволили ему одержать на XII съезде, — победа, ради которой пришлось пойти на такие большие уступки, — оказалась мнимой: съезд утвердил его резолюции по промышленной политике, но те остались мертворожденными. Руководство предприятий, как и прежде, ошибалось и все путало. Ничего не сделали и для того, чтобы Госплан стал руководящим экономическим органом. Политбюро создавало множество комиссий, чтобы расследовать симптомы кризиса, вместо того чтобы докапываться до его корней. Троцкого даже приглашали в комиссию по ценам, но он отказался туда идти, не желая, по его словам, участвовать в работе, цель которой — обходить острые углы и откладывать решения.

Но еще раньше у Троцкого произошел ряд столкновений с триумвирами, о которых уже упоминалось. Некоторые из них имели место во время дискуссии о ситуации в Германии, где, по заявлению Троцкого, возмущение, вызванное французской оккупацией Рура, создало уникальный шанс для немецких коммунистов. Другие стычки были связаны с предложениями триумвиров по реорганизации Реввоенсовета, где председательствовал Троцкий. Зиновьев намеревался ввести в этот совет либо самого Сталина, либо, по крайней мере, Ворошилова и Лашевича. Не вполне ясно, какими побуждениями он руководствовался и действовал ли в согласии со Сталиным, стремясь обеспечить триумвирам решающий голос при

контроле за военными делами, либо уже затеял против Сталина хитрую интригу, целью которой было вытеснить его из Генерального секретариата. Достаточно того, что, когда Зиновьев огласил свое намерение, задетый и негодующий Троцкий заявил, что в знак протеста подает в отставку со всех занимаемых должностей — из Военно-морского наркомата, Реввоенсовета, Политбюро и Центрального комитета — и просит отправить его «простым солдатом революции» за границу, чтобы помочь немецкой коммунистической партии в подготовке восстания. Эту идею он не высосал из пальца. В Москву только что прибыл вождь немецкой компартии Гейнрих Брандлер; сомневаясь, что он сам и его товарищи сумеют возглавить восстание, он совершенно откровенно спросил у Троцкого и Зиновьева, не может ли Троцкий инкогнито поехать в Берлин или Саксонию, чтобы встать во главе революционной работы. Такая идея пришлась Троцкому по душе, а опасность миссии будоражила его отвагу. Разочарованный тем оборотом, какой события приняли в России, раздосадованный интригами в Политбюро и, вероятно, уставший от них, Троцкий попросил об этом назначении. Внести свой вклад в победу очередной боевой революции было ему больше по душе, чем вкушать червивый плод победившей революции.

Но триумвиры не могли его отпустить. В Германии Троцкий стал бы вдвойне опасен. Если бы он уехал, победил и вернулся с триумфом, то затмил бы их как признанный вождь и российской, и германской революций. Но если бы с ним произошло какое-нибудь несчастье, если бы он попал в руки классовых врагов или погиб в бою, партия бы заподозрила триумвиров в том, что те отправили его на безнадежное задание, чтобы избавиться от него, а ни Сталин, ни его партнеры не были еще достаточно сильны, чтобы отмахнуться от таких подозрений. Они не могли позволить Троцкому заслужить либо лавры новой революционной победы, либо венец мученика и вышли из затруднения, превратив мучительную сцену в фарс. Зиновьев заявил, что он сам, председатель Коммунистического интернационала, должен поехать в Германию как «солдат революции» вместо Троцкого. Тут вмешался Сталин и, демонстрируя добродушие и здравый смысл, сказал, что Политбюро не может отказаться от услуг кого-либо из двух своих самых выдающихся и любимых вождей. Не может оно и принять отставку Троцкого из Военно-морского наркомата

и ЦК, которая вызвала бы колоссальный скандал. Что касается его самого, то он, Сталин, с удовольствием откажется от членства в Реввоенсовете, если это поможет восстановить гармонию. Политбюро согласилось с «решением» Сталина, и Троцкий, почувствовав абсурдность ситуации, ушел посреди заседания, «хлопнув дверь»¹.

Такая ситуация сложилась в Политбюро перед тем, как Дзержинский выступил со своим предложением и Троцкий написал письмо от 8 октября, в котором бросал триумвирам открытый вызов. Последние не слишком сильно встревожились, поскольку Троцкий старался не выносить столкновение на публику: его письмо было адресовано только тем членам ЦК, которым полагалось знать секреты Политбюро.

Однако неделей позже, 15 октября, 46 видных членов партии выступили с формальным заявлением, направленным против официального руководства и критикующим его политику в выражениях, почти идентичных тем, которые использовал Троцкий. Они заявляли, что стране угрожает экономическая катастрофа, поскольку большинство членов Политбюро не имеет собственной политики и не понимает необходимости в целенаправленном руководстве промышленностью и ее планировании. В заявлении не требовалось произвести какие-либо конкретные замены в руководстве; там лишь содержался призыв к Политбюро пробудиться и исполнять свой долг. Авторы заявления также протестовали против власти иерархии партсекретарей и против удушения дискуссий, заявляя, что официальные партийные съезды и конференции, на которые попадают лишь назначенцы, потеряли репрезентативность. Затем, заходя дальше Троцкого, авторы заявления требовали отменить или ослабить запрет на внутрипартийные

¹ Бывший секретарь Сталина Бажанов так подчеркивает гротескность этого инцидента: «Заседание происходило в Тронном зале Царского дворца. Дверь зала огромная, железная и массивная. Чтоб ее открыть, Троцкий потянул ее изо всех сил. Дверь поплыла медленно и торжественно. В этот момент следовало сообразить, что есть двери, которыми хлопнуть нельзя. Но Троцкий в своем возбуждении этого не заметил и старался изо всех сил ею хлопнуть. Чтобы закрыться, дверь поплыла так же медленно и торжественно. Замысел был такой: великий вождь революции разорвал со своими коварными клеветами и, чтобы подчеркнуть разрыв, покидая их, в сердцах хлопает дверью. А получилось так: крайне раздраженный человек с козлиной бородкой барахтается на дверной ручке в непосильной борьбе с тяжелой и тупой дверью».

группировки, поскольку он служит лишь одной фракции, маскируя ее диктатуру в партии, вынуждает недовольных партийцев создавать подпольные группировки и расшатывает их лояльность к партии. «Внутрипартийная борьба становится тем более свирепой, когда она ведется молча и в тайне». Наконец, подписавшиеся под заявлением просили ЦК созвать срочную конференцию для изучения ситуации.

Заявление «сорока шести» настолько дословно повторяло критику Троцкого, что триумвиры не могли не заподозрить, что Троцкий был прямым вдохновителем, если не организатором этого протеста¹. Они предположили, что авторы заявления собираются организовать сплоченную фракцию. Но на самом деле отношение Троцкого к этому поступку было куда более сдержанным, чем могли поверить триумвиры. Правда, среди сорока шести авторов заявления были его близкие политические единомышленники: Юрий Пятаков, самый способный и просвещенный из руководителей промышленности; Евгений Преображенский, экономист и бывший секретарь ЦК; Лев Сосновский, талантливый автор статей в «Правде»; Иван Смирнов, победитель Колчака; Антонов-Овсеенко, герой Октябрьского восстания, а теперь начальник Политуправления Красной армии; Муралов, командир Московского гарнизона, и другие. Троцкий делился с этими людьми своими мыслями и тревогами, а некоторым из них пересказывал даже свои тайные разговоры с Лениным. Они образовали ядро так называемой «оппозиции 1923 года» и представляли в ней «троцкистский» элемент. Но «сорок шесть» не были единой группой. К ним примкнули также сторонники «рабочей оппозиции» и такие деуисты, как В. Смирнов, Сапронов, Косиор, Бубнов и Осинский, чьи взгляды отличались от взглядов троцкистов. Многие подписавшиеся дополнили общее заявление особыми мнениями по отдельным пунктам или открытыми выражениями несогласия. В заявлении равный упор делался на двух темах: экономическом планировании и внутрипартийной демократии. Но одних подписавшихся больше интересовал первый пункт, а другие ближе к сердцу принимали последний. Преображенский, Пятаков и некоторые другие требовали свободы критики и дискуссий в первую очередь из-за оппозици-

¹ Ответственность Троцкого за заявление «сорока шести» стало центральной темой дебатов на XIII партконференции в январе 1924 г.

онного отношения к конкретной экономической политике; в ходе дискуссий они надеялись переманить других на свою точку зрения. Такие же люди, как Сапронов и Сосновский, оказались в оппозиции главным образом вследствие того, что внутрипартийная свобода была для них ценностью сама по себе. Первые выражали чаяния передовой и образованной элиты самой большевистской бюрократии, в то время как последние питали отвращение к бюрократии, как таковой. Группа «сорока шести», отнюдь не являясь сплоченной фракцией, представляла собой рыхлую коалицию группировок и отдельных лиц, с трудом нашедших общую почву для выражения недовольства и своих идей.

Не вполне ясно, следует ли считать Троцкого непосредственным вдохновителем этой коалиции, а если да, то в какой степени. Он сам отрицал это, в то время как его противники утверждали, что его слова — военная хитрость, к которой он прибег, чтобы избежать ответственности за создание фракции. Однако никаких конкретных доказательств они не представили, а кроме того, группа «сорока шести» не действовала как единая фракция с четко определенной линией поведения и внутренней дисциплиной. Даже много лет спустя после смерти Троцкого близкие ему люди утверждали, что он всегда жестко соблюдал правила дисциплины и поэтому не мог стать организатором этой конкретной демонстрации протеста. В свете всего, что известно о поведении Троцкого в таких вопросах, такой взгляд можно считать верным. Однако сомнительно, что он якобы не знал заранее о демарше группы «сорока шести» и был удивлен им. Преображенский, Мурылов или Антонов-Овсеенко не могли не сообщать ему о своих замыслах и не пошли бы на этот шаг, если бы не получили от Троцкого одобрения. Следовательно, если Троцкий и не нес формальной ответственности за этот шаг, то он несомненно был его фактическим вдохновителем.

Сорок шесть подписавшихся направили свой протест в ЦК с требованием, чтобы тот в соответствии с давно сложившейся традицией ознакомил с их письмом партию. Триумфаторы отказали им в этом и, более того, пригрозили применить дисциплинарные санкции, если сами подписавшиеся будут распространять документ среди членов партии. Одновременно в ячейки были отправлены агенты ЦК с целью заставить авторов неопубликованного протеста. Затем было

проведено специальное расширенное заседание ЦК, чтобы рассмотреть заявление «сорока шести» и письмо Троцкого от 8 октября. Отвечая Троцкому, триумвиры повторили обвинения, выдвинутые против него Сталиным на заседаниях Политбюро в январе и феврале. Троцкого обвиняли в том, что им движет жажда власти и что по принципу «все или ничего» он отказывается не только идти в заместители к Ленину, но и не уделяет внимания своим нынешним обязанностям. Далее триумвиры перечислили все вопросы, по которым у Троцкого в последние годы были разногласия с Лениным, но обошли молчанием тот факт, что почти по всем этим вопросам Ленин в конце концов соглашался с Троцким. Центральный комитет подтвердил обвинения и вынес Троцкому порицание. Кроме того, досталось и «сорока шести» — их совместный протест был признан нарушением запрета фракций 1921 года. Троцкого открыто не обвиняли в организации этой фракции, но возложили на него моральную ответственность за проступок группы «сорока шести».

Это осуждение явственно демонстрирует механизм порочного круга, согласно которому каждая зарождающаяся оппозиция подпадала под действие запрета 1921 года. В письме «сорока шести» содержалось именно требование отмены или смягчения этого запрета. Но подписавшимся было достаточно заговорить о пересмотре правил, чтобы оказаться обвиненными в их нарушении. Запрет на внутривнутрипартийные группировки оказался неуязвимым и необратимым: он автоматически делал незаконными любые шаги, направленные на его отмену. В результате в партии установилась казарменная дисциплина, которая, может быть, и полезна в армии, но крайне вредна для любой политической организации; эта дисциплина позволяет одному человеку высказать свое недовольство, но совместное выражение такого недовольства несколькими людьми рассматривает как бунт.

Триумвирам было нелегко подавить этот «бунт». Взбунтовались не простые партийцы — это были сорок шесть «генералов революции». Все они занимали важные должности в правительстве и партии, большинство отличилось своим героизмом в Гражданской войне, многие входили в состав ЦК. Некоторые из них присоединились к большевикам в 1917 году, вместе с Троцким, остальные вступили в партию после 1904 года. Их

протест не удалось бы скрыть. Осуждая его в ячейках и призывая ячейки присоединиться к осуждению, но запрещая им знакомиться с текстом протеста, триумвиры возбудили массовые подозрения. Партию будоражили тревожные слухи. Триумвирам наконец пришлось выпустить пар. 7 ноября, в шестую годовщину революции, Зиновьев выступил с торжественным обещанием восстановить внутрипартийную демократию. В качестве жеста доброй воли «Правда» и другие газеты объявили на своих страницах дискуссию и призывали партийцев откровенно писать о всех вопросах, которые их волнуют.

Объявление дискуссии после «трех лет молчания»¹ было рискованным шагом, и триумвиры знали это. Они открыли дискуссию в Москве, но затягивали с ее началом в провинции. Но едва предохранительный клапан был открыт, на триумвиров обрушилось давление неожиданной мощи. Московские партячейки взбунтовались. Они враждебно встречали официальных вождей и приветствовали ораторов от оппозиции. На ряде митингов на крупных заводах самих триумвиров освистали, а их предложения получили незначительное число голосов. В центре дискуссии сразу же оказалось заявление «сорока шести», получивших возможность свободно изложить свои взгляды рядовым партийцам. Самым агрессивным и успешным оратором из их числа был Пятаков; где бы он ни появлялся, его смело сформулированные резолюции принимались подавляющим большинством голосов. Антонов-Овсеенко обратился к гарнизонным парторганизациям, и вскоре после начала дискуссии по меньшей мере треть этих организаций стояла за оппозицию. Так же поступили ЦК комсомола и большинство московских комсомольских ячеек. Университеты охватило возбуждение; подавляющее большинство студенческих ячеек заявило о решительной поддержке «сорока шести». Вожди оппозиции ликовали. Согласно некоторым источникам, они были так самоуверенны, что обсуждали в своем кругу, какую долю контроля за партаппаратом следует оставить триумвирам.

Триумвиры перепугались. Увидев, чем может закончиться голосование в гарнизонных ячейках, они решили, что эти ячейки нельзя допускать к голосованию, и немедленно сняли

¹ () «трех годах молчания», предшествовавших дискуссии, говорил Ридек на XIII партконференции.

Антонова-Овсеенко с его должности во главе Политуправления Красной армии, заявив, будто бы он угрожал ЦК, что вооруженные силы встанут «как один» за Троцкого, «вождя, организатора и вдохновителя побед революции». На самом деле Антонов-Овсеенко не грозил бунтом. Он всего лишь имел в виду, что Троцкого «как один» поддерживают армейские партячейки. Несомненно, в запале он преувеличивал, но его слова были недалеко от истины. Кроме того, Антонов-Овсеенко не нарушал закон, проводя в армейских партячейках дискуссии. Эти ячейки, аналогично гражданским ячейкам, имели полное право участвовать в дискуссиях и голосовать по политическим вопросам, и никогда прежде им не отказывали в этом праве. Пусть поведение Антонова было не вполне безупречным — так, Троцкий заявлял, что тот мог бы проявить больше благоразумия в этой деликатной ситуации, — но так или иначе, триумвиры решили, что его нельзя оставлять во главе армейского Политуправления. Вслед за этим были смещены и другие оппозиционеры. Генеральный секретариат в нарушение уставов распустил ЦК комсомола и заменил его своими креатурами. Дисциплинарным взысканиям подверглись и другие сторонники оппозиции. Триумвиры прибегали ко всем вообразимым уловкам, чтобы помешать дальнейшему ходу дискуссий.

Однако все это не ослабило напряжения. Тогда триумвиры решили смутить оппозицию, взяв на вооружение ее же лозунги. Они сочинили специальную резолюцию с открытым обличением «бюрократического режима в партии» в таких формулировках, которые были словно позаимствованы у Троцкого и группы «сорока шести», и провозгласили начало «нового курса», который должен гарантировать членам партии полную свободу самовыражения и критики.

В течение ноября, пока вся Москва бурлила, Троцкий не принимал участия в публичных дискуссиях. К молчанию его принуждало нездоровье. В конце октября, проводя выходной день на охоте в подмосковных болотах, Троцкий подхватил лихорадку и в течение этих решающих месяцев был прикован к постели. Любопытно отметить, как подобные случаи — сперва болезнь Ленина, а затем и самого Троцкого — наряду с ключевыми факторами внесли свой вклад в развитие событий. «Можно предвидеть революцию или войну, — пишет Троцкий в книге «Моя жизнь», — но нельзя предвидеть по-

следствия осенней охоты на утку». Безусловно, Троцкий остался без важного козыря, когда в этот критический момент лишился возможности использовать свой живой голос и напрямую обращаться к аудитории.

«Это были тяжелые дни, — вспоминала жена Троцкого, — дни напряженной борьбы Л.Д. в Политбюро с его членами. Он был один, болен и боролся против всех. Из-за болезни Л.Д. заседания происходили в нашей квартире, я сидела в спальне рядом и слышала его выступления. Он говорил всем своим существом, казалось, что с каждой такой речью он теряет часть своих сил, с такой «кровью» он говорил им. И я слышала в ответ холодные, безразличные ответы... Каждый раз после такого заседания у Л.Д. подскакивала температура, он выходил из кабинета мокрый до костей, раздевался и ложился в постель. Белье и платье приходилось сушить, будто он промок под дождем».

Когда триумвиры решили смутить оппозицию своим громким заявлением о «новом курсе», они беспокоились, одобрит ли заявление Троцкий, и попросили его поставить свою подпись рядом с их подписями под текстом, который своровали у него. Троцкий не мог отказаться, не создав у партии впечатление, будто именно он стоит на пути к свободе; к тому же он надеялся, что формальное открытие публичной дискуссии наконец позволит ему довести до всеобщего сведения те вопросы, по поводу которых он боролся с триумвирами на закрытых заседаниях Политбюро. Однако он не мог не заподозрить, что документ, под которым его просят подписаться, — простая бумажка. Всего лишь несколько недель спустя один из вождей оппозиции сравнил эту прокламацию с Октябрьским манифестом 1905 года, обещавшим конституционные свободы, — царь издал этот манифест в минуту слабости и аннулировал его сразу же, как только вновь почувствовал себя уверенно. В октябре 1905 года молодой Троцкий, впервые появившись перед революционными толпами Петербурга, смял в руке царский манифест и предупредил народ: «Сегодня его дали нам, а завтра отберут и порвут в клочки, как сейчас я рву эту бумажную свободу на ваших глазах!» Но теперь, в 1923 году, он не мог выйти к народу и порвать на его глазах «новый октябрьский манифест», который провозглашался от имени Политбюро, куда входил и сам Троцкий; и тот стремился реформировать, а не подрывать существую-

щую власть. И когда призыв к «новому курсу» принесли ему в постель, Троцкому оставалось лишь отредактировать его так, чтобы сделать обещания внутрипартийной свободы как можно более простыми и недвусмысленными и тем самым наложить на триумвиров определенные обязательства. Политбюро согласилось со всеми поправками и 5 декабря единодушно проголосовало за резолюцию. Но хотя Троцкий тоже голосовал за, он не мог удержаться от того, чтобы в каком-то смысле не повторить свой жест 1905 года.

Таким жестом стали несколько коротких статей, которые он напечатал в «Правде» и впоследствии включил в свой памфлет «Новый курс». Эти статьи содержат в себе суть большинства идей, которые впоследствии стали считаться признаками «троцкизма». Первая из этих статей появилась 4 декабря, за день до того, как Политбюро проголосовало за «новый курс». Она содержит несколько загадочные нападки на «казенщину» в собственном ведомстве Троцкого — в армии, а также «езде и всюду». Пороки казенщины, пишет Троцкий, проявляются тогда, когда люди «перестают думать о содержании, самодовольно употребляют условные фразы, не задумываясь об их смысле, отдают привычные распоряжения, не спрашивая себя об их целесообразности, и, наоборот, пугаются каждого нового слова, критики, инициативы, самостоятельности, независимости». Повседневной пищей для казенщины служит «возвышающая» ложь. Ее можно найти в рассказах о Красной армии и Гражданской войне, в которых истина принесена в жертву бюрократической легенде. «Почитаешь: в наших рядах — сплошь герои, все до единого рвутся в бой, враг всегда имеет численный перевес, все наши приказы всегда разумны, исполнение — на высоте, и пр. и пр. Поучительный эффект таких мифов — сам по себе миф. Красноармеец будет слушать их так же, как его отец слушал жития святых: нравоучительно, благолепно, но к жизни неприменимо. Величайший героизм в военном деле, как и в революционном, — это героизм правдивости и ответственности. Мы говорим здесь о правдивости не с точки зрения какой-либо отвлеченной морали: человек, мол, не должен никогда лгать и обманывать ближнего своего. Такие идеалистические принципы являются чистейшим лицемерием в классовом обществе, где есть противоречия интересов, борьба и война. В частности, военное дело немислимо без хитрости, без маскировки, без внезапно-

сти, без обмана. Но одно дело — сознательно и преднамеренно обмануть врага во имя дела, которому человек отдаст свою жизнь, а другое дело — из ложного самолюбия или угодничества... давать с ущербом для дела ложные сведения: «все, мол, обстоит благополучно».

Далее Троцкий проводит параллель между армией и партией, особенно между принятым там отношением к традициям. Молодой коммунист по отношению к «старой гвардии» находится в том же положении, как и курсант — по отношению к своим командирам. И в партии и в армии молодежь приходит в готовую организацию, которую старшее поколение построило на пустом месте. Поэтому и там и там традиция имеет огромное значение — без нее невозможно устойчивое движение вперед.

«Но традиция не есть мертвый канон или казенная романтика. Традицию нельзя заучивать на зубок, нельзя воспринимать ее, как евангелие, нельзя просто верить старшему поколению «на честное слово», — нет, традицию нужно завоевывать глубокой внутренней работой, нужно самостоятельно, критически прорабатывать ее и активно усваивать. Иначе все здание окажется построенным на песке. Я уже как-то писал о тех «старых гвардейцах»... которые внушают молодняку традиции по примеру Фамусова: «Учились бы, на старших глядя: мы, например, или покойник дядя»... Ни у дяди этого, ни у племянников его ничему хорошему научиться нельзя.

Несомненно, что авторитет нашего старшего командного состава, имеющего за собой поистине бессмертные заслуги перед делом революции, чрезвычайно высок в глазах военного молодняка. И это прекрасно, ибо обеспечивает нерасторжимую связь высшего и низшего командного состава как между собою, так и со всей красноармейской массой. Но при одном необходимом и крайне важном условии: авторитет старших ни в каком случае не должен обезличивать, а тем более терроризировать младших... Тип командира, да и вообще человека, который знает только «точно так», никуда не годится. Об этих людях старый сатирик (Салтыков) сказал: «Такали, такали, да и протакали».

Так «старая гвардия» впервые подверглась нападкам Троцкого. Но они были сформулированы в таких общих и уклончивых выражениях, что очень немногие догадались об их

смысле. Партия и страна по-прежнему не подозревали о разногласиях Троцкого с Политбюро и считали Троцкого проводником официальной политики. Вера в это была так сильна, что, когда сорок шесть оппозиционеров, обращаясь к партийным ячейкам, утверждали, что пользуются поддержкой Троцкого, Сталин мог ответить, что у них нет права так говорить, потому что Троцкий не только не согласен с оппозицией, а наоборот, является одним из самых убежденных сторонников дисциплины из числа вождей. Похоже, это стало последней каплей, которая вывела Троцкого из себя. 8 декабря он написал открытое письмо всем партийным собраниям, в котором прояснил свою позицию. Он назвал «новый курс» историческим поворотом, но предупредил рядовых партийцев, что некоторые вожди уже готовы дать задний ход и на практике пытаются свести смысл «нового курса» к нулю. Задача и долг партии, заявил он, в том, чтобы освободиться от тирании собственного аппарата. Простые коммунисты должны полагаться исключительно на себя, на собственный разум, инициативу и отвагу. Правда, партия не может обойтись без своего аппарата, а он должен работать централизованным образом. Но аппарат должен стать орудием партии, а не повелителем, и требования централизма должны быть согласованы с принципами демократии и уравниваться с ними. За последний период этого равновесия не было.

«Понимание или, по крайней мере, ощущение того, что партийный бюрократизм грозит завести партию в тупик, стало почти всеобщим. Поднялись предостерегающие голоса. Первым официальным и в высшей степени важным выражением происшедшего в партии перелома является резолюция о «новом курсе». Она осуществится в жизни в той мере, в какой партия, т. е. 400 тысяч членов ее, и захочет и сумеет ее осуществить». Некоторые вожди, опасаясь этого, уже утверждают, что основная масса партийцев недостаточно созрела, чтобы партия могла управлять собой демократическим образом. Но такие слова представляют собой именно призыв к бюрократической опеке, которая и не позволит массе набраться политической зрелости. Да, нужно «предъявлять очень строгие требования к каждому, кто хочет вступить в нашу партию и оставаться в ней», но вступившему в партию нельзя отказывать в пользовании всеми правами, которыми обладают ее члены. Затем Троцкий об-

ращается к молодежи с убедительным призывом проявлять самостоятельность и не считать авторитет «старой гвардии» абсолютным. «Только постоянное взаимодействие старшего поколения с младшим в рамках партийной демократии может сохранить «старую гвардию» как революционный фактор. Иначе она окостенеет и деградирует, превратившись в бюрократию.

Троцкий впервые обвинил, правда с большими оговорками, «старую гвардию» в «бюрократическом перерождении», обосновав свое обвинение многозначительной аналогией; он напомнил процесс перерождения «старой гвардии» 2-го Интернационала из революционной в реформистскую силу, принесшей свое величие и историческую миссию в жертву собственному партаппарату. Но большевизму угрожает не только разрыв между поколениями. Еще более тревожен разрыв между партией и рабочим классом. Заводские рабочие составляют лишь 15—16 процентов от всех партийцев. Троцкий призвал к все большему и большему вовлечению в партию «пролетариев, остающихся у станка». Свое письмо он заканчивает таким боевым призывом:

«Пассивное послушание, механическое равнение по начальству, безличность, прислужничество, карьеризм — из партии пон! Большевик есть не только человек дисциплины, нет, это человек, который вырабатывает себе в каждом данном случае твердое мнение и мужественно и независимо отстаивает его не только в бою против врагов, но и внутри собственной организации. Он сегодня окажется в своей организации в меньшинстве. Он подчиняется... Но это, разумеется, не всегда означает его неправоту. Он, может быть, только ранее других увидел или понял новую задачу или необходимость поворота, настойчиво поднимает вопрос и второй раз, и третий, и десятый и этим оказывает услугу партии, помогая ей встретить на исходу старой задачи или совершить необходимый поворот без организационных потрясений и фракционных конфликтов».

В этом и состояла суть проблемы. Троцкий выдвигает идею партии, допускающей в своей среде свободу различных направлений мысли, пока они совместимы с ее программой; эту идею Троцкий противопоставляет концепции монолитной партии, которую триумвиры уже выдавали за сущность большевизма. Конечно, партия не должна распадаться на

фракционные группировки, но «фракционность» представляет собой лишь крайнюю и нездоровую реакцию на чрезмерный централизм и деспотию аппаратного бюрократизма. Ее невозможно искоренить, пока существуют причины. И значит, необходимо «обновление партийного аппарата» с целью «замены оказавшихся и обюрократившихся свежими элементами, тесно связанными с жизнью коллектива», и прежде всего, должны быть сняты с руководящих должностей «те элементы, которые, при первом голосе критики, возражения, протеста склонны требовать партбилет на предмет репрессий. «Новый курс» должен начаться с того, чтобы в аппарате все почувствовали, снизу доверху, что никто не смеет терроризировать партию».

Таким образом, с опозданием почти на девять месяцев Троцкий наконец в одиночку взорвал ту бомбу, которую собирался взорвать вместе с Лениным на XII съезде. Опоздание оказалось губительным. Сталин уже перекроил весь партаппарат, поставив на все важные места, в каждую ветвь организации своих сторонников и, в меньшей степени, сторонников Зиновьева. Посредством инсинуаций, злословия и нашептывания он полностью подготовил их к ожидавшемуся столкновению с Троцким и теперь двинул строй своих секретарей в бой.

Когда письмо Троцкого было зачитано на партсобраниях, поднялась буря. Многие воспринимали это письмо как долгожданное послание, как вдохновенный призыв великого революционера, который наконец-то отвернулся от фарисеев и снова встал во главе униженных и оскорбленных. Даже члены оппозиционных группировок, против которых он совсем недавно выступал как советник обвинения, с жаром отозвались на его послание и признавали, что даже в своей жесткости по отношению к ним Троцкий руководился исключительно чистыми и высокими мотивами. «Мы сами обращаемся к вам, тов. Троцкий, — писал один из них, — как к вождю РКП и Коминтерна, революционная мысль которого остается чуждой кастовой замкнутости и безнадежной ограниченности». «Я обращаюсь к вам, тов. Троцкий, — писал другой, — как к одному из вождей Советской России, которому чужды соображения политической мести»¹. Однако многие большевики были поражены

¹ Ярославский цитировал эти письма на XIII партконференции с намерением дискредитировать Троцкого.

нарисованной Троцким мрачной картиной положения в партии и его резким языком, а некоторых возмутило такое неспровоцированное обвинение в адрес партии, которое воспринималось почти как удар ножом в спину. Партсекретари везде и всюду стояли во главе подобных настроений, вели организаторскую работу среди приверженцев этих идей, настраивали их и возбуждали до крайности, придавали им значение, совершенно непропорциональное их реальному влиянию, предоставляли в их распоряжение всевозможные средства самовыражения и большую часть времени, отведенную на собраниях для дискуссий, и почти все место в дискуссионных колонках ведущих газет и местных бюллетеней и листовок, которые играли колоссальную роль при формировании мнения в провинции.

На собраниях в низовых организациях приверженцы оппозиции нередко имели колоссальный перевес над ставленниками партаппарата своей численностью и твердостью убеждений. Но когда эти собрания со всем их шумом и яростью заканчивались, именно секретари говорили от имени парторганизаций, работали с принятыми резолюциями и решали, давать им ход или нет, а если да, то в какой степени. Если секретарь никак не мог повлиять на собрание, он тщательно подготавливал следующее собрание, стоял на него своих людей и получал перевес над оппозицией либо затыкал ей рот.

Дискуссия должна была завершиться проведением XIII партконференции. Подготовка к конференции также находилась в руках секретарей. Делегаты избирались непрямым голосованием, в несколько этапов. На каждом этапе секретари отмечали, сколько избрано сторонников оппозиции, и принимали меры, чтобы те не прошли следующий этап. Сколько голосов было подано за оппозицию в низовых ячейках Москвы, так и осталось неизвестно. Сорок шесть оппозиционеров утверждали — и никто им не возражал, — что на региональной конференции, представлявшей собой следующий этап после собраний в ячейках, оппозиционеры получили не менее 36 процентов голосов, однако на следующем этапе, на губернской конференции, их доля снизилась до 18 процентов. Оппозиция сделала вывод, что если ее представительство снижалась в той же самой пропорции вплоть до окончательных выборов, то, следовательно, она имела подавляющее большинство в Московской организации. Она почти наверняка была права, но секретари взяли верх над большинством.

Триумвиры стремились поскорее завершить состязание. На письмо Троцкого они ответили оглушительным потоком встречных обвинений. Со стороны Троцкого было непорядочно, заявляли они, голосовать вместе с Политбюро за «новый курс», а затем выступать с измышлениями о намерениях Политбюро. Преступно настраивать молодежь против «старой гвардии», хранительницы революционной доблести и традиций. Совершенно нетерпимо, что Троцкий пытается настроить массы партийцев против аппарата, так как всякий порядочный старый большевик знает, какое значение партия всегда придавала своему аппарату и какой заботой и преданностью окружала его. Троцкий лицемерит по поводу запрета на фракции: он знает, что этот запрет необходим для сохранения единства партии, и не осмеливается в открытую требовать его отмены, однако пытается исподтишка подвести под него мину. Троцкий клеветает, называя партийный режим бюрократическим, и играет с огнем, разжигая в массах чрезмерный и опасный аппетит к демократии. Он делает вид, будто обращается к рабочим, но на самом деле вербует сторонников среди студентов и интеллигенции, то есть среди мелкобуржуазной галерки. О правах и ответственности рядовых партийцев Троцкий говорит только для того, чтобы скрыть собственную безответственность, манию величия и не находящие выхода диктаторские амбиции. Его ненависть к партаппарату, оскорбительное отношение к «старой гвардии», безрассудный индивидуализм, неуважение к большевистской традиции и, кстати, его знаменитая «недооценка» крестьянства — все это ясно свидетельствует, что в глубине души он остается чужаком в партии, врагом ленинизма и неисправимым полуменьшевиком. Согласившись стать рупором всех разрозненных оппозиционных группировок, Троцкий оказался главным, пусть и бессознательным, агентом всех мелкобуржуазных элементов, которые давят на партию со всех сторон, стремясь разрушить ее единство и заразить ее собственными настроениями, предрассудками и стремлениями.

В длинной истории внутривнутрипартийных оппозиций ни на одну не обрушивали столь тяжелый груз обвинений и ни одну партаппарат не искоренял столь безжалостно, как оппозицию 1923 года. С «рабочей оппозицией» по сравнению с ней обошлись справедливо, почти что благородно; а оппозиции, суще-

ствовавшие до 1921 года, как правило, пользовались неограниченной свободой самовыражения и организации. В чем же причина пыла и ярости, с которыми партаппарат расправлялся со своими главными критиками?

Триумвиры были не в состоянии дать Троцкому бой на его поле, в честном споре. Его атака была слишком опасной: открытое письмо Троцкого и несколько статей о «новом курсе» звенели как могучие колокола, пробуждая тревогу, гнев и воинственность. Однако триумвиры прибегали не только к фальсификациям и репрессиям. Они также обнажили все слабости и неувязки, реальные или мнимые, в позиции Троцкого, и сполна воспользовались ими. Троцкий неизменно опирался на большевистскую монополию на власть и гораздо убедительнее триумвиров призывал партию охранять эту монополию как единственное средство, гарантирующее выживание революции; постоянно подтверждал свое стремление защищать и укреплять ее. Он возражал только против монополии на власть, которую получила в рамках партии «старая гвардия» и осуществляла через партаппарат. Противники Троцкого без труда могли продемонстрировать, что последнее является неизбежным следствием первого и что партия может сохранить свою монополию, лишь доверив ее «старой гвардии». Троцкий утверждал, что 400 тысяч партийцев должны иметь право выражать свое мнение и принимать полноценное участие в выработке партийной политики. Тогда почему же, спрашивали его противники, партия с подачи Ленина и с согласия Троцкого отказывала в этом праве массе своих членов в прошлые годы? Не потому ли, что партия была засорена чужеродными элементами — бывшими меньшевиками, перебежчиками и даже нэпманами? Ведь даже некоторые настоящие большевики порвали со своими товарищами, будучи развращены властью и привилегиями. Троцкий шипяет, что чистка, в ходе которой были исключены сотни тысяч человек, в достаточной мере оздоровила партию и восстановила ее единство. Но разве Ленин и ЦК не повторяли неоднократно, что все совсем не так? Разве они не предупреждали о необходимости новых периодических чисток? Разве они не соглашались с Зиновьевым, что вследствие монополии партии в нее неизбежно попадут «бессознательные меньшевики» и «бессознательные эсеры»? Одна-единственная чистка не в состоянии удалить все эти чужеродные элементы,

не говоря уже о незрелых партийцах. Даже исключенные, они все равно всеми правдами и неправдами стремятся обратно в партию с каждой группой новых членов. И после того, как возникла необходимость за год очистить партию на треть, как может «партия» доверять суждению масс и предоставить им полную свободу волеизъявления?

Троцкий протестовал против иррационального большевистского самоподавления, которое тем не менее было неизбежным следствием подавления большевизмом всех своих врагов. Если допустить свободную конкуренцию политических течений в рамках партии, не приведет ли это к тому, что «бессознательные меньшевики» самоопределятся, сформируют группу с особым мнением и расколют партию? Монолитная система следит за тем, чтобы разнородная масса не осознавала свою разнородность и не имела своего голоса; тем самым автоматически поддерживается единство. Некоторые из более пронизательных сторонников триумвиров видели достаточную реальность тех опасностей, на которые указывал Троцкий: «старая гвардия» может выродиться, а монолитная система неизбежно порождает недовольство и плодит спорадические бунты, которые также могут привести к расколу. Однако партия столкнется с опасностями, какой бы путь она ни избрала. По крайней мере, при монолитном контроле раскольническое движение не распространится так же быстро, как при демократической организации. Партаппарат вовремя заметит его, задушит в зародыше и более-менее уберезет партию от его влияния.

Иными словами, партии грозила опасность лишиться своего пролетарско-социалистического характера, опасность «выродиться» вне зависимости от того, кто будет решать ее судьбу — масса всех членов или «старая гвардия». Эту проблему порождало то обстоятельство, что подавляющее большинство нации не разделяло социалистического мировоззрения, рабочий класс по-прежнему пребывал в распыленном состоянии, а поскольку революция так и не охватила страны Запада, России приходилось полагаться в материальном и духовном плане на собственные ресурсы. В такой ситуации возможность «вырождения» была вполне реальна, оставалось только определить, где находился ее главный источник — в разнородной массе партийцев или в «старой гвардии». Казалось вполне естественным, что «старая гвардия», а вернее, ее большин-

ство должна доверять собственным социалистическим традициям и характеру бесконечно сильнее, чем суждениям и политическим инстинктам 400 тысяч формальных членов партии. Правда, Троцкий не просил «старую гвардию» самоликвидироваться — он призвал ее поддерживать свой авторитет демократическими методами. Но «старая гвардия» не считала, что способна на это, — и, вероятно, была права. Она не стремилась рисковать и вполне законно старалась сохранить свои политические привилегии.

Реформа партии, к которой призывал Троцкий, могла быть проведена в качестве первого шага по восстановлению тех свободных советских институтов, которые партия пыталась основать в 1917 году, то есть возвращения к пролетарской демократии и постепенного демонтажа однопартийной системы. Такая идея была близка Троцкому, но он не высказывал ее — либо потому, что считал ее очевидной, но не думал, что настало время поставить под вопрос однопартийную систему и принять меры по ее ослаблению, либо потому, что не желал подставляться под новые тяжелые обвинения и без необходимости усложнять ситуацию. Возможно, свою роль сыграли оба эти мотива. Однако Троцкий требовал для большевиков двойной привилегии: монополии на свободу и монополии на власть. Первое было несовместимо со вторым. Если большевики желали сохранить свою власть, им приходилось поступиться своей свободой.

В позиции Троцкого имелось еще одно слабое место. Он призывал партию сохранять свой пролетарско-социалистический характер и в то же время указывал, что «рабочие от станка» составляют в партии незначительное меньшинство — одну шестую часть ее членов. Большинство же составляли руководители промышленности, служащие, армейские командиры, комиссары, партийные чиновники и т. д. Некоторые из них имели пролетарское происхождение, но все больше и больше переходили в разряд профессиональной бюрократии, доставшейся Советам в наследство от царского режима. И именно вследствие внутрипартийной демократии влияние рабочих стало бы ничтожным, а верх бы взяли бюрократические элементы. Поэтому Троцкий призывал принимать в партию больше рабочих и «укреплять ее пролетарские ячейки». Но одновременно он настаивал, чтобы партия соблюдала осторожность и минимально относилась к приему новых членов из рабочего

класса, чтобы ее «не затопила политически сырая и нецивилизованная масса». Такое положение вещей казалось крайне парадоксальным, с какого бы угла на него ни взглянуть. Переход к демократическим процедурам не вернул бы в партию демократию, потому что только усилил бы ее забюрократизированность, а партия не могла стать более просвещенной и социалистической по духу, широко раскрыв двери для рабочего класса.

Тогда в чем же заключался пролетарский характер партии? Несложно прийти к выводу, что вожди большевиков, включая Троцкого, опирались на мифологию, не имевшую ничего общего с социальным составом партии и ее реальным отношением к рабочему классу. Внутрибольшевистские диспуты действительно, по крайней мере отчасти, велись в квазимифологических терминах, отражая ту подмену, которая заставляла партию (а затем и «старую гвардию») считать себя временным заместителем рабочего класса. Ни одна из сторон в этих диспутах не могла откровенно и полностью признать эту подмену. Ни одна из них не могла сказать, что большевики вынуждены идти к пролетарскому идеалу социализма без поддержки пролетариата — такое признание было бы несовместимо со всей марксистско-большевистской традицией. Приходилось прибегать к хитроумным аргументам и к странным двусмысленным идиомам, также полным условностей, чтобы скрыть или объяснить такое печальное состояние дел. Самыми большими грешниками в этом отношении были триумвиры, и мифология подмены в конце концов вылилась в окостенелый культ позднего сталинизма. Но даже Троцкий, стараясь отчасти исправить подмену и порвать в клочки уплотняющуюся паутину новой мифологии, не мог не запутаться в ней сам¹.

В реальности большевистская бюрократия уже представляла собой единственную организованную и политически активную силу как в обществе, так и в государстве. Она при-

¹ Так, называя аналогию между большевизмом и якобинством, которую проводили меньшевики и либералы, «поверхностной и несостоятельной», Троцкий пишет, что разгром якобинцев был вызван социальной незрелостью их последователей, и позиция большевиков в этом отношении «неизмеримо более благоприятная». «Ядром революции и одновременно ее левым флангом является у нас пролетариат... Пролетариат политически настолько силен, что, даже допуская рядом с собою в известных пределах образование новой буржуазии, он приобщает крестьянство к государственной власти... непосредственно».

(Курсив автора.)

своила себе политическую власть, выскользнувшую из рук рабочего класса; она стояла над всеми социальными классами и *политически* была от них всех независима. И тем не менее социалистический характер партии не являлся чистым мифом. Дело не только в том, что большевистская бюрократия субъективно считала себя строителем социализма и на свой манер культивировала традиции пролетарской революции. Ей и объективно, в силу обстоятельств, приходилось играть роль главной силы, направляющей развитие страны в сторону коллективизма. В конечном счете поведение и политику бюрократии определял тот факт, что она отвечала за промышленные ресурсы Советского Союза, находившиеся в общественной собственности. Бюрократия представляла интересы «социалистического сектора» экономики против интересов «частного сектора», а не интересы какого-либо социального класса; и лишь в той степени, в какой общие интересы «социалистического сектора» совпадали с общими или «историческими» интересами рабочего класса, большевистская бюрократия могла претендовать на то, что действует в интересах этого класса.

«Социалистический сектор» имел собственные притязания и собственную логику развития. В первую очередь он требовал для себя гарантии от полноценного восстановления капитализма и даже от частичного, но масштабного возобновления частного предпринимательства. Логика его развития требовала планирования, координации всех отраслей экономики, находившихся в общественной собственности, и их ускоренной экспансии. Альтернативой являлось сокращение сектора и его упадок. Экспансия должна была осуществляться, по крайней мере отчасти, за счет «частного сектора», путем поглощения его ресурсов. Это неизбежно вело к конфликту между государственной и частной собственностью, и в этом конфликте большевистская бюрократия в конечном счете не могла не встать на сторону «социалистического сектора». Правда, даже тогда коммунизм оставался недостижим, с чего предполагавшимся экономическим изобилием, высоким уровнем жизни, образования и общей цивилизованности, исчезновением разительных социальных контрастов, прекращением эксплуатации человека человеком и духовным климатом, соответствующим этим коренным преобразованиям в обществе. Но для марксиста национализация экономики являлась

важнейшей предпосылкой коммунизма, его реальным фундаментом. Было несложно понять, что даже на таком фундаменте не обязательно поднимется здание коммунизма; но казалось немислимо, чтобы без фундамента можно было обойтись. Именно этот фундамент коммунизма не могла не защищать большевистская бюрократия.

В момент, до которого дошло наше повествование, в 1923—1924 годах, большевистская бюрократия лишь смутно осознавала природу тех интересов, с которыми была связана. В сущности, ее озадачивала и смущала собственная беспрецедентная власть над промышленными ресурсами страны, и бюрократия не вполне понимала, как этой властью пользоваться. Она с беспокойством и даже со страхом относилась к крестьянству с его любовью к собственности и какое-то время даже была склонна уделять больше внимания требованиям последнего, а не «социалистического сектора». Лишь после ряда потрясений и нескольких раундов внутренней борьбы большевистская бюрократия стала отождествлять себя исключительно и бесповоротно с «социалистическим сектором» и его потребностями.

По иронии судьбы Троцкой, даже объявив войну политическим претензиям и высокомерию бюрократии, пытался подвигнуть ее на выполнение «исторической миссии». Это было целью его призывов к первоначальному социалистическому накоплению. Однако такое накопление в тех условиях, в которых ему предстояло осуществляться, едва ли было совместимо с пролетарской демократией. Не следовало ожидать, что рабочие добровольно пожертвуют «половину своих заработков» государству, как убеждал их поступить Троцкий с целью ускорить национальные инвестиции. Государство могло забрать «половину их заработков» только силой, а для этого должно было лишить рабочих возможности протеста и уничтожить последние следы пролетарской демократии. Две стороны программы, объявленной Троцким в 1923 году, в ближайшем будущем проявили свою несовместимость; в этом и состояла ключевая слабость его позиции. Бюрократия яростно ополчилась на одну часть его программы, в которой выдвигалось требование пролетарской демократии, но после серьезного сопротивления, колебаний и задержек ей пришлось выполнять вторую часть, связанную с первоначальным социалистическим накоплением.

На исходе года, когда подготовка к XIII конференции и борьба с оппозицией были в полном разгаре, здоровье Троцкого существенно ухудшилось. Лихорадка никак не проходила, и он страдал от физического истощения и депрессии. Его начало одолевать чувство приближающегося поражения. Кампания против Троцкого с ее нескончаемым потоком обвинений, искажений и уловок до сих пор казалась ему чем-то не совсем реальным, но тем не менее пробуждала в нем ощущение беспомощности. Он мог отстаивать свое дело лишь на словах, но его аргументы тонули в общем гаме. Даже издание «Нового курса» задерживалось государственными типографиями, так что брошюра не могла дойти до ячеек раньше открытия XIII конференции. Настроение Троцкого колебалось от напряжения к апатии. Когда врачи велели ему покинуть замерзшую Москву — зима в том году выдалась исключительно суровая — и полечиться на Черноморском побережье Кавказа, Троцкий ухватился за такую возможность вырваться из душной атмосферы столицы¹.

Пока Троцкий готовился к поездке, 16 января 1924 года открылась XIII конференция. Триумвиры подготовили резолюцию, грозно обличавшую Троцкого и сорок шесть оппозиционеров, виновных в «мелкобуржуазном отклонении от ленинизма». Работа конференции свелась почти исключительно к обсуждению этого вопроса. В отсутствие Троцкого дело оппозиции отстаивали Пятаков, Преображенский, В. Смирнов и Радек. Триумвиры и их сторонники отвечали очень ловко, и их ответы заполняли газеты. Итог был предрешен заранее. Генеральный секретариат так искусно манипулировал процессом выборов, что против резолюции с осуждением Троцкого было подано лишь три голоса. Даже в свете заявлений о влиятельности оппозиции, которые делали на конференции приверженцы Зиновьева и Сталина, итоги голосования выглядели столь смехотворно фальшивыми, что их

¹ В бюллетене о здоровье Троцкого, подписанном наркомом здравоохранения Семашко и пятью кремлевскими врачами, говорится об инфлюэнце, воспалении верхних дыхательных путей, расширении бронхиальных ганглий, непрерывающейся лихорадке (не превышающей 38 °С), потере веса и аппетита и сниженной работоспособности. Врачи считали необходимым освободить пациента от всех обязанностей и советовали ему уехать из Москвы с целью «лечения климатом в течение по меньшей мере двух месяцев». Этот бюллетень, подписанный 21 декабря 1923 г., появился в «Правде» 8 января 1924 г.

можно было принять за неудачную или наглую шутку¹. Но триумвиры сознательно пренебрегали всякими политическими приличиями. Их целью было дать партии понять, что они не останутся ни перед чем и любое сопротивление бесполезно. Теперь ячейки знали, что вне зависимости от их выступлений и протестов у них нет никакого шанса внести хоть малейшее изменение в официальные решения. Этого одного хватило, чтобы продемонстрировать бессилие оппозиции и ввергнуть ее сторонников в уныние.

18 января, не дожидаясь вердикта, Троцкий отправился в нелепую поездку на юг. Три дня спустя его поезд остановился в Тифлисе. Там, пока состав стоял на станции, Троцкий получил от Сталина зашифрованное сообщение о смерти Ленина. Для Троцкого этот удар стал неожиданностью — ведь до самого последнего дня врачи Ленина и в первую очередь сам Троцкий верили, что жизнь Ленина удастся спасти. С большим трудом он сочинил для газет короткую заметку со словами скорби о покойном вожде. «Ленина больше нет. Эти слова тяжело падают на наш разум, как гигантский камень падает в море». Погасла последняя искра надежды, что Ленин вернется, ликвидирует все плоды работы триумвиров и порвет их обличительные резолюции.

На минуту Троцкий задумался, не вернуться ли ему в Москву. Он связался со Сталиным и спросил совета. Сталин ответил, что Троцкий все равно не успеет на похороны, назначенные на завтра, и предложил ему оставаться и продолжить курс лечения. На самом же деле похороны Ленина состоялись несколько дней спустя, 27 января. У Сталина, разумеется, имелись причины, чтобы Троцкий отсутствовал на помпезных церемониях, в ходе которых триумвиры представили перед всем миром как наследники Ленина. Из Тифлиса Троцкий с гудящей от лихорадки головой отправился в приморский курорт Сухум. Там он провел много дней на веранде санатория под жарким солнцем, в окружении пальм, цветущих мимоз и камелий, в одиночестве размышляя о

¹ По словам Рыкова, Пятаков добился того, что за резолюции от оппозиции проголосовали все московские партиячейки, к которым он обращался. Ярославский утверждал, что каждая третья из армейских партиячек в Москве проголосовала за оппозицию, прежде чем дискуссия в гарнизоне была остановлена, и что большинство университетских ячеек поступило так же.

причудливых поворотах своего знакомства с Лениным — о дружелюбии, с каким Ленин принял его в Лондоне в 1902 году, их последующих резких разногласиях, о постепенном новом сближении и грозных триумфальных годах, когда они вместе стояли у штурвала революции. Троцкому казалось, что торжествующая часть его души сошла в могилу вместе с Лениным.

Новые воспоминания, лихорадка, тьма, одиночество. Теплое послание от слабой и безутешной вдовы Ленина принесло каплю утешения человеку, чья доблесть и могущество лишь совсем недавно поражали мир. Крупская писала, что Ленин незадолго до смерти перечитывал дружеский шарж на самого себя, написанный Троцким, и был явно растроган, особенно тем, как Троцкий сравнивал его с Марксом; она хотела, чтобы Троцкий знал — Ленин до конца сохранял к нему те дружеские чувства, которые проявились во время их первой встречи в Лондоне¹.

Затем снова нахлынул мрак, и воображение больного опять питалось воспоминаниями до тех пор, пока письмо от сына Лёвы не вернуло его к повседневным заботам. Лёва описывал пышные похороны в Москве, организованные с большим размахом, толпы народа, пришедшие попрощаться с вождем, и с тревогой изумлялся отсутствию отца.

Видимо, только сейчас, читая это печальное письмо от сына-подростка, Троцкий понял, что совершил ошибку, не пернувшись в Москву. Тысячи людей, проходивших мимо гроба Ленина, напряженно присматривались к членам Политбюро, стоявшим в почетном карауле, и замечали отсутствие Троцкого. Церемониальная символика распалая воображение толп, и в таком настроении духа они не могли не задуматься, почему его нет. Может быть, именно из-за разногласий, которые, по словам триумфиров, встали между ним и покойным, именно из-за «мелкобуржуазных отклонений от ленинизма»?

Отсутствие Троцкого не просто порождало в Москве слухи и домыслы. Оно открывало полный простор для деятель-

¹ Много лет спустя, после высылки Троцкого, Крупская рассказывала графу М. Кароли и его жене: «Он [Троцкий] очень глубоко любил Владимира Ильича; узнав о его смерти, он упал в обморок и два часа не приходил в себя».

ности его противников. В Кремле кипела работа и принимались важные решения. Преемников Ленина в партии и правительстве назначили с соблюдением всех формальностей. Рыков получил место Ленина как Предсовнаркома — Председателя Совета народных комиссаров, а должность Рыкова в ВСНХ отошла к Дзержинскому. Рыкова назначили Предсовнаркома, потому что он был заместителем Ленина, — если бы Троцкий в свое время согласился на эту должность, Рыкова было бы трудно повесить через его голову. После этого триумвиры предприняли новую, более решительную попытку установить контроль за Военным наркоматом. Они изгнали оттуда Склянского, верного помощника Троцкого, и отправили в Сухум специальную делегацию, сообщить Троцкому, что место Склянского займет Фрунзе, ставленник Зиновьева; через год Фрунзе сменит самого Троцкого на посту наркома. Кроме того, Политбюро и ЦК принимали меры по выполнению решений XIII конференции, направленных против оппозиции: очередные сторонники оппозиции были сняты, понижены в должности и получили взыскания. Отдел пропаганды работал на полную мощь, создавая культ Ленина, согласно которому его сочинения требовалось цитировать как Евангелие в борьбе с любыми разногласиями и критикой. Этот культ в первую очередь замышлялся как «идеологическое оружие» против троцкизма.

Наконец, триумвиры украли у Троцкого еще один важный козырь. Троцкий указывал на слабость «пролетарских ячеек» как на главную причину бюрократических извращений в партии и настаивал, чтобы партия пополняла свои ряды за счет рабочего класса. Это требование, безусловно, прибавляло ему сторонников среди рабочих. Триумвиры немедленно решили провести на заводах помпезную кампанию по вербовке новых членов. Но в то время как Троцкий выступал за тщательный отбор, триумвиры намеревались провести массовый прием, брать в партию всех, кто изъявит желание, и пренебречь всеми обычными проверками и условиями. На XIII конференции они рекомендовали разом принять в партию 100 тысяч рабочих. После смерти Ленина двери партии отворились еще шире: в феврале—мае 1924 года в коммунисты было записано 240 тысяч рабочих, что представляло собой издевательства над большевистским организационным принципом, требующим, чтобы в партию, как в элиту и авангард про-

летариата, принимали лишь политически развитых и закаленных в боях кандидатов. Среди же массы новых членов значительную долю составляли политически незрелые, отсталые, тупые и покорные, карьеристы и любители сладкой жизни. Триумвиры лихорадочно зазывали к себе все новых и новых людей, всячески обхаживая новичков и льстиво прославляя острый и непогрешимый классовый инстинкт и классовую сознательность, которые привели их в партию.

Этот массовый — «ленинский» — призыв подавался как спонтанная реакция рабочего класса на смерть вождя и как процесс омоложения партии. На самом же деле он представлял собой послание, адресованное Троцкому: «Ты думаешь, что можешь понравиться рабочим, настраивая их против бюрократов и заявляя о необходимости укрепить пролетарский элемент в партии. Вот мы его и укрепляем, причем делаем это без всяких колебаний — мы заманили в партию четверть миллиона рабочих. И что в результате? Облагородилась ли партия, стала ли она более демократической, более пролетарско-социалистической по своему характеру? Ослаблена ли бюрократия?» Фактически, «ленинский призыв» обеспечил триумфиров преданной клиентурой, к которой те вскоре обратились за поддержкой в борьбе с оппозицией. Троцкий понимал, к чему приведет демагогическая эксплуатация его идеи, но разве он мог сказать хоть слово против «ленинского призыва»? Сделай это, и его тут же заклеямили бы как врага пролетариата и лицемера, который сперва заявлял, что в партию нужно принимать больше рабочих, а теперь продемонстрировал свой страх перед ними и свою истинную мелкобуржуазную сущность. Оставалось делать хорошую мину при плохой игре, и Троцкий даже присоединился к официальным восхвалениям «ленинского призыва»¹.

¹ В тифлисской речи (11 апреля 1924 г.) Троцкий сказал: «Важнейший политический факт последних месяцев и недель — это приток рабочих от станка в ряды нашей партии. Это есть лучшая форма проявления воли основного революционного класса нашей страны, который... сказал: потирую доверие РКП... Этот вотум есть верная, надежная, безупречная проверка, по сравнению с которой парламентские вотумы являются призрачными...» Оглядываясь на этот «вотум» двадцать лет спустя, Троцкий писал: «Воспользовавшись смертью Ленина, правящая группа объявила «ленинский набор»... Политический замысел состоял в том, чтобы растворить революционный авангард в сыром человеческом материале, без опыта, без самостоятельности... Замысел удался... «ленинский набор» нанес смертельный удар партии Ленина».

Мрачная отрешенность Троцкого в момент, столь важный и для него, и для судьбы партии, конечно, в какой-то мере была следствием его болезни. Но еще сильнее его ослабляло чувство надвигающейся волны. Непостижимую природу этой волны Троцкий пытался понять и оценить в марксистских терминах. Он пришел к выводу, что революция идет вспять и что он и его друзья попали под удар реакции. Сущность этой реакции оставалась запутанной и непонятной: она казалась продолжением революции и до некоторого момента являлась им. Троцкий был убежден, что его долг — сопротивляться реакции, но он не вполне представлял себе, каким образом это делать и на какой результат можно рассчитывать. Волна, в которую он попал, была мутной и вязкой. Ни один из важных вопросов, служивших источником борьбы в Политбюро, не удавалось четко сформулировать. Все тонуло в тумане. Величайшие проблемы низводились до уровня грязных интриг. Если бы он, как утверждали его враги, стремился к личной власти, то, естественно, вел бы себя по-другому. Но все его существо восставало против борьбы за власть, и, возможно, подсознательно Троцкий был рад, что оказался вдали от нее, в меланхолическом одиночестве на Кавказе.

Весной здоровье Троцкого улучшилось и он вернулся в Москву. Партия как раз вела подготовку к XIII съезду, назначенному на май. ЦК и главные делегаты провели 22 мая встречу, на которой ознакомились с завещанием Ленина, до этого момента хранившимся у Крупской. Завещание прозвучало как гром с ясного неба. Присутствующие в крайнем смущении слушали тот абзац, в котором Ленин обличал Сталина за грубость и нелояльность и призывал удалить его из Генерального секретариата. Сталин был раздавлен. Его судьба снова повисла на волоске. В обстановке культа, сложившегося вокруг имени Ленина, после бесчисленных заверений и клятв «исполнить священную волю Ленина» казалось невыполнимым, чтобы партия не последовала его совету.

Но Сталина снова спасла доверчивость его будущих жертв. Зиновьев и Каменев, державшие его судьбу в своих руках, поспешили ему на выручку, уговаривая своих товарищей оставить Сталина на этой должности. Они проявили всю свою энергию и актерские таланты, чтобы убедить их, что вина Сталина перед Лениным не так уж велика и что он давно исправился. Слово Ленина священо, восклицал Зиновьев, но

и сам Ленин, если бы видел, как видим мы все, искренние попытки Сталина исправиться, не стал бы призывать партию к его отставке. В реальности смущение Сталина вполне устраивало Зиновьева, который уже побаивался его, но не осмеливался на разрыв. Зиновьев надеялся заслужить благодарность Сталина и снова занять место «старшего триумвира».

Все взгляды обратились на Троцкого: поднимется ли он, разоблачит ли этот фарс и потребует, чтобы воля Ленина соблюдалась? Но Троцкий не произнес ни слова. Он выражал свое презрение и отвращение к спектаклю лишь экспрессивными гримасами и пожатием плеч. Он не мог заставить себя высказаться по вопросу, от которого так явственно зависела и его собственная позиция. В итоге совет Ленина относительно Сталина оставили без внимания. Но в таком случае завещание Ленина невозможно было обнародовать, так как сразу же стала бы ясна вся смехотворность ритуалов, связанных с его культом. Несмотря на протест Крупской, ЦК подавляющим большинством голосов принял решение не публиковать завещание. Троцкий молчал до самого конца, будто онемев от омерзения¹.

XIII съезд открылся на последней неделе мая. Триумвиры потребовали от делегатов повторить анафему Троцкому, которую уже провозгласила в январе партконференция, обладавшая меньшим авторитетом. Съезд превратился в оргию обличений. Зиновьев исходил огнем и дымом: «Нам нужна монолитность, в тысячу раз большая, чем до сих пор». Несколькими месяцами раньше он требовал от своих союзников исключить Троцкого из партии и даже арестовать, но Сталин хладнокровно отказался подчиняться и поспешил объявить в «Правде», что против Троцкого не замышляется никаких шагов и руководить партией без Троцкого «немыслимо». На съезде Зиновьев снова вылез вперед и в момент фатального безрассудства потребовал, чтобы Троцкий не просто «разоружился», а отрекся бы перед съездом от своих взглядов. Пока Троцкий этого не сделает, заявлял Зиновьев, в партии не будет мира. Впервые в истории партии от ее члена требовали

¹ В «Завещании Ленина» Троцкий добавляет такую подробность: «Рядом со мною во время оглашения завещания сидел Радек... [Он] нагнулся ко мне со словами: «Теперь они не посмеют пойти против нас». Я ответил ему: «Наоборот, теперь им придется идти до конца, и притом как можно скорее».

отречения. Даже съезд, горевший желанием предать Троцкого анафеме, был шокирован. Многие делегаты стоя аплодировали Крупской, когда та, не поддерживая Троцкого, выразила энергичный и благородный протест против «психологически невозможного требования» Зиновьева.

Троцкий лишь раз выступил в свою защиту. Он говорил спокойно и убедительно, и в его словах слышалось смирение с поражением, но он был полон решимости не отказываться ни от одного из своих критических заявлений, старался не подливать масла в огонь и не сжигать свои корабли, утверждая, что вся высказанная им критика укладывается в рамки постановления Политбюро о «новом курсе», и все написанное и сказанное им так или иначе повторяли его противники. Троцкий даже отмежевался от некоторых оппозиционеров из группы «сорока шести», которые требовали свободы для внутрипартийных группировок. «Сообщение о том, будто бы я был за разрешение группировок, неверно... Я сделал, правда, большую ошибку, когда заболел в критический момент партийной дискуссии и не имел возможности... опровергнуть это утверждение, как и многие другие... Между фракцией и группировкой провести различий нельзя». Однако он повторил, что случайные разногласия укореняются, застывают и ведут к «фракционности» лишь вследствие неверной политики и порочного внутрипартийного режима. На призыв Зиновьева отречься он ответил:

«Нет ничего проще, морально и политически легче, как перед лицом своей собственной партии заявить о тех или других ошибках... Для этого не требуется большого нравственного героизма... Товарищи, никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии. Партия в последнем счете всегда права, потому что партия есть *единственный исторический инструмент, данный пролетариату для решения его основных задач*. Я уже сказал, что пред лицом партии нет ничего легче, как сказать: вся эта критика, все заявления, предупреждения и протесты, — все это было сплошной ошибкой. Я, товарищи, однако, этого сказать не могу, потому что этого не думаю. Я знаю, что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала. У англичан есть историческая пословица: права или не права, но это моя страна. С гораздо большим историческим правом мы

можем сказать: права или не права в отдельных частных конкретных вопросах, в отдельные моменты, но это моя партия... Смешно, может быть, почти неуместно делать тут какие-либо личные заявления, но я надеюсь, что если бы довелось, то и я буду не последним солдатом на последней большевистской баррикаде!»

Свое выступление Троцкий закончил словами о том, что согласится с вердиктом партии, даже если тот окажется несправедливым. Однако это согласие означает для него подчинение дисциплине лишь на деле, но не в мыслях. «Я, товарищи, этого сказать не могу, потому что этого не думаю» — эти слова своей простотой и негибкостью резко выделяются среди тонких рассуждений, язвительных аргументов и образных воззваний, которыми изобилует его речь. Его спокойствие и сдержанность приводили партсекретарей в ярость. Он был согнут, но не сломлен, подчинился дисциплине, но не раскаялся, и оттого его поведение казалось еще более вызывающим. Его слова раздавались в их ушах подобно голосу их собственной нечистой совести, и они пытались заглушить его речь оскорблениями, оставшимися без ответа. Лишь в конце съезда Троцкий вышел на Красную площадь, чтобы выступить перед московскими пионерами, и приветствовал в их лице новую смену, которая когда-нибудь придет в цеха революции на смену прежним бойцам — постаревшим, усталым и больным¹.

Коминтерн к тому времени погряз в диспутах. Триумвиры пытались объяснить и оправдать свою позицию перед иностранными коммунистами, от которых старались добиться недвусмысленного осуждения Троцкого, чтобы предъявить его российской компартии. Однако европейские коммунисты — а в те годы влияние Коминтерна по-прежнему в основном ограничивалось Европой — были встревожены тем, что происходит в Москве, и шокированы свирепостью нападок на Троцкого. Для них Троцкий являлся воплощением русской революции с ее героическими мифами и международного коммунизма. Вследствие своей европейской манеры выражаться Троцкий обладал для них большей привлекатель-

¹ Присутствовавший на съезде Макс Истмен рассказывает, что призывал Троцкого занять более воинственную позицию и огласить с трибуны завещание Ленина, но Троцкий его не послушался.

ностью, чем кто-либо из прочих российских вождей. Он был автором вдохновенных коминтерновских манифестов, которые своими идеями, языком и энергией напоминали «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Троцкий был не только вдохновителем, но также стратегом и тактиком Коминтерна. Европейские коммунисты не понимали, почему Зиновьев, председатель Коминтера, и другие российские вожди ополчились на Троцкого, и опасались последствий этого конфликта как для России, так и для международного коммунистического движения. Поэтому первым их побуждением было встать на защиту Троцкого.

Еще до конца 1923 года центральные комитеты двух влиятельных компартий — Французской и Польской — направили в Москву протест против клеветы на Троцкого и призвали противников решить свои разногласия в духе товарищества. Это произошло вскоре после того, как Брандлер от имени своей партии попросил Троцкого возглавить запланированное коммунистическое восстание в Германии. Триумвиры выразили возмущение этим протестом, опасаясь, что Троцкий, потерпев поражение в России, все еще может настроить против них Коминтерн. Зиновьев усматривал в действиях трех этих партий вызов своему авторитету председателя.

В это время Коминтерн был взбудоражен поражением, которое он только что потерпел в Германии. Вопросы, связанные с поражением, кризис, который привел к нему, и политика Германской компартии — вопросы, которые сами по себе давали достаточно оснований для диспутов, — сразу же оказались увязаны с борьбой в российской партии.

Германский кризис начался вследствие оккупации Рура французами в начале 1923 года. Рур бурлил; немцы всеми силами сопротивлялись оккупантам, и вскоре всю страну охватило мощное националистическое движение протеста против Версальского договора и его последствий. Сперва это движение возглавляли буржуазные партии, а коммунисты оказались на обочине. Но затем эти партии, опасаясь нежелательных последствий, начали колебаться и выходить из игры, особенно после того, как политическая буря стала грозить социальным взрывом. Экономика Германии оказалась в глубоком кризисе. Деньги обесценивались с катастрофической скоростью. Рабочие, из-за инфляции оказавшиеся за

гранью нищеты, в ярости были готовы на решительные действия. Коммунисты, затаившиеся после мартовского восстания 1921 года, почувствовали, что в их паруса снова дует ветер. В июле их ЦК призвал рабочих готовиться к революционной развязке, однако не питая глубокой уверенности в их силе и способности к революционным действиям; не было такой уверенности и у тех, кого волновала судьба немецкого коммунизма. Радек, представлявший в Германии Исполком Коминтерна, предупреждал Москву, что Германская компартия настроена излишне самоуверенно и, возможно, ей предстоит очередная неудача. Зиновьев и Бухарин подстрекали немцев, но не предлагали им никакого определенного плана. На этом этапе, в июле, Троцкий заявил, что недостаточно осведомлен о положении в Германии, чтобы иметь свое мнение.

Вскоре Троцкий пришел к выводу, что в Германии действительно готова сложиться острая революционная ситуация и что следует не только поощрять решительные действия Германской компартии, но и помочь ей с разработкой четкого плана революционной борьбы, кульминацией которого станет вооруженное восстание. Дату восстания следует назначить заранее, чтобы немецкая партия могла пройти через все предварительные этапы борьбы, подготовить рабочий класс и развернуть свои силы в ожидании развязки. Исполком колебался. Не только Радек — сам Сталин сомневался в реальности «революционной ситуации» и считал, что немцев следует придержать. Зиновьев по-прежнему подстрекал их, но всячески препятствовал подготовке плана. Политбюро, занятое внутренними проблемами, обсуждало эту тему от случая к случаю, и Зиновьев сумел заразить вождей Коминтерна своими широкими взглядами. С известной неохотой было решено дать Германской компартии сигнал к революции, оказать ей помощь в военных приготовлениях, а в конце концов даже определить дату восстания. Ее следовало назначить как можно ближе к годовщине Октябрьской революции, чтобы получился «немецкий октябрь».

В сентябре Гейнрих Брандлер, вождь Германской компартии, прибыл в Москву на совещание с Исполкомом. В юности камешик, затем — ученик Розы Люксембург, ловкий и осторожный тактик и способный организатор, он не был убежден в том, что обстоятельства благоприятствуют револю-

ции. Когда Брандлер поделился своими сомнениями с Зиновьевым, который испытывал очень похожие колебания накануне российского Октября, последний, разрываясь между опасениями и стремлением к решительным действиям, сумел страстными аргументами и стуком кулака по столу переубедить Брандлера. Тот подчинился. Его собственная партия, особенно берлинское отделение, где заправляли Рут Фишер и Аркадий Маслов, были полны уверенности в себе и решимости действовать. Брандлер считал, что Москва преисполнена такой же уверенности, так как полагал, что Зиновьев говорил от имени всего Политбюро, и волей-неволей пришел к выводу, что если вожди единственной победоносной коммунистической партии вместе с берлинцами считают, что час настал, значит, следует подавить сомнения.

Именно в этот момент Брандлер, уверенный, по его собственным словам, что из него не получится «немецкий Ленин», попросил Политбюро назначить Троцкого в руководители восстания. Вместо Троцкого Политбюро направило Радека и Пятакова. Был разработан план действий с опорой на Саксонию, родную землю Брандлера, где коммунисты обладали сильным влиянием, а социал-демократы руководили местным правительством и уже выступали вместе с коммунистами единым фронтом. Брандлер и ряд его товарищей должны были войти в состав саксонского правительства и использовать свое влияние, чтобы вооружить рабочих. Из Саксонии восстание должно было перекинуться в Берлин, Гамбург, Центральную Германию и Рур. Согласно Брандлеру — а его свидетельство подтверждается другими источниками, — этот план навязали ему и Зиновьев, и Троцкий. Более того, Зиновьев через своих агентов в Германии настолько подгонял ход событий, что коалиционное правительство в Саксонии было создано по приказу, переданному из Москвы по телеграфу; Брандлер узнал о том, что стал министром, из газеты, купленной по пути в Германию на варшавском вокзале.

Даже если ситуация в Германии благоприятствовала революции, искусственность и неуклюжесть плана и отсутствие непосредственных руководителей на месте обрекали его на неудачу. Ситуация, вероятно, была менее благоприятной, чем считалось, а социальный кризис — менее острым. С лета началось оздоровление экономики, потом и марка стабилизиро-

валась, и политическая атмосфера стала успокаиваться. Центральный комитет не сумел поднять пролетарские массы и подготовить их к восстанию. План вооружения рабочих провалился: коммунисты обнаружили, что саксонские арсеналы пусты. Центральное берлинское правительство отправило в «красную провинцию» карательную экспедицию. И когда настал момент восстания, Брандлер с согласия Радека и Пятакова отменил приказ к выступлению, и лишь из-за проблем со связью инсургенты начали боевые действия в Гамбурге. Они сражались в одиночку и после безнадежных боев, продолжавшихся несколько дней, были разгромлены.

Эти события самым серьезным образом отразились на Советском Союзе. Они на долгие годы уничтожили всякую возможность революции в Германии и в Европе, деморализовали и раскололи Германскую компартию и, совпав с аналогичными поражениями в Польше и Болгарии, стали тяжелым ударом для всего Коминтерна. Российские коммунисты прониклись глубоким и отчетливым ощущением изоляции, неверием в революционные способности европейского рабочего класса и даже презрением к нему. Эти настроения постепенно переросли в чувство самодостаточности и самозаклосности, которое нашло свое выражение в учении «о построении социализма в одной стране». Поражение германской революции сразу же стало важным фактором в борьбе за власть в России. Коммунисты и в России, и в Германии принялись изучать причины разгрома и горели желанием найти виновных. В Политбюро триумвиры и Троцкий обвиняли друг друга.

Может показаться, что между германским фиаско и политической ситуацией в России не было связи. В том и в другом случае раскол проходил по разным и даже пересекающимся линиям. Радек и Пятаков, два «троцкиста», с самого начала не менее скептически, чем Сталин, относились к шансам на победу в Германии; именно они поддержали Брандлера, когда тот отменил приказ о восстании. С другой стороны, Зиновьев, после некоторых колебаний, санкционировал план восстания, инициатором которого был Троцкий; но он санкционировал и отмену приказа на выступление. Троцкий был убежден, что Германская компартия и Коминтерн упустили уникальную возможность, и считал, что Зиновьев и Сталин несут за это не меньшую ответственность,

чем Брандлер. Триумвиры возражали, что восстание прова-
лилось по вине двух троцкистов, а те настаивали на «оппор-
тунизме» Брандлера и необходимости сместить его с поста
руководителя Германской компартии.

В своем отношении к Брандлеру триумвиры руководство-
вались сложными мотивами. Рядовые немецкие коммунисты
испытывали к нему резкую неприязнь, а берлинская органи-
зация громогласно требовала его смещения. Зиновьев был го-
тов удовлетворить эти требования и спасти свой собственный
престиж и престиж Коминтерна, сделав из Брандлера козла
отпущения. Смещая его и ставя во главе Германской компар-
тии Фишер и Маслова, Зиновьев превращал ее в свою вотчину.
У него имелась еще одна причина настаивать на пример-
ном наказании Брандлера: он подозревал и Брандлера, и его
друзей из немецкого ЦК в симпатиях к Троцкому. Обличая
Брандлера как сторонника Троцкого, Зиновьев также пытал-
ся взвалить на Троцкого вину за «капитуляцию» первого.
Наконец Брандлер, не в силах разобраться в этих хитроспле-
тениях и стремясь отделить немецкий вопрос от российских
проблем, а также спасти свое положение, заявил о своей под-
держке официального российского руководства, то есть три-
умвиров. Однако это его не спасло.

Такая ситуация сложилась к январю 1924 года, когда
Исполком Коминтерна собрался, чтобы провести формальное
расследование поражения в Германии. Заседанию предшест-
вовали серьезная закулисная борьба и множество измене-
ний в составе центральных комитетов зарубежных компартий,
призванных заранее обеспечить поддержку Исполкомом Зи-
новьева. В момент заседания Троцкий лежал больной в под-
московной деревне. Сам он не делал никаких заявлений, но
попросил Радека огласить их совместный протест против сме-
щения Брандлера и перемен в германском ЦК. Радек выпол-
нил его просьбу, но, поскольку главным образом старался
оправдать самого себя и Брандлера, у Исполкома сложилось
впечатление, что Троцкий поддерживал их политику, и это
позволило триумвирам снова связать Троцкого с «правым
крылом» Германской компартии. На самом же деле Троцкий
неустанно критиковал действия Брандлера, и то, что сейчас
Брандлер заявил о своей поддержке триумвиров, не могло
расположить к нему Троцкого. Тем не менее Троцкий прин-
ципиально возражал против сооружения в Москве «гильоти-

ны» для вождей зарубежных компартий. Зарубежным партиям, утверждал он, следует позволить учиться на собственном опыте и ошибках, самим вести свои дела и самим выбирать вождей. Смещение Брандлера создавало вредный прецедент.

Таким образом, Троцкий требовал для Коминтерна той же внутренней свободы, что и для российской компартии, и так же безуспешно. Зиновьев стал полным хозяином в Коминтерне. Он сместил некоторых из тех вождей зарубежных партий, которые обращались в Политбюро с просьбой ограничить нападки на Троцкого. Другие позволили себя запугать и извинились за свою промашку. В результате репутация Зиновьева осталась незапятнанной, хотя расследование Исполкома по Германии не сумело прийти ни к каким ясным выводам; кроме того, Исполком одобрил все сделанные Зиновьевым смещения и повышения. Вскоре Зиновьев сумел добиться от Коминтерна одобрения всех действий триумвиров против Троцкого и группы «сорока шести».

В мае, на XIII съезде российской компартии, старые и новые вожди всех европейских компартий появились на трибуне, чтобы предать Троцкого анафеме. Лишь один зарубежный делегат, редактор «Юманите» Борис Суварин, полуфранцуз, полурусский, выступил с протестом, заявив, что французский ЦК двадцатью двумя голосами против двух принял резолюцию, осуждающую нападки на Троцкого, что, однако, не означает солидарности с оппозицией, но лично он, Суварин, редактор «Юманите» и не собирается отречься от Троцкого. Одиноким голосом Суварина лишь подчеркнул поражение Троцкого.

Месяц спустя в Москве прошел V конгресс Коминтерна — так называемый «конгресс большевизации», — чтобы узаконить отлучение Троцкого, к чему прибавлялось осуждение Радеки и Брандлера. Для атмосферы конгресса была вполне характерна речь Рут Фишер, которая отныне возглавляла германскую компартию. Молодая громогласная женщина, не имевшая никакого революционного опыта и заслуг, однако ставшая идолом для берлинских коммунистов, обличала Троцкого, Радеку и Брандлера, этих «меньшевиков, оппортунистов и предателей революционных принципов, потерявших веру в германскую и европейскую революции», она призвала к сплочению Коминтерна по образцу российской компартии, вожди в нем будут запрещены разногласия и борьба мнений:

«Всемирный конгресс не должен допускать, чтобы Интернационал превратился в мешанину всевозможных тенденций, и направить его шаги вперед по пути к превращению в единую большевистскую всемирную партию». Ораторы от французской, английской и американской делегаций последовали ее примеру; не чураясь ни клеветы, ни оскорблений, они призвали Троцкого выйти перед конгрессом и изложить свои взгляды. Троцкий отказался вступать в диспут. Во-первых, он чувствовал, что любые диспуты отныне бесполезны. Во-вторых, уже столкнувшись с угрозой исключения из партии, если он осмелится участвовать в новых дискуссиях, Троцкий мог заподозрить в этом вызове ловушку. Поэтому он заявил, что согласен с вердиктом российской партии и не намеревается оспаривать его перед лицом Коминтерна. Однако даже его молчание воспринималось как доказательство преступных намерений; вслед за Зиновьевым делегаты потребовали от Троцкого ни много ни мало как отречения. Троцкий остался глух к этим требованиям, и целых три недели конгресс не слышал ничего, кроме злобных нападок на человека, к которому предыдущие четыре конгресса прислушивались с глубоким уважением и почтением. На этот раз в защиту Троцкого не раздавалось ни одного голоса (Суварина уже изгнали из Французской компартии за перевод и издание «Нового курса» Троцкого). Тем не менее Троцкий написал для этого конгресса последний из своих великих манифестов Коминтерна. Но его не выбрали в действительные члены Исполкома; место Троцкого занял Сталин.

Чем же объяснить такую перемену, произошедшую с Коминтерном? Лишь несколькими месяцами раньше трем его крупнейшим партиям хватило смелости и достоинства, чтобы бросить упрек триумвирам. Теперь же все разыгрывали спектакль подчинения и самоунижения. Как мы знаем, Зиновьев в промежутке успел по своей воле перетасовать, переменить или разогнать немецкий, французский и польский ЦК. Но почему же эти ЦК и соответствующие партии смирились с диктатом? Большинство смещенных вождей руководили своими партиями со дня основания и пользовались высоким авторитетом, однако ни в одной из партий рядовые члены не встали на их защиту и не отказались выполнять приказы Исполкома и признать креатур Зиновьева своими вождями. Зиновьеву потребовалось всего несколько недель или, в крайнем

случае, несколько месяцев, чтобы полностью перетрясти все коммунистическое движение. Однако легкость, с какой он добился этого, свидетельствовала о скрытой слабости Коминтерна. Лишь больное тело можно ниспровергнуть с такой легкостью.

Ленин и Троцкий основали Коминтерн, предполагая, что под его знамена вскоре встанет большая часть хотя бы европейского рабочего движения. Они надеялись, что Коминтерн оправдает свое имя, превратившись во всемирную партию, стоящую превыше национальных границ и интересов, а не в декоративную вольную ассоциацию национальных партий в стиле 2-го Интернационала, верили, что происходящие в мире революционные процессы едины в своей основе, вследствие чего были убеждены в необходимости сильного интернационального руководства и крепкой дисциплины для новой организации. Двадцать одно условие приема в Коминтерн, принятое II конгрессом в 1920 году, предназначались для того, чтобы структура Коминтерна соответствовала этой цели и чтобы у Исполкома появилось централизованное и сильное руководство; Троцкий решительно поддержал это начинание. Само по себе оно не было призвано гарантировать преобладающее влияние российской компартии в Коминтерне. Все партии были представлены в Исполкоме демократическим образом. Немногие члены Исполкома от России в принципе не имели никаких привилегий. Интернационализм подразумевал подчинение национальных точек зрения более широким интересам всего движения, но, безусловно, не каким-либо русским национальным точкам зрения. Если бы революция победила в какой-либо из крупных европейских стран или тамошние коммунистические партии хотя бы набрались сил и уверенности, такое интернациональное руководство и дисциплина могли бы стать реальностью. Но вследствие отката революционной волны в Европе Коминтерн начал превращаться в придаток к российской компартии. Европейские секции с каждым годом теряли и без того невеликую уверенность в себе. В побежденных партиях развивался комплекс неполноценности, и они начали обращаться к большевикам — единственным революционерам, добившимся успеха, — за советами, за помощью при решении проблем и за руководством к действию. Большевики отзывались, сперва из чувства солидарности, затем по привычке и, наконец, из собственных

интересов, пока не вошли во вкус дергать за главные нити, которые иностранные компартии услужливо предоставили в их распоряжение. Интернациональное руководство и дисциплина на деле превратились в русское руководство и дисциплину, и все широкие прерогативы, которыми согласно уставу обладал интернациональный Исполком, каким он виделся Ленину и Троцкому, незаметно перешли к русским членам Исполкома.

Ленина беспокоило это состояние дел. Он вспоминал предчувствия Энгельса относительно преобладающего германского влияния во 2-м Интернационале и указывал, что преобладание российской партии может оказаться не менее вредоносным. Ленин старался, чтобы иностранные коммунисты больше полагались на себя, и даже предлагал перевести Исполком из Москвы в Берлин или другую европейскую столицу, чтобы тот не ощущал на себе постоянного давления русских интересов и забот. Однако большинство иностранных коммунистов предпочитало, чтобы ядро их Интернационала находилось в полной безопасности в красной Москве, а не подвергалось преследованиям и полицейским налетам в буржуазных столицах.

Опасения Ленина оправдались в полной мере. С течением времени вмешательство русских членов Исполкома в дела зарубежных компартий становилось все более бесцеремонным. Зиновьев правил Коминтерном лихо, решительно, безцеремонно и без всякой щепетильности. Однако даже сам Троцкий как член Исполкома не мог избавиться от менторского тона, которого было не избежать в данной ситуации. В качестве председателя французской комиссии Коминтерна с неограниченными полномочиями он надзирал за повседневной деятельностью французских коммунистов. Германская, Итальянская, Испанская и Британская компартии требовали от него советов по всем важным вопросам и даже по частным аспектам своей работы, и он щедро раздавал эти советы.

Вследствие этого Троцкий делал многочисленные заявления и вел обширную переписку, которая сама по себе представляет живой комментарий к истории этих решающих лет, полный глубоких мыслей, остроумия и порой удивительно пронизательный. Но отчасти эта переписка служит и примером менторства. Например, Троцкий решительно требует от Фроссара, вождя французских коммунистов, ответить на се-

рзные, но небеспочвенные обвинения перед судом Коминтерна в Москве, подвергает цензуре коммунистические издания и предписывает им тактическую линию и даже тематику и стиль, распекает «Юманите» за публикацию статей сомнительных авторов. Вот Троцкий снова назначает дату, к которой Французская компартия должна изгнать, согласно своим обязательствам, всех «сектантов» и «карьеристов». В нескольких случаях он выступает как арбитр соперничающих группировок и устанавливает для них закон. Правда, все это — крайние и исключительные примеры. Троцкий никогда не грубил и не льстил своим подчиненным по Коминтерну, как это делали Зиновьев, а потом Сталин, и неизменно поощрял их к тому, чтобы они высказывали все, что думают о российской партии, так же откровенно, как сам отзывался о работе их партий. Не его вина, что иностранные коммунисты редко ощущали в себе достаточно уверенности, чтобы говорить со всей искренностью. Троцкий и прежде и потом относился к Исполкому как к истинно интернациональному органу и работал в нем, исходя из общих принципов коммунизма, а не конкретных российских интересов. Именно в таком духе он пользовался широкими полномочиями, которыми Исполком обладал согласно уставу.

Однако реальное преобладание российской партии чрезвычайно облегчало использование устава как законной рамки для установления фактической диктатуры России в Коминтерне. Зиновьев занимался этим еще до 1923 года, до поры до времени сталкиваясь с противодействием Ленина и Троцкого. Впоследствии все препоны исчезли. Более того, внутренняя демократия и не могла уцелеть в Коминтерне после того, как он стал придатком к российской партии. Привычка к «подмене» распространялась на все движение, и вожди большевистской «старой гвардии» стали видеть в себе опекунов не только русского рабочего класса, но и рабочих всего мира.

В 1923—1924 годах Зиновьев и Сталин всерьез приступили к перекройке европейского коммунистического движения по новому русскому образцу. Они не могли потерпеть в Коминтерне оппозиции, которую решительно стремились подавить в собственной партии. Аналогично тому, как запрет 1921 года на внутрипартийные фракции пригодился, чтобы подорвать влияние Троцкого в России, они воспользовались широкими полномочиями, которыми обладали согласно уставу Коминтерна, что-

бы лишить Троцкого влияния за рубежом. Троцкий сам одобрил и запрет 1921 года, и устав Коминтерна. Его противники замыслили свои действия так, чтобы каждый их шаг выглядел как логическое продолжение тех принципов и прецедентов, которые были заложены с согласия Троцкого, если не по его прямой инициативе. Троцкого побеждали его собственным оружием, только он сам никогда не пользовался этим оружием для аналогичных целей или с аналогичной свирепостью. Он порой угрожал иностранным коммунистам дисциплинарными санкциями; триумвиры же понижали их, смеялись и обличали в массовом порядке. Троцкий требовал, чтобы Коминтерн в соответствии со своей программой не терпел никакого буржуазного пацифизма, никакого «сектантства» и никакого «социал-патриотизма». Триумвиры же очищали Коминтерн от «троцкизма», который прежде считался чуть ли не синонимом коммунизма.

В мае XIII съезд российской компартии закрыл дискуссии, которые начались после провозглашения «нового курса». Троцкий не мог выступать с новыми аргументами, не рискуя быть обвиненным в нарушении дисциплины, и поэтому молчал. Когда-то он с восхищением описывал ту самодисциплину, которая заставляла Жореса при необходимости подставлять «свою бычью шею под ярмо партийной дисциплины», но сейчас подставил собственную шею под куда более тяжелое ярмо и воздерживался от публичных дискуссий по поводу экономической политики партии и внутривнутрипартийного режима — на эти темы было наложено табу. И все же Троцкий не мог примириться с тем, что его заклеили как «полуменьшевика, виновного в мелкобуржуазных отклонениях от ленинизма». Лишившись возможности обсуждать важнейшие вопросы политики, он обратился к истории, чтобы найти там отпущение. Такая возможность представилась ему, когда Государственное издательство, выполняя прежнее решение ЦК издать многотомное собрание сочинений Троцкого, подготовило к печати том, содержащий его речи и работы 1917 года. Троцкий снабдил том длинным предисловием под названием «Уроки Октября». Том вышел осенью 1924 года и немедленно поднял бурю.

Речи и сочинения Троцкого 1917 года ярко доказывали беспочвенность заявлений о том, что Троцкий — неисправив-

шийся меньшевик; они напомнили партии о роли Троцкого в революции и его тогдашней непоколебимой непримиримости с меньшевиками. Такое напоминание было очень кстати. Историческая память народов, социальных классов и партий коротка, особенно во времена великих потрясений, когда головокружительные события одного года вымывают из людских умов воспоминания о событиях предыдущих лет, когда поколения или возрастные группы в бешеном темпе сменяют друг друга в политической жизни, когда ветераны былых боев стремительно уменьшаются в числе, рассеиваются или отходят от дел из-за утомления и усталости, после чего молодежь бросается в новые битвы, не слишком представляя себе, что было раньше. В 1924 году те, кто входил в партию большевиков с первых дней 1917 года, уже составляли менее 1 процента от ее численности. Для массы молодых партийцев революция успела стать мифом, столь же туманным, сколь и героическим. Прежние политические схватки с их запутанной расстановкой сил казались более чем далекими и нереальными. Молодые коммунисты, например, были уверены, что большевики и меньшевики всегда противостояли друг другу как непримиримые враги, потому что на их памяти по-иному не бывало. Они едва ли могли себе представить, что в течение многих лет те и другие представляли собой две фракции одной партии, придерживавшиеся общих принципов, ссорившиеся и порывавшие друг с другом, но неизменно пытавшиеся преодолеть разногласия. Еще более непостижимым казалось то, что многие вожди большевиков пытались примириться с меньшевиками даже в 1917 году.

Поэтому молодежь была потрясена, узнав, что прославленный наркомвоенмор когда-то был меньшевиком или полуменьшевиком, и многие были склонны верить триумвирам, заявлявшим, что бывший меньшевик всегда останется меньшевиком. Ничто не могло потрясти их веру более серьезно, чем знакомство с речами и статьями Троцкого за 1917 год, продемонстрировавшими всю лживость недавней антитроцкистской кампании. Таким образом, одна лишь публикация старых работ Троцкого стала вызовом его противникам, но в «Уроках Октября» Троцкий открыто бросил им перчатку.

Свое эссе Троцкий начал с собственной интерпретации истории и традиций партии; этой интерпретацией он не только мстил за себя, но и подвергал сомнению послушной список

большинства своих врагов. История партии, писал он, распадается на три отчетливых периода: годы подготовки к 1917 году; решающее испытание в 1917 году и постреволюционную эпоху. Для каждого из этих периодов характерны собственные проблемы и особенности, каждый обладает своим значением. Но пик большевизма приходится на второй период. Революционная партия проверяется настоящей революцией, так же как армия проверяется в настоящей битве. О вождях и членах партии следует в конечном счете судить, исходя из их поведения во время этого испытания; соответственно, их поступки в период подготовки сравнительно несут существенны. О большевике следует судить не по его поступкам и речам до 1917 года, в течение запутанных и отчасти «несущественных маневров эмигрантской политики», а по тому, что он сказал и сделал в 1917 году. Троцкий говорит про самого себя, хотя и в безличной форме исторического повествования: его собственные дореволюционные связи с меньшевизмом относятся к «несущественным маневрам эмигрантской политики», но его позиция как вождя Октябрьского восстания непоколебима. По тому же самому критерию заслуги противников Троцкого оказывались под большим сомнением: пусть они были хорошими ленинцами в годы подготовки, но в 1917 году продемонстрировали свою нерешительность.

Троцкий сообщает, что в 1917 году партия прошла через два главных кризиса: в апреле, когда Ленину пришлось бороться с сопротивлением правого крыла партии — «старых большевиков», как их называет сам Ленин, — прежде чем ему удалось убедить партию встать на путь к социалистической революции, и накануне Октябрьской революции, когда то же самое правое крыло стало ставить препоны восстанию. Колебания и ошибки ряда вождей, указывает Троцкий, неотделимы от большевистских достижений. Партия — живой организм с присущими ему трениями и разногласиями мнений. Однако большевики должны понимать, что даже революционная партия вынужденно включает в себя консервативные элементы, которые тормозят ее прогресс, особенно когда партия оказывается перед крутым поворотом и должна принимать смелые решения. Эта аргументация была нацелена в первую очередь на Зиновьева и Каменева, «штрейкбрехеров революции», а также на Рыкова, Калинина и других вождей

«старой гвардии», которые в 1917 году выступали против ленинской политики. В сущности, Троцкий поставил под сомнение право триумвиров выступать в роли единственных правомочных интерпретаторов большевистского учения и, в более широком плане, претензии «старой гвардии» на соблюдение ленинской традиции во всей ее чистоте. Неявная, но очевидная мораль его слов состояла в том, что эта традиция ни в коем случае не является чем-то простым и неизменным, как внушают народу триумвиры: «старая гвардия» представляет тот самый «старый большевизм», вызывавший негодование Ленина своей приверженностью к устаревшим лозунгам и ненужному опыту, в то время как отношение самого Троцкого находится в полной гармонии с большевизмом 1917 года, под знаком которого партия пришла к победе.

От истории и злободневных аллюзий Троцкий переходит к последнему решающему событию: поражению немецкого коммунизма. Главными темами «Уроков Октября» являются роль руководства в революционной ситуации и стратегия и тактика восстания. Ни одна коммунистическая партия, утверждает Троцкий, не может по своей воле создать условия для революции, так как те возникают лишь в результате относительно медленного распада общественного строя; но партия может упустить такую возможность из-за отсутствия решительных руководителей. Помимо того, необходимо уметь оседлать волну революции; если ее упустить, она может не вернуться в течение десятков лет. Ни одно общество не может долго жить в условиях острого социального кризиса. Если оно не может избавиться от напряжения путем революции, на смену ей придет контрреволюция. Может потребоваться лишь несколько недель или даже дней, чтобы чаша весов склонилась на ту или иную сторону. Если в течение этих недель или дней коммунисты не решатся на восстание или промедлят с выступлением, полагая, что революционная ситуация продлится еще долго и предоставит им новые шансы, то «все течение их жизни пройдет среди бедствий и опасностей». Такая участь ждала бы большевиков, если бы одержали верх противники восстания; такой участи не избежать немецким коммунистам после 1923 года. Россия дает очевидный пример решающей роли революционного руководства; пример Германии служит доказательством от противного. То же самое консервативное мировоз-

зрение, которое проявилось в 1917 году у правого крыла большевиков, ответственно за поражение в Германии. На кого направлено жало этой аргументации, было очевидно: человек, от имени правого крыла большевиков выступавший в 1917 году, сейчас стоял во главе Коминтерна.

Триумвиры ответили шквальным огнем, завербовав для контратаки полчища пропагандистов, историков и даже зарубежных коммунистических авторов¹. В течение всей осени и зимы политическая жизнь страны была отодвинута на второй план этими дебатами, которые вошли в большевистские анналы под странным названием «литературной дискуссии». Поскольку было невозможно напрямую отрицать заявления Троцкого о поведении Зиновьева и Каменева в 1917 году, их защитники утверждали, что он фантастически преувеличил их ошибки, которые сводились лишь к случайным и мелким разногласиям с Лениным, и что в партии никогда не существовало никакого правого крыла и никаких консервативных течений. Троцкий, говорили его критики, выдумал все это, чтобы дискредитировать не только «старую гвардию», но и всю ленинскую традицию и приписать себе и троцкизму абсолютно вымышленные заслуги.

Чтобы доказать свою правоту, триумвиры и их историки были вынуждены противопоставить рассказу Троцкого свои версии событий 1917 года с целью поднять свой собственный престиж и преуменьшить роль, сыгранную Троцким. Сперва это делалось нерешительно, но чем дальше, тем смелее и со все возрастающим пренебрежением к истине. Так, сперва никто не отрицал, что Троцкому в революции принадлежит выдающаяся роль, но и его нынешние противники, мол, играли роль не меньшую. Затем вмешался сам Сталин с собственной версией. Он заявил, что Военно-революционный комитет Петроградского Совета, председателем которого был Троцкий, вовсе не являлся штабом Октябрьского восстания, как прежде утверждалось во всех без исключения исторических исследованиях. Он утверждал, что восстанием руководил более или менее фиктивный «Центр», в состав которого

¹ Главные ответы Троцкому содержатся в объемистом томе «За ленинизм» — его авторами были Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Сокольников, Крупская, Молотов, Бубнов, Андреев, Квириг, Степанов, Куусинен, Коларов, Гусев и Мельничанский.

Троцкий даже не входил, но в котором заседал Сталин. Эта версия представляла собой такую грубую выдумку, что даже сталинисты сперва приняли ее со смущенной иронией. Но раз запущенная в оборот, она стала упорно всплывать во всех очередных исторических трудах, откуда пробралась в учебники, где и оставалась почти тридцать лет как единственная разрешенная версия. Так началась грандиозная фальсификация истории, которая вскоре пронеслась разрушительной лавиной по российским интеллектуальным горизонтам: сперва она представляла собой лишь попытку обелить репутацию Зиновьева и Каменева, а со временем и тех стали называть саботажниками и предателями Октябрьской революции и вообще иностранными шпионами — так же, как называли Бухарина, Рыкова, Томского и многих других большевистских вождей. Но в 1924 году большинство будущих жертв этой фальсификации объединились в яростной попытке задвинуть Троцкого в тень.

И все же, пока Троцкий стоял на почве событий 1917 года, его позиция была непоколебимой. Поэтому триумвиры прикладывали все усилия, чтобы столкнуть его с этой почвы в предреволюционную эпоху, когда он выступал противником большевизма. Они создали канон жесткой преемственности в политике партии и ее фактической непогрешимости. По их словам, всякий, кто подобно Троцкому последовательно противостоял большевизму в течение долгого времени, принципиально заблуждался, и их заблуждения обязательно проявятся и позже, даже когда они сменят свои позиции. Вместе с этой пародией на детерминизм творцы канона внушали партии идею, что ни одну политическую ошибку и ни одно отклонение, как коллективное, так и индивидуальное, нельзя рассматривать как случайность. Естественно, это правило не относилось к ошибкам самих триумвиров. Каждая ошибка имеет свои глубинные причины или «корни» в конкретном складе ума, мелкобуржуазном или ином другом, у каждой конкретной группы или индивидуума. Серьезные ошибки оставляют на судьбе тех, кто их совершил, неизгладимое клеймо «первородного греха». Падение Троцкого относится к меньшевистскому этапу его биографии и связано не только с «маневрами эмигрантской политики», но и с его фундаментальным отношением к ключевым проблемам того времени. В дни Октября его мелкобуржуазная душа старалась заслужить

прощение. Партия надеялась помочь ему и «перевоспитать». Но его меньшевистская натура упрямо вылезала вновь и вновь.

В этом свете разногласия, возникавшие между Троцким и Лениным с самого момента революции, также приобрели зловещий смысл, которого до этого нельзя было заподозрить. Из этих разногласий основными были два: по поводу Брестского мира и профсоюзной политики. Прочие разногласия, когда Ленин сам признавал свои ошибки, игнорировались. С подачи триумфиров публиковались многочисленные статьи и брошюры, в которых разбирались два этих вопроса и давалось их новое истолкование с целью доказать, что в обоих случаях проявился неискоренимый «антиленинизм» Троцкого, и установить прямую связь между его оппозицией к Ленину и его нападками на преемников Ленина. Контекст этих старых разногласий — реальная расстановка сил, побудительные мотивы, колебания, внутренние противоречия, добродетели и человеческие слабости их участников — в новых описаниях совершенно не учитывался. Партии демонстрировали портрет ее самой и ее вождей, выполненный в духе ранних средневековых фресок Страшного суда, где праведники с лицами не выражающими ничего, кроме благочестия, поднимаются прямо на небеса, а грешники, воплощенные символы порока, стремятся навстречу страданиям.

После того как эти споры снова и снова возвращались к 1905—1906 годам, источник всех ошибок и уклонов Троцкого был наконец найден в его теории «перманентной революции». Эта теория была объявлена его главной ересью, однако после 1917 года партия ни разу не усомнилась в ней; ранние статьи Троцкого по этой теме были перепечатаны и в оригинале, и во многих переводах в качестве авторитетных источников коммунистического учения. Даже теперь два ее главных положения — то, что русская революция должна была перейти от буржуазного к социалистическому этапу, и то, что она станет прологом к всемирной революции, — оставались среди основополагающих идей партии, и от них невозможно было открыто отказаться. Полемисты откопали несколько колких замечаний, сделанных Лениным в 1906 году: по-прежнему утверждая, что русская революция может носить лишь буржуазный характер, далее он заявляет, что Троцкий говорит о достижении социализма, поскольку

ку «перепрыгивает» через буржуазный этап и «недооценивает» значение крестьянства. В свете того, что произошло в 1917 году, эти замечания потеряли всякое значение. Однако это не помешало полемистам твердить, что Троцкий склонен «перепрыгивать через неизбежные промежуточные этапы» и «недооценивать крестьянство». Правда, этот выпад было нелегко увязать с обвинением Троцкого в том, что он — неисправимый меньшевик: ведь меньшевики, отнюдь не собираясь «перепрыгивать» через буржуазный этап революции, просто отказывались идти дальше него; поэтому понадобилось множество чисто схоластических аргументов, чтобы справиться с этой логической неувязкой. Однако, как и во всех диспутах такого рода, имели значение не логика или историческая достоверность аргументов, а их подоплека, их связь с текущей политикой и то впечатление, которое они производили на непосвященных.

Очевидно, что настойчивое стремление приписать Троцкому склонность к «недооценке крестьянства» было напрямую связано с текущей политикой: триумвиры и Рыков еще годом раньше объявили Троцкого «врагом мужика». Теперь этот ярлык получил ретроспективное обоснование и историческую окраску. Еще более многозначительным был широкий подтекст. Для широкой публики идея «перманентной революции» означала перспективу непрерывного переворота и бесконечной борьбы; получалось, что русская революция никогда не уляжется и не сменится какой-нибудь стабилизацией. Критикуя теорию «перманентной революции», триумвиры апеллировали к стремлению народа жить в мире и стабильности.

На самом же деле теория Троцкого утверждала, что судьба большевистской России *в конечном счете* зависит от успехов революции за рубежом. Однако надежда на ее распространение разбивалась не один раз, а самый жестокий удар по ней нанесли недавние события в Германии. Никогда еще большевики не ощущали себя в такой изоляции. Они находили психологическую защиту в благодушном чувстве самодостаточности российской революции. Теория Троцкого оскорбляла это чувство и высмеивала его. Отсюда то крайнее раздражение, которое упоминания о «перманентной революции» начали вызывать в большевистских кадрах. Они ощущали бешеное эмоциональное стремление лишить теорию Троцкого

какой-либо идеологической респектабельности. Не случайно осенью 1924 года Сталин, пересмотрев свои прежние взгляды, сформулировал учение «о социализме в одной стране», которое стало противовесом теории «о перманентной революции». Сталин, превознося самодостаточность российской революции, предлагал идеологическое утешение для партии с ее рухнувшими интернациональными надеждами.

Несложно понять, почему и каким образом «литературная дискуссия» еще больше ослабила позиции Троцкого. Она закрепила в общественном сознании противоречивый образ Троцкого как, с одной стороны, закоренелого полуменьшевика, а с другой — как равно закоренелого «ультрарадикала» и экстремиста, пытающегося втянуть партию в опасные предприятия и внутри страны, и за границей. Враги Троцкого утверждали, что в России он стремится поссорить большевиков с крестьянами, которых никогда не понимал. За границей же он постоянно выискивал возможности для революции там, где никаких возможностей нет. Та же самая склонность вынуждала его противиться Брестскому миру и возлагать на Зиновьева вину за поражение германской революции. То, что Троцкий также критиковал Зиновьева за поддержку неудачных восстаний за границей, противился наступлению на Варшаву в 1920 году, последовательно старался нормализовать отношения с капиталистическими странами и первым встал на защиту нэпа, чтобы умиротворить крестьянство, — эти и подобные факты, противоречившие образу ультрарадикального авантюриста, во внимание не принимались. Факты, выдумки и схоластические софизмы настолько перемешались, что Троцкий превратился в Дон-Кихота коммунизма, возможно, жалкого, но одновременно опасного, причем получалось, что обуздать его и сделать безвредным может лишь мудрость и государственный ум триумвиров.

Многие члены партии, даже ряд приверженцев самого Троцкого, считали, что в «Уроках Октября» он пошел неверным путем: мол, ему следовало сосредоточить внимание на действительно важных вопросах, вместо того чтобы копаться в ошибках Зиновьева и Каменева, сделанных в 1917 году. Правда, он поступил так в целях самозащиты после того, как триумвиры извлекли на свет все его давно позабытые споры с Лениным и запретили ему высказываться по поводу текущих дел. Но большинство людей быстро забыло, кто все это

начал, и Троцкого упрекали за то, что он ворошит былое. Официальные авторы цитировали отрывки из засекреченного завещания Ленина, в котором тот просил партию не припоминать Зиновьеву и Каменеву их «исторических ошибок». Даже Крупскую, не забывшую этого совета, убедили бросить Троцкому упрек и заявить, что он слишком упирает на разногласия между Лениным и его учениками, потому что судьба революции зависела от настроения партии и рабочего класса в целом, а не от споров в узком кружке вождей. Это было очень многозначительное утверждение, так как оно было по защитнику внутрипартийной демократии. Троцкий в любом случае сильно задел большевистское самомнение, так как в его воспоминаниях партийное руководство представляло как кучка медлительных, нерешительных людей, которые бы никогда не выполнили свой долг, если бы Ленин не понукал их и не подталкивал к действиям.

Дискуссия имела и дальнейшие последствия, сильно смутившие Троцкого. На него начали возлагать надежды некоторые элементы из разгромленной антибольшевистской оппозиции, прежде смертельно ненавидевшие его. Это было неизбежно. При однопартийной системе среди преследуемых врагов правительства, которые не в состоянии сражаться под собственными знаменами, всегда найдутся те, кто будут аплодировать любому влиятельному оппозиционеру, даже если он принадлежит к правящей партии и какими бы ни были причины его оппозиционности. Они стремятся объявить своим героем любого, кого сама правящая группа заклеила как опасного врага. То обстоятельство, что Троцкий требовал свободы выражения, хотя бы лишь в рамках партии, послужило ему рекомендацией по крайней мере для некоторых антибольшевиков, которые не видели для себя будущего без какой-либо свободы самовыражения. Такое отношение ни в коем случае не было среди антибольшевиков преобладающим. Многие, а может быть, и большинство из них с ликованием наблюдали за падением человека, на которого возлагали главную вину за свое поражение в Гражданской войне. Тем не менее триумвиры всячески поднимали шум по поводу любых признаков истинной или мнимой симпатии к Троцкому, которые проявлялись за пределами партии, в то время как он сам все сильнее старался не говорить и не делать ничего, что могло бы вызвать такую сим-

патию. Этим в значительной степени объясняется его сдержанность и длительное молчание, так же как и постоянное подчеркнутое выражение солидарности с триумвирами перед лицом общего врага.

Наконец, «литературная дискуссия» имела важные последствия и для самих триумвиров. Ее результатом стала дискредитация всех главных участников спора, за единственным исключением Сталина, чей престиж, наоборот, поднялся. Троцкий большую часть своих нападок направил на Зиновьева и Каменева, которые четко выражали и зафиксировали в печати свои возражения против Октябрьского восстания. Сталин, отличавшийся куда большей уклончивостью и неопределенностью своих взглядов в 1917 году, оказался намного менее уязвимым. Безусловно, сейчас Зиновьеву и Каменеву понадобилась его моральная поддержка, и они были рады, когда он объявил их хорошими большевиками. Это помогло Сталину вполне явно занять место главного триумвира. Таким образом Троцкий невольно способствовал поражению своих будущих союзников и возвышению своего главного и самого опасного противника.

Буря, которая поднялась после публикации «Уроков Октября», лишила Троцкого возможности занимать пост наркомвоенмора. Триумвиры нападали на него так яростно, что не могли оставить Троцкого во главе вооруженных сил страны, хотя всего лишь годом раньше побоялись принимать его отставку. Теперь же они открыто старались убрать его из Военного наркомата.

Ни на одном из этапов борьбы Троцкий не сделал ни малейшей попытки обратиться за помощью к армии. Он удерживал тех из своих последователей — например, Антонова-Овсенко, — которых одолевало искушение перенести дискуссию в армейские партячейки, согласно партийным правилам и уставу имевшие право высказаться. Следует добавить, что официальные ораторы никогда не предъявляли Антонову-Овсенко более серьезных обвинений — никто не помышлял ни о каком заговоре или подготовке к перевороту — и неоднократно признавали сдерживающее влияние Троцкого. Намеки на его бонапартистские амбиции допускались лишь в частных пересудах. Троцкого не обвиняли ни в одном шаге,

имевшем бы целью использовать свою позицию наркомвоенмора в политической борьбе. Троцкий признавал главенство Политбюро над армией как нечто совершенно естественное. Соответственно он смирился, хотя и не без протестов, с отставками своих сторонников и снятием их с самых влиятельных постов в наркомате и с назначением на эти места своих противников.

Было бы бессмысленно дискутировать на тему о том, удалось бы Троцкому совершить военный переворот. В самом начале конфликта, еще до того как Генеральный секретариат начал снимать и перетасовывать партийцев, служивших в армии, шансы на успех могли быть велики; впоследствии они испарились. Троцкий никогда не пытался испытать судьбу. Он был убежден, что военный переворот станет смертельным ударом по революции, даже если с переворотом будет связано его имя. На XIII съезде Троцкий заявил, что рассматривает партию как «единственный исторический инструмент, которым обладает рабочий класс для решения своих ключевых задач», и он не мог уничтожить этот инструмент руками армии. В любом конфликте с партией, считал он, армии придется полагаться на поддержку контрреволюционных сил, и таким образом она будет обречена сыграть реакционную роль. Да, он видел «разложение» в партии. Но оно заключалось в расколе между вождями и рядовыми партийцами и в потере партией своей демократической основы. Задача, как полагал Троцкий, заключалась в том, чтобы воссоздать эту основу и примирить вождей с рядовыми. Спасение революции в конечном счете заключается в политическом возрождении «снизу вверх», начиная из глубин общества. Военные действия «сверху» могут привести лишь к установлению режима, еще более далекого от пролетарской демократии, чем нынешнее правительство. Такова была «логика вещей», и Троцкий не думал, что сможет пойти наперекор ей. Себя самого и свои действия он рассматривал в рамках социальных сил, которые определяют ход событий; свою роль он видел в подчинении этим силам; а поставленная им цель — возрождение пролетарской демократии — диктовала и выбор средств.

В течение 1924 года руководство Военным наркоматом ускользало из его рук. Через Фрунзе и Уншлихта триумvirы постепенно установили контроль над всем институтом

армейских политкомиссаров, после чего не замедлили втянуть вооруженные силы во внутривнутрипартийный конфликт. Они провели через армейские партячейки резолюции, осуждающие Троцкого за издание «Уроков Октября», созвали общенациональное совещание политкомиссаров и представили на нем проект резолюции с требованием снятия Троцкого с поста наркомвоенмора. Троцкого в это время снова настиг приступ малярии, и, видимо, он даже не мог выступить перед комиссарами. Совещание послушно проголосовало за требование о его отставке. Затем он получил аналогичное требование от партийной ячейки Реввоенсовета, в котором председательствовал со дня его основания. В довершение дела на 17 января 1925 года было объявлено пленарное заседание ЦК, и первым пунктом в повестке дня фигурировало «дело Троцкого».

15 января Троцкий направил в ЦК письмо, в котором объяснял, что по причине болезни не может участвовать в работе заседания, но заявил, что откладывает предполагавшийся отъезд из Москвы — он снова собирался на Кавказ, — чтобы ответить на вопросы и дать объяснения, которые могут от него потребовать. Задушив в себе гнев, он вкратце ответил на главные обвинения, выдвинутые против него, — это был его единственный ответ критикам «Уроков Октября». Далее он просил немедленно освободить его от обязанностей председателя Реввоенсовета и заявлял: «Я готов выполнять любую работу, назначенную мне Центральным Комитетом, в любой должности или вообще без должности и, безусловно, на любых условиях, каких потребует партия».

На Политбюро Зиновьев и Каменев предложили попросить у ЦК исключить Троцкого из состава ЦК и Политбюро. Сталин, к их раздражению, снова отказался подчиняться, и Зиновьев с Каменевым стали задумываться, не собирается ли он помириться с Троцким за их счет. ЦК решил, что Троцкий должен оставаться членом ЦК и Политбюро, но снова пригрозил ему исключением, если он будет участвовать в новых диспутах. Затем Центральный комитет формально объявил «литературную дискуссию» закрытой, но без всякой паузы приказал всем отделам пропаганды продолжать кампанию «по просвещению всей партии... об антибольшевистском характере троцкизма, начинающегося в 1903 году и заканчивающегося «Уроками Октября». Другая

компания была призвана объяснить всей стране, а не только членам партии, какую угрозу несет троцкизм для «союза рабочих и крестьян». Поскольку Троцкому было запрещено отвечать, «дискуссия» получилась односторонней. Наконец, ЦК «объявил о невозможности продолжения работы Троцкого в Реввоенсовете».

Итак, с клеймом позора, легшим поверх символов былой славы, под раздающиеся со всех сторон обличительные возгласы, с заткнутым ртом и не имея права защищаться, Троцкий оставил накомат и армию, которую возглавлял семь долгих и судьбоносных лет.

Глава 3

«НЕ О ПОЛИТИКЕ ЕДИНОЙ...»

«Не о политике единой жив человек...» — такое заглавие Троцкий дал короткой статье, которая появилась в «Правде» летом 1923 года. Сам он ни в коем случае не мог жить одной политикой. Даже в самые критические моменты борьбы за власть значительную часть энергии у него отнимала литературная и культурная деятельность; еще сильнее он погрузился в нее после того, как покинул Военно-морской наркомат и внутрипартийные противоречия на время ослабли. Не то чтобы Троцкий пытался уйти от политики. Его интерес к литературе, искусству и образованию оставался политическим в широком смысле. Но Троцкий не желал скользить по поверхности общественной жизни. Он превратил борьбу за власть в борьбу за «душу» революции, и тем самым придал новые измерения и новую глубину тому конфликту, в котором участвовал.

Как плотно он занимался литературной деятельностью во время решающих сражений в Политбюро, видно из следующих фактов. Летом 1922 года, когда Троцкий отказался занять должность вице-премьера при Ленине и, вызвав негодование Политбюро, ушел в отпуск, большую часть свободного времени он посвятил литературной критике. Госиздат собрал его дореволюционные эссе по литературе, чтобы переиздать их в отдельном томе сочинений, и Троцкий намеревался написать предисловие с обзором состояния русской словесности после революции. «Предисловие» сильно разрослось и превратилось в отдельную работу. Троцкий потратил на нее почти весь отпуск, но не успел ее завершить и продолжил во время

следующего летнего отпуска, в 1923 году, когда его конфликт с триумвирами, осложненный предреволюционной ситуацией в Германии, достиг кульминации; на этот раз Троцкий вернулся в Москву с рукописью новой книги, «Литература и революция», готовой к печати.

Тем же летом он написал ряд статей о нравах и обычаях постреволюционной России, которые позже были собраны в книге «Вопросы быта». В число затрагиваемых им тем входят: семейная жизнь при новом режиме; «просвещенная и непросвещенная бюрократия»; «цивилизованность и вежливость»; «водка, церковь и кино»; «ругательства в русском языке» и т. д. Троцкий выступал на множестве собраний работников просвещения, библиотекарей, агитаторов, журналистов и «рабкоров», в своих речах критиковал унылость, небрежность и безжизненность, характерные для печати того времени, и настаивал на необходимости вернуть чистоту и силу русскому языку, засоренному партийным жаргоном и штампами. Тем же летом и последующей осенью он работал над такими разнообразными темами, как сравнительный анализ торговых циклов в XIX и XX веках (опубликовав короткую, но насыщенную статью по этому предмету в «Вестнике социалистической академии») и разногласия между школами психологии Павлова и Фрейда. С теорией Фрейда Троцкий был знаком давно, а теперь изучал труды Павлова и готовился вмешаться в дискуссию с призывом к свободе исследований и экспериментов и к терпимости к взглядам фрейдистов. В 1924 году Троцкий также написал и издал книгой биографические заметки о Ленине, в которых представлял основателя большевизма как живого человека и тем самым косвенно критиковал официальную «иконографию» Ленина и его зарождающийся культ.

В этих произведениях Троцкий старался нащупать не только симптомы, но и корень тех бед, которые преследовали революцию: духовную отсталость Руси-матушки, имевшую не меньшее значение, чем ее экономическая неразвитость. Троцкий говорил о необходимости «первоначального культурного накопления», не менее насущной, чем потребность в индустриальном накоплении. Он демонстрирует ту почву, на которой начинает всходить сталинизм, и стремится изменить климат, в котором тот вскоре расцветет. Отсюда и то значение, которое Троцкий придает нравам, привычкам и «мелким воп-

росам» повседневного быта: он показывает, как они влияют на состояние государства. Его подход к этим темам лучше всего проиллюстрировать на примере того, что он писал о русском обычае ругаться:

«Брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству, чужому и собственному... Надо бы спросить у филологов, лингвистов, фольклористов, есть ли у других народов такая разнузданная, липкая и скверная брань, как у нас. Насколько знаю, нет или почти нет. В российской брани снизу — отчаяние, ожесточение и прежде всего рабство без надежды, без исхода. Но та же самая брань сверху, через дворянское, исправническое горло, являлась выражением сословного превосходства, рабовладельческой чести, незыблемости основ... Два потока российской брани — барской, чиновничьей, полицейской, сытой, с жирком в горле, и другой — голодной, отчаянной, надорванной — окрасили всю жизнь российской омерзительным словесным узором...

А революция ведь есть прежде всего пробуждение человеческой личности в тех массах, которым ранее полагалось быть безличными. Революция, несмотря на всю иногда жестокость и кровавую беспощадность своих методов, есть прежде всего... рост внимания к своему и чужому достоинству, рост участия к слабому и слабейшему. Революция — не революция, если она всеми своими силами и средствами не помогает женщине, вдвойне и втройне угнетенной, выйти на дорогу личного и общественного развития. Революция — не революция, если она не проявляет величайшего участия к детям... [во имя которых] революция творится. А можно ли изо дня в день творить... новую жизнь, основанную на взаимном уважении, самоуважении, на товарищеском равенстве женщины, на подлинной заботе о ребенке в атмосфере, где громыхает, рыкает, звенит и дребезжит ничего и никогда не щадящая барско-рабская всероссийская брань? Борьба с «выражениями» является такой же предпосылкой духовной культуры, как борьба с грязью и вошью — предпосылкой культуры материальной...

Психические навыки, переходившие из поколения в поколение и по сей день насыщающие всю атмосферу, искоренять нелегко, а мы ведь часто рванемся вперед, надорвемся, махнем рукой и оставляем все по-старому... и это не только в отсталых массах, но нередко и среди передовиков, а встречает-

ся иной раз и у очень «ответственных». Нельзя ведь отрицать того, что старая отечественная фразеология развита у нас и ныне, на шестом году после Октября, и притом даже на так называемых «верхах»... Жизнь наша крайне противоречива в хозяйственной своей основе и в культурных своих формах».

В этой борьбе с живучим и никак не желающим исчезать традиционным образом жизни, корни которого уходили в крепостничество, Троцкому пришлось потерпеть такое же жестокое поражение, как и в политической области. Однако он выказал глубокую историческую пронизательность, выявив природу тех сил, над которыми ему не удалось взять верх. «Двум потокам российской брани» предстояло слиться в сталинизме и наложить свой «омерзительный узор» на саму революцию. Пятнадцать лет спустя, во время «больших чисток», два эти течения превратились в потоп: тогда генеральный прокурор мог называть подсудимых, занимавших важнейшие должности в государстве и в партии, «отродьями быка и свиньи», а самые высокопоставленные чиновники во время многословных тирад взвинчивали себя до выкриков «Пристрелить бешеных собак!». Площадная брань из залов суда расходилась по заводам, колхозам, редакциям и университетским аудиториям, на несколько лет своим гамом оглушив всю Россию, словно столетия ругани сжались до размеров мгновения, нашли свое воплощение в сталинизме и хлынули в мир.

Октябрьская революция послужила свежим импульсом для культурной жизни, но одновременно полностью перевернула эту жизнь и создала для нее огромные трудности. Такими были бы последствия любой революции, даже в самых благоприятных обстоятельствах, даже когда на ее стороне выступают образованные элементы нации, но этот эффект чрезвычайно усилился из-за того, что главной движущей силой революции в данном случае являлся притесненный, неимущий и пошлом необразованный класс. Правда, вожди большевиков происходили из интеллигенции, а некоторые из них получили всестороннее и глубокое образование. Но таких была лишь горстка. «Кадры» состояли в основном из рабочих, занимавшихся самообразованием, а также из полуобразованных людей мелкобуржуазного происхождения. В партии они обу-

чались политике, организационным навыкам, а иногда — широкой марксистской философии. Но их подход к вопросам культуры чаще, чем хотелось бы, лишь демонстрировал, что слабая образованность порой опаснее, чем полное невежество.

Большая часть интеллигенции встретила Октябрьскую революцию враждебно. Некоторые погибли на Гражданской войне, большинство эмигрировало. Из тех, кто выжил и остался в России, многие пошли на службу к новому режиму в качестве «специалистов». Совсем немногие превратились в горячих приверженцев революции и прикладывали все усилия, чтобы поднять культурный уровень нации. Но большинство представителей интеллигенции либо слишком закоснело в консервативном мировоззрении, либо было слишком запугано, либо слишком посредственно и угодливо, чтобы оказывать заметное и плодотворное интеллектуальное влияние. На них пагубно действовала необходимость подчиняться самообразованным или полубразованным комиссарам. С другой стороны, комиссарам зачастую не хватало уверенности в себе, они страдали подозрительностью и были склонны скрывать свою нерешительность за грубостью и громогласностью. Кроме того, они были фанатично убеждены в справедливости своего дела и уверены, что нашли в марксизме, который в силу естественных причин также знали лишь поверхностно, ключ к решению всех проблем общества, включая науку и искусство. Тем сильнее интеллигенция убеждалась в характерной для них предубежденности и проникалась высокомерным убеждением, что марксизм не может ее ничему научить и что марксистское мировоззрение — не более чем «мешанина полупеченных полуистин». Таким образом углублялась пропасть между ней и новым правящим слоем.

Троцкий, подобно Ленину, Бухарину, Луначарскому, Красину и некоторым другим, прилагал все силы к тому, чтобы перекинуть через этот мост пропасть. Он умолял комиссаров и партсекретарей относиться к интеллигенции внимательно и уважительно и призывал интеллигенцию проявить больше понимания к потребностям эпохи и к марксизму. Эти призывы возымели некоторый эффект, но пропасть никуда не делась, хотя и сузилась. Затем она снова начала расширяться. Когда партийная иерархия стала освобождаться от любых видов общественного контроля и приобрела привычку к неограниченной власти, она все сильнее и сильнее склонялась к диктату

над ученым, литератором и художником. Кроме того, у нее начали развиваться собственные амбиции и готовность поощрять «культурные» чаяния, льстившие ее тщеславию выскочек и в то же время внешне обладавшие таким достоинством, как революционные новации. Были изобретены лозунги «пролетарская культура», «пролетарское искусство» и «пролетарская литература», вскоре получившие такую же популярность, какую несколько раньше в армии приобрел лозунг «пролетарская стратегическая доктрина».

Троцкий видел свою задачу в том, чтобы обуздать нетерпимость и продемонстрировать пустоту лозунгов о пролетарской культуре и искусстве. Это было нелегко. Идея пролетарской культуры пришлась по душе некоторым большевистским интеллектуалам, а также молодым рабочим, которым революция привила страсть к образованию, но одновременно разбудила в них иконоборческие инстинкты. И все это происходило на фоне анархической враждебности крестьянства ко всему, связанному с помещичьим образом жизни, включая ее «культурные ценности». (Поджигая имение помещика, мужик обычно оставлял в огне библиотеку и картины, видя в них лишь часть барского имущества.) Теоретизирующие большевики нашли объяснение этим иконоборческим настроениям в псевдомарксистском отрицании старой «классовой культуры», которую следует ликвидировать. Пролеткульт провозгласил приход пролетарской науки и искусства. Доктринеры из числа пролеткультовцев достаточно убедительно указывали, что в истории цивилизации уже были феодальная и буржуазная эпохи, а теперь пролетарская диктатура должна создать собственную культуру, пронизанную марксистским классовым сознанием, воинствующим интернационализмом, материализмом, атеизмом и т. д. Некоторые утверждали, что марксизм сам по себе уже представляет собой эту новую культуру. Авторы и сторонники таких взглядов старались заручиться поддержкой партии и даже превратить их в руководящие принципы политики в области образования.

Как Ленин, так и Троцкий не одобряли теорию Пролеткульта. Однако Ленин ограничился несколькими краткими и резкими заявлениями и уступил место Троцкому, которому эта тема была более близка. Вскоре мы увидим, какие аргументы Троцкий выдвигал против Пролеткульта. Но «претензии» Пролеткульта представляли собой лишь самое край-

нее выражение тенденции, распространившейся уже далеко за пределами пролеткультовских кружков, особенно среди партийцев, отвечавших за вопросы образования и культуры, — тенденции решать эти вопросы в приказном порядке, объявлять свое слово законом, после чего угрозами заставлять себе подчиняться всех чересчур образованных, чересчур интеллигентных и чересчур независимо мыслящих. Именно с такими умонастроениями, из которых со временем вырастет культурная политика сталинизма, неустанно борется Троцкий: «Государство есть организация принуждения, — говорит он в обращении к культурным работникам, — и у марксистов, стоящих у власти, может быть искушение и в культурно-просветительной работе среди трудящихся упростить свою работу по способу: «вот тебе истина, на колени перед ней!» Конечно, государство — жесткая вещь, рабочее государство имеет право на принуждение и обязано применять его; против врагов рабочего класса — беспощадное применение силы; но в вопросе воспитания самого рабочего класса метод «вот тебе истина, на колени перед ней»... противоречит самому существу марксизма».

Подобные призывы и предупреждения заполняют много страниц «Культуры переходного периода» (21-й том сочинений Троцкого). Приказы, адресованные ученым, и запрет их теорий «не принесут нам ничего, кроме вреда и позора», — настаивает Троцкий, предчувствуя вред и позор сталинских приговоров еретикам от лингвистики и биологии, не говоря уже о социологии. Следует добавить, что Троцкий выступал в таком духе и до того, как оказался в оппозиции. Например, еще в январе 1919 года он писал:

«Наша партия... никогда не была и не может стать простой хвалительницей рабочего класса... Завоевание власти само по себе вовсе еще не преобразовывает рабочий класс и не наделяет его всеми необходимыми достоинствами и качествами: завоевание власти только открывает перед ним возможность по-настоящему учиться, развиваться и очищаться от своих исторических недостатков. Верхний слой русского рабочего класса путем величайшего напряжения совершил гигантскую историческую работу. Но даже и в этом верхнем слое слишком много еще полузнания и полумумения».

С этим «полузнанием и полумумением» ему приходилось сражаться снова и снова. Ленин, провозглашая нэп, объявил

большевикам, что они должны «учиться торговле». Не менее важно, добавлял Троцкий, чтобы они «научились учиться».

Чрезвычайно опасно, повторяет он, относиться к «культурному наследию» прошлого с нигилистическим презрением. Рабочий класс должен предъявить свои права на это наследие и охранять его. Но марксисту не следует быть в этом вопросе неразборчивым. Он должен диалектически подходить к культурному наследию и распознавать исторически сложившиеся в нем противоречия. Достижения цивилизации до сих пор выполняли двойное назначение: они помогали людям в накоплении знаний и контроле за природой, а также в развитии их собственных способностей; но кроме того, они способствовали разделению общества на классы и эксплуатации человека человеком. Соответственно, некоторые элементы этого наследия имеют всеобщее значение и ценность, в то время как другие связаны с устаревшими или устаревающими социальными системами¹. Следовательно, коммунистический подход к культурному наследию должен обладать избирательностью. Как правило, основной объем строго научных знаний прошлого относительно мало искажается тем фактом, что он был накоплен в классовом обществе. Подчинение одних людей другим наиболее непосредственным образом отражается в идеологии, особенно в представлениях о самом обществе. Но даже здесь элементы, отражающие классовое неравенство и призванные увековечить его, тесно переплетены с другими элементами, через которые человек познает самого себя, заостряет свой разум, расширяет кругозор, учится разбираться в своих эмоциях и управлять собой и благодаря этому в какой-то степени преодолевает ограничения, накладываемые на него социальным окружением. Именно поэтому произведения искусства, созданные сотни и даже тысячи лет назад, по-прежнему очаровывают современного человека и задевают в нем чувствительную струнку, даже если он участвует в пролетарской революции или строит социализм. Разумеется, строитель социализма должен критически, используя критерии диалектического материализма, относиться ко всем унаследованным

¹ Троцкий говорит о двойной роли машин, которые подняли производительность труда рабочих, но одновременно при капитализме служат орудием эксплуатации. Однако социализм не может и не должен отказываться от использования машин. Это очевидно всем, но те же самые рассуждения применимы и к большинству достижений цивилизации.

ценностям; но такой критический подход не имеет ничего общего с огульным отрицанием или псевдомарксистским вздором. Прежде чем подвергать критике культурные ценности прошлого, их следует тщательно усвоить, и прежде чем марксист приступит к пересмотру со своей точки зрения какой-либо сферы знаний, он должен сперва овладеть ею «изнутри».

* * *

Обращаясь к старой интеллигенции, Троцкий заходит с другого конца: он пытается убедить ее, что та не может жить одним лишь культурным наследием и поэтому должна переучиться и найти свое место в советском обществе. В частности, его беспокоило мировоззрение ученых и инженеров, которым он неоднократно напоминал о взаимоотношениях марксизма и науки. Его собственный интерес к этой теме подпитывался тем обстоятельством, что после ухода из Военного наркомата Троцкий возглавил Электротехническое управление (Главэлектро) и Научно-техническое управление промышленности. Перед ним открылось новое поле для исследований — то, которое привлекало его в ранней юности, но было оставлено им ради революционной деятельности. Теперь он чувствовал себя «наполовину администратором, наполовину студентом». «Больше всего меня заинтересовали, — пишет он, — научно-технические институты, которые, благодаря централизованному характеру промышленности, получили у нас довольно широкий размах. Я усердно посещал многочисленные лаборатории, с огромным интересом присутствовал на опытах, выслушивал объяснения лучших ученых, штудировал в свободные часы учебники химии и гидродинамики...» Эти интересы широко отражены в его сочинениях 1925—1926 годов. Набираясь знаний от специалистов, он одновременно выступал их наставником в социологии и марксистской философии науки. Вероятно, на него повлияла энгельсовская «Диалектика природы», первое немецкое и русское издания которой появились в Москве в 1925 году. Троцкий нигде не ссылается на эту работу, но едва ли он мог не прочесть ее, а кое-где повторяет рассуждения Энгельса почти слово в слово.

Здесь заслуживают упоминания по крайней мере три его экскурса в философию науки: выступление на всероссийском съезде химиков в сентябре 1925 года по случаю юбилея Мен-

делеева, лекция «Культура и социализм», прочитанная в клубе «Красная площадь» в феврале 1926 года, и доклад «Радио, наука, техника и общество» на съезде Общества друзей радио, проходившем в марте того же года.

Троцкий ни в коем случае не являлся профессиональным философом. Он никогда не погружался в глубины гносеологии, как Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», не пытался систематически истолковывать принципы диалектики, предпочитая применять их в политическом и историческом анализе, вместо того чтобы вести абстрактные размышления на эту тему. Однако трудно читать его работы, не заметив за ними вполне сложившейся философии, глубоких размышлений Троцкого по вопросам методологии и широты его эрудиции, пусть та и не отличалась особой систематичностью. Он с легкостью пользуется этой эрудицией, избегая тяжеловесных многоумных рассуждений, и как будто сознательно говорит дилетантским языком. Несмотря на все это, а возможно, благодаря этому несколько статей Троцкого по диалектике науки принадлежат к самым поучительным и прозрачным марксистским трудам по этой теме.

У Троцкого и в мыслях не было поставить науку под контроль политики. Он отстаивал право и даже обязанность ученого сохранять политический нейтралитет в ходе исследований. Однако при этом ученый должен не забывать о месте науки в обществе. Нет никакого противоречия между политической незаинтересованностью отдельного ученого и глубоким участием науки как целого в социальных конфликтах ее эпохи. Аналогичным образом отдельный солдат или революционер может сражаться и расставаться с жизнью без всякой заинтересованности, но армия и партия должны иметь определенные интересы и чаяния и бороться за их осуществление.

Отстраненность и жесткая объективность необходимы в науке, но недостаточны. Наука сама жизненно заинтересована в том, чтобы ученый обладал широким и современным философским мировоззрением. Как правило, он такого мировоззрения не имеет. Отсюда и характерный раскол в мозгу ученого. В своей конкретной области или в своей лаборатории он — неявный материалист, но за ее пределами чаще всего придерживается путаных, ненаучных взглядов, склоняющихся к идеализму и даже откровенно реакционных. Ни в одном из великих мыслителей такой раскол не проявился

более очевидно, как в Менделееве. Один из величайших материалистов всех времен, как ученый Менделеев был заражен всеми консервативными идеями и предрассудками своего времени и предан отмирающему царизму. Формулируя свой периодический закон, Менделеев засвидетельствовал истинность того диалектического принципа, который занимает центральное место в марксистской мысли и утверждает, что количественные изменения как в природных, так и в общественных процессах в некоторый момент времени переходят в качественные изменения. Согласно периодическому закону, количественные изменения в атомном весе приводят к качественным различиям между химическими элементами. И при этом Менделеев не сумел предвидеть великое качественное изменение — революцию — в российском обществе.

«Знать, чтобы предвидеть и уметь» — таков был принцип великого исследователя, который сравнивал научное творчество с переброской железного моста через пропасть. Нет необходимости, говорил Менделеев, спускаться и искать опору для моста на дне пропасти; достаточно найти упор на одном из краев, а затем перебросить через пропасть точно рассчитанную арку, которая найдет надежную опору на другом краю.

Так и научная мысль. Она может опираться только на гранитные устои опыта; но обобщение ее, подобно арке моста, отделяется от мира фактов, чтобы затем, в другой точке, заранее рассчитанной, снова пересечься с ним. И тот момент научного творчества, когда обобщение превращается в предвидение, а предвидение победоносно проверяет себя через опыт, дает неизменно человеческой мысли самое гордое и самое справедливое удовлетворение!

Однако Менделеев-гражданин избегал каких-либо социологических обобщений и политических предсказаний. Он с полным отсутствием понимания относился к возникновению в России марксистской школы мысли, сформировавшейся в ходе дискуссий с народниками именно по поводу прогнозов о том, в каком направлении будет развиваться российское общество.

Следовательно, пример Менделеева иллюстрирует проблему современной науки: отсутствие у ученых единого мировоззрения и даже единого взгляда на науку. Наука вынуж-

дена действовать эмпирически, ее прогресс сопровождается специализацией и фрагментацией знаний. Но чем больше специализация и фрагментация, тем более настоятельной становится потребность в единой концепции мира — иначе разум мыслителя оказывается зажат в узкоспециальной сфере и даже в ее рамках прогресс замедляется. Отсутствие философской проницательности и недоверие к обобщениям ответственны за большинство научных заблуждений, которых можно было бы избежать, и за блуждания в потемках. Марксизм предлагает ученым единую систему представлений о природе и человеческом обществе — систему, которая отнюдь не является произвольной выдумкой или фантазией метафизического разума, а обнаруживает самое тесное соответствие с разнообразными эмпирическими научными данными¹.

Тема единства и разнообразия человеческой мысли стала ключевой в выступлении Троцкого. Снова приняв за точку отсчета труды Менделеева, он рассматривает структуру современной науки. Менделеев открыл, что химия основана на физике и что химические реакции вызываются физическими и механическими свойствами частиц. Физиология, продолжает Троцкий, находится в той же самой связи к химии, как химия — к физике; не зря же ее называют «прикладной химией живых организмов». «Научная, т. е. материалистическая, физиология не нуждается в особой сверххимической жизненной силе (по учению виталистов и неовиталистов) для

¹ Энгельс в «Диалектике природы» указывает, что Декарт примерно за 200 лет предвидел открытие закона сохранения энергии, когда предположил, что количество движения во вселенной не меняется. Если бы ученые уловили мысль Декарта, они могли бы прийти к этому открытию намного раньше. На этой априорной идее построена кантовская «теория туманности». «Если бы подавляющее большинство естествоиспытателей не ощущало того отвращения к [философскому] мышлению, которое Ньютон выразил предостережением: «физика, берегись метафизики», то они должны были бы уже из одного этого... открытия Канта извлечь такие выводы, которые избавили бы их от бесконечных блужданий по окольным путям... В открытии Канта заключалась отправная точка всего дальнейшего движения вперед... Если бы стали немедленно и решительно продолжать исследование в этом направлении, то естествознание продвинулось бы к настоящему времени значительно дальше его нынешнего состояния. Но что хорошего могла дать философия? Сочинение Канта оставалось без непосредственного результата до тех пор, пока долгие годы спустя Лаплас и Гершель... не обосновали его детальнее».

объяснения своих явлений. Физиологические процессы сводятся, в последнем счете, к химическим, как эти последние — к механическим и физическим... Как нет особой физиологической силы, так и научная, т. е. материалистическая психология не нуждается для объяснения своих явлений в необъяснимой силе — душе, а сводит их в последнем счете к явлениям физиологии». Именно этим занимается школа Фрейда, утверждая, что в основе многих ментальных состояний человека лежат его сексуальные желания; именно на этом построена школа Павлова, подходящая к человеческой душе как к сложной системе физиологически обусловленных рефлексов. Наконец, современная социологическая наука неотделима от представлений человека о законах природы; она рассматривает общество как специфическую часть природы.

Таким образом, на фундаменте механики и физики покоится колоссальное здание современной науки, а ее различные области взаимозависимы и формируют единое целое. Однако единство не есть единообразие. Законы, действующие в одной науке, не могут заменять собой законы другой науки. Хотя Менделеев доказал, что химические процессы в конечном счете сводятся к физическим или механическим, саму по себе химию нельзя сводить непосредственно к физике. Тем более физиологию нельзя сводить к физике, а психологию и биологию — к физиологии. Нельзя и законы, управляющие развитием человеческого общества, просто вывести из законов, наблюдающихся в природе. В каком-то смысле конечной целью науки может являться объяснение бесконечного разнообразия природных и социальных явлений несколькими всеобщими и элементарными законами¹. Но научная мысль движется к этой цели таким путем, который с первого взгляда все дальше и дальше уводит от нее, а именно путем разделения и специализации знаний, путем формулирования и уточнения новых, частных и мелких законов. Например, представление о том, что химические реакции в конечном счете определяются физическими свойствами частиц, лежит в основе всех знаний о химических реакциях, но само по себе оно

¹ Энгельс в уже цитированной работе приводит идею о том, что по крайней мере «при нынешнем состоянии знаний» эти всеобщие и элементарные законы можно сформулировать лишь в философских, но не в естественно-научных терминах, то есть в терминах диалектики.

не дает ни единого ключа ни к одной химической реакции. «У химии свои ключи. Подбирать их можно только через опыт и обобщения, через химическую лабораторию, химическую гипотезу, химическую теорию». Физиология, даже связанная широкими каналами органической и физиологической химии с химией в целом, имеет собственные законы и методы; то же самое верно в отношении биологии и психологии. Всякая наука ищет опору в законах другой науки лишь «в последнем счете», и каждая наука применима лишь к настолько конкретной сфере явлений, в которой элементарные явления проявляются в настолько сложных сочетаниях, что каждая такая сфера требует совершенно конкретного подхода, методов исследования и гипотез. И единство науки утверждается через это разнообразие.

При изучении природы независимость каждой сферы исследований принимается как должное; ни один серьезный исследователь не позволяет себе спутать законы, действующие в одной сфере, с теми, которые работают в другой. Лишь для социологической, исторической, экономической и политической мысли по-прежнему характерны такая путаница и произвольность метода. Здесь не требуется признания никаких законов, или же на социологические исследования грубо проецируются законы естественных наук, как, например, поступают дарвинисты, вторгающиеся в социологию, и неомальтузианцы¹.

Далее Троцкий приводит общий обзор достижений науки и техники «за последние несколько десятилетий» и их значе-

¹ Троцкий иллюстрирует этот пример ссылкой на Дж.М. Кейнса, который во время визита в Москву в 1925 г., во время лекции в ВСНХ объяснял безработицу в Великобритании высокими темпами роста британского населения. Кейнс (согласно сообщению в «Экономической жизни» от 15 сентября 1925 г.) далее сказал: «Я полагаю, что бедность России до войны вызывалась в значительной мере чрезмерным увеличением населения. В настоящее время опять наблюдается значительное превышение рождаемости над смертностью. Для экономического будущего России это — самая большая опасность». В то время в России все еще наблюдалась безработица. Но уже три года спустя, когда была создана плановая экономика, и в течение нескольких последующих десятилетий одними из «самых больших опасностей» являлись нехватка рабочих рук и слишком медленный рост населения — этот факт самым наглядным образом демонстрирует неправомочность приложения мальтузианских и неомальтузианских идей о «давлении населения на средства существования» к экономике промышленно развивающегося общества.

ние для философии. Эти достижения, утверждает он, представляют собой почти непрерывный триумф диалектического материализма, но, как ни странно, философы и даже ученые не спешат этот триумф признавать. «Успехи естествознания в деле овладения материей идут параллельно с философской борьбой против материализма». В частности, открытие радиоактивности побуждает философов выступать с антиматериалистическими выводами. Однако их аргументы годятся лишь для критики старой физики и для связанной с ней механистической разновидности философского материализма. Диалектический материализм никогда не пытался привязать себя к старой физике — в реальности он философски преодолел ее в середине XIX века. Настаивая лишь на первичности бытия — «материи» — по отношению к мысли, диалектический материализм не отождествляет себя ни с какой конкретной концепцией о строении материи и признает за любой такой концепцией лишь относительную ценность в качестве очередного этапа в накоплении эмпирических знаний. Ученые, с другой стороны, с трудом отделяют философский материализм от того или иного этапа в изучении природы материи. Если бы они научились подходить к вопросам менее предвзято, сочетать индуктивный и дедуктивный метод, эмпирическую и абстрактную мысль, то у них появилась бы возможность рассматривать свои открытия в более широкой перспективе, не приписывать им абсолютного философского смысла и даже более ясно предвидеть переход от одного этапа науки к другому. Многие ученые, настаивающие на мнимом антиматериальном характере радиоактивности, даже не видят, к чему ведет их само открытие радиоактивности, и скептически относятся к возможности расщепить атом. Критикуя это отношение, Троцкий выдвигает предсказание:

«Явления радиоактивности подводят нас к проблеме освобождения внутриатомной энергии... Величайшая задача физики состоит в том, чтобы эту энергию выкачать, открыть пробку так, чтобы скрытая энергия забила фонтаном. Тогда откроется возможность заменить уголь и нефть атомной энергией, которая и станет основной двигательной силой». (Курсив автора.)

Возражая скептикам, он восклицает:

«Задача эта совсем не безнадежна. А какие это открывает перспективы! ...научно-техническая мысль подходит к велико-

му перелому... революционная эпоха в развитии человеческого общества совпадает с революционной эпохой в области познания материи и овладения ею».

Троцкий сделал это пророчество 1 марта 1926 года. Он не дожил до дня, когда оно воплотилось в жизнь, ему предстояло умереть буквально накануне.

Из экскурсов Троцкого в философию науки особого упоминания заслуживают его призывы в защиту фрейдовского психоанализа. Уже в начале 1920-х годов фрейдовская школа мысли подверглась свирепой атаке, после чего была запрещена в СССР на многие десятилетия. Для влиятельных партийцев, которые, скорее всего, были знакомы с теорией Фрейда лишь понаслышке, эта школа с ее чрезмерным акцентом на вопросы пола казалась подозрительной и несовместимой с марксизмом. Однако нетерпимость к фрейдизму не ограничивалась одними большевиками; она была по меньшей мере развита столь же сильно в политически консервативных академических кругах, среди последователей Павлова, которые стремились установить фактическую монополию своего собственного учения. Они имели преимущество над фрейдистами в том, что их школа выросла на российской почве, и в том, что в глазах марксистских интеллектуалов ее материализм казался более очевидным. Вследствие этого образовался странный союз большевиков и академиков против психоанализа.

Троцкий, как мы знаем, был встревожен этим обстоятельством уже в начале 1922 года. В том же году он отправляет письмо Павлову, в котором пытается защитить фрейдизм и тактично уговаривает Павлова проявить свое влияние в пользу терпимости и свободы исследований. Неизвестно, отослал ли Троцкий это письмо, но оно включено в 21-й том его сочинений. Павлов, похоже, проигнорировал его призыв. В пылу разгоревшегося политического кризиса у Троцкого не было времени заниматься этим вопросом. Но он поднял его снова в 1926 году, на этот раз выразив публичный протест против низкопоклонства, которым уже была окружена школа Павлова. Троцкий с должным уважением и восхищением отзывается об учении самого Павлова, которое «целиком идет по путям диалектического материализма» и «окончательно разрушает стену между физиологией и психологией». Согласно Павлову, «простейший рефлекс физиологичен, а система рефлексов дает сознание»; кроме того, по его теории, «накоп-

ление физиологического количества дает новое, «психологическое» качество». Однако Троцкий отзывается с иронией о чрезмерных претензиях школы Павлова, особенно о ее претензии на возможность объяснить малейшие нюансы человеческого мышления и даже создание поэзии исключительно через действие условных рефлексов. Безусловно, отмечает Троцкий, метод Павлова «экспериментален и кропотлив. Обобщения завоевываются шаг за шагом: от слюны собаки к поэзии», но «путей к поэзии еще не видать».

Троцкий протестовал против пренебрежительного отношения к фрейдизму тем более сильно, поскольку считал учение Фрейда, как и теорию Павлова, существенно материалистической. Две эти теории, указывал он, различаются методами исследования, а не своей философией¹. Павлов придерживается строго эмпирического метода и действительно переходит от физиологии к психологии. Фрейд априори постулирует физиологическую мотивацию, стоящую за психическими процессами; поэтому его подход более умозрителен. Вполне возможно, что фрейдисты придают слишком большое значение сексу за счет прочих факторов, но дискуссия по этому поводу все же не выходит за рамки философского материализма. Психологический «подходит к проблеме сознания не экспериментально, от низших [физиологических] явлений к высшим [психологическим], от простого рефлекса к сложному, а стремится взять все эти промежуточные ступени одним скачком, сверху вниз, от религиозного мифа, лирического стихотворения или сновидения — сразу к физиологической основе психики». Это сопоставление Троцкий завершает таким поразительным образом:

«Идеалисты учат, что... «душа» есть колодезь без дна. И Павлов и Фрейд считают, что дном «души» является физиология. Но Павлов, как водолаз, спускается на дно и кропотливо исследует колодезь снизу вверх. А Фрейд стоит над колодезем и пронизательным взглядом старается сквозь толщу вечно колеблющейся замутненной воды разглядеть или разгадать очертания дна».

¹ В своем письме Павлову Троцкий так говорит о сходстве этих школ: «Ваше учение об условных рефлексах, как мне кажется, охватывает теорию Фрейда как частный случай. Сублимирование сексуальной энергии... есть создание на сексуальной основе условных рефлексов $n + 1$, $n + 2$ и проч. степени».

Экспериментальный метод Павлова, разумеется, обладает известным преимуществом над частично умозрительным подходом Фрейда, который порой ведет психоаналитика к фантастическим допущениям. Но было бы слишком просто и жестоко объявлять психоанализ несовместимым с марксизмом и отворачиваться от него. В любом случае мы не обязаны соглашаться с фрейдизмом. Фрейдизм — это рабочая гипотеза. Он может приходить и действительно приходит к выводам и предположениям, которые указывают на материалистическую психологию. Со временем теория пройдет экспериментальную проверку. А пока же у нас нет ни причины, ни права запрещать метод, пусть и не такой надежный, но зато пытающийся сразу нащупать те результаты, к которым экспериментальный метод приближается очень медленно¹.

Призыв Троцкого не был услышан. Теорию психоанализа вскоре изгнали из университетов. Не так конкретно, но еще более категорично Троцкий защищал теорию относительности Эйнштейна, однако для священного «материализма» сталинской эпохи и эта теория была ересью; она получила «реабилитацию» лишь после смерти Сталина.

В своих эссе по философии науки Троцкий, при всей его информированности, а местами и вдохновенности, все же выглядит дилетантом. Однако ничего любительского нет в его литературной критике. В те годы Троцкий был ведущим российским критиком. Его труд «Литература и революция» сильно повлиял на авторов «Красной нови», ведущего интеллектуального журнала того времени, и особенно на его редактора А. Воронского — известного троцкиста и выдающегося эссеиста. Даже сейчас, почти через сорок лет со времени ее написания, эта книга остается непревзойденной не только как обзор революционной «Бури и натиска» в русской словесности и как выданное авансом обличение того удушья, которому подвергалось художественное творчество при сталинизме, но и в более широком плане — как образцу марксистской

¹ Прав ли был Троцкий, утверждая, что метод Фрейда способен принести более быстрые результаты, чем павловский метод, судить специалистам. Троцкий подчеркивал, что его защиту фрейдизма не следует путать с попустительством «вульгарному псевдофрейдизму», распространенному среди буржуазной публики.

литературной критики. Для этой книги характерны глубокое понимание искусства и литературы, оригинальные находки, увлекательность и остроумие, а также — на последних страницах — сила предвидения, поднимающаяся до редких высот поэтического величия.

В литературе Троцкий тоже объявил войну иконоборческим настроениям, псевдореволюционному самомнению и высокомерию. Он требовал свободы самовыражения для любых художественных и литературных школ, по крайней мере, до тех пор, пока они не злоупотребляют ею в откровенно и безусловно контрреволюционных целях. Повторим, что иконоборческие взгляды и нетерпимость наличествовали не только среди партийцев, и даже главным образом не среди них. Еще более характерны они были для различных группировок молодых писателей и художников. Новые бунтарские школы в искусстве и литературе всходили как грибы после дождя. В нормальных обстоятельствах эти школы с их новациями и нападками на традиционные авторитеты от искусства вызывали бы любопытство и поднимали бы шум в относительно узких кругах, после чего некоторым из них удалось бы пробиться от безвестности к признанию, подобно многим их предшественникам, обходясь без размахивания политическими лозунгами. Но в сложившейся ситуации конкуренция в артистических кружках и ведущиеся там диспуты превзошли все нормальные пределы. Новые школы претендовали на колоссальную политическую значимость, объявляли себя первопроходцами революции и пытались дискредитировать старые школы как социально реакционные и художественно устаревшие.

Как мы знаем, Пролеткульт шумно требовал официально признания своей «школы мысли» и даже монополии. Авторы Пролеткульта — Либединский, Плетнев, Третьяков и другие — превратили в свою трибуну журналы «Кузница» и «Октябрь», а впоследствии основали собственное воинствующее издание «На посту». Поскольку Бухарин как редактор «Правды» и Луначарский как нарком просвещения покровительствовали Пролеткульту, потребовалось вмешательство Ленина, чтобы дать отпор его претензиям. Когда деятели Пролеткульта, встревоженные этим выговором, обратились к Троцкому в поисках протекции, он ответил, что в любом случае будет отстаивать их право свободно выражать свои взгля-

ды, но совершенно согласен с Лениным по поводу вредности и бессмысленности любых лозунгов о пролетарской литературе и искусстве. Даже самые скромные штампы о «новой социалистической эпохе в искусстве» или о «новом революционном ренессансе в литературе» бессмысленны: «Искусство обнаружило — как всегда в начале большой эпохи — ужасающую беспомощность... Певчая птица поэзии, как и сова, птица мудрости, дает о себе знать только на закате солнца. Днем творятся дела, а в сумерки чувство и разум начинают отдавать себе отчет в совершенном».

Нельзя обвинять революцию в бедствиях художников. «Певчую птицу поэзии» еще хуже слышно в лагере контрреволюции. В уничтожающем обзоре эмигрантской литературы Троцкий указывает, что, хотя большинство знаменитых русских писателей уехало за границу, там они не сотворили ни единой сколько-нибудь достойной работы. Это же касается и «внутренних эмигрантов» — тех российских писателей, которые мыслили как эмигранты и чувствовали себя эмигрантами; таким авторам, как Зинаида Гиппиус, Евгений Замятин и даже Андрей Белый, похвастаться нечем¹. Несмотря на их несомненный талант, эти писатели, погрузившись в закоренелый эгоцентризм, не способны отозваться на драму своего времени — в лучшем случае они находят убежище в мистицизме. Так, даже Белый, самый выдающийся из них, «всегда занят собою, рассказывает о себе, ходит вокруг себя, обсасывает себя». Гиппиус культивирует возвышенное, иномирное, мистическое и эротическое христианство, однако едва лишь «гвоздевый сапог наступил на лирический мизинчик питерской барыни», как та «немедленно же показала, какая под декадентски-мистически-эротически-христианнейшей оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма». (Но поскольку таланта она не потеряла, в ее «ведьминских воплях» несомненно присутствует поэзия! — *Авт.*) В своей привязанности к фальшивым ценностям рухнувшей социальной системы и в своем отчуждении от окружающей эпохи эти авторы казались Троцкому отталкивающими и гротескными. Он видел в них воплощение всего бесполезного, что было в старой интеллигенции. Троцкий рисует карикатуру на одного из

¹ Некоторые из этих авторов позже действительно отправились в эмиграцию. Роман Замятина «Мы» послужил образцом для «1984» Оруэлла.

представителей этой интеллигенции, типичного «внутреннего эмигранта»:

«Когда некий кадетский эстет, совершив большое путешествие в теплушке, потом об этом сквозь зубы рассказывал: как он, образованнейший европеец, с самыми лучшими вставными зубами и дотошным знанием балетной техники у египтян, был доведен хамской революцией до необходимости путешествовать со вшивыми мешочниками — то у вас к горлу подвигивало чувство физического отвращения к вставным зубам, балетной эстетике, вообще ко всей этой накраденной по европейским прилавкам культурности, и возникало твердое убеждение, что самая последняя по счету вошь самого оголтелого мешочника в механике истории значительнее и, так сказать, необходимее этого насквозь прокультуренного и по всем радиусам бесплодного себялюбца».

Скопом разделавшись с «внутренними эмигрантами», далее Троцкий переходит к обсуждению более продуктивных течений в литературе. Он критикует и защищает «попутчиков», называя этим словом тех авторов, которые, не приемля коммунизм, прошли часть дороги вместе с революцией, но склонны расставаться с ней и идти своим путем. Такими были, например, имажинисты, литературная школа, главными представителями которой были Есенин и Клюев. Они привнесли в поэзию мужицкую личность и воображение — Троцкий демонстрирует, что они составляют свои цветастые и насыщенные поэтические образы точно так же, как мужик украшает свою избу. В их стихотворениях чувствуется и привлекательность, и неприязнь, которую революция внушает крестьянству. Неоднозначность отношения к революции придает их произведениям художественную напряженность и социальную значимость. Они представляют собой «советское народничество». То, что такие умонастроения нашли себе волнующее выражение, совершенно естественно в крестьянской стране — и нашли они его не только у имажинистов. Борис Пильняк, чей талант Троцкий высоко ценил, разделяет их привязанность к исконной русской первобытности, которую разрушила революция. Соответственно Пильняк «принимает» большевизм и «отрицает» коммунизм, считая первый стихийным, «характерно русским» и отчасти азиатским аспектом революции, а последний — ее современным, городским, пролетарским и в первую очередь европейским элементом. Более рез-

ко Троцкий отзывается о Мариэтте Шагинян, которая «примирилась» с революцией лишь благодаря какому-то фаталистическому христианству и полному артистическому безразличию ко всему «некомнатному» (Шагинян попала в число очень немногих писателей из этой группы, которые пережили сталинские чистки и даже стали лауреатами Сталинской премии).

Александра Блока Троцкий также называет «попутчиком», но помещает его в совершенно особый класс. Первым могучим стимулом для поэзии Блока послужила революция 1905 года. К несчастью, его лучшие творческие годы пришлось на провал между двумя революциями — на 1907—1917 годы, и Блок так и не сумел примириться с пустотой этих лет. Тогда его поэзия была «романтична, символична, мистична, бесформенна, нереальна — но под собой она предполагает очень реальный быт, с определившимися формами и отношениями. Романтический символизм есть уход от быта только в смысле отвлечения от его конкретности... в основе же своей символизм есть метод преображения и вознесения быта. Звездно-метельная, бесформенная лирика Блока отражает определенную среду и эпоху... и вне этой эпохи повисает облачным пятном. Эта лирика не переживет своего времени и своего творца». Но 1917 год потряс Блока. «Ощущение пробуждения, движения, цели и смысла дала ему вторая революция. Блок не был поэтом революции. Погибая в тупой безвыходности предреволюционной жизни и ее искусства, Блок ухватился рукою за колесо революции. Плодом этого прикосновения явилась поэма «Двенадцать», самое значительное из произведений Блока, единственное, которое переживет века».

В отличие от большинства позднейших критиков Троцкий относится к «Двенадцати» не как к апофеозу революции; по его словам, это «лебединая песня индивидуалистического искусства, которое приобщилося к революции». В основе ее — «крик отчаяния за гбнущее прошлое, но крик отчаяния, который возвышается до надежды на будущее».

Самой энергичной и громогласной литературной группировкой того времени были футуристы. Они призывали к разрыву с прошлым, заявляли о якобы основополагающей связи между искусством и техникой, вводили техническо-промышленные термины в свой поэтический словарь и отождествля-

ли себя с большевизмом и интернационализмом¹. Троцкий подверг это течение подробному и пронизательному разбору. Он объясняет восторги футуристов перед техникой как проявление русской отсталости:

«За вычетом архитектуры, искусство опирается на технику лишь в самом последнем счете, т. е. поскольку она является основой всего вообще культурного строительства. Практическая зависимость искусства, особенно словесного, от материальной техники ничтожна. Поэму, воспевающую небоскребы, дирижабли и подводные лодки, можно создать в глуши Рязанской губернии на серой бумаге обломком карандаша. Чтобы зажечь свежее рязанское воображение, достаточно, если небоскребы, дирижабли, подводные лодки существуют в Америке. Человеческое слово — самый портативный из всех материалов».

Отождествление футуризма с пролетарской революцией также сомнительно. Не случайно в Италии ту же самую поэтическую школу поглотил фашизм². В обеих странах футуристы сразу после своего появления были бунтарями от искусства без какой-либо четкой политической программы. Они могли бы пойти по пути, обычному для литераторов, сражаясь за признание, получив его и поведя респектабельную жизнь, но попали в свирепые политические бури прежде, чем успели созреть. В результате их литературное бунтарство позаимствовало политическую окраску у бушующей вокруг революции — фашистской революции в Италии, большевистской в России. Это было тем более естественно, поскольку и фашизм и большевизм нападали с противоположных сторон на политический пассаизм буржуазии. Русских футуристов, несомненно, искренне привлекала динамичная мощь Октябрьской революции, и поэтому они приняли свой богемный бунт за настоящее художественное выражение революции. Порвав

¹ «Лишь «футуристическое искусство» построено на коллективизме. Лишь футуристическое искусство в наше время представляет собой искусство пролетариата», — писал в 1918 г. Н. Альтман, «теоретик» группы «Искусство Коммуны».

² В приложении к «Литературе и революции» Троцкий опубликовал заметку о происхождении итальянского футуризма и его связи с фашизмом, написанную по его просьбе Антонио Грамши, итальянским теоретиком коммунизма и основателем еженедельника «Ордине нуово». Вскоре после этого Грамши вернулся в Италию и провел остаток своей жизни в тюрьмах Муссолини. Во время пребывания в Москве Грамши пользовался доверием Троцкого.

с некоторыми традициями в искусстве, они демонстрируют свое презрение к прошлому и воображают, что революция, рабочий класс и партия, как и они, выступают за разрыв с «тысячелетними традициями» во всех сферах. Говорить так, отмечает Троцкий, «значит слишком дешево расценивать тысячелетия». Призыв к борьбе с традицией оправдан до тех пор, пока он бьет по старой литературной касте и по инерции установившихся стилей и форм. Но он становится бессмысленным, как только «переадресовать его пролетариату. Рабочему классу не нужно и невозможно порывать с литературной традицией, ибо он вовсе не в тисках ее». Решительный поход против пассаизма — это буря в замкнутом мире интеллигенции, вспышка богемного нигилизма. Мы, марксисты, всегда жили в традиции и от этого, право же, не переставали быть революционерами».

Помимо того, футуристы объявляют свое искусство коллективистским, агрессивным, атеистическим и, следовательно, пролетарским. Троцкий отвечает: «Попытки вывести стиль дедуктивным путем из природы пролетариата, из его коллективизма, активности, безбожия и пр. представляют собой чистейший идеализм и практически не дадут ничего, кроме замысловатых отсебятин, произвольного аллегоризма и... провинциального дилетанства». Искусство — говорят нам — не зеркало, а молот: оно не отражает, а преобразует. Но ныне и молотом владеть учатся и учат при помощи «зеркала», т. е. светочувствительной пластинки, которая запечатлевает все моменты движения... А как же перестроить себя, свой быт, не глядясь в «зеркало» литературы?»

Критическое отношение к футуристам не мешало Троцкому признавать их литературные заслуги; его признание тем более великодушно, поскольку влиятельные партийцы искося смотрели на экспериментальную заумность и эксцентричность футуризма. Троцкий призывает коммунистов сторониться той поспешной нетерпимости, которая относится к экспериментальному искусству как к шарлатанской выдумке разлагающейся интеллигенции:

«Борьба против старого поэтического словаря и синтаксиса, при всех своих... экстравагантностях, была прогрессивным восстанием против замкнутого словаря... против смакующей жизнь через соломинку импрессионизма, против изолгавшейся в небесной пустоте символизма... Работа футуристов в об-

ласти слова была жизненной и прогрессивной... Футуризм вытолкнул из поэзии многие опустошенные слова и выражения, вернул другим их полнокровие, а в некоторых случаях счастливо создал новые слова и обороты... Это относится не только к слову, изолированно взятому, но и к месту его в ряду других слов, т. е. к синтаксису».

Правда, футуристы перестарались с новшествами, но «ведь то же самое случилось и с революцией: таков «грех» всякого живого движения... Излишества отпадают и отпадут, а основная очистительная и, несомненно, революционная работа в области поэтического языка останется». То же самое следует сказать в защиту новой техники ритма и рифмы. К ним нельзя подходить в узко рационалистическом духе; потребность человека в ритме и рифме иррациональна, а «звук слова есть акустический аккомпанемент смысла».

«Конечно, подавляющему большинству рабочего класса до этих вопросов сегодня еще дела нет. И авангарду рабочего класса в большинстве не до того — есть куда более неотложные задачи. Но ведь у нас есть и завтрашний день. Он потребует все более внимательного, точного, мастерского, артистического отношения к языку, основному орудию культуры — не только в стихах, но и в прозе, и даже в прозе особенно».

Обращаясь со словами, взвешивая их, выявляя их значение, смысловые оттенки и звучание, необходимо использовать «микрометрические инструменты». Однако на практике изобилуют шаблон и неряшливость. «Одной своей стороной, лучшей, футуризм есть протест против тяпьяпства, этой могущественнейшей литературной школы, имеющей во всех областях очень влиятельных представителей». С этой точки зрения Троцкому есть что сказать даже по поводу «формалистической» школы и главного проповедника ее идей Виктора Шкловского, хотя Троцкий и критикует чрезмерную приверженность к форме: в то время как формалист верит, что в начале было слово, марксист считает, что в начале было дело — «слово явилось за ним как звуковая тень его».

Особый раздел «Литературы и революции» посвящен Маяковскому, самому талантливому футуристу, который впоследствии был канонизирован как певец коммунизма. Троцкий утверждает, что Маяковский как художник слабее всего имен-

но там, где он законченнее всего как коммунист. И это удивительно: Маяковский изо всех сил старается быть коммунистом, однако мировоззрение поэта зависит не от его сознательных мыслей и усилий, а от полусознательного восприятия, от подсознательных чувств и от запаса образов и впечатлений, почерпнутых поэтом в раннем детстве. Революция для Маяковского — «подлинное, глубокое переживание», потому что она обрушилась громом и молнией на тупость и инертность старого общества, которое Маяковский по-своему ненавидел и с которым не успел примириться. Маяковский с восторгом приветствовал революцию, но не сумел слиться с ней. Об этом свидетельствует поэтический стиль Маяковского:

«Динамичность революции, ее суровое мужество гораздо ближе Маяковскому, чем массовидность ее героизма, чем коллективизм ее дел и переживаний. Как грек был антропоморфистом, наивно уподоблял себе силы природы, так наш поэт, Маякоморфист, заселяет самым собой площади, улицы и поля революции... Патетичность достигает у него нередко чрезвычайнейшей напряженности, но не всегда за этой напряженностью сила. Поэт слишком виден: событиям и фактам дается слишком мало автономии — не революция борется с препятствиями, а Маяковский играет мускулами на арене слова и иногда делает поистине чудеса, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири... О себе Маяковский говорит на каждом шагу в первом и третьем лице... Чтобы поднять человека, он возводит его в Маяковского. По отношению к величайшим явлениям истории он усваивает себе фамильярный тон... Маяковский одной ногой стоит на Монблане, другой — на Эльбрусе. Голосом заглушает грома — мудрено ли... [что] исчезают пропорции земных дел, и нельзя установить разницы между большим и малым. Оттого о своей любви, т. е. о самом интимном, Маяковский говорит так, как если бы дело шло о переселении народов... Что гиперболизм отражает, в известном смысле, неистовство нашего времени, это бесспорно. Но в этом еще нет огульного художественного оправдания. Перекричать войну или революцию нельзя. А надорваться нетрудно... Маяковский слишком часто кричит там, где следовало бы говорить: поэтому крик его там, где следует кричать, кажется недостаточным...

Отягощенные образы Маяковского, часто прекрасные сами по себе, столь же часто разлагают целое и парализуют движение...

Избыток стремительной образности приводит к покою... каждая фраза, каждый оборот, каждый образ хочет быть максимумом, пределом, вершиной. Оттого «вещь» в целом не имеет максимума... Произведения Маяковского не имеют вершины».

Центральное и самое противоречивое место в «Литературе и революции» занимает опровержение идеи о «пролетарской культуре». В предисловии Троцкий так кратко излагает свою аргументацию:

«В корне неправильно противопоставление буржуазной культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры и пролетарского искусства. Этих последних вообще не будет, так как пролетарский режим — временный и переходный. Исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она залагает основы внеклассовой, первой подлинно человеческой культуры».

Следовательно, нельзя исходить из исторических аналогий и делать вывод, что раз буржуазия создала собственную культуру и искусство, то и пролетариат поступит так же. Эту параллель лишает силы не только «цель» пролетарской революции — ее стремление к бесклассовой культуре¹. Еще более решительно ее опровергает ключевое различие в исторической судьбе двух этих классов. Буржуазный образ жизни органически развивался в течение нескольких веков, в то время как пролетарская диктатура продлится лишь несколько лет или десятилетий, но не больше, и все это время будет заполнено ожесточенными классовыми боями, которые не оставят места для органического роста новой культуры.

«Мы по-прежнему солдаты на походе. У нас дневка. Надо выстирать рубаху, подстричь и причесать волосы и первым делом прочистить и смазать винтовку. Вся наша нынешняя хозяйственно-культурная работа есть не что иное, как приведение себя в некоторый порядок меж двух боев и походов... Наша эпоха не есть еще эпоха новой культуры, а только пред-

¹ «Пролетариат взял власть именно для того, чтобы навсегда покончить с классовой культурой и проложить пути для культуры человеческой. Мы об этом нередко забываем».

дверие к ней. Нам в первую голову нужно государственно овладеть важнейшими элементами старой культуры».

Буржуазия могла создать свою собственную культуру, потому что даже при феодализме и абсолютизме, еще не получив политической власти, она уже обладала богатством, социальным влиянием и образованностью и была представлена практически в каждой сфере духовной активности. Рабочий класс в капиталистическом обществе может в лучшем случае обрести способность разрушить это общество, но, будучи немощным, эксплуатируемым и необразованным классом, он выходит из-под власти буржуазии в состоянии культурного пауперизма и поэтому не способен породить новый и существенный этап в развитии человеческой мысли¹. Фактически, вовсе не рабочий класс, а небольшие группы партийцев и интеллектуалов (которые в этом отношении также «заменяют» собой класс) стремятся создать пролетарскую культуру. Однако «нельзя создать классовую культуру за спиной класса». Невозможно ее и произвести в коммунистических лабораториях. Те, кто утверждают, что уже нашли пролетарскую культуру в марксизме, лишь выказывают свое невежество: марксизм является как продуктом, так и отрицанием буржуазной мысли, поэтому его диалектика до сей поры применялась в основном к экономическим и политическим исследованиям, в то время как культура есть «органическая совокупность знания и умения, характеризующая все общество или, по крайней мере, его правящий класс».

Вклад рабочего класса в литературу и искусство ничтожен. Нелепо говорить о пролетарской поэзии, ссылаясь на произведения нескольких одаренных поэтов-рабочих. Теми художественными достижениями, на которые претендуют эти поэты, они обязаны урокам «буржуазной» или даже добуржуазной поэзии, и, даже если их произведения не обладают особыми достоинствами, они все равно имеют значение как человеческий и социальный документ. Однако оскорбительно по отношению к пролетариату рассматривать эти творения как новое, эпохальное искусство. Искусство для пролетариата не может быть искусством второго сорта. Авторы Пролеткульта

¹ «Буржуазия пришла к власти во всеоружии культуры своего времени; пролетариат же приходит к власти только во всеоружии острой потребности овладеть культурой».

много разглагольствуют о «большой, монументальной литературе и живописи. Но где оно, товарищи, искусство большого полотна, большого стиля, монументальное искусство? Где оно, где?» Пока что мы слышали только слова, похвальбу и травлю противников «Пролеткульта» — имажинистов, футуристов, формалистов и «попутчиков», без чьих произведений советская литература совершенно бы обеднела, оставшись лишь с сомнительными пролеткультовскими «неоплаченными вексельями».

Как несложно догадаться, Троцкого обвиняли в эклектизме, низкопоклонстве перед буржуазной культурой, поощрении буржуазного индивидуализма и отрицании права и обязанности партии «осуществлять руководство» литературой и искусством. Он отвечает:

«Пути свои искусство должно проделать на собственных ногах. Методы марксизма — не методы искусства. Партия руководит пролетариатом, но не историческим процессом. Есть области, где партия руководит непосредственно и повелительно. Есть области, где она контролирует и содействует. Есть области, где она только содействует. Есть, наконец, области, где она только ориентируется. Область искусства не такая, где партия призвана командовать».

Чрезмерные нападки на индивидуализм неуместы. Индивидуализм играет двойную роль: наряду с реакционными он имеет прогрессивные и революционные последствия. Рабочий класс страдал не от избытка, а от нехватки индивидуализма. Личность рабочего еще недостаточно сильно сформирована и дифференцирована; помочь в ее формировании — не менее важная задача, чем обучить его ремесленным навыкам. Абсурдно опасаться того, что искусство буржуазного индивидуализма может подорвать у рабочих чувство классовой солидарности. «То, что рабочий возьмет у Шекспира, у Гёте, у Пушкина, у Достоевского, это... более сложное представление о человеческой личности, ее страстях и чувствах».

В заключительной главе книги Троцкий ведет речь о «несомненном и предполагаемом» в отношении будущего. «Несомненное» относится только к «искусству революции»; о «социалистическом искусстве», которое может зародиться лишь в бесклассовом обществе, можно строить только догадки. Искусство революции, наполненное всеми классовыми конфликтами и политическими страстями эпохи, принадлежит к пе-

реходному периоду — к «царству необходимости», а не к «царству свободы». Лишь в бесклассовом обществе человеческая солидарность может принести свои плоды, и только тогда «те чувства, которые мы, революционеры, теперь часто затрудняемся назвать по имени — до такой степени эти имена затасканы ханжами и пошляками: бескорыстная дружба, любовь к ближнему, сердечное участие, — будут звучать могучими аккордами в социалистической поэзии».

Литература революции пока еще нащупывает выразительность. Утверждают, что она должна быть реалистической. В широком философском смысле это верно: искусство нашей эпохи может достичь величия лишь тогда, когда оно отличается глубокой чувствительностью к социальной реальности. Но нелепо насаждать реализм в узком смысле, как литературную школу. Неправда, что такой школе будет присуща неотъемлемая «прогрессивность»; сам по себе реализм не революционен и не реакционен. Золотые дни реализма в России приходятся на эпоху аристократической литературы. Реакцией на реализм стал тенденциозный стиль писателей-народников, который затем сменился пессимистическим символизмом, на который, в свою очередь, ополчились футуристы. Изменения стиля происходят в конкретном социальном окружении и отражают перемены в политическом климате; кроме того, они следуют собственной художественной логике и собственным законам. Любая новый стиль вырастает из старого стиля как его диалектическое отрицание: он возрождает и развивает некоторые элементы старого стиля и отказывается от других.

«Каждая литературная школа потенциально заключалась в прошлом и каждая развивалась, враждебно отталкиваясь от прошлого. Соотношение между формой и содержанием... определяется тем, что новая форма открывается, провозглашается и развивается именно под давлением внутренней потребности, коллективно-психологического запроса, который, как и вся человеческая психология, имеет свои социальные корни. Этим объясняется двоякость каждого литературного направления: оно вносит нечто в технику творчества... с другой стороны... оно дает выражение определенным, в последнем счете классовым запросам... но это значит, и индивидуальным — через индивидуум говорит его класс. Это значит и национальным, ибо дух нации определяется классом, который господствует в ней и тем самым подчиняет себе ее литературу».

Тот бесспорный факт, что литература выступала как средство выражения общественных чаяний, не оправдывает пренебрежения художественной логикой или ее фальсификации и попыток как канонизировать, так и запрещать какие-либо стили. Некоторые критики грубо ополчились на символизм. Однако «символ не выдуман русским символизмом. Последний, пожалуй, только более кровно привил его организму модернизированного русского языка. В этом смысле грядущее искусство, по каким бы путям оно ни пошло, не захочет отказаться от формального наследия символизма». Не откажется оно и от традиционных жанров и форм, хотя некоторые критики называют их отжившими, утверждая, что сатира и комедия пережили свое время, и трагедия мертва, так как она несовместима с материалистической и безбожной жизненной философией. Хоронить старые жанры по меньшей мере преждевременно. Еще есть место для «советского Гоголя» или «советского Гончарова», которые безжалостно высветят «старое и новое свинство», старые и новые пороки, а также тупоумие, которое еще встречается в советском обществе¹.

Те, кто говорят об отмирании трагедии, утверждают, что в центре трагического мотива стоят религия, судьба, грех и воздаяние. Троицкий в ответ указывает, что сущность трагедии состоит в более широком конфликте между проснувшимся сознанием человека и узами его окружения — конфликте, который неотделим от существования человека и проявляется в различных формах на различных исторических этапах. Религиозный миф не создал трагедию, а лишь выражал ее «на образном языке человеческого детства». В драмах Шекспира — художественном продукте Реформации — не найти Рока, как его понимали древние, и средневековых страстей Христовых. Следовательно, Шекспир сделал существенный шаг вперед по сравнению с греческой трагедией: «Искусство Шекспира человечнее»; оно показывает, как земные страсти человека одерживают над ним самим победу и превращаются в своего рода Рок. То же самое верно и для драматургии Гёте. Но трагедия может подняться еще выше.

¹ Новому сатирику пришлось бороться с советской цензурой. Троицкий обещал оказывать ему содействие в этой борьбе, пока его сатира обличает социальное зло в интересах революции.

Ее героем может стать человек, побежденный не высокомерием, не богами, даже не его собственными страстями, а обществом:

«До тех пор пока человек не овладел своей общественной организацией, она возвышается над ним, как Рок... Борьба Бабефа за коммунизм в обществе, которое для этого не созрело, была борьбой античного героя с Роком... Трагедия замкнутых личных страстей слишком пресна для нашего времени. Но почему? Потому что мы живем в эпоху страстей социальных. Трагедия нашей эпохи есть столкновение личности с коллективом, или столкновение двух враждебных коллективов через личность. Наше время есть снова время больших целей... человек стремится освободить себя от мистического и всякого идейного тумана, перестроить свое общество и себя самого... Это, конечно, покрупнее ребяческой игры древних... или монашеского бреда средних веков, или высокомерия индивидуализма, который отрывает личность от коллектива, а затем, быстро исчерпав ее до дна, сталкивает ее в пустоту пессимизма...

Ныне надо большие цели провести через искусство. Успет ли искусство революции дать «высокую» революционную трагедию; предвидеть трудно. Но социалистическое искусство возродит трагедию... Оно возродит также и комедию, потому что новый человек захочет смеяться. Оно даст новую жизнь роману. Оно даст все права лирике, потому что новый человек будет любить лучше и сильнее... будет задумываться над вопросами рождения и смерти... Разложение и распад [старых] форм вовсе не имеет абсолютного значения... Нужно только, чтобы поэт новой эпохи передумал человеческие думы, перечувствовал человеческие чувства по-новому».

Несмотря на всю гипотетичность предсказаний о социалистическом искусстве, Троицкий считал, что реально найти кое-какие указания на него среди путаных, иногда даже бессмысленных новаций, которые изобиловали в эти годы в советском искусстве. В театре Мейерхольд стремился к новому «биомеханическому» синтезу драмы, ритма, звука и цвета; Таиров пытался «уничтожить преграду» между сценой и аудиторией, театром и жизнью. Живопись и скульптура старались вырваться из тупика, в котором они оказались после истощания изобразительных стилей. В архитектуре «конструктивистская» школа Татлина отрицала орнаментальные формы,

проповедовала «функционализм» и разрабатывала амбициозные проекты городов-садов и общественных зданий, достойных социалистического общества. К несчастью, эти проекты не принимали в расчет материальные возможности, но, по мнению Троицкого, содержали рациональные элементы и ценные интуитивные предчувствия:

«...Нам за эти годы было не до архитектуры, монументальнейшего из искусств... Строительство крупного масштаба все еще приходится откладывать. Авторы гигантских проектов... получают дополнительную передышку на предмет новых размышлений... Что Татлин в своем проекте отбросил национальные стили, аллегорическую скульптуру, лепку, вензеля, завитушки и хвостики, попытавшись подчинить весь замысел правильному конструктивному использованию материала, — в этом он, безусловно, прав... Прав ли, однако, Татлин в том, что является его личной выдумкой: вращающиеся куб, пирамида и цилиндр из стекол, — это ему еще придется доказать... В будущем... такого рода монументальные задачи, как новая планировка городов-садов, планы образцовых домов, железных дорог и портов — будут захватывать за живое не только инженеров-архитекторов... но и широкие народные массы. Муравьиное нагромождение кварталов и улиц, по кирпичику, незаметно, из рода в род, заменится титаническим построением городов-деревень, по карте и с циркулем.

Стена между искусством и промышленностью падет. Будущий большой стиль будет не украшающим, но формирующим... Было бы, однако, ошибочно истолковывать это... как самоустранение [искусства] перед техникой... Одновременно падет стена между искусством и природой. Не в том, жан-жаковском¹ смысле, что искусство приблизится к естественному состоянию, а в том, наоборот, что природа станет «искусственнее». Нынешнее расположение гор и рек, полей и лугов, степей, лесов и морских берегов никак нельзя назвать окончательным. Кое-какие изменения, и немалые, в картину природы человек уже внес; но это лишь ученические опыты в сравнении с тем, что будет. Если вера только обещала двигать горами, то техника, которая ничего не берет «на веру», действительно способна срывать и перемещать горы. До сих пор это делалось в целях промышленных (шахты) или транспор-

¹ Имеется в виду Жан-Жак Руссо. (Примеч. пер.)

тных (туннели); в будущем это будет делаться в несравненно более широком масштабе по соображениям общего производственно-художественного плана. Человек займется перерегистрацией гор и рек и вообще будет серьезно, и не раз, исправлять природу. В конце концов он перестроит землю... по своему вкусу. У нас нет никакого основания опасаться, что этот выбор будет плох».

Итак, наконец Троцкий раскрывает перед читателем свои представления о человеке в «царстве свободы» — современную, марксистскую версию этого пророчества, принадлежавшего Шелли:

«Спала отвратительная маска, человек обрел свободу и независимость; это человек, который равноправен, который не принадлежит никакому классу, нации или расе, который свободен от поклонения и преклонения и поэтому является королем над самим собой, справедливый, благородный, мудрый; но бесстрашный ли? — нет, и все же свободный от вины и терзаний».

Есть те, кто вслед за Ницше утверждают, что бесклассовое общество, если ему суждено возникнуть, будет страдать от избытка солидарности и приведет к пассивной, растительной жизни, при которой человек, лишенный необходимости бороться за существование, вырождается. Однако социализм, как считает Троцкий, отнюдь не подавляя в человеке подражательного инстинкта, даст ему свежую пищу, направив на возвышенные цели. В обществе, свободном от классовых антагонизмов, не будет конкуренции ради прибыли и не будет борьбы за политическую власть; энергия и страсти человека обратятся на творческое подражание в сферах техники, науки и искусства. Основой для создания и конкуренции друг с другом новых «партий» станут идеи — по поводу планирования людских поселений, тенденций в образовании, стилей в театре, музыке, спорте, планов гигантских каналов, орошения пустынь, управления климатом, новых химических гипотез и т. д. Эта борьба будет «захватывающей, драматической, страстной», она охватит общество как целое, а не только узкие касты избранных. «Искусство не будет, следовательно, испытывать недостатка в тех разрядах общественной нервной энергии, в тех коллективно-психических толчках, которые приводят к созданию новых идей и образов. Люди разделятся на соперничающие художественные «партии» в соответствии с

темпераментом и вкусами. Человеческая личность будет расти, шлифоваться и развивать свое бесценное свойство: ничем достигнутым не удовлетворяться».

Естественно, это весьма отдаленные перспективы. Сейчас же впереди лежит эпоха жестокой классовой борьбы и гражданских войн, из которых человечество выйдет обнищавшим и обделенным. После этого десятки лет продлится борьба с нищетой и нуждой — и в течение этого времени зарождающееся социалистическое общество будет охвачено страстью «к лучшим сторонам американизма» — к индустриальной экспансии, к рекордам производительности, к материальному комфорту. Но и эта фаза минует, после чего откроются такие просторы, которые воображение даже не в силах охватить:

«О чем отдельные энтузиасты не всегда складно мечтают ныне — по части театрализации быта и ритмизации самого человека — хорошо и плотно укладывается в эту перспективу... Заботы питания и воспитания, могильным камнем лежащие на нынешней семье, снимутся с нее и станут предметом общественной инициативы... Женщина выйдет наконец из полурабского состояния... Социально-воспитательные опыты... получают размах, о котором ныне нельзя и помышлять. Коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться... Человек, который научится перемещать реки и горы, воздвигать народные дворцы на вершине Монблана и на дне Атлантики, сумеет, уж конечно, придать своему быту не только богатство, яркость, напряженность, но и высшую динамичность. Едва сложившись, оболочка быта будет лопаться под напором новых технико-культурных изобретений и достижений...

Человек примется наконец всерьез гармонизировать себя самого. Он поставит себе задачей ввести в движение своих собственных органов — при труде, при ходьбе, при игре — высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами в собственном организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением — и в необходимых пределах подчинит их контролю разума и воли... Застывший *homo sapiens*... станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки.

Это целиком лежит на линии развития. Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной техникой и религию — наукой... Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, — но и оттуда человек вышибает ее социалистической организацией хозяйства... Наконец, в наиболее глубоко и темном углу бессознательного... затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы? Не для того же род человеческий перестанет ползать на карачках перед богом, царями и капиталом, чтобы покорно склониться перед темными законами наследственности и слепого полового отбора!... Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода волн в подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на новую ступень — создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно — Сверхчеловека.

До каких пределов самоуправляемости доведет себя человек будущего — это так же трудно предсказать, как и те высоты, до которых он доведет свою технику. Общественное строительство и психофизическое самовоспитание станут двумя сторонами одного и того же процесса. Искусства — словесное, театральное, изобразительное, музыкальное, архитектурное — дадут этому процессу прекрасную форму... Человек станет несравненно сильнее, умнее, тоньше, его тело — гармоничнее, движения — ритмичнее, голос — музыкальнее, формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины».

Сомнительно, чтобы Троцкий знал, что Джефферсон предвещал аналогичный «прогресс... физический или интеллектуальный — до тех пор, пока каждый человек не получит возможность обладать телом атлета и разумом Аристотеля». Скорее на него оказали влияние французские утописты, от Кондорсе до Сен-Симона. Подобно Кондорсе, Троцкий находил в размышлениях о будущем «убежище, в котором его не догонит мысль о гонителях, где он мысленно живет вместе с человеком, вернувшем себе права и достоинства, забыв о человеке страдающем и развращенном алчностью, страхом или

завистью». Представления Троцкого о бесклассовом обществе, разумеется, присущи всей марксистской мысли, находившейся под влиянием французского утопического социализма. Но ни один автор-марксист ни до, ни после Троцкого не созерцал грандиозные перспективы таким реалистичным взглядом и с таким пылким воображением.

Вся «троцкистская» концепция культуры и искусства вскоре попала «под обстрел». Полуобразованные партийцы чувствовали себя оскорбленными самой ее широтой и сложностью. Бюрократов она приподняла в ярость, отрицая их право контролировать и строить по ранжиру интеллектуальную жизнь. Ожесточила она и ультрареволюционные литературные кружки, чьи претензии отказалась признавать. Вследствие этого в культурной области возник довольно широкий антитроцкистский «фронт»; он существовал и укреплялся благодаря политическому фронту, а потом был и поглощен им. Борьба против влияния Троцкого как литературного критика стала составной частью общих усилий по разрушению его политического авторитета, и поэтому его противники объявили взгляды Троцкого на искусство неотъемлемой частью всей троцкистской ереси¹. Основным нападкам подверглась идея о невозможности пролетарской культуры, так как она представляла собой самый провокационный вызов уже формирующимся интересам правящих кругов; кроме того, Троцкого обвиняли в многочисленных разновидностях буржуазного ли-

¹ Борьба с влиянием Троцкого в советской литературной критике продолжалась и через тридцать пять лет после издания «Литературы и революции». Во время «десталинизации» середины 50-х гг. были реабилитированы многие писатели, обвиненные в троцкизме и погибшие во время «больших чисток 30-х гг.»; вскоре после этого хранители ортодоксии столкнулись с возрождением «троцкистского» влияния в литературе. В мае 1958 г. один из авторов «Знамени» констатировал: «А. Воронский, критик и редактор «Красной нови», хорошо известный в те годы [1920-е гг.], находился под явным влиянием троцкистских взглядов на литературу. Правда, сейчас выяснилось, что он не был связан с троцкистским подпольем. Он реабилитирован в этом отношении, как и другие ложно обвиненные писатели. Тем не менее его... теоретические принципы были позаимствованы из буржуазной и идеалистической эстетики и сочетались с троцкистскими идеями». Автор посвятил несколько страниц взглядам самого Троцкого на литературу, чтобы заново опровергнуть их, но скатываясь, однако, к крайностям сталинских фальсификаций и брани.

берализма. Колоссальные объемы догматической аргументации, появившейся в этой связи, сейчас уже в основном не представляют никакого интереса. По большей части ее практически опровергли сами же ее вдохновители, в первую очередь Сталин, некоторое время спустя свирепо обрушившийся на «пролетарских» писателей и художников со всеми их претензиями, распустивший и безжалостно преследовавший их организации. Однако в середине 1920-х годов Сталин старался подольститься к любым полуиспеченным литературным и культурным амбициям, чтобы «мобилизовать» на свою сторону интеллигенцию и полуинтеллигенцию.

Однако один-два аргумента, выдвигавшиеся против Троцкого, заслуживают упоминания. Так, Луначарский критиковал Троцкого в том отношении, что тот признает лишь великие феодальную и буржуазную культуры прошлого, а также культуру социализма, которая должна возникнуть в будущем, и следовательно, рассматривает пролетарскую диктатуру как культурный вакуум, считая настоящее время стерильной паузой между творческим прошлым и творческим будущим. Эта идея стояла также в центре более конкретных критических высказываний, сделанных Бухариным на совещании по литературной политике, которое ЦК провел в феврале 1925 года. Соглашаясь, что Троцкий весьма впечатляюще отстаивает свои взгляды, что Ленин тоже крайне критически относился к «пролетарской культуре» и что революционный рабочий класс может обеспечить политическое, но не культурное лидерство, Бухарин тем не менее утверждал, что пролетариат со временем добьется и культурного преобладания и оставит свой отпечаток на духовном творчестве последней эпохи классового общества. Ошибка Троцкого, заявлял Бухарин, состоит в том, что он воображает, будто пролетарская диктатура и переход к социализму продлятся настолько недолго, что не дадут никакой возможности появиться характерно пролетарской классовой культуре. Троцкий не принимает в расчет «неравный темп» социального и политического развития в разных странах, возможности и даже уверенности в том, что процесс всемирной революции разделится на много отдельных этапов, сильно удлинив период пролетарской диктатуры и вследствие этого предоставив время для формирования соответствующей культуры и искусства.

В аргументах Бухарина (входивших составной частью в его и Сталина теорию о построении социализма в одной стране) имелась известная доля истины. Когда Троцкий заявлял: «Мы по-прежнему солдаты на походе. У нас дневка... Вся наша нынешняя хозяйственно-культурная работа есть не что иное, как приведение себя в некоторый порядок меж двух боев и походов», он действительно имел в виду предстоящие в ближайшем будущем главные «битвы» всемирной революции, которые радикально сократят эпоху пролетарской диктатуры и перехода к социализму. Эти ожидания неизменно присутствовали в политических прогнозах Троцкого, и именно в таком ключе он подавал свою концепцию перманентной революции, хотя в самой этой концепции не утверждалось ничего подобного. Однако «дневка» между большевистским наступлением 1917—1920 годов и следующей великой «битвой» революции продолжалась не менее четверти века; нынешние марксисты наверняка задумываются, сколько времени еще продлится «дневка», последовавшая за китайской революцией. Троцкий несомненно недооценивал продолжительность пролетарской диктатуры, а одновременно и ту степень бюрократизации, которую приобретет эта диктатура.

Однако все эти очевидные ошибки не обесценивают аргументации Троцкого против «пролетарской культуры». Наоборот, они придают ей еще большую силу. Тот факт, что диктатура и переход к социализму оказались куда более долгими, чем предполагал Троцкий, вовсе не сделал переходную эпоху более культурно плодотворной и более творческой, а наоборот. Сталинизм не создал никакой пролетарской культуры. Вместо этого он занимался «первоначальным культурным накоплением», то есть исключительно быстрым и обширным распространением массового образования и заимствованием западных технологий. Этот процесс шел в рамках социальных отношений, созданных революцией, что объясняет его колоссальный темп и интенсивность и наделяет его громадным историческим значением. Тем не менее достижения состояли почти исключительно в усвоении Советским Союзом наследия буржуазной и добуржуазной цивилизации, а не в создании новой культуры. И даже эти достижения запятнаны культом сталинизма с его догматическим деспотизмом, фетишизмом, ужасом перед иностранными влияниями и боязнью независимой инициативы. «Культурное накопление» было

«первоначальным» в нескольких смыслах: оно сопровождалось подавлением и искажением более утонченных и сложных культурных ценностей, которые Троцкий призывал сохранить и развивать при пролетарской диктатуре. Утверждая, что «наша эпоха не есть еще эпоха новой культуры, а только преддверие к ней», он, сам того не подозревая, заранее предсказал историю культуры всей сталинской эпохи и даже последующего времени. В течение этой эпохи Советский Союз, с ног до головы выпачканный в крови, мог лишь ломиться в ворота новой культуры — те ворота, которые сейчас наполовину выломал.

Глава 4

ПАУЗА

После того как Троцкий покинул Военно-морской наркомат, внутрипартийная борьба сменилась паузой, которая продолжалась в течение всего 1925 года и закончилась лишь летом следующего года. В течение этого времени Троцкий не делал публичных заявлений по спорным вопросам, которые находились в центре дискуссий 1923—1924 годов. Он не пытался вступать в диспуты даже за закрытыми дверями ЦК и Политбюро, признав свое поражение и подчинившись тем условиям, которые выдвинул ЦК.

В течение этой паузы «оппозиция 1923 года» не существовала ни в какой организованной форме. Троцкий, фактически, распустил ее. «В данный момент мы не можем ничего сделать, — советовал он своим смущенным и озадаченным сторонникам, — ни в коем случае нельзя выходить из подполья. Следует только поддерживать связи, сохранить кадры оппозиции 1923 года и ждать, пока Зиновьев не выдохнется». Если бы Троцкий поступал иначе, инспирируя новые протесты и демонстрации со стороны оппозиции, над ним и его приверженцами сразу нависла бы угроза исключения из партии или, по крайней мере, из ее руководящих органов. У Троцкого были все основания предполагать, что триумвиры не остановятся перед крайними репрессиями.

Как отчаянно Троцкий и его сторонники старались в тот момент избежать возобновления борьбы, видно из следующего инцидента: в 1925 году американский писатель Макс Истмен издал книгу «После смерти Ленина», в которой дал первое правдивое изложение перипетий борьбы по поводу ленинско-

го наследства и огласил сущность завещания Ленина. Истмен, сочинивший также очерк о Троцком «Портрет юноши», побывал в Москве, стал сторонником оппозиции, получил лично от Троцкого сведения о последней воле Ленина и о борьбе, развернувшейся после его смерти; он даже умолял Троцкого действовать более агрессивно и зачитать завещание Ленина на XIII съезде. Рукопись своей книги Истмен передал в Париж Раковскому и получил ответ с выражением полного одобрения. Поэтому у него были все основания считать, что его труд получил благословение и самого Троцкого¹. Тот, безусловно, остался благодарен Истмену, с которым сохранял дружеские отношения в течение следующих десяти лет, пока Истмен не встал на антикоммунистические позиции. Однако дружеская услуга Истмена оказалась медвежьей: триумвиры заявили, что Троцкий совершил вопиющую небрежность, потребовали от него выступить с публичным опровержением разоблачений Истмена и пригрозили ему дисциплинарными взысканиями, если он откажется. Ближайшие сторонники Троцкого, с которыми он советовался, так не желали быть втянутыми в схватку по поводу книги Истмена, что заклинали Троцкого выступить с отрицанием своей причастности к ее изданию. Однако Политбюро этим не ограничило. Оно потребовало опровергнуть сам рассказ Истмена о завещании и даже продиктовало условия этого опровержения. «Руководящая группа оппозиции», как называет ее Троцкий, снова попросила его подчиниться ради сохранения мира. Поэтому в сентябре 1925 года в «Большевике» появилось заявление, подписанное Троцким, о том, что «всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» [Ленина] представляют собой злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии». Это заявление перепечатали все зарубежные коммунистические газеты, а позже его охотно цитировал Сталин. Хотя подобные опровержения, сделанные из тактических соображений, — не редкость в политике, данное заявление было особенно досадным для Троцкого. После того как он почти пассивно наблюдал за сокрытием завещания, практически

¹ «Я показал рукопись Раковскому, — сообщает Истмен в письме автору, — и сказал ему, что публикация книги зависит от его решения. Мадам Раковская вернула мне рукопись с выражениями восторга, и я решил, что при данных обстоятельствах трудно рассчитывать на одобрение в какой-либо другой форме».

передающего ему права наследования, пришлось выступать со лжесвидетельством против самого себя и в пользу Сталина — и все для того, чтобы отсрочить новую вспышку внутривластной борьбы.

В таких обстоятельствах было нелегко «поддерживать связи и сохранить кадры оппозиции 1923 года». Любое групповое политическое бездействие, какими бы тактическими соображениями его ни оправдывать, — крайне мучительное испытание. Небольшая компания интеллектуалов и очень развитых рабочих может заполнить промежуток обучением и дискуссиями в собственном кругу. Но для любой более крупной группы, особенно состоящей из заводских рабочих, бездействие чаще всего ведет к политическому самоубийству. Оно подрывает их веру в свое дело, омертвляет их дух, порождает безразличие и отчаяние. Именно к этому привело ожидание в большинстве оппозиционных группировок: они уменьшились в числе и развалились. Так, в Ленинграде в начале 1926 года насчитывалось не более тридцати троцкистов, которые группировались вокруг первой жены Троцкого — Александры Бронштейн-Соколовской — и поэтому поддерживали тесные связи и регулярно встречались. Многие сотни ранее организованных оппозиционеров растворились в политической пустыне. В Москве троцкистские «кадры» были куда более многочисленными и деятельными; но в крупных провинциальных городах — Харькове, Киеве, Одессе и прочих местах — силы оппозиции сократились точно так же, как и в Ленинграде.

Вожди оппозиции, объединенные узами политической и личной дружбы, образовали вокруг Троцкого узкий кружок, который часто встречался и дискутировал. В него входили многие самые видные интеллектуалы и яркие личности из числа большевиков. В смысле политических способностей, опыта и революционных достижений этот кружок, безусловно, превосходил ту команду, которая возглавляла «сталинскую фракцию» и руководила партией. Раковский, Радек, Преображенский, Иоффе, Антонов-Овсеенко, Пятаков, Серебряков, Крестинский, Иван Смирнов, Муралов, Мрачковский и Сосновский были заметными фигурами в первые годы революции и Гражданской войны и занимали самые ответственные должности¹. Марксисты ши-

¹ Раковский, Иоффе и Крестинский были посланцами в Лондоне, Париже, Токио и Берлине, но поддерживали тесные связи с Троцким.

роких воззрений, чуждые условностям, находчивые и энергичные, они представляли собой наиболее развитый и интернационально мыслящий элемент в партии.

Самым знаменитым, хотя не самым влиятельным из них был Радек, блестящий и остроумный большевистский публицист, уступающий в этом отношении только Троцкому. Радек, обладавший живым характером, пронизательный и трезво мыслящий знаток людей и политики, сверхъестественно чувствительный к настроениям самых различных социальных слоев, подталкивал Ленина к некоторым из наиболее важных инициатив в дипломатии и коминтерновской политике. Его домом была Европа. Как и Дзержинский, Радек перешел к большевикам из Социал-демократической партии Королевства Польши и Литвы — партии Розы Люксембург, находившейся под сильным влиянием Троцкого¹. Кроме того, за спиной Радека осталось много лет бурной деятельности на крайнем левом крыле германского социализма; он был предтечей и одним из отцов-основателей Коминтерна. Прибыв в Россию вскоре после Октябрьской революции, Радек сразу же получил доступ во внутренний круг вождей, ездил с Троцким в Брест-Литовск и вместе с Бухариным и Дзержинским возглавлял левых коммунистов, противившихся миру с немцами. После крушения монархии Гогенцоллернов Ленин отправил его с секретной миссией в Германию, где Радек должен был участвовать в основании местной компартии. После опасного и полного приключений пути через окружавший Россию «санитарный кордон» он инкогнито прибыл в Берлин как раз перед убийством Розы Люксембург и Карла Либкнехта, был схвачен полицией и брошен в тюрьму. Там, пока Берлин захлестывал белый террор и жизнь Радека висела на волоске, он сделал исключительно ловкий ход, ухитрившись наладить контакты с ведущими немецкими дипломатами, промышленниками и генералами; в своей камере он вел с ними, особенно с Вальтером Ратенау, который в эпоху Рапалло стал министром иностранных дел, переговоры, призванные пробить первую брешь в «санитарном кордоне». Кроме того, из камеры Радек поддерживал нелегальные связи с Германской компартией, помогая ей выработать политическую линию.

¹ Однако в этой партии Радек и Дзержинский были противниками Люксембург и стояли ближе всего к большевикам.

В Радеке, этом пионере революционного социализма, было что-то от игрока. Он находился в своей стихии и когда плел дипломатические интриги, и тогда, когда рыл подземные ходы, как «крот революции». Обладая зорким взглядом и широким умом, Радек почуял отлив революции в Европе прежде прочих большевистских вождей и принялся отстаивать идею единого фронта. Когда в 1923 году он вернулся из Германии, на новый прилив не было даже намека, и Радек удерживал Брандлера от попыток очертя голову броситься в безнадежное восстание. Однако пристрастие к политическим играм подводило Радека, и он провозгласил «курс Шлагетера», прозвучавший как двусмысленное обращение к самым отчаянным германским национал-экстремистам. По возвращении в Москву на Радека возложили ответственность за поражение в Германии и инкриминировали ему связь с Троцким. Изгнанный из европейской секции Коминтерна, он был в 1925 году назначен ректором Московского университета имени Сунь Ятсена — как раз в тот момент, когда из Китая донесся гром революции. Задачей университета было готовить пропагандистов и агитаторов для китайского молодежного коммунистического движения¹. Радек был непоседлив, презирал ханжество, имел богемную внешность, острый язык и склонность к циничным жестам; многие считали его эксцентричной и даже темной личностью. Однако он нередко подвергался оскорблениям со стороны противников, опасавшихся его непочтительного взгляда, шуточек и ядовитых пасквилей. При этом Радек, безусловно, носил в себе куда более прочный стержень, чем казалось на вид, хотя чудовищно деградировал в последующие годы под давлением сталинского террора. За богемной внешностью и циничными выходками скрывалась пылкая вера, которую он тщательно скрывал; но даже в его метких афоризмах и насмешках ощущался революционный пыл.

В кругу ведущих оппозиционеров Радек метал молнии своего интеллекта и юмора. Он был сильно привязан к Троцкому; их объединяли сходные заграничные испытания. Доказательством этой привязанности стала статья Радека «Троцкий, организатор победы», написанная в 1923 году. Троцкий не

¹ До 1914 г. Радек анализировал революционные процессы на колониальном и полуколониальном Востоке в польской газете «Пжеглад социал-демократичны», основанной Розой Люксембург.

вполне одобрял импульсивные политические импровизации Радека, но испытывал к нему теплую симпатию и восхищался его талантом. Не доверяя сидевшему в Радеке игроку, он тем не менее питался его наблюдениями и идеями и восхищался его шутками и сатирами.

Преображенский по своему характеру представлял полную противоположность Радеку. Он был теоретиком и, вероятно, самым оригинальным из большевистских экономистов. Сторонником Ленина он стал в 1904 году, а впоследствии вместе с Бухариным написал «Азбуку коммунизма», когда-то знаменитое собрание большевистских учений, и вошел в состав ленинского ЦК. Преображенский уступил свою должность Молотову, когда решил, что партийная дисциплина становится для него непомерно жесткой. В качестве ее критика он был предшественником Троцкого — и уже в начале 1922 года критиковал на XI съезде самого Троцкого, в то время призывавшего к дисциплине. Однако в том же году они оба сблизились; Преображенский был одним из немногих, кому Троцкий сообщал о своих планах, пересказывал частные разговоры с Лениным и поведал об их плане создать «блок» против Сталина. Преображенский — автор важных работ по экономической истории, человек редкой эрудиции и аналитического таланта — был в первую очередь ученым, не отказывающимся от своих убеждений, к каким бы непопулярным выводам те ни вели его и какой бы ущерб ни нанесли его положению в партии. Преображенский оформлял свои мысли в виде сложных и громоздких теорем, а в своем труде «Новая экономика» сделал первую серьезную и до сих пор не превзойденную попытку применить «категории» Марксова «Капитала» к советской экономике. Ему разрешили издать только вступительный том, да и тот был вскоре изъят и обречен на забвение. Тем не менее «Новая экономика» остается важной вехой марксистской мысли. Приведенный в ней предварительный анализ процессов первоначального социалистического накопления сохранит силу до тех пор, пока в мире остаются развивающиеся страны, стремящиеся провести индустриализацию на социалистической основе. Многие считали не Троцкого, а Преображенского автором экономической программы оппозиции; в любом случае именно он заложил ее теоретическую основу. Правда, между взглядами Преображенского и Троцкого существовали неявные разногласия, но они никак не проявлялись и не вели к серьезному по-

литическому конфликту вплоть до 1928 года, когда их обоих выслали из Москвы.

Пятаков был самым выдающимся промышленным руководителем среди большевиков. Если Преображенский снабжал оппозицию теориями, то Пятаков ставил эти теории на прочную основу практического опыта. Ленин в своем завещании называет Пятакова одним из двух ярчайших вождей молодого поколения (другим был Бухарин), исключительно способным и энергичным администратором, но не имеющим своего политического мнения. Такая же однобокость была характерна для него и как для оппозиционера: Пятаков разделял взгляды оппозиции по экономической политике, но держался в стороне от «битвы идей» и воздерживался от нападок на партийное руководство. Однако он обладал отнюдь не робким характером. Лишь несколькими годами раньше Пятаков и его брат возглавляли большевиков на Украине, оккупированной Деникиным; там, в тылу у врага, Пятаков организовал саботаж, создавал партизанские отряды и руководил борьбой. Белогвардейцы схватили обоих братьев и поставили их вместе с другими красными к стенке. Расстрел был в самом разгаре и его жертвой уже пал брат Пятакова, когда расстрельная команда бежала перед красноармейцами, взявшими город и устремившимися к месту казни. Прямо у трупов брата и ближайших сподвижников Пятаков взял на себя командование красными войсками. Таким было прошлое человека, который и в оппозиции, и вне ее в течение пятнадцати лет являлся вдохновителем и главным организатором советской индустриализации, а в конце концов оказался на скамье подсудимых и признался во «вредительстве, предательстве и шпионаже в пользу иностранных держав».

За плечами у большинства других вождей оппозиции также было героическое прошлое. Преображенский прошел огонь и воду, возглавляя подпольное большевистское движение на Урале в годы контрреволюции. Однажды он был схвачен полицией, предстал перед судом; его защищал сам Керенский, который, стремясь спасти своего подзащитного, заявил в суде, что Преображенский не участвовал ни в каком революционном движении. Обвиняемый поднялся, опроверг слова защитника и заявил о своих революционных убеждениях. Преображенский возглавлял большевиков на Урале в 1917 году и на раннем этапе Гражданской войны. Раковский, о долгой и отважной борьбе которого до 1914 года рассказы-

вается в «Вооруженном пророке», руководил коммунистическими силами во время гражданской войны в Бессарабии, где белые назначили награду за его голову. Вернувшись в Россию, он стал председателем совнаркома Украины. Участие Антонова-Овсеенко в Октябрьском восстании и Гражданской войне вспоминать здесь нет нужды. Муралов, как и Антонов, был одним из легендарных героев революции 1905 года, а в октябре 1917 года он возглавлял московских красногвардейцев, штурмовавших Кремль. Впоследствии он был командующим Московским военным округом и инспектором Красной армии. Троцкий так отзывался о Муралове: «Великолепный гигант, бесстрашие которого уравнивается великодушной добротой». Муралов был агроном по образованию, и в промежутках между боями давал крестьянам сельскохозяйственные советы и «лечил людей и коров». Иван Смирнов возглавлял армию, разгромившую в Сибири Колчака. Серебряков был одним из самых энергичных политкомиссаров на фронтах Гражданской войны. Сосновский получил известность как агитатор на линии фронта и как энергичный наблюдатель и критик морали и нравов, будучи одним из лучших перьев большевистской журналистики.

Но, несмотря на свою отвагу и разум, эти люди пока что не видели перед собой никакого ясного пути. В первую очередь они были озабочены тем, чтобы остаться в партии, а для этого им следовало вести себя тихо. Они следили за событиями и шагами противников и ждали какой-нибудь возможности выйти на первый план.

Троцкий затаился, но вовсе не собирался складывать оружие. Путем намеков и полунамеков он продолжал критиковать официальный режим и его политику. Все, что он говорил, даже подчеркнуто миролюбивым тоном, служило ответом на действия его противников и, более того, на их мысли — шла ли речь о неотесанности русского бюрократа, неряшливом газетном стиле или ложных шагах партии в культурной сфере. Помимо того, Троцкий ни на минуту не упускал из виду те важнейшие вопросы внешней и внутренней политики, в которых уже накапливалось топливо для будущих дискуссий.

В мае 1925 года, почти через пять месяцев после ухода из Военного наркомата, Троцкий получил назначение в Высший

совет народного хозяйства, возглавляемый Дзержинским. В этом назначении заключалась мрачная ирония: Дзержинский не был ни экономистом, ни политиком, и триумвиры назначили ему в подчиненные Троцкого лишь для того, чтобы унижить последнего. Они даже не посоветовались с Троцким, но тому было не так-то легко отказаться. Уходя из Военного наркомата, он заявил, что готов «выполнять любую работу на любых условиях, каких потребует партия», и не мог взять свои слова обратно. Давно прошли те дни, когда он мог отклонить честь стать заместителем Ленина.

В ВСНХ Троцкий заведовал тремя учреждениями: Концессионным комитетом, Электротехническим управлением и Научно-техническим управлением промышленности. Концессионный комитет был создан в самом начале нэпа, когда Ленин надеялся привлечь бывших концессионеров и других зарубежных инвесторов к участию в экономическом возрождении России. Из этих надежд ничего не вышло. Большевики слишком боялись иностранного капитала, чтобы уметь привлекать его, а иностранные инвесторы слишком боялись большевиков, чтобы сотрудничать с ними. Концессионный комитет оказался не у дел. В своем офисе — крохотной одноэтажной гостинице рядом с Кремлем — Троцкому время от времени приходилось принимать иностранных посетителей, которые интересовались перспективами золотодобычи в Сибири или строительства в России карандашной фабрики.

Однако вскоре клетку, в которую его заключили, Троцкий превратил в крепость. При помощи секретарей, которые служили у него в поезде во время Гражданской войны, он начал расследовать состояние концессий и российской внешней торговли. От этого Троцкий перешел к изучению затрат на промышленное производство в стране и за границей и к сравнительному исследованию производительности российского и западного труда. Его исследование резко выявило промышленную отсталость нации — оно демонстрировало, что производительность российского рабочего в десять раз ниже американского. Графики и диаграммы иллюстрировали убогость российского промышленного оборудования. Так, в США насчитывалось 14 миллионов, в Великобритании — 1 миллион телефонов, а в Советском Союзе — только 190 тысяч. Длина железнодорожных линий в СССР составляла 69 тысяч километров по сравнению с 405 тысячами в США. Потребление

электричества на душу населения — 20 киловатт по сравнению с 500 киловаттами в США.

Хотя сами по себе эти факты были очевидны, их подчеркнутая демонстрация вызвала шок. Официальные ораторы хвастались ростом российской индустрии по сравнению с временами Гражданской войны, когда ее производительность приближалась к нулю, а также сравнивали нынешний уровень производства с уровнем 1913 года и поздравляли себя с результатом. Троцкий указывал, что требуется новая точка отсчета и что достижения последних лет следует измерять по стандартам промышленного Запада, а не отсталой России. Нация не может расти, не отдавая себе полного отчета в том, с какого низкого уровня ей приходится стартовать:

«Мы, — говорят, — «почти» так же работаем, как немец, француз и пр. Я готов объявить священную войну этому слову «почти». «Почти» — ничего не означает... Нужно взять себестоимость продукции, нужно установить, напр., во что обходится пара сапог, установить прочность товара, срок его изготовления, и тогда уже можно сравнивать с границей».

«Отставать нам от других стран нельзя, — делает вывод Троцкий. — Первый и основной лозунг... не отставать! Между тем мы чрезвычайно отстали от передовых капиталистических стран».

Этот лозунг — «Не отставать!» — Троцкий провозгласил на несколько лет раньше Сталина, но, в отличие от Сталина, он стремился открыть России глаза на то, какой путь ей предстоит пройти. Троцкий понимал, что в этом заключается политический риск — люди, трезво оценивающие русскую бедность и постигшие всю степень ее нищеты, могут впасть в цинизм или уныние. Сталин, начиная индустриализацию, предпочел оставить массы в неведении о том, на какую громадную высоту нужно подняться и какие нечеловеческие усилия для этого требуются. Троцкий полагался на мужество и зрелось народа. «Не будем, товарищи, ни смеяться над собою, ни пугаться, но твердо запомним цифры; нам нужно измерять и сравнивать для того, чтобы догнать и обогнать [Запад] во что бы то ни стало!» Так он вынырнул из-под мелких административных дел, в которых его собирались похоронить триумвиры, вернулся к ключевым проблемам политики и повторил свой призыв к индустриализации, который уже прозвучал в 1922—1923 годах.

В качестве председателя Электротехнического управления Троцкий погрузился в проблемы электрификации. Он разъезжал по всей стране, оценивал наличные ресурсы, изучал проекты электростанций, планировал их расположение и писал отчеты. Вернувшись из очередной поездки, он призывал Политбюро одобрить проект строительства гидростанции на Днепровских порогах, который впоследствии стал известен как Днепрострой, став одним из достижений промышленного строительства в следующем десятилетии. Но когда Троцкий впервые выдвинул эту идею в начале 1926 года, Политбюро ею не заинтересовалось. Сталин заметил, что эта электростанция нужна России не больше, чем граммофон — мужику, у которого нет даже коровы. Тогда Троцкий воззвал к энтузиазму и воображению молодежи. В речи перед комсомольцами он заявил:

«Недавно мы открывали Шатурскую станцию, одно из лучших наших сооружений, воздвигнутое на торфяном болоте. От Москвы до Шатуры сто с лишним километров. Казалось бы — рукой подать. А между тем какая разница условий! Москва — столица Коммунистического интернационала. А отъедешь несколько десятков километров — глушь, снег да ель, замерзшие болота да звери. Черные, бревенчатые деревеньки, дремлющие под снегом. Из окна вагона виден иной раз волчий след. Там, где ныне стоит Шатурская станция, несколько лет назад, когда приступали к стройке, водились лоси. Сейчас расстояние между Москвой и Шатурой покрыто изящной конструкции металлическими мачтами... И под этими мачтами лисы и волчицы будут этой весной выводить своих щенят. Такова и вся наша культура — из крайних противоречий, из высших достижений техники и обобщающей мысли, с одной стороны, и из таежной первобытности — с другой...

Шатура стоит на болоте. Много у нас болот в Советском Союзе, гораздо больше, чем станций. Много у нас и других видов топлива, ждущих своего превращения в двигательную силу. На юге протекает по богатейшему промышленному району Днепр, расходуя могучую силу своего напора впустую, играючи по многовековым порогам, и ждет, когда мы обуздаем его течение плотиной и заставим освещать, двигать, обогащать города, заводы и пашни. Заставим!»

Естественно, индустриализация — не цель сама по себе; «борьба за технику есть для нас борьба за социализм, с кото-

рым неразрывно связана вся будущность нашей культуры». Опять же в противоположность тому, что говорил Сталин несколько лет спустя, Троцкий настаивает, что Советский Союз в попытках догнать Запад не должен изолироваться от него. Троцкий был непреклонным защитником монополии на внешнюю торговлю; именно он выдвинул идею «социалистического протекционизма», но цель этого протекционизма, по его словам, не в том, чтобы отсекал социалистическую промышленность от остального мира, а, наоборот, в том, чтобы установить тесные и разнообразные связи с мировой экономикой. Естественно, «всемирный рынок» будет давить на российскую социалистическую экономику и подвергать ее суровым, порой опасным испытаниям. Но этих испытаний не избежать; их следует отважно встречать. Опасности, которым подвергнется Россия по сравнению с более развитыми капиталистическими странами, будут компенсированы решающими преимуществами, которые дает международное разделение труда и заимствование передовых западных технологий. В изоляции же экономическое развитие России неизбежно исказится и замедлится. Утверждая это, Троцкий снова косвенно вступал в конфликт с официальной экономической мыслью, которая уже укоренялась в идее национальной самодостаточности: социализм в одной стране предполагает наличие закрытой советской экономики. Троцкий, в сущности, выступал против ключевых предпосылок сталинского учения еще до того, как по поводу последнего разгорелась дискуссия.

После германского поражения в 1923 году Троцкий старался провести переоценку международной ситуации и перспектив коммунизма. Коминтерн, пытаясь спасти лицо, преуменьшал значение этого фиаско, предсказывал новую революционную ситуацию в Германии и поощрял «ультра-левую» политику. Когда в начале 1924 года было создано первое британское лейбористское правительство во главе с Макдональдом и Эдуард Эррио, возглавлявший левый блок, стал французским премьер-министром, некоторые из коммунистических вождей стали относиться к этим правительствам как к «режимам керенщины», призванным вымостить путь для революции. Троцкий в ответ указывал, что необходимо «отличать прилив революции от ее отлива», что немецкому ра-

бочему классу требуется время оправиться от поражения и в Англии и Франции не следует ожидать скорой революции.

И тем не менее Троцкий утверждал, что капиталистический мир не способен сколько-нибудь продолжительное время сохранять стабильность. Важнейшим дестабилизирующим фактором, а также ключевым фактором глобальной политики в целом он считал усиление США. В 1924—1925 годах Троцкий снова и снова проводит анализ экономического роста в США и его влияния на остальной мир. Он уверенно предсказывал превращение США в крупнейшую мировую державу, вынужденную вмешиваться в дела всех континентов и расширять свою сеть военно-морских баз по всем океанам. Свои умозаключения Троцкий формулировал так решительно, что большая часть его прогнозов в 1920-х годах выглядела сильной натяжкой. На дворе стояла эпоха «плана Дауэса» — достаточно робкого, не более чем пробного вмешательства Америки в европейские дела, после чего в 1929 году Америка более чем на десять лет снова скатилась в изоляционизм. Глобальную экспансию американской мощи, которую предсказывал Троцкий, если и можно было разглядеть, то лишь в зародыше. Троцкий же, как с ним часто бывало, увидел в этом зародыше взрослое существо. Экономическая основа для этой экспансии уже имелась: национальный доход США в два с половиной раза превышал совместный доход Великобритании, Франции, Германии и Японии. Развитие Соединенных Штатов сопровождалось обеднением Европы, «балканизацией» и упадком. Из этого Троцкий делал вывод, что «перевес, который Англия имела в момент величайшего своего расцвета над Европой и над остальным миром, ничто в сравнении с тем перевесом, какой ныне имеют Соединенные Штаты над всем миром, включая и Англию».

Правда, правящие классы и Америки и Европы не спешат в полной мере оценить значение этих перемен — их сознание не поспевает за событиями. «Американец только начинает отдавать себе отчет в своем мировом значении... Америка еще не научилась реализовать свое могущество... Но она быстро учится на теле и костях Европы». Традиции американского изоляционизма и пацифизма, проистекающие из ее географии и истории, тормозят экспансию; но им придется отойти в сторону перед динамичной силой новых фактов. Соединенные Штаты обречены на лидерство в капиталистическом мире. Стремление к экспансии заложено в их экономике и подпитывается тем,

что выживание европейского капитализма зависит от американской помощи». Здесь Троцкий делает знаменитое и вызвавшее бурные возражения предсказание о том, что США «посадят Европу на американский паек» и будут диктовать ей свою волю. Заняв место Англии как «всемирной мастерской» и «всемирного банка», США также займут ее место как крупнейшей морской державы и империи¹. Для этого им не придется обременять себя колониальными владениями, которые служили источником богатства для британского империализма, но одновременно истощали его силы. «Америка найдет союзников и помощников во всем мире, сильнейший всегда находит их, — а вместе с союзниками найдет и необходимые базы». Следовательно, «мы вступаем в эпоху агрессивного развертывания американского империализма».

Тем, кто под обманчивым впечатлением от силы американского изоляционизма и пацифизма сомневается в этой перспективе, Троцкий напоминает, что Соединенные Штаты следуют по стопам Германии. Америка, подобно Германии, но неизмеримо более мощная, также поздно вошла в число крупнейших индустриальных стран. «Так ли давно считались немцы робкими голубоглазыми мечтателями, народом «поэтов и мыслителей»? А несколько десятилетий капиталистического развития превратили германскую буржуазию в самых свирепых империалистов. Для аналогичной трансформации в Соединенных Штатах требуется намного меньше времени. Зря правители Англии утешают себя мыслью, что они будут политическими и дипломатическими наставниками неопытных американцев. Может быть, они правда станут таковыми, но лишь на короткое время, пока американцы не обучатся искусству империализма и не наберутся самоуверенности, после чего американское могущество скажется во всем своем размахе. Даже сейчас «неопытный янки» пользуется определенными преимуществами перед утонченным и хитроумным британским империалистом: он может встать в позу освободителя колониальных народов Азии и Африки, помогая индийцам, египтянам и арабам избавиться от британского угнетения, и весь мир верит в его пацифизм и благородство.

¹ В 1922 г. на Вашингтонской морской конференции Великобритания, в сущности, отказалась от традиционных форм британского военно-морского владычества.

Однако не в силах Америки предотвратить упадок буржуазной Европы. Американское могущество само по себе служит источником нестабильности в Германии, Франции и Англии, так как американская мощь растет в первую очередь за их счет. Экономическое неравенство между Европой и Америкой снова и снова будет отражаться на их торговле и платежном балансе, ведя к финансовым кризисам и к конвульсиям всей капиталистической системы. Да и у самих США нет иммунитета: чем больше мир зависит от них, тем сильнее заатлантическая республика зависит от остального мира и втягивается в зловещий всемирный хаос.

Вывод? «Нет более принципиального и заклятого врага большевизма, чем американский капитал»¹. Эти двое врагов представляют собой «два начала новой истории». На любых путях своего развития коммунизм упрется в преграды, поставленные американским капитализмом; какую бы часть мира США ни выбрали для своей экспансии, они столкнутся с угрозой пролетарской революции: «Когда американский капитал... проникает в Китай... он находит там в народных массах не религию американизма, а переведенную на китайский язык политическую программу большевизма».

В этой дуэли гигантов на стороне американского капитализма — все материальные преимущества. Но большевизм будет учиться у Америки и заимствовать ее передовую технику. Большевикам сделать это легче, чем американским капиталистам — посадить мир на американский паек. «Американизированный большевизм победит и раздавит империалистический американизм». Пусть США выступают в роли «освободителя» колониальных народов и тем самым вносят свой вклад в демонтаж Британской империи; им самим не удастся установить свое господство над цветными расами. Не смогут они в долговременном плане и изгнать коммунизм из Европы.

«Мы ни на минуту не преуменьшаем это могущество [США]. В наших революционных перспективах мы исходим прежде всего из ясного познания фактов... Более того, мы считаем, что могущество Соединенных Штатов... является

¹ Троцкий рассказывает, что вскоре после Октябрьской революции он шутя сказал Ленину, что «Ленин и Вильсон — вот два апокалиптических начала новой истории».

сейчас величайшим рычагом европейской революции. Мы не закрываем глаз на то, что рычаг этот в политическом и военном смысле бешено повернется против европейской революции... Мы знаем, что американский капитал, когда дело пойдет об его шкуре, разовьет неистовую энергию борьбы. Весьма возможно, что все то, что мы знаем из книг и собственного опыта насчет борьбы привилегированных классов за свое господство, померкнет перед картиною тех насилий, которые попытается обрушить на революционную Европу американский капитал».

В таком случае, вопрошает Троцкий, как же коммунистическое движение сможет защищаться? Он не думает, что столкновение между двумя «ключевыми антагонистическими силами» произойдет в то время, пока коммунизм укрепился лишь на восточном краю Европы и в отдельных частях Азии. Как всегда, Троцкий ожидает революцию в Западной Европе и убежден в том, что народы европейского континента сумеют выстоять против американского нападения и блокады, лишь создав «Соединенные Штаты Социалистической Европы».

«Мы, народы царской России, продержались в годы блокады и гражданской войны. В нищете, голоде и эпидемиях, но продержались. Наша отсталость оказалась тут временно и нашим преимуществом. Революция держалась, опираясь на свой гигантский крестьянский тыл... Иное дело — индустриализованная Европа... Не может быть и речи о том, чтобы *раздробленная* Европа могла хозяйственно устоять... Пролетарская революция означает объединение Европы. Сейчас буржуазные экономисты, пацифисты, хитрые дельцы, фантазеры и просто болтуны не прочь поговорить о Соединенных Штатах Европы. Но эта задача не по плечу европейской буржуазии, разъеденной насквозь противоречиями. Объединить Европу может только победоносный пролетариат... Мы явимся для Европы хорошим мостом в Азию... Соединенные Штаты Социалистической Европы вместе с нашим Союзом представят могущественный магнит для народов Азии... Могущественный блок народов Европы и Азии будет несокрушим и, прежде всего, неуязвим для могущества Соединенных Штатов».

Перспектива такого глобального классового Армагеддона сразу же была жестоко раскритикована как чистой воды

фантазия¹. Безусловно, Троцкий подавал в крайне преувеличенном виде свою идею, которая в то время представляла собой всего лишь одну из тенденций, разворачивавшихся в мировой политике. В следующие два десятилетия на первый план вышли новые тенденции: и США, и Россия оказались в относительной изоляции; центром мировых бурь снова стала Европа, посреди которой вырастал Третий рейх, а гитлеровские завоевания и поползновения на мировое господство заставили США и СССР вступить во временный союз. Однако Троцкий делал свой прогноз в первые годы Версальского мира, когда Германия еще лежала поверженная, Гитлер был всего лишь малоизвестным провинциальным авантюристом, а военная мощь Германии еще была не способна заявить о себе. События того времени представляли собой не более чем смутную прелюдию к противостоянию двух блоков, которое осуществилось лишь после Второй мировой войны. Но по этой прелюдии Троцкий вычислил контуры, фабулу и лейтмотив будущей драмы. Он настолько далеко опередил свое время, что и более тридцати лет спустя большая часть его предсказаний еще не сбылась; тем не менее основные их положения столько раз подтвердили свою истинность, что мало кто отважится объявлять чистой химерой пророчество Троцкого в целом.

Обрисовав в общих чертах изменение отношений между Европой и Америкой, Троцкий выдал более детальный прогноз будущего конкретной страны в книге «Куда идет Англия?», которую написал в начале 1925 года, как раз тогда, когда Москва начала придавать большое значение только что установленным связям между советскими и британскими профсоюзами. В ноябре предшествовавшего года делегация во главе с А. Перселлом, председателем Конгресса британских профсоюзов, посетила советскую столицу и торжественно поклялась в дружбе и солидарности с русской революцией. Советские вожди с готовностью отозвались на эту инициативу, надеясь, что нашли надежных союзников в лице Персел-

¹ Следует помнить, что и Троцкий и Ленин говорили о Соединенных Штатах Социалистической Европы еще в начале Первой мировой войны. Этот лозунг содержался даже в манифесте V конгресса Коминтерна, написанном Троцким в 1924 г. Однако вскоре после этого лозунг и идея «Соединенных Штатов Социалистической Европы» были отвергнуты Коминтерном как троцкистская утопия.

ла, Кука и других новоизбранных левых вождей британских профсоюзов; они тем более стремились поддерживать новую «дружбу», поскольку Коммунистическая партия Великобритании была слабой и не пользовалась влиянием. Ультралевая политика Коминтерна зашла в тупик; ее следовало заменить более осторожной тактикой. Обсуждался вопрос о том, не может ли революция «войти в Англию через широкие ворота профсоюзов», а не по «узкой тропинке коммунистической партии». В мае — Троцкий только что закончил свою книгу — Томский повез советскую делегацию на ежегодный конгресс британских профсоюзов и с благословения Политбюро создал Англо-русский профсоюзный комитет, который играл важную роль во внутривнутрипартийных дискуссиях следующего года.

В своей книге Троцкий утверждал, что на Великобританию надвигается колоссальный социальный кризис. Американское засилье, устарелость британского промышленного оборудования, трещавшая по швам империя — все эти факторы вносили свой вклад в его наступление. Англия вышла из Первой мировой войны победоносной, но потрепанной и изможденной. Победа скрыла ее слабость, но лишь ненадолго. Британское правительство поддерживает видимость ровного и дружеского сотрудничества с США, но под этой личиной скрывается непримиримый конфликт. Англичане «мирно» отказались от своего финансового господства, торговых привилегий и военно-морской мощи, но, по мнению Троцкого, они не могут бесконечно отступать — в конце пути ожидает вооруженный конфликт. Помимо того, невозможно задержать ни на мгновение и распад Британской империи, неизбежный вследствие утраты англичанами господства на морях и пробуждения колониальных народов. Англия лишилась такого стратегического преимущества, как изолированное положение. Наконец, с 1918 года Версальская система и разрушение германской экономики скрывают экономическое отставание Великобритании от Германии. Однако Германия с помощью США быстро восстанавливает свои силы и уже вернулась на всемирный рынок как самый непосредственный и опасный конкурент Англии, расстраивая ее торговлю и платежный баланс и усугубляя все факторы, ослабляющие Великобританию. Все это, делает вывод Троцкий, указывает на опасные англо-американские противоречия, грозящие войной и вспышкой

жестокой классовой борьбы — фактически, революционной ситуацией на Британских островах.

В ретроспективе четко видны и реалистичность этого анализа, и ошибочность прогнозов. Троцкий не представлял себе, как англичане смогут избежать вооруженного конфликта с США, хотя сам он убедительно показал, что подобный конфликт будет для буржуазной Англии самоубийственной глупостью. Хотя, вероятно, Троцкий был первым из аналитиков, оценившим все значение возросшего американского могущества, его представления о Британской империи имели на себе налет Викторианской или Эдвардианской эпохи: он не мог предположить, чтобы англичане «мирно» и «полностью» уступили свое владычество Соединенным Штатам. Крах британского могущества представлялся ему катастрофическим коллапсом, а не тем хроническим и вялотекущим процессом, который имел место на самом деле.

Несмотря на ошибочные прогнозы, «Куда идет Англия?» остается самым, а вернее, единственным решительным из всех когда-либо сделанных призывов к пролетарской революции и установлению коммунизма в Великобритании. Так Троцкий вступил в борьбу с фабианским социализмом и его учением о «неизбежной постепенности»; фабианство еще долгое время не могло интеллектуально оправиться от этого нападения¹. Быстрыми и резкими выпадами Троцкий разоблачил социалистические претензии фабианства и продемонстрировал его зависимость от консервативной и либеральной традиций, замшелость, заикленность, провинциальность и эмпирическую узорность, лицемерный пацифизм и националистическое высокомерие, снобизм и пресмыкательство перед общепризнанными мнениями, фетишистское отношение к религии, монархии и империи — одним словом, все те черты, из-за которых Макдональд, Томас, Сноудены и прочие лидеры лейбористов того времени оказались не способны возглавить воинствующее социалистическое движение и превратились в противников революции, готовых удовольствоваться плодами прошлых сражений, но панически шарахающихся от новых конфликтов и восстаний. Троцкий не сомневался, что, когда нагрянет кри-

¹ В американской «Балтимор сан» от 21 ноября 1925 г. отмечалось, что мир со времен Лютера не слышал ничего подобного грозным выпадам Троцкого.

зис, они будут видеть свою главную задачу в том, чтобы запутать рабочий класс, морально разоружить его и лишить способности к действию.

Безжалостность аргументации Троцкого сильно оживляется, но едва ли смягчается тем юмором, которым она сопровождается:

«Английские любители голубей путем искусственного отбора достигают особой разновидности со все более и более коротким клювом. Приходит, однако, момент, когда клюв нового отпрыска оказывается настолько коротким, что бедняга уже не способен пробить яичную скорлупу; молодой голубь погибает жертвой вынужденного воздержания от насильственных действий, и дальнейший прогресс разновидности короткоклювых останавливается. Если память нам не изменяет, Макдональд может об этом почитать у Дарвина. Став на излюбленный Макдональдом путь аналогий с органическим миром, можно сказать, что политическое искусство английской буржуазии состоит в том, чтобы укоротить революционный клюв пролетариата и не дать ему, таким образом, прободать оболочку капиталистического государства. Клюв пролетариата — его партия. Если взглянуть на Макдональда, Томаса, мистера и мистрис Сноуден, то придется признать, что работа буржуазии по отбору короткоклювых и мягкоклювых увенчалась поразительным успехом».

Фабианская школа гордится своей особенной британской традицией, отказываясь скрещивать ее с чужеродным марксизмом. Троцкий возражает, что фабианцы культивируют лишь консервативные стороны своей национальной традиции и игнорируют либо подавляют ее прогрессивные черты:

«От пуританства Макдональды унаследовали не его революционную силу, а его религиозные предрассудки. От оуэнистов — не их коммунистический энтузиазм, а их утопически-реакционную вражду к классовой борьбе. Из прошлой политической истории Англии фабианцы заимствовали только духовную зависимость пролетариата от буржуазии. История повернулась к этим джентльменам своей задней стороной, и те письма, которые они там прочитали, стали их программой».

Троцкий напоминает молодым марксистам о двух крупных британских религиозных традициях — кромвелевской и чартистской. В пуританах, несмотря на их библейские одеяния,

он видит в первую очередь политических новаторов, бойцов и защитников конкретных классовых интересов, стоящих на полпути между германской Реформацией с ее религиозной философией и французской революцией с ее светской идеологией. В личности Кромвеля сочетались Лютер и Робеспьер. Хотя в Кромвеле было много старомодного, особенно его фанатизм, он остается великим революционером, у которого британские коммунисты могут многому научиться. В том, как Троцкий оценивает командира «железнобоких», звучит нота родственного чувства:

«Нельзя не поразиться некоторыми яркими чертами, сближающими быт и характер армии Кромвеля с характером Красной Армии... Бойцы Кромвеля чувствовали себя в первую голову пуританами и лишь во вторую — солдатами, как наши бойцы сознают себя прежде всего революционерами и коммунистами и лишь затем — солдатами».

Несмотря на всю свою непочтительность к парламенту, Кромвель расчистил место для британского парламентаризма и демократии. Этот «мертвый лев семнадцатого века», строитель нового общества, куда более жив в политическом смысле, чем многие живые псы из фабианской стаи. То же самое можно сказать и о воинствующих чартистах, к наследию которых снова обращается британский пролетариат, утратив веру в теорию постепенного перехода. Чартистские лозунги и принципы действия до сих пор остаются «бесконечно выше слащавой эклектики Макдональдов и экономического тупоумия Веббов». Чартистское движение потерпело поражение, потому что оно опережало свое время, являясь «историческим предвосхищением»; но оно возродится «на новых, неизмеримо более широких исторических основах».

Троцкий считал Коммунистическую партию, несмотря на ее слабость, единственной законной наследницей этих традиций. Он называл «чудовищной иллюзией» надежду на то, что какие-либо левые фабианцы или профсоюзные лидеры могут возглавить революционное движение британских рабочих. Да, Британская коммунистическая партия ничтожна по размерам, а фабианство выглядит грозным и непоколебимым. Но не казался ли могущественным и непобедимым британский либерализм незадолго до того, как Либеральная партия перестала существовать? Когда место, освободившееся после ее краха, заняла Лейбористская партия, ее возглавляли члены крохотной Независимости

мой лейбористской партии. Великие события способны сокрушить любые старые и с виду прочные политические структуры, что приводит к появлению новых структур. Так уже случилось после Первой мировой войны и случится снова. Расцвет фабианства является «лишь кратковременным этапом в революционном развитии рабочего класса», а «Макдональд сидит еще менее прочно, чем Ллойд Джордж».

Троцкий не без дурных предчувствий задается вопросом, окажутся ли британские коммунисты на высоте стоящих перед ними задач. Но революционный оптимизм снова ослепляет его, как порой ослеплял и Маркса. «Мы не собираемся предсказывать, каков будет темп этого процесса [британской революции], — пишет Троцкий, — но, во всяком случае, он будет измеряться годами, в крайнем случае — пятилетиями, но никак не десятилетиями»¹. Впоследствии Троцкий заявлял, что в решительный момент, в 1926 году, британское коммунистическое движение было погублено сталинскими и бухаринскими тактическими предписаниями и политикой Англо-русского комитета. Историк обязан усомниться в том, что эти предписания, даже при всей их неуместности, действительно стали основной причиной долгого бессилия британских коммунистов, которые и тридцать лет спустя влачат существование как секта на обочине британской политики. Однако великий социальный кризис, предсказанный Троцким, действительно был готов разразиться одновременно с забастовкой британских шахтеров, самой продолжительной и самой упорной во всей индустриальной истории; во время всеобщей забастовки Англия оказалась на грани революции.

Книга Троцкого вызвала бурную дискуссию в Великобритании. Ее начал Х.Н. Брэйлсфорд в предисловии к английскому изданию. Признавая исключительные достоинства Троцкого как аналитика и писателя и его знакомство с британской историей и политикой, Брэйлсфорд писал, что Троцкий тем не менее не сумел понять демократической и нонконформистской религиозной традиции британского рабочего движения и «инстинкта подчинения большинству, врезавшегося в сознание британца». Рамзай Макдональд, Джордж Лансбери и прочие объявили взгляды Троцкого заблуждениями иностранца. Напротив, Бертран Рассел считал, что «Троцкий превосходно

¹ Он добавляет: «Слишком хорошо роет на этот раз крот революции!»

знаком с политическими особенностями английского рабочего движения»; соглашался он и с тем, что социализм несовместим с церковью и короной. Однако Рассел не представлял себе, чтобы кто-либо, не будучи врагом британского народа, мог призывать его к революции, итогом которой станет американская блокада или даже война, в которой Британия обречена на поражение. Другие авторы возмущались неуважением и презрением Троцкого к Макдональду, хотя лишь несколько лет спустя, когда Макдональд порвал с Лейбористской партией, большинство из этих критиков подключились к яростной травле «предателя».

Троцкий несколько раз отвечал своим критикам. В ответе Расселу он отрицал какое-либо намерение подстрекать британских рабочих к революции в интересах Советской России. Ни в одной стране, писал он, рабочие не предприняли бы никаких шагов в интересах Советского Союза, которые не отвечают их собственным интересам. Однако рационалистический пацифизм Рассела не поколебал его убеждений:

«Революции вообще не делаются по произволу. Если бы можно было рационалистически наметить революционный маршрут, то можно было бы, вероятно, и вовсе избежать революции. Но в том-то и дело, что революция является выражением невозможности рационалистическими методами перестроить классовое общество. Логические аргументы, хотя бы и доведенные Расселем [Расселом] до степени математических формул, бессильны против материальных интересов... Господствующие классы скорее обрекут гибели всю цивилизацию вместе с математикой, чем откажутся от привилегий... Через эти иррациональные факторы нельзя перескочить. Как математика, оперируя с иррациональными величинами, приходит к совершенно реалистическим выводам, так и политика может... привести в разумный порядок общественный строй, лишь ясно учтя иррациональные противоречия общества, чтобы окончательно преодолеть их — не в обход революции, а через ее посредство».

Британские коммунисты сперва встретили книгу Троцкого с восторгом и энтузиазмом — гигант пришел усилить их жалкие ряды. Однако к концу того же года под эгидой Англо-русского комитета они передумали и начали со смущением воспринимать нападки Троцкого на левых профсоюзных вождей. Еще раньше, в ноябре 1925 года, Троцкий уже под-

вергся на этот счет критике со стороны русско-американского коммуниста М. Ольгина, который совсем недавно был его горячим поклонником. Весной 1926 года Британская компартия направила в русское Политбюро жалобу о «враждебном отношении» к ней Троцкого, и тому пришлось опровергать это обвинение.

В течение этой паузы в борьбе между Троцким и его противниками в рамках большевистской партии произошла крупная перегруппировка людей и идей, а среди ее вождей и рядовых обозначился новый фундаментальный раскол — именно на фоне этого раскола протекала политическая история последующих пятнадцати лет.

Середина 20-х обычно описывается как расцвет нэпа — единственный период между 1917 годом и серединой века, когда советские люди расслабились, вкушали мирное существование и познали вкус благополучия. Однако к этой картине следует относиться критически. Квазиидиллический облик этому периоду придает его резкий контраст с предшествующей и последующей эпохами. Середина 1920-х не видела кровавых боев и восстаний, не знала она и голода, сопоставимого с голодом начала 1920-х и начала 1930-х годов. С течением времени затягивались раны, полученные страной. Шло экономическое возрождение. Крестьяне обрабатывали свою землю и собирали свой хлеб. Колеса промышленности пришли в движение. Восстанавливались взорванные мосты и железные дороги, сгоревшие дома и разбомбленные школы. Были вновь введены в строй затопленные угольные шахты. Снова налаживались связи между городом и деревней. Процветала частная торговля. Покупатели больше не таскали с собой мешки обесценившихся банкнот: рубль, еще не слишком твердый, все же вернул себе мистическую респектабельность денег. На центральных площадях и проспектах городов даже наблюдалась оживленная жизнь.

Но это оживление по большей части было обманчивым. Великая и единая Советская республика, протянувшаяся от польской и прибалтийской границ по всему пространству бывшей империи, по-прежнему тонула в ужасающей нищете и раздиралась социальными напряжениями. В городах жила примерно шестая часть населения; в промышленности было занято менее десятой части советских людей. Восстановление

экономики шло мучительно медленно. Шахты и заводы все еще работали менее чем на три четверти довоенной мощности; в стране не выпускалось ни двигателей, ни станков, ни автомобилей, ни химикалий, ни удобрений, ни современной сельскохозяйственной техники. В Советском Союзе не имелось большинства отраслей промышленности, необходимых для современного общества. Процветающая частная торговля — как правило, варварски примитивная и основанная на обмане — скрывала нищету нации подобно кипящей пене.

Правда, в распоряжении крестьян оставался весь урожай с их укрупнившихся наделов, и они впервые за сотни лет могли наесться досыта. Но это было «процветание» на самом дне цивилизации, при отсутствии более возвышенных нужд и потребностей, в темноте и грязи, среди идиотизма деревенской жизни. Примерно треть сельского населения, не имеющая своей земли, была лишена доступа даже к такому благосостоянию. Вследствие того что крестьяне ели больше, чем прежде, горожанам приходилось есть меньше: потребление продовольствия сократилось на треть, а мяса — наполовину по сравнению с царским режимом. Меньшая производительность означала и снижение экспорта: Россия вывозила за границу лишь около четверти того количества зерна, которое экспортировала прежде. Как в старину, большинство населения ходило в обносках и босиком. Кажется, заметный прогресс был достигнут лишь в двух существенных сферах: в гигиене и образовании. Русские потребляли больше мыла и имели больше школ, чем когда-либо раньше.

Из числа социальных напряжений самым опасным был хронический антагонизм между городом и деревней. Горожанин считал, что крестьянин им злобно помыкает, однако тот, несомненно, вынес на своих плечах революцию. С другой стороны, мужик считал, что горожане обдирают его как липку. У обеих сторон имелись основания для подобных настроений. Городские работники зарабатывали намного меньше, чем до революции; в стране насчитывалось два миллиона безработных, почти столько же, сколько было занято в крупной промышленности. Рабочие сравнивали собственную нужду с избытком продовольствия в деревне. Крестьяне возмущались тем, что за промтовары им приходится платить вдвое больше, чем в 1914 году, в то время как цена на их собственную продукцию почти не поднялась. Каждый из двух этих классов считал, что

второй его эксплуатирует. На самом деле «эксплуататором» для тех и для других служила бедность страны.

При этом ни в городе, ни в деревне не наблюдалось единства интересов. Их раздирали собственные противоречия. Городской рабочий знал, что нэпман, перекупщик и бюрократ отнимают у него плоды его труда. Он платил огромную цену за продовольствие, которое крестьянин продавал по дешевке, — девяносто процентов объема розничной торговли контролировали перекупщики, наживаясь на разнице цен. На заводе рабочий противостоял директору, который управлял предприятием от имени государства-нанимателя, лишал рабочего его доли заводской выручки, урезал зарплату и требовал работать больше и упорнее¹. На стороне директора стояли профсоюзный чиновник и секретарь партячейки, которые все реже и реже переходили на сторону рабочего и нередко выступали посредниками в трудовых спорах. Государство-наниматель в реальности почти не имело возможности удовлетворить требования рабочих. Национальный доход был маленьким, производительность — низкой, а потребность в капитальных инвестициях — отчаянной. Когда директор, партийный секретарь и профсоюзный чиновник требовали от рабочего повысить производительность, тот ругал новых «боссов», но не осмеливался настаивать на своих претензиях или бросать работу. За воротами завода скопились длинные очереди людей, стремящихся получить работу. Снова, как и при капитализме, существование «резервной армии безработных» способствовало снижению расценок и ухудшению условий труда.

Раскол среди крестьянства был менее заметен, но не менее реален. Переворот на селе и нэп сказались на крестьянах по-разному. Средний слой крестьянства усилился. Число середняков — держателей мелких наделов, которые кормились за счет своей земли без необходимости наниматься к богатым односельчанам, но сами не использовали наемного труда, — резко возросло. К этой категории принадлежало 30—40 процентов крестьянства. Десять или двадцать процентов составляли кулаки, использовавшие наемный труд, расширявшие свое хозяйство и торгующие с городом. Оставшуюся половину составляли бедняки, урвавшие себе несколько акров из

¹ На частных предприятиях была занята пятая или шестая часть всех рабочих.

бывших помещичьих земель, но обычно не имеющие во владении ни лошади, ни сельхозорудий. Они брали лошадь и орудия в аренду у кулака, у которого также покупали семена и продовольствие и занимали деньги. Чтобы выплатить долг, бедняк работал на поле у кулака или отдавал ему часть своего крохотного надела.

Реалии сельской жизни на каждом шагу вступали в противоречие с большевистской политикой. Ленинское правительство провозгласило национализацию земли и экспроприацию помещичьих хозяйств. В теории и по закону крестьяне пользовались землей, но не владели ею. Им было запрещено продавать ее и брать в аренду. Таким образом большевики надеялись пресечь неравенство и предотвратить развитие сельского капитализма. Жизнь медленно, но уверенно преодолевала эти барьеры. Земля переходила из рук в руки в ходе бесчисленных сделок, которые никакое начальство не могло проследить; развивались капиталистические отношения: богатые богатели, а бедные беднели. Правда, это была лишь рудиментарная и чрезвычайно грубая форма сельского капитализма: по стандартам любого развитого буржуазного общества даже русский кулак был бедным фермером. Но такие стандарты не имели никакого значения. То, что новое расслоение крестьянства происходило на исключительно низком экономическом уровне, отнюдь не смягчало его последствий, а только обостряло их. Человек, владевший несколькими лошадьми и плугами, запасом зерна и небольшой наличностью, обладал куда более явной властью над своими односельчанами, чем владелец намного более крупного капитала в богатом буржуазном обществе. Через десять лет после революции заработки безземельных батраков (не следует путать их с бедняками) были почти на 40 процентов ниже, чем платили им помещики. Их рабочий день сильно удлинился, а условия труда были немногим лучше, чем у рабов. Прежний помещик нанимал много батраков, а кулак — лишь нескольких; вследствие этого работники не могли организовать против него и защищать свои права так же эффективно, как при помещиках. А бедняки порой эксплуатировались гораздо сильнее и были намного более беспомощными, чем батраки.

В таких отношениях содержались зародыши жестокого социального конфликта; но этот конфликт не мог развиваться и найти выражение. Как сельская беднота ни возмущалась жадностью кулака, она полностью от него зависела и почти не

имела возможности подняться против него. Как правило, покорную сельскую общину возглавлял богатый крестьянин, перенаправляя ее возмущение с собственной особы на город, рабочих, партийных агитаторов и комиссаров.

На фоне всех этих напряжений в городе, селе и между ними происходили трения между множеством национальностей Советского Союза. Мы видели, как эти трения проявлялись при переходе от военного коммунизма к нэпу, когда их главным виновником Ленин называл «держиморду» — проклятого российского бюрократа. Но с годами ситуация только ухудшалась. Усиливавшаяся централизация власти автоматически ставила русских на более высокую ступень, чем украинцев, белорусов, грузин, не говоря о более отсталых народностях и племенах советской Азии. Исходящий из Москвы великорусский шовинизм провоцировал и обострял националистические течения в окраинных республиках. Кулаки и нэпманы являлись инстинктивными националистами. Собственно в России они были великорусскими шовинистами, в других республиках — антирусскими националистами. Интеллигенция отличалась крайней восприимчивостью к преобладающим настроениям. Среди промышленных рабочих интернациональные чувства шли на убыль. Рабочий класс восстанавливался и рос в численности, вбирая в себя свежие элементы из деревни, а те принесли с собой на заводы все политические склонности крестьянства — недоверие ко всему иностранному и сильную региональную солидарность.

Напряжения то и дело давали о себе знать. Осенью 1924 года Грузию захлестнуло крестьянское восстание, потопленное в крови. Менее яростные, но более настойчивые признаки ненависти крестьян к правительству проявлялись повсеместно. На выборах в Советы, проходивших в марте 1925 года, во многих сельских районах на голосование не явилось более двух третей электората, и правительству пришлось назначить новые выборы. Спорадически велась агитация за независимые крестьянские Советы. Тут и там энергичные и политически опытные кулаки превращали существующие Советы и даже сельские партячейки в проводников своих интересов и амбиций. В деревнях совершалось множество отдельных террористических актов. Присланных из города партийных агитаторов забивали

до смерти. Рабкоров, сообщавших в газеты об эксплуатации батраков, линчевали. Хозяйственные крестьяне в полной мере использовали возможности, предоставленные им нэпом, но с какого-то момента почувствовали его ограниченный характер и в открытую или исподтишка старались устранить препоны. Они выступали за повышение цен на продовольствие, за разрешение продавать и покупать землю, за полную свободу пользоваться наемным трудом — одним словом, за «неонэп».

Все это предвещало национальный кризис, который можно было отсрочить на пару лет лишь ценой его дальнейшего усугубления. Правящей партии приходилось искать решение. Однако и в самой партии все явственнее проступали линии разлома, пронизывающие общество. В 1925 году в партии сформировались три основных идейных течения. Партия и ее «старая гвардия» раскололись на правое и левое крылья и центр. Этот раскол во многих отношениях был новым явлением. Предшествовавшая фракционная борьба ни на одном из своих этапов не знала ничего подобного. Линии раскола никогда еще не проходили настолько четко и не отличались такой стабильностью. Прежде фракции и группировки возникали и исчезали вместе с теми вопросами, которые порождали разногласия, расстановка сил менялась с ходом дискуссии, противники по одному диспуту становились соратниками в другом диспуте и наоборот; фракции и группировки не стремились к постоянству и внутри себя не имели никакой жесткой организации и дисциплины. Такое положение дел начало меняться после Кронштадтского восстания, но только сейчас перемена подошла к завершению и приняла всеобщий характер. Партия была расколота начиная с Политбюро и ЦК и кончая рядовыми членами, хотя на нижних уровнях разногласия существовали неявно. По большей части новыми являлись не только вопросы, вызвавшие раскол; новым и фатальным в первую очередь была его необратимость.

Новая перегруппировка сил и новые позиции действующих лиц порой поражали своей неожиданностью. Как и в любом политическом движении, среди большевиков имелись люди, склонные к умеренности; другие выказывали готовность к радикализму, а третьи были «приспособленцами». При нынешней расстановке многие продемонстрировали верность своему характеру. Например, Рыков и Томский, всегда далекие от левого крыла, вполне естественно встали во главе новых

правых. Большинство оппортунистов, особенно профессиональные управленцы из партаппарата, оказались в центре. Некоторые из числа последовательных радикалов уже числились среди «рабочей оппозиции», децистов или троцкистов; другим еще предстояло решить, к кому присоединиться. Но одновременно происходили странные и неожиданные превращения. Под давлением новых обстоятельств и проблем и после длительных раздумий некоторые большевики, в том числе и самые выдающиеся вожди, отказывались от привычных мнений и позиций и начинали исповедовать новые взгляды, по видимости отрицая все то, что защищали раньше: сжигали старых кумиров и находили себе новых, с которыми прежде сами боролись.

Отчасти причиной новых разногласий служил тот факт, что ряд группировок и отдельных лиц обладал властью, а другие — нет. Многие левые коммунисты, занимавшие свои должности семь-восемь лет, имели огромное влияние, пользовались всеми привилегиями власти и стали подходить к общественным вопросам с точки зрения правителей, а не подданных. С другой стороны, «умеренные» большевики, все эти годы прожившие среди масс и делившие с ними все испытания, волей-неволей выражали свое разочарование и выступали с «ультралеваяцких» позиций. Имелись и другие причины для смены позиций. При однопартийной системе те широкие классовые противоречия, которые мы только что рассмотрели, не могли найти законного политического выражения, поэтому они находили незаконное и косвенное выражение в рамках партии. Богатые крестьяне не могли послать в Москву своих представителей, которые бы огласили свои претензии и требования перед каким-либо национальным собранием или действовали как группы давления. Рабочие, избирая номинальных депутатов, не надеялись, что те свободно и в полной мере поведают об их горестях. Однако каждый социальный класс и группировка оказывали давление в неполитической форме. Богатые крестьяне контролировали запасы зерна, от которых зависело снабжение города продовольствием: 6—10 процентов крестьян производили более половины излишков зерна, идущих на продажу. Это давало им могучее оружие: придерживая запасы, они периодически создавали острую нехватку хлеба в городах. Кроме того, они могли отказаться покупать чрезмерно дорогие промтовары, и запасы нераспроданных товаров скапливались на заводских дворах

и складах. Таким образом, в стране, страдавшей от недопроизводства, проявлялись симптомы перепроизводства. Рабочие трудились спустя рукава и топили свою тоску в водке. Безобразное массовое пьянство страшно подрывало общественное здоровье и нравственность. Как партия ни старалась нейтрализовать давление со стороны различных социальных групп и отгородиться от него, она тоже не была неуязвима. Нехватка продовольствия и запасы нераспроданных промтоваров грубо открывали партийцам глаза на реальность. Некоторые большевики отличались повышенной чувствительностью к требованиям рабочих; другие сильнее откликались на призывы крестьян. Великий раскол между городом и деревней получал свое отражение в рамках партии и ее правящих кругов.

Всего несколько лет назад Зиновьев говорил о «бессознательных меньшевиках», которых в большевистской партии можно найти рядом с «подлинными» ленинцами; они образовали в ее рядах собственную потенциальную партию. Еще более значительной, как теперь выяснилось, была потенциальная партия «бессознательных эсеров». Реальные эсеры, как и их политические предшественники — народники, — отличались своим прокрестьянским уклоном; они отказывались признавать классовое расслоение в среде крестьян, к которым относились не как к кулакам и беднякам, а как к земледельцам вообще, превозносили крестьян, не желали ставить их интересы ниже интересов промышленных рабочих, а в их стремлении владеть частной собственностью не видели ничего несовместимого с социализмом. Эсеры, запутавшиеся в своих теориях и склонные к сентиментальным обобщениям, являлись выразителями аграрной альтернативы коллективизму городского пролетариата, квазифизиократической разновидности социализма. Вполне естественно, что подобная идеология оказалась чрезвычайно популярной в стране, четыре пятых населения которой жило на земле и кормилось с нее. Большевики боролись с партией, выражавшей эту идеологию, но не уничтожили подпитывавших ее интересов, чувств и настроений. Эти чувства и настроения проникли и в их собственные ряды. Но там, в окружении, традиционно враждебном народническим идеям, такие настроения невозможно было выразить в общепринятых терминах. Они преломлялись в призме марксистской традиции и нашли выражение в большевистской терминологии. Это течение получило мощный

импульс в ходе антитроцкистской кампании, когда триумвиры старались дискредитировать Троцкого как врага крестьянства. Такое обвинение отчасти было откровенной выдумкой, но в нем отражались и реальные факты. В дальнейшем неонародническая струя набирала силу и наконец во время нынешней паузы в борьбе с троцкизмом привела к возникновению нового правого крыла в партии.

Человеком, который стал вдохновителем, теоретиком и идеологом правых, был Бухарин. Его появление в этой роли выглядит довольно загадочным, ведь еще со времен Брестского мира Бухарин был главным глашатаем левых коммунистов, прочно стоявшим на «строго пролетарской» точке зрения. Он агрессивно обличал «оппортунизм» Ленина, выступал против армейской дисциплины Троцкого, защищал нерусские народности от Сталина. Затем в начале 1923 года Бухарин проникся сочувствием к радикальным идеям Троцкого, однако в 1924—1925 годах стал символом умеренности, «оппортунизма» и потакания зажиточному крестьянству. Его обращение было не случайным. Левые коммунистические взгляды Бухарина основывались на ожидании скорой революции в Европе. Все вожди большевиков возлагали на нее большие надежды, но сильнее всех — Бухарин. Все видели в европейской революции спасение России от нищеты и отсталости. Никто не верил, что малочисленный рабочий класс в окружении многих миллионов привязанных к собственности крестьян сможет далеко уйти по пути к социализму. Меньше всех в это верил Бухарин. С жадным энтузиазмом он ждал, когда восстанут западные рабочие, сбросят власть буржуазии и протянут руку помощи России. В его представлении западные рабочие были окружены ореолом революционной идеализации и обладали преувеличенной сверх всякой меры классовой сознательностью и воинственностью. Бухарин с крайним негодованием отвергал Брестский мир, поскольку боялся, что при виде того, как большевистская Россия склонилась перед Гогенцоллернами, европейский рабочий класс будет обескуражен и деморализован, и отрезанный от него большевизм, оставшись наедине с русским крестьянством, окажется в тупике.

Теперь же Бухарин, понимая, что большевизм действительно остался наедине с русским крестьянством, перестал рассчитывать на европейскую революцию и вместе со Сталиным про-

возгласил «построение социализма в одной стране». С той же уверенностью, с какой прежде говорил о неминуемой гибели мирового капитализма, теперь он заявлял о его «стабилизации» и с этой точки зрения окидывал свежим взглядом внутреннее положение страны. Бухарин не имел в себе сил принять вывод, на который указывали все его прежние рассуждения: русская революция зашла в тупик. Вместо этого он пришел к заключению, что раз из западных рабочих не получилось союзников, большевики должны признать, что единственные его друзья — это крестьяне. И к ним Бухарин обратился с тем же пылом, с той же надеждой и с той же готовностью к идеализации, с какими он ранее смотрел на европейский пролетариат. Правда, с подачи Ленина партия всегда проповедовала «союз рабочих и крестьян». Но после 1917 года большевики никогда не предлагали дружбы богатому крестьянину; а Ленин всегда рассматривал середняков и даже бедняков как «непостоянных союзников», которых приманка собственности может превратить во врагов. Такой трудный и непрочный союз не устраивал Бухарина. Он хотел заложить под этот союз более широкую и надежную опору и надеялся убедить товарищей, что следует воззвать к крестьянству к целому, перестать настраивать бедняков против кулаков и вообще сделать ставку на «крепкого хозяина». Следовательно, предлагалось отказаться от классовой борьбы в сельской России. Сам Бухарин вследствие старых мыслительных привычек и по тактическим мотивам не доводил свои рассуждения до таких выводов; но эти выводы делали за него и в открытую разглашали его сторонники — Марецкий, Стецкий и другие молодые «красные профессора», пропагандировавшие неонароднические и неопопулистские взгляды в университетах, отделах пропаганды и в печати.

Кроме того, Бухарин руководствовался и более практическими соображениями. В рамках нэпа «союз» большевиков с бедными крестьянами против богатых практически не принес положительных результатов. Бедняки и даже середняки не могли прокормить город. В лучшем случае они собирали урожай, которого им едва хватало для самих себя. Благополучие и даже выживание городских рабочих зависело от небольшого числа богатых крестьян. Естественно, те стремились продать свою продукцию, но продавали для того, чтобы разбогатеть, а не просто свести концы с концами. Их позиция при торге была чрезвычайно сильной. Никогда прежде зави-

симость города от деревни не была столь односторонней, столь суровой и столь откровенной. Правительство и партия не могли исправить положение, создавая помехи кулакам и настраивая против них бедняков. Устав от реквизиций и контроля за ценами, испытывая недовольство ограничениями на торговлю, аренду земли и наем рабочей силы, кулак меньше сеял, меньше собирал и меньше продавал. Правительство должно было либо привести его к покорности, либо позволить ему копить богатства. Но ни одна группировка в партии не предлагала раскулачить кулаков — экспроприация миллионов земледельцев большевикам все еще казалась невообразимой и недопустимой с марксистской точки зрения¹.

Поэтому вывод Бухарина о том, что партия должна позволить кулакам богатеть, оказался вполне реалистичным и последовательным. Цель нэпа, утверждал Бухарин, в том, чтобы привлечь частное предпринимательство к возрождению России; но частный сектор не сыграет свою роль, если не получит ожидаемой прибыли. Первостепенный интерес социализма состоит в увеличении национального богатства, и этот интерес не будет задет, если отдельные слои или лица будут богатеть вместе со страной — напротив, наполняя свои сундуки, они обогащают и общество в целом. Именно такие рассуждения скрывались за знаменитым призывом Бухарина к крестьянам: «Обогащайтесь!»

Бухарин забыл о том, что богатые крестьяне старались обогатиться за счет других классов: они платили ничтожные деньги работникам, обдирали бедных крестьян, скупали их землю и старались продать им и городским рабочим продовольствие по высоким ценам. Они уклонялись от налогов и старались переложить эту ношу на бедняков², пытались на-

¹ Поскольку из двадцати с лишним миллионов земельных наделов кулакам принадлежало не менее 10 процентов, раскулачивание непосредственно затронуло бы от двух до трех миллионов хозяйств, даже если середняков оставили бы в покое. Верхний слой среднего крестьянства зачастую ничем не отличался от кулаков, и поэтому раскулаченных в любом случае оказалось бы гораздо больше.

² Взимающийся тогда единый сельский налог благоприятствовал кулакам. Бедняки, отдававшие кулакам часть собственного надела, чтобы достать лошадь и орудия для обработки оставшейся части, как правило, платили налог за землю, переданную кулаку. Все более важную роль в советском бюджете играли косвенные налоги, как всегда, оказавшиеся более ощутимыми для бедных, а не для состоятельных слоев.

копить капитал за счет государства и тем самым тормозили накопление в социалистическом секторе экономики. Бухарин отталкивался от такой социальной картины, в которой интересы различных классов, слоев и «секторов» рассматривались как взаимодополняющие и гармонирующие друг с другом, так что кулак, бедняк, рабочий, управленец и даже нэпман казались одной счастливой семьей. В таком подходе содержалась доля истины, но он представлял собой лишь часть картины. Бухарин не учитывал другой ее части со сплошными разногласиями и конфликтами, где «счастливая семья» превращалась в свору врагов, пытающихся перегрызть друг другу горло. Он превозносил экономическую гармонию советского общества при нэпе и молился, чтобы ничто не нарушало эту гармонию, — молился искренне, поскольку представлял себе, какие фурии слетятся в страну, где пройдет «ликвидация кулака как класса».

Первая серьезная возможность развить эти идеи представилась Бухарину в споре с троцкистом Преображенским. Троцкизм с его чисто марксистским ударением на классовом конфликте и классовом антагонизме и на преимуществе социалистических интересов перед частнособственническими представлял собой очевидную антитезу неопопулистским настроениям; оба соавтора «Азбуки коммунизма» в рамках своих группировок представляли противоположные полюса большевистской мысли. Дискуссия развернулась накануне нового 1925 года, когда Преображенский издал отрывки из своей «Новой экономики».

Вся аргументация Преображенского основывалась на настоятельной потребности в скорейшей индустриализации, от которой зависело все будущее социалистического строя в России. СССР вследствие своей отсталости мог провести индустриализацию лишь за счет первоначального социалистического накопления. Вопреки предположениям Бухарина, оно по определению представляло собой противоположность частному накоплению. Исход соревнования между капитализмом и социализмом на мировой арене зависел от относительного богатства, эффективности и культурной мощи каждой из систем. Россия вступала в состязание, обладая отжившей, в сущности доиндустриальной структурой. Она не могла себе позволить «свободной конкуренции» с западным «монополистическим капитализмом». Ей приходилось вводить у себя «со-

циалистический монополизм» и не отказываться от него, пока ее производительные силы не выйдут на уровень, уже достигнутый самой мощной капиталистической страной — Америкой. Преображенский утверждал, что, даже если бы Россия была не одна и вся Европа сбросила бы власть буржуазии, Европе все равно бы пришлось проводить первоначальное социалистическое накопление, пусть не такое долгое и не такое насильственное, поскольку ее производственные мощности уступают американским.

В чем состоит суть первоначального социалистического накопления? — спрашивал Преображенский. В недоразвитой стране социалистическая промышленность сама по себе не может обеспечить средства для ускоренной индустриализации. Прибыль от этой промышленности составит лишь небольшую часть от необходимых фондов. Остальное следует взять из тех средств, которые иначе ушли бы в фонд заработной платы, и из доходов частного сектора экономики. (Выражаясь в кейнсианских терминах, накопления национализированной промышленности чересчур малы по сравнению с инвестиционными потребностями, поэтому главную долю инвестиционного капитала для национализированной промышленности должны обеспечить частные накопления.) Поэтому необходимость накопления в социалистическом секторе ставит довольно узкие пределы частному накоплению; устанавливать эти пределы должно правительство. Пролетарское государство в каком-то смысле вынуждено «эксплуатировать» крестьянство во время переходного периода. Оно не должно потворствовать интересам потребителей; в первую очередь следует поспешить с развитием тяжелой индустрии. В итоге создастся относительная нехватка потребительских товаров, подразумевающая различный уровень потребления в различных социальных группах, материальные привилегии для управленческого аппарата, специалистов, ученых, квалифицированных рабочих и пр. Это неравенство само по себе отвратительно, но оно не порождает новых классовых антагонизмов. Привилегированная бюрократия не образует новый социальный класс. Различия в доходах чиновников и рабочих не носят качественного характера и не имеют какого-либо социального значения по сравнению с «обычными» различиями в зарплате квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Они ведут к неравенству в

рамках одного класса, но не к антагонизму враждебных классов. Подобное неравенство может и должно исчезнуть лишь с ростом общественного богатства и распространением образования, которое сгладит, а со временем уничтожит различие между квалифицированным и неквалифицированным, а также между умственным и физическим трудом. Пока же «мы должны стоять не на потребительской, а на производственной точке зрения... Мы ведь живем еще не в социалистическом обществе с его производством для потребителя, мы живем в период первоначального социалистического накопления, под железной пятой закона этого накопления».

В переходную эпоху пролетарское государство уже лишилось преимуществ, свойственных капитализму, но еще не пользуется преимуществами социализма. Этот период «является самым критическим периодом в жизни социалистического государства... Пробежать быстрее этот период, поскорей достигнуть момента, когда социалистическая система развернет все свои естественные преимущества над капитализмом, — это есть вопрос жизни и смерти для социалистического государства». Преображенский не считает, что во время переходного периода зарплаты рабочих и доходы крестьян действительно следует урезать (что происходило в сталинскую эпоху). Он подразумевает и утверждает лишь то, что в результате интенсивного накопления национальный доход начнет быстро расти, а вместе с ним вырастут доходы рабочих и крестьян; но они будут расти не так быстро, и поэтому доля национального дохода, предназначенная для инвестиций, будет постоянно повышаться.

Преображенский утверждает, что «закон» накопления проявляется как «объективная сила», в некоторых отношениях сопоставимая с «законами» капитализма, определяющими экономическую деятельность людей вне зависимости от того, знакомы ли они с этими законами, и вне зависимости от их собственных идей и намерений. Закон первоначального социалистического накопления рано или поздно заставит руководителей национализированной промышленности, т. е. вождей партии, приступить к интенсивной индустриализации, хотя бы они того или нет. В течение какого-то времени многие из них с подозрением и даже с неприязнью относились к идее, что государственная промышленность с целью своего развития должна высасывать ресурсы из частного сектора, постепенно про-

водить его социализацию и преобразовать много миллионов разрозненных, мелких и непродуктивных хозяйств в крупномасштабные и механизированные кооперативы производителей. Однако «субъективные взгляды» лиц, ответственных за экономическую политику, не играют решающего значения: «существующая структура нашего государственного хозяйства оказывается часто прогрессивней своей системы хозяйственного руководства». Пусть новая бюрократия сопротивляется логике переходной эпохи; но она вынуждена поступать в соответствии с ней. Преображенский все еще допускает, что революция охватит Западную Европу в не слишком отдаленном будущем. Но все равно проблема первоначального накопления «будет стоять в центре нашего внимания минимум два десятилетия». Она стояла там уже почти четыре десятилетия и продолжает стоять.

Троцкий не вполне разделял взгляды Преображенского, хотя в основном соглашался с ним. Однако он воздержался от того, чтобы затевать публичную дискуссию по поводу разногласий. Троцкий не хотел ослаблять позиции Преображенского, который вскоре попал под огонь свирепой критики. В тот момент их разногласия не имели политических последствий, и лишь четыре года спустя, после изгнания Троцкого и Преображенского из Москвы, разногласия дали о себе знать и внесли свой вклад в мучительный разрыв.

Сама абстрактная манера, в которой Преображенский подавал свою аргументацию, едва ли устраивала Троцкого. Сам он занимался этой проблемой в более эмпирическом плане, хотя и не столь методично. Преображенский с полным пренебрежением кабинетного ученого к тактике заявлял, что недоразвитое пролетарское государство обязано «эксплуатировать крестьянство», и тем самым лил воду на мельницу антитроцкистских пропагандистов. Правда, он говорил об эксплуатации в строго теоретическом смысле, в каком марксист говорит об эксплуатации капиталистом даже самых высокооплачиваемых рабочих, которые производят прибавочного продукта больше, чем получают за свой труд денег. Преображенский указывал, что при обмене между двумя секторами экономики социалистический сектор получает от частного больше, чем отдает ему, хотя с ростом национального дохода богатство частного сектора тоже будет расти. Однако официальные критики ухватились за провокационную фразу об эксплуатации, наделили ее вульгарным смыслом и так исказили, что получалось, будто, по мнению

Преображенского, обнищание и деградация крестьянства были необходимыми составляющими накопления. Преображенский попытался поправиться и «отозвал» неудачную фразу, но только все испортил: его можно было понять в том смысле, что критики не так уж и ошибались.

Следует помнить, что на XII съезде, когда Троцкий говорил о первоначальном социалистическом накоплении, Красин спросил, не означает ли это эксплуатацию крестьянства, и Троцкий в негодовании даже вскочил на ноги. Теперь Преображенский поставил тот же самый вопрос и ответил на него утвердительно. Ясно, что этот ответ для Троцкого был слишком смелым и слишком резким. В любом случае он отказался как-либо подписываться под мнением, что крестьянам придется, как правило, сполна заплатить по счетам первоначального накопления. Кроме того, Троцкий не настаивал на форсированной индустриализации, за которую выступал Преображенский. Имелись между ними и более глубокие разногласия. При всех ссылках Преображенского на всемирную революцию сформулированная им теорема подразумевала, что первоначальное социалистическое накопление Советский Союз может провести в одиночку или, возможно, совместно с другими слаборазвитыми странами. Такая перспектива казалась нереальной Троцкому, который не представлял себе, как Советский Союз в одиночку может подняться на индустриальные высоты, покоренные Западом; кроме того, она представляла собой лазейку для интеллектуального примирения с теорией о социализме в отдельно взятой стране. Не мог Троцкий согласиться и с «объективной силой» Преображенского — с логикой первоначального накопления, которая подчинит партийных вождей своей воле и делает их своими исполнителями, вне зависимости от их мнений и намерений. Такой взгляд, должно быть, казался Троцкому чрезмерно детерминистическим, даже фаталистическим, слишком сильно полагавшимся на автоматическое развитие социализма и слишком слабо — на сознательность, волю и действия борцов-революционеров.

Однако все это были несущественные расхождения, содержавшие лишь зерно политических разногласий. Даже если Троцкий полагал, что Преображенский слишком рьяно отстаивает дело индустриализации, все же за это дело они боролись вместе. Если Троцкий считал, что Преображенский чрезмерно бестактно обращается с крестьянством, сам он не

менее критически относился к официальному восхвалению крепкого хозяина. В абстракции выдвинутая в «Новой экономике» теорема могла быть применима к процессу построения социализма в отдельно взятом промышленно неразвитом национальном государстве. Но в политическом плане Преображенский не собирался строить социализм в одной стране. Наконец, при всей его вере в то, что законы накопления возобладают над экономическим консерватизмом партийных вождей, он не полагался исключительно на эти законы, а оставался борцом, призывавшим большевиков исполнить свой долг и не дожидаться, пока их вынудит к этому необходимость. Поэтому Троцкий следил за дискуссией вокруг книги Преображенского с сочувствием, хотя и сдержанно.

Бухарин объявил всю концепцию Преображенского «чудовишной». Особенно сильно он обрушился на эксплуатацию крестьянства. Если большевики будут действовать по плану Преображенского, заявлял Бухарин, они разрушат союз рабочих с крестьянами и продемонстрируют, что пролетариат (или те, кто правит от его имени) превратился в новый эксплуататорский класс, старающийся увековечить свою диктатуру. Государственная промышленность не может и не должна развиваться, «пожирая» частный сектор экономики; напротив, она способна совершить значительный прогресс, лишь опираясь на него. Согласно Преображенскому, крестьянский рынок играет подчиненную роль: как главного потребителя продукции государственной промышленности Преображенский рассматривает саму эту промышленность, непрерывно требующую все новых и новых средств производства. Бухарин же указывал, что в такой стране, как Россия, основой для индустриализации должен служить крестьянский рынок. Темпы развития промышленности в первую очередь должна диктовать потребность села в товарах. По словам Бухарина, его пугали и тревожили «паразитическо-монополистические тенденции» государственной экономики; основной, если не единственный противовес этим тенденциям он видел в свободной экономической активности крестьянства.

Однако здесь Бухарин уперся в ключевую дилемму, так как его аргументация отрицала самую сущность социализма. Где, спрашивал он, если не на крестьянском рынке, государственная промышленность найдет «стимул, который заставляет... двигаться вперед, гарантирует это движение вперед, заменя-

ет частно-хозяйственный стимул прибыли?..»¹ Поскольку крестьянская собственность по марксистским представлениям была несовместима с полноценным социализмом, Бухарин, в сущности, ставил под сомнение марксистский социализм, как таковой. Он намекал, что социалистический сектор не найдет внутри себя какой-либо серьезной замены для прибыли как стимула к развитию, поэтому в конечном счете ему придется черпать импульс для собственного прогресса в мотивации прибылью, которая действует в частном секторе². Бухарин в квазинародническом духе смотрел на крестьянина как на спасителя страны от монополистической хватки государственной экономики. Он настаивал, чтобы крестьянину не только позволили спокойно заниматься своим хозяйством, но и чтобы потребности крестьянства задавали темп продвижения страны к социализму. При таких обстоятельствах прогресс будет медленным, даже очень медленным, но тут ничем не поможешь: «Мы медленной дорогой пойдем себе помаленечку вперед, таща за собой крестьянскую колымагу». Пожалуй, в таком видении российского прогресса было больше от Толстого, чем от Маркса; полной противоположностью звучали слова Преображенского: «Пробежать быстрее переходный период — вопрос жизни и смерти... Мы живем под железной пятой закона первоначального накопления». Две эти программы были абсолютно несовместимы.

Пока два этих теоретика вели спор на более или менее эзотерическом языке, он не привлекал особого внимания за пределами узкого круга. Но поднимаемые вопросы, изложенные в более популярной форме, неизбежно должны были попасть в центр широких политических дискуссий. В первую очередь к этому приложила руку не троцкистская оппозиция, разоб-

¹ Преображенский отвечал, что нажим рабочих, отстаивающих свои потребительские интересы, послужит решающим противовесом для паразитических тенденций бюрократически управляемой экономики. Но такой нажим будет ощутим лишь в том случае, если рабочие получат свободу защищать свои интересы от государства, то есть в условиях пролетарской демократии.

² Партия в целом и Бухарин вместе с ней сохраняли верность схематическому плану Ленина по развитию сельскохозяйственных кооперативов. Однако эта верность никак не влияла на практическую политику. Преображенский утверждал, что даже план Ленина не годится, поскольку делает акцент не на производственных кооперативах, а на менее существенных формах кооперации.

ценная и принуждаемая к молчанию. На бухаринский неопопулизм, его «заигрывание» с крепким хозяином и фактическое примирение с промышленной отсталостью России наиболее резко отреагировал Ленинград. Главным образом в рядах парторганизации этого города, возглавляемой Зиновьевым, сложилась группировка «новых левых», противостоявшая «новым правым». Ленинград оставался самым пролетарским из городов СССР. Он обладал самой крепкой марксистской и ленинистской традицией, его рабочие более остро, чем кто-либо, ощущали потребность в смелой индустриальной политике. Машиностроительные заводы и верфи города простаивали из-за нехватки железа и стали. Ленинградцы меньше чем кто-либо были склонны соглашаться, что темпы промышленной реконструкции должны диктовать мужики. Меньше чем кто-либо могли они примириться с перспективой медленного и сонного продвижения вперед, таща за собой огромную и тяжелую крестьянскую колыхагу. В старой столице сконцентрировался весь антагонизм городской России к инертному консерватизму России сельской. На партийной организации города, пусть управлявшейся в бюрократическом стиле и давно переставшей представлять интересы рабочих, не могло в какой-то мере не отразиться растущее недовольство. Парторги и агитаторы, вынужденные иметь дело с огромным числом безработных, поддавали под влияние их возмущения и нетерпения. Настроения массы проникали на различные уровни городской партийной иерархии, вынуждая ее выступить против «новых правых». Зиновьев в течение почти всего 1925 года возглавлял атаку на бухаринскую школу. Вся Северная коммуна бурлила. В борьбу отчаянно ринулся комсомол; ленинградская печать открыла огонь.

В то же время в Политбюро обозначился новый раскол. После того как триумвиры одолели Троцкого и изгнали его из Военного наркомата, узы их солидарности резко ослабли. Впоследствии Молотов рассказывал, что разногласия начались в январе 1925 года, когда Каменев предложил, чтобы Сталин занял место Троцкого в Военном наркомате. По словам Молотова, Каменев и Зиновьев надеялись таким путем удалить Сталина из Генерального секретариата. Гораздо раньше, еще в октябре 1923 года, Зиновьев и Каменев обдумывали эту идею и даже зондировали настроения Троцкого. Тот, однако, в тот момент не увидел выгоды в объединении сил с Зиновь-

евым, которого тогда считал самым непримиримым из своих противников. Сам Сталин относил начало этого конфликта к концу 1924 года, когда Зиновьев требовал исключить Троцкого из партии, а Сталин ответил, что он против «отсечения и пускания крови»¹. Когда Троцкий ушел из Военного наркомата, Зиновьев предложил дать ему незначительную должность в руководстве кожевенной промышленности; Сталин убедил Политбюро не подвергать Троцкого такому унижению. В пику ему Зиновьев обратился к Ленинградской парторганизации, обвиняя Сталина и других членов Политбюро в потворстве Троцкому и в том, что они сами «полутроцкисты».

Однако в этих малосущественных маневрах еще не проявлялось политических разногласий. Лишь на последней неделе апреля 1925 года члены ЦК заметили признаки политического раскола между триумвирами. В тексте резолюции, готовившейся для предстоящей партийной конференции, Сталин намеревался провозгласить «построение социализма в одной стране». Эту идею он сформулировал несколькими месяцами раньше, но сейчас впервые решился добиться, чтобы ее официально санкционировали и включили в партийную программу. Зиновьев и Каменев выступили против. Однако никто из триумвиров не желал идти на скандал, демонстрируя отсутствие единства сразу же после того, как было покончено с Троцким. Триумвиры спустили дело на тормозах, согласившись на двусмысленную формулировку резолюции: первые ее абзацы напоминали партии о том, что Ленин никогда не верил в возможность построить социализм в одной стране, а заключение содержало упрек Троцкому, который тоже в это не верил. С таким нелогичным текстом на руках триумвиры выступили на конференции единым фронтом. В конкретных вопросах текущей политики они по-прежнему действовали сообща. Конференция проголосовала за расширение рамок частной торговли и сельского хозяйства, снижение налогов на крестьянство, отмену ограничений на аренду земли и наем рабочей силы. В этих решениях явно проявилось влияние бухаринской школы. Однако никто из вождей не возражал — отчасти из-за того, что все были встревожены плохим урожаем и понимали необходимость дать крестья-

¹ «Сегодня одного отсеки, завтра другого, послезавтра третьего, — что же у нас останется в партии?» — говорил Сталин.

нам дополнительные стимулы к труду, а отчасти из-за того, что эти решения также были сформулированы двусмысленно и любой интерпретатор мог повернуть их в какую угодно сторону.

В последующие четыре-пять месяцев, в течение лета, разногласия между триумвирами не проявлялись. Зиновьев и ленинградцы выступали только против Бухарина, Рыкова и неопопулистских «красных профессоров». Тем самым они помогали Сталину укрепить свою позицию. Политбюро по-прежнему состояло из семи членов: Сталина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и Томского. Вожди «новых правых» — Бухарин, Рыков и Томский — вступили в союз со Сталиным и вместе с ним составляли большинство. Арифметика голосований в Политбюро была столь проста, что, если бы Зиновьев и Каменев стремились только скинуть Сталина, они бы постарались подружиться с Бухариным, а не нападать на него. Но для них в данной ситуации вопросы принципа и ключевых разногласий имели большее значение, чем личная выгода.

Тем временем кризис в стране углублялся. Уступки, сделанные крепким хозяевам, оказались недостаточными. Летом поставки зерна оказались намного ниже ожидавшихся. Правительство внезапно было вынуждено прекратить экспорт хлеба и отменить размещенные за границей заказы на машины и сырье, за которые предполагалось расплатиться выручкой от зерна. Восстановление промышленности наткнулось на временное, но серьезное препятствие. В городах наблюдались перебои с продовольствием, цены на хлеб выросли. Партийным вождям пришлось снова задуматься над тем, каким образом ослабить напряжение между городом и деревней. Бухарин требовал, чтобы Политбюро пообещало крестьянам дальнейшие уступки и новые стимулы — именно в это время в одном из его обращений к крестьянству прозвучал призыв «Обогащайтесь!» Он настаивал на необходимости снять последние ограничения, препятствовавшие накоплению капитала в селе. Тем, кто возмущался его требованиями и боялся кулаков, он отвечал: «Если мы ходим голенькими, то кулак нас побеждает экономически, а если он является вкладчиком наших банков, он нас не победит. Мы ему оказываем помощь, и он нам. В конце концов, может быть, и внук кулака скажет нам спасибо, что мы с ним так обошлись». Ученики Бухарина снова расставили точки над

«i»), говоря о наступлении неонэпа и выдвигая мнение о возможности мирного вращающегося зажиточного крестьянина в социализм. Один из них, Богушевский, утверждал в «Большевике» — печатном органе ЦК, — что кулак перестал быть социальной силой, с которой следует считаться; отныне он только «жупел», «призрак»: «это — не общественный слой, даже не группа, даже не кучка. Это — вымирающие уже единицы».

Ленинград отозвался негодующими возгласами. Ленинградские рабочие каждый день находили новые доказательства силы и возможностей кулака — в своих булочных. Каменев в Московском горкоме, с помощью свежей статистики демонстрируя, насколько зависимы города в удовлетворении своих элементарных жизненных потребностей от небольшой кучки крестьянства, выразил беспокойство по поводу намерения ЦК смириться с таким положением дел и еще сильнее поддаться призывам ввести неонэп. Ленинградцы требовали, чтобы партия снова призвала бедное крестьянство вести борьбу с кулаками. Они указывали, что в попытках заигрывать с богатыми хозяевами партия оттолкнула от себя огромную массу бедных и средних крестьян и позволила кулакам стать фактическими правителями в сельской России. Очевидно, это было правдой¹. Но слабым местом в аргументации критиков являлся именно тот момент, что бедные и даже средние крестьяне не производили достаточно излишков зерна, чтобы прокормить город. Поэтому партийное руководство более, чем когда-либо прежде, боялось «раздувать классовую борьбу на селе» и настраивать против себя кулаков. Сельские парткомы не спешили привлекать в свои ряды батраков и поддерживать их требования. Велось много разговоров о неизбежном возврате национализированной земли в частные руки. В Грузии нарком сельского хозяйства издал «тезисы», т. е. проект указа именно с таким смыслом; принятия аналогичных указов ожидали в остальных областях Кавказа и в Сибири. Сам Сталин не видел причины, почему бы права на землю не передать крестьянам хотя бы на сорок лет. Он тоже твердо выступал против «разжигания классовой борьбы в деревне».

¹ Позже, в том же году на XIV съезде, ораторы-сталинисты признавали этот факт. Например, Микоян заявил: «Мы большие усилия прилагаем для того, чтобы отвоевать середняка, попавшего в плен к кулаку». Молотов констатировал более обтекаемо: «В настоящее время середняка мы за собой по-настоящему еще не ведем».

Затем дискуссия перешла с проблем текущей политики на более широкие фундаментальные вопросы. Совершили мы или нет, спрашивали ленинградцы, пролетарскую революцию? Или мы собираемся пожертвовать насущными интересами рабочих ради интересов крепких хозяев? Что происходит с партией, если она отказывается от классовой борьбы в деревне и превращается в защитника сельского капитализма? Что заставило нашего главного теоретика выдвинуть лозунг «Обогащайтесь!»? Почему столько наших вождей опустило руки и готово примириться с российской отсталостью? Где революционный пыл прежних лет? Ленинградцы пришли к выводу, что все их завоевания оказались под угрозой, партийные идеалы извращаются, а ленинские принципы забыты. Они задумывались о том, не выдохлась ли и эта революция, как в свое время выдохлись другие революции, особенно французская. Не Зиновьев, не Троцкий и не кто-либо еще из прославленных интеллектуалов, а Петр Залуцкий, рабочий-самоучка и секретарь Ленинградской парторганизации, первый в публичной речи провел многозначительную аналогию между текущим состоянием большевизма и последними днями якобинства и поднял тревогу об опасности «термидора», которая угрожает революции, — вскоре мы найдем эту идею в самой сердцевине всех обличений Троцкого в адрес сталинизма.

Большевизм, говорил Залуцкий, может выродиться вследствие собственной усталости. Гибель большевизма может прийти из его собственной среды, от рук одного из вождей, проникшихся реакционными настроениями. Из Ленинграда раздался призыв к реабилитации революции. Пусть вожди сохраняют верность рабочему классу и идеалам социализма! Пусть нашим идеалом останется равенство! Пусть пролетарское государство слишком бедно, чтобы мечты о равенстве воплотились в жизнь, но оно не должно насмехаться над этой мечтой!

Выразителем этих настроений стал сам Зиновьев. В начале сентября он написал статью «Философия эпохи», которую Политбюро позволило ему издать лишь после того, как он убрал большинство провокационных пассажей. «Хотите знать, о чем подлинно мечтает народная масса в наши дни? — спрашивал автор в одном из вычеркнутых абзацев. — Это слово — *равенство*. И если мы хотим быть подлинными выразителями того, что «народ сознает», мы должны стать во главе борьбы за «равенство»... Во имя чего в великие дни Октября поднялся про-

летариат, а за ним и огромные массы всего народа? Во имя чего пошли эти массы в огонь за Лениным? Во имя чего массы эти... шли за знаменем Ленина в первые тяжкие годы Советской власти? ...Во имя идеи равенства»¹.

Примерно в то же время Зиновьев издал свою книгу «Ленинизм», которая содержала интерпретацию партийной доктрины вкупе с критическим обзором советского общества. Зиновьев обнажил конфликты и напряжения между частным и социалистическим секторами и указал, что даже в социалистическом секторе заметны явные элементы «государственного капитализма». Социалистическим элементом является национализация промышленности; но отношения между государством-нанимателем и рабочими, бюрократическое руководство и дифференцированная зарплата представляют собой черты капитализма. Здесь Зиновьев впервые подвергает открытой критике теорию о «социализме в одной стране». Даже если Советский Союз обречен на изоляцию в течение неограниченного времени, утверждает Зиновьев, он мог бы достичь значительных успехов в строительстве социализма; однако, будучи бедной и отсталой страной, подвергаясь опасностям и внутренним, и внешним, он не имеет шансов на *полное* построение социализма, не может экономически и культурно подняться над капиталистическим Западом, ликвидировать классовые различия и утратить необходимость в государственных структурах. Следовательно, перспективы построения социализма в одной стране нереальны и большевики не должны дразнить народ этой фатаморганой, тем более что она подразумевает отказ от надежды на революцию за границей и крах ленинского интернационализма. В этом и скрывался ключевой момент нового раскола. «Новые правые» формулировали свою политику в строго национальных и изоляционистских терминах. Левые придерживались интернационалистических традиций партии, несмотря на все поражения, которые потерпело международное коммунистическое движение.

На этом этапе, летом 1925 года, Сталин и его сторонники называли себя центристами. Сталин, отчасти вследствие своих убеждений, отчасти из расчета, так как зависел от поддержки Бухарина и Рыкова, поддерживал прокрестьянскую политику. Однако он придерживал своих правых союзников и

¹ Не пропущенные цензурой фрагменты огласил Угланов на XIV съезде.

открещивался от их самых откровенных заявлений, вроде бухаринского призыва «Обогащайтесь!». Осторожный, хитрый и нисколько не волнующийся по поводу мелких логических или доктринальных неувязок, Сталин заимствовал идеи и лозунги и у правых и у левых и сочетал их порой самым нелепым образом. В значительной степени именно в этом заключалась его сила. Сталин ухитрялся запутать любой вопрос и завести в тупик любой спор. Тем критикам, которые нападали на то или иное из его высказываний, он всегда мог предъявить другое высказывание, имевшее абсолютно противоположный смысл. Его эклектичные формулировки оказывались удобными и для чиновников, и для оппортунистов; при этом они привлекали также многих честных, но нерешительных или запутавшихся людей. Как и в любой фракции центристов, одни из сталинистов склонялись к левым, другие — к правым. Калинин и Ворошилов были близки к Бухарину и Рыкову, а Молотов, Андреев и Каганович были «левыми сталинистами». Разногласия в среде собственных сторонников также вынуждали Сталина дистанцироваться от правых. Он был полностью солидарен с Бухариным лишь по одному вопросу — возможности построения социализма в одной стране.

В начале октября Центральный комитет начал подготовку к XIV съезду, который намечался на конец года. Четыре члена ЦК — Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская — выступили с совместным заявлением, в котором требовали свободной дискуссии, чтобы члены партии могли высказаться по всем возникшим спорным вопросам. Таким образом два триумвира дали знать о своем намерении опереться на рядовых партийцев в противостоянии со Сталиным и Бухариным.

Сокольников не разделял всех взглядов Зиновьева и Каменева. В качестве наркома финансов он в последние годы делал все для поощрения частного предпринимательства, и многие считали его столпом правого крыла. Но его тоже беспокоили политические тенденции и усиление Сталина, поэтому он одобрил призыв к дискуссии. Крупская решительно поддерживала Зиновьева и Каменева и подталкивала их к тому, чтобы ознакомить всю партию с разногласиями в Политбюро, не смягчая выражений. Она еще не примирилась с тем, что в нарушение воли ее мужа Сталин остался Генеральным секретарем, и враждебно относилась к росту влияния бухаринской школы. Крупская пыталась выступить против взгля-

дов Бухарина, но Политбюро не позволило ей этого. Голос Крупской оставался весомым для тех членов партии, которые знали о ее давних и близких связях с Лениным не только как жены, но как секретаря и единомышленника. Сейчас она была готова поддержать зиновьевскую интерпретацию ленинизма, отрицавшую возможность построить социализм в одной стране.

Требую открытой дискуссии, эти четверо действовали в соответствии с уставом и обычаями; партия еще ни разу не проводила съездов без предварительной дискуссии. Тем не менее ЦК не разрешил начать дискуссию и потребовал, чтобы Зиновьев и Каменев отказались от какой-либо публичной критики официальной политики. Таким образом, два триумвира попали в то же положение, в которое они ранее поставили Троцкого. Выступать публично означало нарушить принцип кабинетной солидарности, связывавший их как членов ЦК и Политбюро. Не выступать означало пойти против собственных политических взглядов и интересов. Пока они молчали и их сторонники нападали только на бухаринцев, Сталин неустанно старался лишить их власти. Прежде Каменев пользовался решающим влиянием в Московской партийной организации. В течение лета Генеральный секретариат незаметно убрал людей Каменева с их должностей и заполнил вакансии преданными сторонниками нового большинства. Однако в Ленинграде прочно окопались Зиновьев и его последователи, и в данный момент Сталин ничего не мог с ними сделать. Сам Зиновьев был вынужден поддерживать видимость единодушия в ЦК, но его сторонники могли говорить свободно. Они были охвачены гневом и страстью и на съезде собирались повести яростную атаку на официальную политику.

С октября по декабрь Москва и Ленинград находились в свирепом, ожесточенном и едва скрываемом противостоянии. В обеих столицах на выборах делегатов велись подтасовки; Москва избрала лишь сталинистов и бухаринцев, в то время как все делегаты от Ленинграда оказались сторонниками Зиновьева. На собрании ЦК, проходившем за три дня до открытия съезда, стало ясно, что открытый конфликт предотвратить невозможно. Зиновьев и Каменев решили выступить с публичными нападениями на официальный политический доклад и огласить собственный контрдоклад. 18 декабря, в день откры-

тия съезда, Зиновьев начал атаку. «Ленинградская правда» так заклеила его противников:

«Бросают громкие фразы о международной революции и представляют Ленина как теоретика национально-социалистической революции; борются против кулачества и выбрасывают лозунг — «Обогащайтесь!», кричат о социализме и объявляют нэповскую Россию социалистической, «верят» в рабочий класс и призывают на помощь кулака».

Перепалки между бухаринцами и зиновьевцами шли уже много месяцев, а конфликт между триумвирами тлел почти год. Может показаться, что именно такого перераспределения сил, дающего возможность вмешаться, ожидал Троцкий. Однако все это время он держался в стороне и не высказывался по вопросам, вызвавшим раскол в партии, словно бы не знал о них. Тринадцать лет спустя, в Мексике, он признался перед комиссией Дьюи, что был поражен, увидев, как на XIV съезде Зиновьев, Каменев и Сталин схлестнулись как враги. «Этот взрыв был для меня абсолютно неожиданным, — сказал он. — В течение всего съезда я настороженно выжидал, потому что вся ситуация изменилась и была для меня совершенно неясной».

Такое признание, сделанное столько лет спустя, может показаться невероятным; но оно вполне подтверждается неопубликованными дневниковыми заметками самого Троцкого, относящимися ко времени съезда. Комиссии Дьюи Троцкий объяснил свое неведение тем, что триумвиры тщательно скрывали свои разногласия от него как от члена Политбюро и вели диспуты в его отсутствие, на тайных заседаниях узкого кружка, подменившего собой Политбюро. Пусть Троцкий говорит правду, но его слова мало что объясняют. Во-первых, бурные споры о возможности построения социализма в одной стране уже велись публично. Если бы Троцкий следил за ними, их значение не укрылось бы от него — и тем не менее он не уловил их смысла. Во-вторых, Зиновьев, Каменев, Крупская и Сокольников выдвинули требование открытой дискуссии не в узком кругу, а на пленарном заседании ЦК в октябре. Но даже если бы они этого не сделали, если бы публичные споры о построении социализма в одной стране не свидетельствовали о новом расколе, все равно остается загадкой, почему такой заинтересованный и проницательный наблюдатель, как Троцкий, к тому же оказавшийся рядом с эпицентром собы-

тий, пребывав в неведении по поводу новой тенденции и оказался слеп ко многим ее признакам. Как он мог быть глухим к тем раскатам, которые уже много месяцев доносились из Ленинграда?

Мы вынуждены прийти к выводу, что Троцкого подвели наблюдательность, интуиция и анализ, став причиной его удивления. Более того, непостижимо, чтобы Радек, Преображенский, Смирнов и другие его друзья не заметили происходящего вокруг и чтобы никто из них не попытался привлечь к событиям внимание Троцкого. Очевидно, он остался глух, живя словно в ином мире, уйдя в себя и в свои идеи. Троцкий выше головы загрузил себя научно-промышленными вопросами и литературной работой, что в некоторой степени защищало его от разочарований, которым он подвергался. Троцкий избегал внутривнутрипартийной жизни. Полный чувства превосходства и презрения к своим соперникам, испытывая отвращение к их методам полемики и уловкам, он не интересовался их делами, подчинился навязанной ему дисциплине, но высоко держал голову и не замечал идущей вокруг него грызни. Несколько лет спустя его биографу рассказывали в Москве, что Троцкий прилежно появлялся на заседаниях ЦК, занимал свое место, открывал книгу — как правило, французский роман — и так погружался в него, что не обращал никакого внимания на диспуты. Даже если это просто анекдот, он несет в себе долю истины, так как верно подмечает некоторые черты в характере Троцкого. Он мог повернуться спиной к противникам, но не мог отрешенно смотреть на них. Для этого Троцкий был слишком близок к ним и видел в них мелких людишек, подлецов и жуликов, которыми те и вправду порой становились; он наполовину забыл, что одновременно они были вождями великой страны и партии и все их слова и поступки обладали колоссальным историческим весом.

Если бы Троцкий прислушивался к тому, что говорили ленинградцы, он бы сразу же сумел понять, что они защищают то же дело, что и он, и нападают на те тенденции, на которые нападал он сам. В качестве оппозиционеров они начали там, где он вышел из игры. Они отталкивались от его предпосылок, но в своей аргументации заходили существенно дальше. Троцкий критиковал Политбюро за недостаток инициативы, за пренебрежение промышленностью, за

чрезмерную заботу о частном секторе экономики. То же самое делали ленинградцы. Троцкий с подозрением следил за духом узкого национализма, заставлявшим партийное руководство формулировать политику и думать о будущем в терминах самодостаточности. Зиновьев и Каменев первыми выступили с критикой теории «о социализме в одной стране», исходя из той же самой неприязни к узкому национализму. Для Троцкого идеи Бухарина и Сталина по этой теме сперва должны были показаться скучным схоластическим догматизмом, не заслуживавшим его комментариев; поэтому в течение почти полутора лет он и не делал никаких комментариев, а тем временем теория о «строительстве социализма в одной стране» стала новым большевистским катехизисом, против которого Троцкому пришлось бороться до конца жизни. Зиновьев и Каменев оказались более чуткими к многозначительному смыслу нового учения. Троцкий не мог не согласиться с их аргументацией, почерпнутой из кладовой классического марксистского интернационализма. Не мог и призыв к равноправию, исходящий из Ленинграда, не задеть в нем чувствительной струнки. Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская только повторяли Троцкого, когда выступали за свободу мнений. Как и Троцкий, они говорили о зловещем союзе нэпмана, кулака и бюрократа; как и Троцкий, они призывали к возрождению пролетарской демократии. Троцкий предупреждал партию о «вырождении» ее руководства; теперь то же самое предупреждение звучало еще более тревожно и настойчиво в возгласах ленинградцев об опасности «термидора». Именно эти идеи и лозунги Троцкому вскоре предстояло взять на вооружение и выдвигать их в течение многих лет. Но, услышав их из уст своих недавних врагов, он несколько решающих месяцев «выжидал в неуверенности», и его приверженцы выжидали вместе с ним.

Растерянности Троцкому и его сторонникам прибавляло то, что они привыкли считать Зиновьева и Каменева вождями правого крыла партии. Никто не распространял это мнение более настойчиво, чем Троцкий. В «Уроках Октября» он напоминал партии о том, что Зиновьев и Каменев выступали против Октябрьской революции. Он указывал, что в 1923 году Зиновьев привел немецких коммунистов к «капитуляции», потому что его мышление застыло на уровне 1917 года. Объявляя партию,

что ее «старая гвардия», может, подобно вождям 2-го Интернационала, переродиться в консервативный, бюрократический «аппарат», Троцкий практически указывал обвиняющим перстом на Зиновьева и Каменева. Неудивительно, что он с недоверием отнесся к их появлению в роли ораторов от новых левых, подозревая в этом демагогию. Из-за этого не вполне беспочвенного подозрения Троцкий не сумел осознать, что роли действительно поменялись в рамках перегруппировки людей и идей, которую вызвала сложившаяся в стране критическая ситуация. Перерождение Зиновьева и Каменева было не менее истинным и не менее поразительным, чем перерождение Бухарина, который из вождя левых коммунистов превратился в идеолога «новых правых» — собственно, оба эти перерождения дополняли друг друга. Официальная большевистская политика в тот момент испытывала такой сильный крен вправо, что многие из тех, кто еще вчера возглавлял правое крыло, испугались ее последствий и сами далеко отклонились влево.

Разумеется, свою роль играли личные амбиции и зависть: Зиновьев и Каменев старались лишить Сталина власти. Но они могли бы добиться большего успеха, если бы решили вместе с Бухариным оседлать нарастающую волну изоляционизма и неопопулизма. Вместо этого они предпочли опереться на пролетарские и интернационалистические традиции ленинизма, ставшие непопулярными среди работников партаппарата, от которых непосредственно зависел исход схватки. Мировоззрение и мыслительные шаблоны Зиновьева и Каменева, так же как и настроения в среде их сторонников, ставили пределы их карьеризму. Как бы трусливо и оппортунистически они ни вели себя в важных случаях, Каменев и Зиновьев были ближайшими учениками Ленина, в принципе неспособными вырваться из-под сформировавшего их влияния. Другие могли повернуться спиной к европейскому рабочему классу и прославлять, искренне или неискренне, мужика; Каменев и Зиновьев не смогли так поступить. Другие могли превозносить самодостаточный российский социализм; для Каменева и Зиновьева одна лишь мысль о нем была абсурдной и отвратительной. Тем не менее отношение к этим вопросам формировало водораздел, который служил границей между различными течениями большевизма.

У этой смены ролей был еще один аспект. Как в свое время Ленин с Троцким, Зиновьев и Каменев столкнулись с ди-

леммой власти и свободы, партийной дисциплины и пролетарской демократии. Они также ощущали противоречие между властью и революционными мечтами. Раньше они были сторонниками дисциплины, теперь же устали от навязанного ими самими механического и жесткого единоначалия. Зиновьев уже много лет не покидал политической сцены, выкрикивал приказы, строил интриги и заговоры, снимал и повышал подчиненных, утверждал власть революции и свою собственную; он был словно одержим и пьян своим могуществом. Теперь же настало пробуждение, горькое послевкусие и стремление снова припасть к чистым истокам революции, оставшимся в далеком прошлом. Вместе с ним многие члены «старой гвардии» следовали тем же поворотам и испытывали те же самые затруднения и разочарования до тех пор, пока не прониклись, не замечая этого, теми же самыми настроениями, что и троцкисты, которых они только что помогли разгромить. Буквально все толкало их в объятия участников оппозиции 1923 года.

Если Троцкий был готов вступить в союз с Зиновьевым и Каменевым, для этого настало время. Вплоть до начала 1926 года почва под ногами у ленинградцев оставалась нетронутой. Административный аппарат города и губернии находился в руках Зиновьева. У него было множество решительных сторонников. Он контролировал влиятельные газеты, обладал материальными средствами для долгой и напряженной политической борьбы. Одним словом, в своей Северной коммуне он по-прежнему был хозяином мощной крепости. Кроме того, Зиновьев оставался председателем Коминтерна, хотя Сталин уже проник в его штаб, насаждая там свое влияние. В некоторых отношениях позиция Троцкого никогда не была такой сильной, как позиция Зиновьева в тот момент, когда он вступил в конфликт со Сталиным. Троцкий так и не удосужился обзавестись рычагами личной власти, и поэтому после своего прогремевшего на весь мир взлета он вступил в схватку с триумвирами практически с пустыми руками; тем легче оказалось заклеить его как врага большевизма. Объявить закоренелыми меньшевиками Зиновьева, Каменева и Крупскую Сталину и Бухарину было гораздо труднее. Между двумя группировками большевистской «старой гвардии» четко обозначился конфликт. Если бы до поражения Зиновьева он и Троцкий вступили бы в коалицию,

она бы представляла собой грозную силу. Но к этому не были готовы ни они, ни их фракции. Взаимные обиды и неприязнь, а также воспоминания об обмене ударами и оскорблениями были еще слишком свежи, чтобы не препятствовать их сотрудничеству.

Наступил один из самых странных моментов в политической жизни Троцкого. 18 декабря открылся XIV съезд — последний, на котором он присутствовал. С начала до конца съезда на нем бушевала политическая гроза, какой партия еще никогда не видела в своей длительной и бурной истории. На глазах у всей страны новые противники вступили в борьбу, обмениваясь сокрушительными ударами. Решалась судьба партии и революции. На повестке дня стояли почти все ключевые вопросы, которые волновали Троцкого до конца его жизни. Каждый из противников не сводил глаз с Троцкого, пытаясь угадать, чью сторону он примет, и ждал от него слов затаив дыхание. Однако в течение всех двух недель, что работал съезд, Троцкий хранил молчание. Ему было нечего сказать, когда Зиновьев поведал аудитории, переполняемой эмоциями, о завещании Ленина, в котором предупреждалось о склонности Сталина к злоупотреблению властью, или когда рассказывал об опасности, которую несут социализму кулак, нэпман и бюрократ. Троцкий бесстрастно взирал на грандиозную сцену, когда Каменев выразил энергичный протест против установления самодержавных порядков в партии, но тщательно отобранное большинство, кипя от гнева и оскорбляя оратора, впервые провозгласило Сталина «вождем, вокруг которого сплотился ленинский Центральный Комитет».

Не стал Троцкий объявлять и о своей солидарности с Крупской, говорившей о всей нелепости культа Ленина и умолявшей делегатов оценивать поставленные перед ними вопросы объективно, а не засорять дискуссию бессмысленными цитатами из сочинений ее мужа и, наконец, напомнившей в качестве предупреждения, что кампания против Троцкого окончилась клеветой и преследованиями. Троцкий слушал ее так, как будто его не интересовал спор о возможности построения социализма в одной стране — одна из величайших дискуссий столетия. И даже Бухарин, обосновавший теорию о построении социализма в одной стране на предшествовавшем отказе партии от теории перманентной

революции, а потом заявивший, что социализм будет строиться «черепашьим шагом», не спровоцировал Троцкого ни на единый жест протеста или несогласия. Триумвиры огласили тайную историю своих разногласий, в которой фигура Троцкого занимала колоссальное место: Сталин рассказал, как Зиновьев и Каменев требовали головы Троцкого и как он умерял их пыл. В ответ Зиновьев описал, как он вместе со Сталиным в нарушение уставов распустил ЦК комсомола после того, как тамошнее подавляющее большинство высказалось в пользу Троцкого. Ораторы от всех фракций говорили Троцкому комплименты и делали авансы. Когда выступала Крупская, в зале раздался возглас: «Лев Давидович, у вас есть новые сторонники!» Лашевич, прежде один из самых яростных противников Троцкого, признал, что тот в 1923 году не совсем ошибался. Сталинисты и бухаринцы рассыпали похвалы: Микоян привел Троцкого в пример новой оппозиции как человека, даже после поражения скрупулезно соблюдавшего партийную дисциплину. Ярославский упрекнул ленинградцев за их неистовый и до сих пор неумеренный антитроцкизм. Томский противопоставил «кристально чистую прозрачность взглядов Троцкого» и последовательность его поступков бестолковости Зиновьева и Каменева и их уклонам. Калинин говорил о том, с каким негодованием и отвращением он всегда относился к их попыткам свергнуть Троцкого. Когда Зиновьев заявил о своем праве не соглашаться с официальной политикой и пожаловался, что еще ни с одной оппозицией не обходились так бесцеремонно, сталинисты и бухаринцы обрушили на него поток презрительных напоминаний о том, как он поступал с Троцким. Тогда, войдя в совершенный экстаз, Зиновьев призвал съезд забыть прошлое и реформировать партийное руководство так, чтобы все течения большевистской мысли могли объединиться в сотрудничестве. Взгляды всего съезда обратились на Троцкого: неужели этому великому оратору нечего сказать? Но тот не разжал рта. Он продолжал молчать, даже когда Андреев предложил наделить ЦК новыми прерогативами, чтобы тот мог более решительно разбираться с несогласными — то есть разрешить ему сломить хребет новой оппозиции. Предложение с треском провалилось, но перед закрытием съезда с возмущением и гневом встретил сообщение, что в Ленинграде идут бурные демонстрации против его

решений: ленинградцы вышли на бой в своей крепости. Однако Троцкий до самого конца не промолвил ни слова¹.

Личные бумаги Троцкого позволяют нам узнать, что творилось у него в голове. В записи, помеченной 22 декабря — четвертым днем съезда, — Троцкий отмечает, что во мнении о том, что ленинградцы продолжают работу троцкистской оппозиции, содержится «зерно истины», — но не больше. Поднявшиеся в 1923 году крики и вопли о враждебности троцкизма к крестьянству вымостили дорогу для вошедшего в моду неопопулизма, против которого ополчились ленинградцы, и их шаг выглядел совершенно естественно, хотя именно они возглавляли травлю Троцкого. Глубокая враждебность съезда к фракции Зиновьева по сути отражала враждебность деревни к городу. Можно сделать вывод, что это обстоятельство должно было заставить Троцкого немедленно заключить союз с ленинградцами. Но он не успел еще лично проанализировать все проблемы и разногласия, а кроме того, питал известные надежды, вынуждавшие его ждать.

Троцкий удивлялся, почему сверхумеренный Сокольников, который в первую очередь должен был встать на сторону Бухарина, примкнул к ленинградцам. Его поражал раскол между Москвой и Ленинградом. Как он подметил, за искусственно созданным антагонизмом между этими городами скрывался более глубокий конфликт. Троцкий надеялся, что парторганизации обеих столиц сблизятся и совместно выступят на стороне пролетарско-социалистических элементов против прокрестьянски настроенных правых. Он рассчитывал, что все «истинные большевики» поднимутся на борьбу с бю-

¹ Он сделал лишь одно замечание во время дискуссии. Когда Зиновьев объяснил, что годом раньше он требовал исключения Троцкого из Политбюро, так как после всех взваленных на Троцкого обвинений было бы нелепо переизбирать его, Троцкий промолвил: «Верно!» Рут Фишер, присутствовавшая в Москве во время съезда, но не допущенная на него и вместо этого получавшая ежедневные сообщения о его ходе от Богребинского, подчиненного Сталина и «делегата от ГПУ», пишет: «Богребинского особенно интересовал Троцкий... Обе группировки боялись его... и теперь обе надеялись переманить его к себе; пример Троцкого мог стать решающим для колеблющихся делегатов из провинции. Богребинский каждый день отмечал, хорошо ли выглядел Троцкий или плохо и с кем он говорил. «Сегодня я видел Троцкого в коридоре. Он говорил с делегатами, и я подслушал часть разговора. Он ничего не сказал о ключевых вопросах. Он ни жестом, ни намеком не поддерживает оппозицию. Это замечательно. Эти ленинградские шавки получают хорошо взбучку».

рократией, иначе Московской парторганизации не освободиться от сталинской хватки. Ситуация все еще находилась в развитии. Троцкий ожидал нечто вроде политического оползния, началом которого стал раскол между триумвирами; этот оползень потряс бы партию и вызвал к жизни окончательную, более широкую и куда более серьезную перегруппировку сил. После этого линии раскола стали бы менее случайными и соответствовали бы фундаментальным противоречиям между городом и деревней, рабочими и крестьянами, социализмом и частной собственностью. Пока же он совершенно не стремился оказаться в одной лодке с «горластыми, вульгарными и справедливо дискредитированными» вождями ленинградской оппозиции. В его дневниковых заметках, написанных при наблюдении за разгромом Зиновьева и Каменева, содержатся злорадные нотки, словно бы он говорит: «Ты этого хотел, Жорж Данден!»

Однако сам Троцкий не мог сколько-нибудь долго предаваться злорадству; это было не в его характере. Ему волею-неволей пришлось спешить на выручку побежденным. Едва съезд закрылся, ЦК провел заседание, чтобы обсудить меры по обузданию Ленинграда. Сталин предложил первым делом разогнать редакцию «Ленинградской правды» и превратить эту газету в рупор официальной политики. Далее следовало снять Зиновьева, а на его место во главе Северной коммуны поставить Кирова. Ленинградцев ожидала суровая кара. В этот момент Троцкий нарушил свое молчание — он был против репрессий. Троцкий не собирался вступить с союз с Зиновьевым и Каменевым, но попытка защитить их одновременно была выпадом против Сталина, который ходил вокруг Троцкого кругами, робко пытаясь умиловить его.

На заседании ЦК разыгралась курьезная сцена. Бухарин выступал за план, предложенный Сталиным. Каменев возражал. Как странно, сказал он, что Бухарин, никогда не поддерживавший суровых мер против троцкистов, теперь призывает к расправе. «Да, но теперь он обожает плетку», — вмешался Троцкий. Бухарин, словно пойманный врасплох, воскликнул: «Вы думаете, я приобрел любовь к плетке, но эта любовь приводит меня в содрогание!» В этом возмущенном выкрике неожиданно раскрылись те предчувствия, с которыми Бухарин вступал в союз со Сталиным. Этот случай отме-

чает начало «личных контактов», которые Троцкий восстановил с Бухариным после «долгого промежутка» — искренне дружеских, но политически бесплодных и недолговечных, следы которых можно найти в их переписке. Все еще «охваченный содроганиями», Бухарин постарался убедить Троцкого не спешить на выручку Зиновьеву, пытаясь внушить ему, что в данном случае речь не идет о свободе партии и Зиновьев, сам не терпевший никакой оппозиции, не может быть защитником внутрипартийной демократии. Троцкий не спорил с этим, но указывал, что Сталин явно не лучше и корень зла лежит в монолитной дисциплине и единогласности, которую насаждают Сталин и Зиновьев, — именно благодаря этому накануне съезда две крупнейшие парторганизации, Московская и Ленинградская, «абсолютно единогласно» приняли собственные резолюции. Троцкий не питал симпатий к ленинградцам, но не мог не выступить против ложной дисциплины и призывал Бухарина сообща бороться за восстановление «здорового внутрипартийного режима». Однако Бухарин опасался, что, потребовав больше свободы, они потеряют и ту, которая осталась, и сделал вывод, что те, кто требует внутрипартийной демократии, на самом деле являются ее злейшими врагами, а единственный способ спасти остатки свободы — не пользоваться ею.

Пока продолжались эти жалкие «конфиденциальные» переговоры, Сталин потерял надежду настроить Троцкого против Зиновьева и Каменева. Возможно, он раньше самого Троцкого понял, что две оппозиции неизбежно объединятся, и поэтому подал сигнал к новой травле Троцкого. Сталин беспокоился, как бы Троцкий не обратился к партсобраниям в рабочих районах. Угланов, сменивший Каменева в качестве вождя Московской парторганизации, позаботился, чтобы этого не случилось. Под всяческими предлогами Троцкого не пускали в партячейки. Поскольку именно тогда он выступал на собраниях ученых и других представителей интеллигенции, членам пролетарских ячеек говорили, что он предпочитает обращаться к буржуазии, а не к рабочим. Официальные агитаторы перестали делать различие между троцкистами и зиновьевцами, настраивали рядовых партийцев против тех и других и туманно намекали, что не случайно вожди обеих группировок — евреи, тем самым намекая, что идет борьба между коренным, истинным русским социализмом и чужаками, пытающимися его извратить.

В другом письме Бухарину, от 4 марта, Троцкий описывает те поношения и оскорбления, которым он снова подвергается. Совершенно вопреки своим привычкам Троцкий останавливается на антисемитских нотках в речах агитаторов. «Думаю, — пишет он, пытаясь расшевелить Бухарина, — что наших обязательств как членов Политбюро по-прежнему достаточно, чтобы спокойно и добросовестно выяснить все факты: правда ли, возможно ли, что *в нашей партии, В МОСКВЕ, в ПРОЛЕТАРСКИХ ЯЧЕЙКАХ* может с таким бесстыдством вестись антисемитская агитация?» Две недели спустя на собрании Политбюро он снова задал тот же удивленный и негодующий вопрос. Члены Политбюро пожалели плечами, сделав вид, что ничего не знают, и отмахнулись от проблемы. Бухарин покраснел от смущения и стыда, но не мог пойти против своих сотрудников и союзников. Так или иначе, на этом этапе его «личные контакты» с Троцким закончились.

Агитаторы не случайно задевали антисемитскую струнку: их инструктировал Угланов, получивший такое указание от Сталина, которого никак нельзя назвать разборчивым в выборе средств. Однако к некоторым средствам еще год-другой назад и он не мог бы прибегнуть. Одним из них было потакание антисемитским предрассудкам — любимое занятие самых оголтелых реакционеров времен царизма; даже в 1923—1924 годах партия и ее «старая гвардия» были все еще слишком сильно заражены духом интернационализма, чтобы одобрять этот предрассудок и тем более эксплуатировать его. Но ситуация менялась. «Новые правые» исподволь взывали к националистическим чувствам, и, когда те разгорелись, политический климат изменился в такой степени, что даже коммунисты перестали хмуриться, когда в их рядах звучали антисемитские намеки и аллюзии. Недоверие к «чужим» в конечном счете представляло собой лишь отражение того российского эгоцентризма, который нашел идеологическое воплощение в теории о «социализме в одной стране».

Евреев в оппозиции действительно было много, хотя там была обильно представлена также нееврейская интеллигенция и рабочие. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сокольников, Радек —

все они были евреями¹. (С другой стороны, среди сталинистов евреев было очень мало, а среди бухаринцев — еще меньше.) Это были люди совершенно «ассимилировавшиеся» и обрусевшие, враждебные как иудаизму, так и любой другой религии, а также сионизму, но тем не менее их отмечало «еврейство», представлявшее собой квинтэссенцию городского образа жизни со всей его современностью, прогрессивностью, суетой и односторонностью. Само собой, обвинения в том, что они политически враждебны мужику, были лживыми и — по крайней мере, из уст Сталина (возможно, Бухарин чист в этом отношении) — неискренними. Тем не менее большевики еврейского происхождения менее всего были склонны идеализировать сельскую Россию с ее первобытной жизнью и варварством и тащить «помаленечку» туземную крестьянскую колымагу. Они были в каком-то смысле «космополитами без корней», на которых Сталин открыто обрушил свой гнев в преклонные годы. Идеал «социализма в одной стране» был не для них. Как правило, прогрессивный или революционный еврей, выросший на перепутье различных религий и национальных культур, будь то Спиноза или Маркс, Гейне или Фрейд, Роза Люксембург или Троцкий, были особенно склонны мысленно отбрасывать всякие религиозные и национальные ограничения и отождествлять себя с человечеством вообще. Поэтому они оказывались особенно уязвимы перед лицом религиозного фанатизма или националистического разгула. И Спиноза, и Маркс, и Гейне, и Фрейд, и Роза Люксембург, и Троцкий — все они стали жертвами отлучения, ссылки, нравственного или физического убийства; сочинения каждого из них горели на кострах.

¹ В 1918 г., когда Украина была оккупирована немцами и ее правителем был гетман Скоропадский, одесские раввины подвергли анафеме Троцкого и Зиновьева. С другой стороны, белогвардейцы вовсю ссылались на еврейскую национальность Троцкого и заявляли, что Ленин тоже еврей. Любопытное отражение этих заявлений можно найти в советском фольклоре и литературе начала 20-х гг. В одном из рассказов Сейфуллиной мужик говорит: «Троцкий — один из нас, он русский и большевик. А Ленин — еврей и коммунист». В рассказе Бабеля «Соль» крестьянка говорит красноармейцу: «Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...» Красноармеец отвечает: «За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане вытягают они нас — Ленин и Троцкий — на вольную дорогу жизни».

В первые недели 1926 года сопротивление ленинградской оппозиции было сломлено¹. Ленинградцы не могли не подчиниться приказам Сталина. Игнорировать их означало бросить вызов авторитету ЦК, который поддерживал Сталина, и законности съезда, избравшего Центральный комитет. На это Зиновьев и Каменев, которые, как и Троцкий, остались в составе ЦК, не были готовы пойти. Они открыто заявили, что Сталин занимался подтасовками на выборах делегатов и Центральный комитет представляет не партию, а партаппарат. Но одно дело — заявлять такое, и совсем другое — утверждать, что решения съезда и ЦК незаконны и отказываться им подчиняться. Для Зиновьева и Каменева подвергать сомнению законность последнего съезда было особенно опасно: разве они вместе со Сталиным не занимались подтасовками, чтобы отправить своих ставленников на XIII съезд точно так же, как Сталин поступил перед XIV съездом? Бросая вызов авторитету ЦК, ленинградцы фактически объявляли бы себя отдельной партией, конкурирующей с официальной Всесоюзной Коммунистической партией. Такое для них было немыслимо. Все они относились к однопартийной системе как к *sine qua non*². Никто не проявлял большего рвения в утверждении этого принципа, и никто не делал из него более далеко идущих и абсурдных заключений, чем Зиновьев. Неповиновение Ленинграда Москве означало бы почти что объявление гражданской войны.

И когда в Ленинград прибыл Киров в качестве наделенного неограниченными полномочиями посланца Сталина, чтобы взять на себя руководство Северной коммуной, Зиновьеву осталось только подчиниться. Практически за одну ночь все местные отделения партии, ее редакции, разнообразные организации и все ресурсы, на которые прежде опиралась оппозиция, перешли в руки сталинских и кировских ставленников. Ленинградские вооруженные силы контролировали два зинovieв-

¹ После XIV съезда бухаринцы и сталинисты усилили свое представительство в ЦК. Новое Политбюро состояло не из семи, а из девяти членов. В него входили Сталин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Томский, Калинин, Молотов и Ворошилов. Поскольку Калинин и Ворошилов колебались между правым крылом и центром, сталинская фракция численно была несколько слабее бухаринской. Каменев оказался лишь кандидатом в члены Политбюро. Другими кандидатами были Угланов, Рудзутак, Дзержинский и Петровский.

² Непременное условие (*лат.*).

евца: Лашевич, политкомиссар гарнизона и военного округа, и Бакаев, возглавлявший ГПУ. Оба оставили свои должности, хотя Лашевич, будучи замнаркома обороны, оставался членом центрального правительства. За этим последовал моральный разгром. Пока вожди пользовались всей полнотой власти, казалось, что за ними идет весь Ленинград. Однако теперь выяснилось, что великому пролетарскому городу безразлична их судьба. Первыми их покинули рабочие Выборгской стороны — этого давнего бастиона большевизма. Зиновьев помывал ими и запугивал долгие годы, поэтому их не тронули его недавние выступления в защиту рабочих и его призыв к равенству, которые им еще довелось ностальгически припомнить несколько лет спустя, когда было уже поздно. Простые люди относились к событиям как к ссоре в верхах, не имевшей к ним никакого отношения. Даже те, кто смотрели на вещи менее цинично и мысленно поддерживали оппозицию, чаще всего хранили свои настроения при себе: безработица бушевала вовсю, а наказанием за «нелояльность» могла стать потеря работы и голодная смерть. В результате активными сторонниками ленинградской оппозиции остались лишь несколько сотен ветеранов революции — крохотная и сплоченная группировка людей, преданных своим идеалам и вождям и постепенно ощущавших, как перед ними закрываются все двери.

Та легкость и скорость, с какой Сталин разбил ленинградцев, продемонстрировала беспочвенность надежд, которые питал Троцкий в дни XIV съезда. Не было никаких следов дальнейших перегруппировок, никаких признаков сплочения рабочих-коммунистов против бюрократов, которого он ожидал. Борьба ленинградцев не вызвала никаких сочувственных откликов в московских ячейках, ни в малейшей степени не поколебав их безмятежности. Партийный аппарат работал с ужасающей эффективностью, громя всякое сопротивление еще до того, как то успевало проявиться. Это само по себе свидетельствовало о слабости оппозиции. Рабочий класс вышел из состояния распыленности и распада, в котором он пребывал несколько лет назад, но не приобрел политической сознательности, энергии и способности к самоутверждению. Однако его политическое возрождение шло полным ходом, и именно на него рассчитывал Троцкий, предполагая, что Москва и Ленинград сообща поднимутся на борьбу. На это же надеялись и Зиновьев с Каменевым. На XIV съезде они призва-

ли вернуться к пролетарской демократии и заявляли, что рабочий класс больше не расколот и деморализован, как в начале 1920-х годов, когда вожди партии не могли полагаться на политические инстинкты и суждения пролетариата. Тогда Бухарин ответил, что Зиновьев и Каменев занимаются самообманом, что рабочий класс вырос в числе, вобрав в себя молодых неграмотных пришельцев из деревни, следовательно, продолжает быть политически незрелым и время для возврата к пролетарской демократии еще не пришло. Пустота, в которой оказалась ленинградская оппозиция, свидетельствовала, что Бухарин был ближе к истине, чем Зиновьев с Каменевым. В рабочем классе царили апатия и безразличие, впрочем вызванные не только незрелостью, но и бюрократическим запутыванием, которое пытался оправдать Бухарин. Но кто бы ни был прав, Троцкому должно было стать ясно, что он ничего не приобретет, продолжая выжидать. Тем не менее после съезда прошло больше трех месяцев, в течение которых троцкисты и зиновьевцы не сделали ни шага навстречу друг другу. Троцкий и Зиновьев с Каменевым не разговаривали с 1923 года; и сейчас также не обменялись ни словом.

Лед был сломан лишь в апреле 1926 года. На заседании ЦК Рыков представил доклад об экономической политике. Каменев предложил поправку, в которой Центральному комитету предлагалось обратить внимание на постоянно обостряющееся «социальное расслоение крестьянства» и ограничить рост капитализма в сельском хозяйстве. Троцкий внес отдельную поправку: он соглашался с тем, как Каменев оценивал положение в селе, но добавлял, что вялые темпы промышленного развития лишают правительство необходимых средств для проведения своей линии среди крестьян. Во время дискуссии Каменев, как бывший председатель Совета по труду и обороне, чувствуя известную ответственность за промышленную политику, которую критиковал Троцкий, отпустил несколько колких замечаний в адрес Троцкого. ЦК отверг поправку Троцкого. Каменев и Зиновьев, судя по всему, воздержались от голосования. Но когда на голосование поставили поправку Каменева, Троцкий поддержал ее. Этот момент послужил поворотным пунктом. Когда заседание продолжилось, они снова оказались на одной стороне, после чего с облегчением стали сближаться и к концу заседания фактически выступали как политические партнеры.

Лишь теперь они трое впервые за много лет встретились наедине. Встреча получилась странной, полной самокопания, поразительных признаний, вздохов сожаления и облегчения, предчувствий, тревожных предупреждений и многообещающих проектов. Зиновьев и Каменев стремились полностью покаяться. Они оплакивали ту слепоту, которая заставила их обличать Троцкого как архиврага ленинизма, и признавались, что выдумали все предъявленные ему обвинения, чтобы лишить его места в руководстве. Но не ошибался ли он сам, тоже нападая на них, напоминая партии об их конфликтах с Лениным в 1917 году и выбрав объектом для дискредитации их, а не Сталина? Они с радостью выбрались наконец из сетей запутанной интриги, которые сами сплели, и вернулись к серьезным и честным политическим размышлениям и поступкам.

Рассказывая друг другу о различных моментах этих интриг, Каменев и Зиновьев потешались над Сталиным, к легкому недовольству Троцкого подражая поведению и акценту Сталина, но затем вспоминали сделки с ним, чувствуя то же содрогание, которое чувствуешь, вспоминая ночной кошмар. Они описывали его коварство, извращенность и жестокость и заявили, что написали и спрятали в надежном месте письма на случай внезапного и необъяснимого исчезновения, чтобы весь мир знал — это работа Сталина; Троцкому они советовали поступить так же. Как они утверждали, Сталин не уничтожил Троцкого в 1923—1924 годах лишь потому, что боялся мести какого-нибудь молодого горячего троцкиста. Несомненно, Зиновьев и Каменев старались очернить Сталина и внушить Троцкому, что Сталин не натворил худшего лишь благодаря их сдерживающему влиянию. Сам Троцкий не принимал эти откровения слишком всерьез и переменил свое мнение лишь много лет спустя, когда вспомнил их во время «больших чисток». Безусловно, было непросто поверить в эту кровавую придворную интригу, более уместную в Кремле первых царей, чем в Кремле 3-го Интернационала, на фоне идеологических дискуссий, облаченных в марксистские термины. Неужели злые чары древней царской твердыни одолели и учеников Ленина? Сталину, как утверждали Зиновьев и Каменев, неинтересны диспуты по поводу идей — ему интересна только власть. Однако им не удалось объяснить, почему же, если все это было правдой, они так долго оставались союзниками Сталина.

От этих пугающих и испуганных рассказов и мрачных намеков Каменев с Зиновьевым перешли к планам на будущее. Они позволили себе проникнуться самыми безумными надеждами, не сомневаясь, что все можно изменить одним махом. Было бы достаточно, заявляли они, если все трое вместе появятся на публике, примирившись и воссоединившись, к восторгу всех большевиков, и вернут партию на верный путь. Едва ли когда самое мрачное уныние так легко отступало перед самой жизнерадостной невинностью.

На чем основывался их оптимизм? Еще несколько месяцев назад они пользовались всей полнотой власти. Прошло лишь несколько недель с тех пор, как Зиновьев лишился своей ленинградской вотчины, при этом оставшись председателем Коминтерна. Их падение было столь стремительным и внезапным, что они отказывались в него поверить, привыкнув к тому, что по одному их жесту приходят во вращение огромные колеса партии и государства. В их ушах еще звучал рев восторженных приветствий — фальшивых приветствий, не выражавших народных настроений, а искусственно организованных партаппаратом. Когда вокруг неожиданно воцарилась гробовая тишина, они решили, что это галлюцинация, ошибка, случайность, причина которой — разрыв со Сталиным, которого они сами, как им казалось, поставили во главе партии. Да, но кто такой этот Сталин? Неотесанный, полуобразованный, неуклюжий махинатор, неудачник, которого они неоднократно спасали от гибели, потому что считали его полезным в игре против Троцкого. У них никогда не было сомнений, что как человек, вождь и большевик Сталин не доставал Троцкому до лодыжек. А сейчас, когда они объединились с Троцким, конечно, не составит ни малейшего труда смести Сталина в сторону и вернуть партию под совместное руководство¹.

Троцкий качал головой. Он не разделял их оптимизма, успев сполна отведать вкус поражения. В течение многих лет

¹ Рут Фишер описывает, как Зиновьев в разговоре с ней «не без робости затронул» тему его союза с Троцким. «Это борьба за власть в стране, — говорил он. — Троцкий нужен нам не только потому, что без его блестящих мозгов и массы сторонников мы не получим власти, но и потому, что после победы нам понадобится сильная рука, чтобы вернуть Россию и Интернационал на дорогу социализма. Более того, никто, кроме него, не сможет организовать армию. Сталин выставил против нас не манифесты, а власть, и одолеть его можно только более сильной властью, а не манифестами. С нами Лашевич, и если мы объединимся с Троцким, то победим».

Троцкий ощущал на себе давление партаппарата, обрушившегося на него всей своей мощью и загнавшего его в пустыню. Троцкий лучше понимал процессы, деформировавшие партию, то «бюрократическое вырождение», которое бессильно наблюдал с 1922 года. А за спиной партаппарата он более ясно, чем Каменев и Зиновьев, видел ужасающее варварство старой Руси-матушки, никак не желавшее сдаваться. Кроме того, ему была подозрительна ненадежность и безответственность новых союзников. Троцкий не мог забыть всего того, что было между ними. Тем не менее он был полон всепрощения и постарался успокоить нервы «союзников» перед долгой и тяжелой борьбой.

Сам он тоже питал известные надежды и тоже верил, что их примирение расшевелит партию. Зиновьев и Каменев вызвались публично признаться, что Троцкий был совершенно прав, когда предупреждал партию об опасности ее бюрократизации. Он же в ответ был готов сказать, что ошибался, нападая на них как на вождей бюрократии, когда следовало сосредоточить весь огонь на Сталине. Троцкий тоже надеялся, что две оппозиции, заключив союз, не только объединят существующих сторонников, но и привлекут новых. В конце концов, «старая гвардия» смотрела на Зиновьева и Каменева снизу вверх. Было известно, что их поддерживает вдова Ленина. В той команде, которая возглавляла ленинградскую оппозицию, пусть и не настолько выдающейся, как круг последователей Троцкого, все же были такие видные люди, как Лашевич — по-прежнему замнаркома обороны, Смилга — один из наиболее способных политкомиссаров Гражданской войны и выдающийся экономист, Сокольников, Бакаев, Евдокимов и другие. С такими людьми, как Преображенский, Радек, Раковский, Антонов-Овсеенко, Смирнов, Муралов, Крестинский, Серебряков и Иоффе, не говоря о многих других, единая оппозиция получала куда больше талантов и влияния, чем имелось в распоряжении у сталинской и бухаринской фракций. Наконец, несмотря ни на что, политическое возрождение рабочего класса пусть и с задержкой, но все равно должно было начаться, и тогда ветер задул бы в паруса оппозиции.

У партнеров не было времени для разработки точных планов или хотя бы для того, чтобы четко определить условия своего соглашения. Через день или два после их первой приватной встречи Троцкий уезжал за границу — лечиться. Хроническая

лихорадка, от которой он страдал последние годы, никак не отступала, температура у него порой поднималась до 38 °С, лишая сил в самые критические моменты борьбы и вынуждая по многу месяцев жить на Кавказе, там Троцкий провел зимы 1924-го и 1925 годов и ранние весенние месяцы. Русские врачи не могли поставить диагноз и уговаривали Троцкого проконсультироваться с немецкими специалистами. Политбюро не возражало против его поездки за границу, но требовало, чтобы Троцкий сам взял на себя ответственность. Примерно в середине апреля в компании жены и нескольких телохранителей Троцкий прибыл в Берлин инкогнито, сбрив бороду, по документам числясь украинским работником просвещения Кузьменко. Большую часть времени он провел в частной клинике, где лечился и даже перенес небольшую операцию, но в промежутках свободно гулял по Берлину, разглядывая этот деградировавший город, так непохожий на известную ему по старым дням имперскую столицу. Троцкий присутствовал на первомайском параде, посетил «праздник вина» за городом и т. д. Он с большим удовольствием пользовался возможностью впервые после 1917 года «двигаться в массе, не обращая на себя ничего внимания, чувствуя себя частицей безмянного целого, слушая и наблюдая»¹. Но его инкогнито все равно каким-то образом впоследствии раскрылось, и немецкая полиция предупредила директора клиники, что белые эмигранты собираются сделать покушение на жизнь его пациента. Под сильной охраной Троцкого перевезли в советское посольство, и вскоре после этого он вернулся на родину, нисколько не поправившись. Насколько обоснованными были предупреждения о готовящемся покушении, никто так и не узнал².

¹ «Только один раз сопровождавший [на первомайском параде] нас сотрудник сказал мне осторожно: «Вот ваши карточки продаются». Но по этим карточкам никто не мог бы узнать члена коллегии наркомпро-са Кузьменко».

² Во время пребывания в берлинском посольстве Троцкий провел много часов в дискуссиях с Крестинским, который был послом, и Е. Варгой, ведущим экономистом Коминтерна. Темой дискуссий Троцкого с Варгой было построение социализма в одной стране. Варга признавал, что в качестве экономической теории доктрина Сталина бессмысленна, что социализм в одной стране — это утопия, но тем не менее этот лозунг политически полезен, так как способен вдохновить отсталые массы. Деляя в своих бумагах заметки об этой дискуссии, Троцкий называет Варгу «Полонием Коминтерна» (имеется в виду персонаж «Гамлета». — *Пер.*).

Во время пребывания в Берлине, которое продолжалось около полутора месяцев, Троцкий был взбудоражен двумя совсем неравнозначными политическими событиями. В Польше маршал Пилсудский, которого поддерживала коммунистическая партия, только что произвел переворот и стал диктатором. В Великобритании длительная забастовка шахтеров сменилась колоссальной всеобщей стачкой. Абсурдное поведение польских коммунистов объяснялось отчасти запутанным положением в их стране, но отчасти и замешательством в Коминтерне, которое было вызвано антитроцкистскими кампаниями: Польская компартия в малом масштабе повторяла политику, которую в то время вели китайские коммунисты, поддерживавшие генерала Чан Кайши и гоминьдан. Всеобщая забастовка в Британии подтверждала прогнозы, сделанные Троцким в «Куда идет Англия?»¹, а помимо этого означала новое испытание для Коминтерна. Британские вожди Англо-русского комитета изо всех сил старались свернуть забастовку, пока она не переросла в революционный взрыв, а чтобы не лишиться своей респектабельности, отказывались принимать помощь, которую советские профсоюзы предлагали забастовщикам. В результате Англо-русский комитет оказался в нелепом положении. Однако вожди британских тред-юнионов все же извлекли некоторую выгоду из его существования: на критическом этапе всеобщей забастовки коммунисты, уважая репутацию Совета, крайне сдержанно критиковали их поведение. Троцкий еще до возвращения в Москву выступил в «Правде» с нападками на политику Англо-русского комитета, на который возлагали большие надежды Сталин и Бухарин².

Лишь после возвращения Троцкого он и два экс-триумвира всерьез приступили к объединению своих фракций. Сделать это было непросто. Во-первых, троцкистская фракция была распылена и ее требовалось собрать заново. При этом выяснилось, что она значительно ослабела по сравнению с 1923 годом. Во-вторых, сторонники обеих фракций совсем не горели стремлением объединяться. Былая враждебность еще давала о себе знать,

¹ В книге «Моя жизнь» Троцкий говорит, что сам не рассчитывал на такое скорое подтверждение своих прогнозов.

² Сталин же тем временем убрал сторонников Зиновьева из Исполкома Коминтерна. На майской сессии Исполком проголосовал за снятие Фишер и Маслова, Трейнта, Домского и прочих прозиновьевски настроенных вождей Германской, Французской и Польской компартий.

и они по-прежнему не доверяли друг другу. Среди последователей Троцкого одни выступали за коалицию, но другие — Антонов-Овсеенко и Радек — скорее объединились бы со Сталиным, чем с Зиновьевым. Третьи призывали «чуму на оба дома». «Сталин обманет, — говорил Мрачковский, — а Зиновьев убежит». Рядовые троцкисты в Ленинграде сперва даже отказывались раскрываться зиновьевцам: после гонений, которым те подвергали их, они привыкли скрывать от последних свои слова и поступки почти так же, как скрывали их от царской охранки. «Что случится, — спрашивали они, — если зиновьевцы передумают и примирятся со Сталиным? В результате окажется, что мы сами предали себя в руки гонителей». Троцкий был вынужден послать в Ленинград Преображенского, чтобы развеять эти опасения и убедить своих упорствующих сторонников войти в коалицию. Зиновьевцы пребывали в таком же замешательстве. Едва вести о предполагаемой коалиции дошли до Ленинграда, они бросились в Москву упрекать своих вождей за «капитуляцию перед троцкизмом». Зиновьеву и Лашевичу пришлось объяснять, что понятие «троцкизм» выдумали они сами и больше не намереваются им пользоваться. Это признание не могло не потрясти бедных ленинградцев, которые воспринимали обвинения Зиновьева в адрес Троцкого всерьез и сами их повторяли. Но даже когда взаимную неприязнь удалось преодолеть или приглушить и обе фракции приступили к объединению, их члены все равно чувствовали, что заключают мезальянс.

Среди вождей прежний энтузиазм тоже приугас. Зиновьев и Каменев начали оглядываться через плечо. Они не намеревались доводить свои разногласия с правящими фракциями до непоправимого разрыва и с беспокойством выслушивали обвинения в «капитуляции перед троцкизмом». Признавая свою вину перед Троцким, они все же хотели сохранить свою репутацию и стремились оставить при себе окружавший их полуподдельный ореол «чистых ленинцев». И когда Троцкий после своего возвращения, комментируя события прошлой недели, заявил, что польские коммунисты поддержали переворот Пилсудского потому, что Коминтерн приказал им бороться за «демократическую диктатуру рабочих и крестьян», которую проповедовал Ленин в 1905 году, а не за пролетарскую диктатуру, Зиновьев и Каменев не могли с ним согласиться. Понятие «демократической диктатуры» в их «старом большевистском» мировоззре-

нии было неприкосновенным, и, хотя в случае Польши это не имело большого значения¹, оно снова и снова всплывало в дискуссиях по поводу Китая в следующем году. Кроме того, их коробила та резкость, с которой Троцкий отзывался об Англо-русском комитете, заявляя, что тот никогда не приносил пользы и его следует распустить. Зиновьев был готов критиковать Политбюро и британских коммунистов за то, что те якшаются с вождями британских тред-юнионов, но он не желал «губить» Совет, который сам помогал создать. Но в первую очередь Зиновьев боялся оттолкнуть от себя тех представителей «старой гвардии», которые либо поддерживали Сталина с оговорками, либо колебались и призывали все фракции к умеренности. Стремление экс-триумвиров объединить усилия с Троцким оказалось недолгим; они уже шарахались от призывов к неприкрытой атаке на Сталина и Бухарина. Таким образом, прежде чем заключать союз, Троцкому пришлось выявить все разногласия и пойти на уступки. Он обещал Зиновьеву и Каменеву соблюдать неприкосновенность «демократической диктатуры рабочих и крестьян» и отозвать свое требование распустить Англо-русский комитет. Благодаря этому Троцкий сумел прийти к согласию с Каменевым и Зиновьевым по многим другим вопросам.

Битва началась, отчасти по инициативе Сталина, в первые дни июня. Сразу же после возвращения Троцкого Сталин выдвинул против него на Политбюро два свежих, нелепых, но хлестких обвинения: Троцкий якобы выказывал недопустимую «враждебность к британской компартии», а во внутренних делах продемонстрировал свою злокозненность и упрямое поражение, заявив, что «боится хорошего урожая»². Троцкий изо всех сил старался оправдаться. Затем, 6 июня, он направил в Политбюро вызывающее письмо, заявив, что, если только партия честно и всецело не исправится, в один прекрасный день она проснется под ярмом неограниченного самодержца.

¹ Даже Бухарин и Сталин осуждали действия польских коммунистов.

² Первое обвинение основывалось на жалобе Британской компартии; второе — на заявлении Троцкого, сказавшего, что проблема отношений между городом и деревней останется острой вне зависимости от того, насколько хорошим будет урожай в этом году. Если он окажется плохим, будет нехватка продовольствия; в случае хорошего урожая у кулаков прибавится силы, самоуверенности и возможности диктовать свои условия.

Так Троцкий возобновил открытую борьбу со Сталиным. Момент выбирал не он — на этот раз ввязаться в схватку его побудили дела и состояние ленинградской оппозиции. Так или иначе, годы выжидания в молчании и уединении закончились, и Троцкий знал, что они ему ничего не принесли: все «гнилые компромиссы» со Сталиным, о которых его предупреждал Ленин, заключались зря. Троцкий был готов на компромисс с Зиновьевым и Каменевым, чтобы выступить с ними единым фронтом против Сталина, но готов был бороться и без них. Он сам нажил себе непримиримого врага и знал, что отступать некуда. Все эти годы он жил, копя силы для новых сражений. Наконец день настал и жребий был брошен.

Глава 5

РЕШАЮЩАЯ СХВАТКА: 1926—1927 ГОДЫ

Борьба единой оппозиции со сталинистами и бухаринцами продолжалась около полутора лет. В течение этого времени Троцкий участвовал в таких напряженных политических баталиях, что по сравнению с ними его прежние столкновения с триумвирами казались просто стычками. Не зная усталости, не имея ни минуты передышки, напрягая нервы, прибегая к аргументам несравненной силы и убедительности по исключительно широкому кругу идей и политических вопросов и получив наконец поддержку большей части, если не большинства «старой гвардии», которая прежде отвергала его, Троцкий приложил колоссальные усилия к тому, чтобы разбудить партию большевиков и повлиять на дальнейший ход революции. В глазах будущих поколений Троцкий предстанет в 1926—1927 годах не менее, а может быть, и более великим бойцом, чем в 1917 году. Мощь его разума нисколько не уменьшилась. Пламя революционной страсти горело в нем так же ярко и неистово, как и всегда. При этом Троцкий продемонстрировал куда более значительную силу характера, чем та, что была ему нужна и проявлялась в нем в 1917 году. На этот раз он сражался со своими противниками в стане революции, а не с классовыми врагами, и для такого сражения требовалось не только большее мужество, но и мужество иного рода. Несколько лет спустя даже его противники, частным образом рассказывая о событиях этой борьбы и описывая его могучие выпады и то, как

он стоял под ударами, нарисовали образ павшего титана — радуясь его падению, они все-таки благоговейно вспоминали о величии сокрушенного врага.

Разумеется, и другие вожди привнесли в это состязание нешуточные страсти, ресурсы своих незаурядных марксистских умов, тактическое хитроумие и ту энергию и решительность, которая даже в самых слабых из них была заметно выше среднего уровня. Вопросы, по поводу которых шла борьба, входили в число самых величайших и сложнейших, какие когда-либо служили предметом для столкновения: на карту была поставлена участь 160 миллионов человек и судьба коммунизма в Европе и Азии.

При этом великая схватка проходила в ужасающем вакууме. С каждой из сторон в ней участвовали лишь крохотные группировки. Страна молчала. Никто не знал и не мог знать, о чем она думает; трудно было даже определить, кому она сочувствует. Решались вопросы ее жизни и смерти, но сама она не участвовала в игре. Внешне все выглядело так, словно нация ни своими мыслями, ни чувствами не могла повлиять на исход борьбы — народные массы были лишены всех возможностей для политического выражения. Однако противники ни на момент не отрывали глаз от рабочих и крестьян, ибо хоть те были и безмолвны, но в конечном счете именно их настроения были решающим фактором. Чтобы победить, правящим фракциям требовалась только пассивность масс, в то время как оппозиция для своего успеха нуждалась в их политическом пробуждении и активности. Соответственно, у одной стороны задача была легче: гораздо проще запутать массы и посеять среди них апатию, чем заставить их определиться со стоящими на повестке дня вопросами и возбудить их дух. Более того, оппозицию, пытающуюся обратиться к народу, с самого начала сковывали наложенные ею самой ограничения. Считая себя частью правящей партии и по-прежнему признавая полную ответственность партии за судьбу революции, оппозиция не могла чистосердечно призвать к борьбе со своими противниками рабочий класс, большая часть которого не числилась в партии. Однако ожесточенность борьбы нарастала, и оппозиция в конце концов была вынуждена искать поддержки именно в этой массе рабочих, после чего в полной мере ощутила всю задавленность и скованность общественного

мнения. Никто не пострадал от этого более сурово, чем Троцкий: все свои громы и молнии он метал в пустоту.

Не все спорные вопросы в исторической перспективе выглядят столь же серьезными, какими они казались главным участникам схватки. Ряд важнейших проблем утратил свою остроту и отошел в тень вскоре после прекращения дискуссий; вместе с ними размылись или исчезли некоторые линии раскола, казавшиеся глубокими и непреодолимыми. Сталин с холодной жестокостью называл Троцкого «врагом крестьян», в то время как Троцкий объявлял Сталина «другом кулака». Отзвуки этих обвинений еще витали в воздухе, когда Сталин приступил к уничтожению кулака. Аналогичным образом Сталин выступал против «супериндустриализации», которой якобы грозил стране Троцкий, но затем сам очертя голову устремился по пути, который только что заклеил как погибельный.

Пока борьба продолжалась, большинство ее персонажей окутал туман. Если в ходе дальнейшего рассказа мы не будем упускать из виду судьбу, которая ожидала Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского и многих других, нас поразит непоследовательность и тщетность их усилий, даже если нам вполне понятны их мотивы. Каждый из этих людей полностью погружался в текучку дня или момента, лишаясь всякой способности заглянуть вперед и предугадать грядущие бедствия. Не только Сталин и ход событий влекли их навстречу своей участи — они сами тащили туда друг друга, причем порой с такой яростной одержимостью, которая ломала их личности и замутняла сознание. Внушительные фигуры вождей теряли свое величие и превращались в беспомощные жертвы обстоятельств. Гиганты становились мотыльками, один за другим слепо стремящимися в огонь. Лишь две фигуры до самого конца вели противостояние, нисколько не лишаясь своей реальности и взаимной враждебности, — Троцкий и Сталин.

Летом 1926 года единая оппозиция лихорадочно вела организационную работу среди своих сторонников. Она направляла эмиссаров в партиячки Москвы и Ленинграда, чтобы установить контакт с теми, кто был известен своими критическими взглядами на официальную политику, в надежде во-

влек их в оппозиционные группировки и сделать ораторами оппозиции в своих ячейках. Торопясь расширить сеть своих групп, оппозиция отправляла гонцов также во многие провинциальные города, снабжая своих посланцев инструкциями, документами и «тезисами», в которых раскрывались воззрения оппозиционеров.

Вскоре поездки эмиссаров привлекли внимание Генерального секретариата, который следил за перемещениями подозреваемых в симпатии к оппозиции. От троцкистов и зиновьевцев потребовали объяснений. Парткомы, узнав о каких-либо собраниях оппозиционеров, посылали своих представителей, чтобы разогнать эти собрания как незаконные. Когда это не помогало, они отправляли отряды преданных громил, чтобы разогнать собрания силой. Так оппозиция была вынуждена перейти к более-менее подпольной работе. Ее сторонники тайно собирались в жилищах скромных рабочих в окраинных кварталах. Когда отряды громил выслеживали их и там, они встречались маленькими группами на кладбищах, в пригородных рощах и других местах, выставя часовых и отряжая патрули для самозащиты. Но длинная рука Генерального секретариата дотягивалась и до этих подпольных собраний. Недостатка в причудливых инцидентах не было. Например, однажды ищейки Московской партийной организации обнаружили нелегальное собрание в загородном лесу. На собрании председательствовало важное лицо из Исполкома Коминтерна, один из подручных Зиновьева; к нему обращались ни много ни мало как к Лашевичу, замнаркома обороны. Зиновьев, как председатель Коминтерна, пользовался административным ресурсом, чтобы распространять оппозиционные газеты и наладить связь с группами на местах. Оказалось, что штаб Коминтерна стал гнездом оппозиции; этот факт тоже вскоре привлек внимание Сталина.

При таких обстоятельствах оппозиция сумела набрать и организовать несколько тысяч постоянных сторонников. Оценки реальной численности оппозиции, примерно половину которой составляли троцкисты, а другую половину — зиновьевцы, колеблются от 4 до 8 тысяч человек¹. Остатки

¹ Минимальная оценка — по сталинским источникам, максимальная — по троцкистским.

«рабочей оппозиции» — в лучшем случае несколько сотен человек — тоже заявили о своем присоединении. Единая оппозиция стремилась принять всех, кто изъявлял такое намерение, вне зависимости от прошлых разногласий, питая надежду стать колоссальным объединением всех диссидентов из числа большевиков. Поэтому может показаться, что она в самом начале потерпела решающее поражение, не завербовав большого числа сторонников. По сравнению с общей численностью партии, достигавшей 750 тысяч, несколько тысяч оппозиционеров представляли собой незначительное меньшинство.

Однако относительную силу фракций не следует измерять только этими цифрами. Подавляющее большинство партийцев представляло собой аморфную массу, состоявшую из робких и послушных членов, не имевших ни своего мнения, ни своей воли. Прошло уже больше четырех лет с тех пор, как Ленин заявил, что партия практически потеряла значение как политический орган и только «старая гвардия», этот «тончайший слой», насчитывавший не более чем несколько тысяч человек, оставался хранителем большевистских традиций и принципов. Результаты усилий оппозиции по вербовке сторонников следует оценивать в свете этого заявления. Оппозиция находила поддержку не в инертной массе, а у мыслящих, активных и энергичных элементов, по большей части представителей «старой гвардии», а отчасти молодых коммунистов. Оппортунисты и карьеристы держались в стороне. Зрелище разогнанных собраний и громкие угрозы, которые сторонники оппозиции слышали от приверженцев Сталина и Бухарина, отпугивали трусливых и осторожных. Те немногие приспособленцы, которые в 1923 году поставили не на ту лошадь и называли себя троцкистами, получили шанс исправиться, присоединившись к правящим фракциям. Несколько тысяч троцкистов и зиновьевцев, подобно профессиональным революционерам прошлого, представляли собой людей, остро чувствовавших веяния времени и идущих на серьезный личный риск. Большинство из них занимали выдающееся положение в партии в самые критические моменты ее истории и в политическом плане были тесно связаны с рабочим классом. Сомнительно, чтобы ядро правящих фракций было сильнее хотя бы в количественном выражении. В тот момент бухаринцы казались даже более популярными, чем сталинисты, одна-

ко два года спустя их разгромили с куда большей легкостью, чем единую оппозицию, хотя один из их вождей председательствовал в Совнаркоме, другой — в профсоюзах, а третий — в Коминтерне. Что касается сталинской фракции, ее сила заключалась не в размерах, а в полном подчинении партаппарата ее вождю. Благодаря этому он мог использовать все партийные ресурсы, вести подтасовки на выборах, обеспечивать себе большинство, маскировать сектантский и персональный характер своей политики — одним словом, отождествлять собственную фракцию со всей партией. В лучшем случае в грандиозном внутривнутрипартийном конфликте сознательно, непосредственно и активно участвовало не более 20 тысяч человек.

Единая оппозиция официально заявила о своем существовании на пленуме ЦК в середине июля¹. Вскоре после открытия пленума Троцкий зачитал политическое заявление, в котором он, Зиновьев и Каменев выражали сожаление по поводу своих прошлых ссор, объявляли своей общей целью освободить партию от тирании ее «аппарата» и работать над восстановлением внутривнутрипартийной демократии. Оппозиция причисляла себя к левым большевикам и претендовала на защиту интересов рабочего класса от богатых крестьян, нэпманской буржуазии и бюрократии. Первым ее требованием было повышение зарплаты для рабочих. Правительство заморозило рост зарплаты, запретив ее дальнейшее повышение, не оправданное ростом производительности. Оппозиция в ответ заявляла, что при таком жалком состоянии рабочего класса — заработки по-прежнему не дотягивали до дореволюционного уровня — необходимо сперва повысить благосостояние рабочих, а лишь затем добиваться подъема производительности. Рабочие должны иметь право выдвигать свои претензии через профсоюзы и торговаться с администрацией предприятий, в то время как они вынуждены подчиняться диктату, а профсоюзы превратились в послушное оружие государства. Кроме того, оппозиция требовала налоговой реформы. Правительство повышало свои доходы за счет косвенных налогов, основная тяжесть которых, как обычно, ложилась на бедных. Эту ношу, считала оппозиция,

¹ Это была совместная сессия ЦК и Центральной контрольной комиссии, проходившая с 14 по 23 июля.

следует облегчить и заставить нэпманов платить повышенный налог с прибыли¹.

Проблемы деревни оппозиция рассматривала с параллельной точки зрения. Она требовала реформы налогообложения и на селе, утверждая, что взимавшийся тогда единый сельский налог выгоден богатым крестьянам и предлагая освободить огромную массу бедняков, составлявшую 30—40 процентов всех держателей наделов, от налогов, а с остальной части крестьянства брать прогрессивный налог, который ляжет в основном на кулаков. Кроме того, оппозиция настаивала на коллективизации в деревне. Она не призывала к насильственной или сплошной коллективизации или к «ликвидации кулака как класса», выступая за длительную и постепенную реформу, строго с согласия крестьянства; движущей силой реформы должна была стать кредитная политика правительства и применение индустриальных ресурсов. Ни одно из предложений оппозиции не шло дальше чем 50-процентное повышение налогов на кулаков и практически принудительные зерновые займы, которые позволили бы правительству расширить экспорт и продолжить импорт промышленного оборудования. Оппозиция утверждала, что, несмотря на заявления правительства, введение нового налогообложения и зерновых займов позволит правительству увеличить фонды промышленных инвестиций, невзирая на рост заработной платы и налоговые послабления для бедного крестьянства.

Ключевым пунктом оппозиционной программы было требование ускоренной индустриализации. Троеккий снова, на этот

¹ Оппозиция считала скандальным, что правительство большую часть своих доходов получает от государственной монополии на водку и вследствие этого кривно заинтересовано в массовом пьянстве. То, что правительство приобретало как производитель водки, оно теряло как наниматель рабочих рук вследствие пьянства среди рабочих и высокого уровня травматизма на производстве. Правительство оправдывало водочную монополию тем, что она эффективно препятствует еще более катастрофическому массовому употреблению самогона. Вопрос, видимо, был действительно сложный. Оппозиция предлагала, чтобы правительство временно, в качестве эксперимента, отменило водочную монополию на год или на два. Большинство отвергло это предложение. Как мы помним, в первую неделю после Октябрьской революции большевикам пришлось бороться с чумой массового пьянства — наследием Руси-матушки. Десять лет спустя эта чума продолжала свое шествие; власти использовали ее для пополнения бюджета и политического одурманивания масс.

раз при поддержке Зиновьева и Каменева, обвинил правительство в неумении заглядывать вперед и планировать. Официальная политика отличалась такой нерешительностью и приверженностью к «черепашьему шагу», что развитие промышленности, как правило, обгоняло официальные прогнозы. В 1925 году производство чугуна со сталью и транспорта вышло на тот уровень, достижения которого ВСНХ ожидал не ранее 1930 года. Каким серьезным стимулом для экономики могло бы служить дальновидное и энергичное руководство! XIV съезд высказался за повышение намеченных планок и ускорение темпов. Но эта резолюция не имела никакого реального эффекта: погрязшая в рутине бюрократия просто ее проигнорировала. Чтобы преодолеть инерцию, требовался всеобъемлющий и конкретный план на пять или даже восемь лет вперед. Лозунгом оппозиции стало «Дайте нам настоящий пятилетний план!».

Чем упорнее оппозиция настаивала на развитии социалистического сектора в экономике, тем решительнее она отвергала теорию о «социализме в одной стране». Эта тема стала центральным идеологическим вопросом. Оппозиция отвергла идею о национальном самодостаточном социализме как несовместимую с ленинскими традициями и марксистскими принципами. Она утверждала, что, несмотря на все задержки с распространением всемирной революции, у партии нет оснований видеть будущее Советского Союза в изоляции и преждевременно отмахиваться от перспектив развития революции за границей. Строительство социализма в любом случае продлится много десятилетий, а не два-три года — в таком случае зачем думать, что Советский Союз все это время будет оставаться единственным пролетарским государством? Именно это допускали сталинисты и бухаринцы, иначе они бы так упрямо не настаивали на том, чтобы идея о «социализме в одной стране» стала для партии символом веры.

Следовательно, под угрозой была вся интернациональная ориентация компартии. Заранее предполагать, что Советскому Союзу придется пройти весь путь построения социализма в одиночку, означало отказаться от надежд на мировую революцию, а значит, и прекратить всякую работу в этом направлении и даже препятствовать ей. Оппозиция утверждала, что, устранив мировую революцию из своих теоретических концепций, Сталин и Бухарин стремились устранить ее и из политической практики. Стратегия Коминтерна уже находилась под сильным

влиянием бухаринской идеи о «стабилизации капитализма»; и Сталин и Бухарин, как указывали Троцкий и Зиновьев, — ведут европейское коммунистическое движение если не к самоликвидации, то, по крайней мере, к примирению с партиями 2-го Интернационала и с реформистскими профсоюзами, которое принимает форму «оппортунистического» единого фронта. Входящие в единый фронт компартии оказываются на поводе у социал-демократов и проникаются реформистскими настроениями. Ярким примером такой тактики — полностью противоположной тем директивам, которые были приняты на первых конгрессах Коминтерна, — является Англо-русский комитет. Он создан по соглашению вождей профсоюзов двух стран и ни разу не смог и не захотел дать коммунистам возможность повлиять на реформистски настроенные массы. Соответственно он ничем не помог классовой борьбе в Великобритании. Наоборот, утверждала оппозиция, насаждая дружбу с вождями британских тред-юнионов, пока те старались заглушить волнения среди промышленных рабочих и даже сорвать всеобщую забастовку, советские коммунисты окончательно запутали английских рабочих, которые не могли отличить друга от врага. Троцкий и в меньшей степени Зиновьев и Каменев сосредоточили огонь своей критики на Англо-русском комитете как на воплощении трусливого отказа от революционных задач, который считали предпосылкой и следствием теории о социализме в одной стране.

В том заявлении, которое Троцкий зачитал на июльском пленуме ЦК, почти не содержалось ничего того, что он и его союзники не говорили бы раньше. Но они впервые дали свод своих критических замечаний и предложений во всеобъемлющем политическом документе и бросили совместный вызов правящим фракциям. Ответная реакция была яростной. Разгорелась жаркая дискуссия, еще более обострившаяся из-за прискорбного происшествия. Дзержинский, больной и крайне взбудораженный, произнес длинную неистовую речь, в которой осуждал вождей оппозиции, особенно Каменева. Два часа по залу заседаний разносились его пронзительные крики. Когда Дзержинский покидал трибуну, с ним случился сердечный приступ. Он рухнул в холле на глазах всего ЦК и в тот же день умер.

ЦК сразу же отверг требование пересмотреть ставки заработной платы. Вожди большинства утверждали, что спрос на товары не

обеспечен и повышение зарплаты, оторванное от подъема производительности, вызовет инфляцию и только ухудшит положение рабочих. Кроме того, ЦК отказался освободить бедных крестьян от налогов и усилить налоговое бремя для остальных, воспротивился требованию ускорить индустриализацию и, наконец, высказался в пользу сталинской и бухаринской политики в Коминтерне, в частности поддержав Англо-русский комитет. Однако растерянные правящие фракции по всем этим вопросам оказались в обороне; Сталин построил свою контратаку не на политических заявлениях, а на требованиях партийной дисциплины.

Он обвинил вождей оппозиции в том, что те создали постоянную фракцию в рамках партии и тем самым нарушили ленинский запрет, которому было уже больше пяти лет. Сталин нацелил свой удар на самое слабое, зиновьевское крыло оппозиции, потребовав у Зиновьева ответа в том, что тот злоупотреблял своим положением председателя Коминтерна и из его штаба поощрял деятельность оппозиции; кроме того, Сталин напал на Лашевича и группу второстепенных оппозиционеров за проведение нелегальных собраний в подмосковных лесах и, наконец, поднял вопрос о некоем Оссовском, который заявлял, что оппозиция должна превратиться в независимое политическое движение и начать открытые военные действия против Сталина и Бухарина *извне*, вместо того чтобы выступать как лояльная оппозиция *изнутри*. Троцкий от своего имени и от имени оппозиции откестился от этих взглядов и указал, что если некоторые оппозиционеры разочаровались в партии и не надеются на возможность реформировать ее изнутри, то вина за это лежит на вождах, которые сделали все, чтобы пресечь любые попытки реформ. ЦК решил исключить Оссовского из партии, изгнать Лашевича из ЦК и из Наркомата обороны и лишить Зиновьева его места в Политбюро.

Таким образом, в первом формальном столкновении единая оппозиция встретилась с ожесточенным сопротивлением. Исключение из партии одного из ее сторонников, пусть даже малоизвестного «экстремиста», было серьезным предупреждением. Разжалование Лашевича отрезало оппозицию от Военного наркомата. Но самым тяжелым ударом стало, конечно, изгнание Зиновьева из Политбюро. Поскольку Каменев еще с XIV съезда был только кандидатом, оба экс-триумвира лишились в Политбюро права голоса; из всех вождей оппозиции

только Троцкий сохранил там свое место. Зиновьев председательствовал в Коминтерне именно благодаря своему положению в Политбюро; отныне же его председательство становилось невыносимым. То, что Сталин решился разжаловать человека, которого еще совсем недавно многие считали старшим из триумвиров, свидетельствовало о его чрезвычайной силе и самоуверенности. Он выполнил свое решение со скоростью молнии, пунктуально соблюдая все процедурные тонкости. Предложение исключить Зиновьева из Политбюро, как и полагается, было поставлено перед ЦК, который один имел право назначать и смещать членов Политбюро; подавляющее большинство проголосовало за.

Уже на этом этапе в теории ничто не мешало Сталину выгнать из Политбюро и Троцкого. Однако Сталин был не вполне уверен, что последующие репрессии будут одобрены тем же самым подавляющим большинством, и понимал, что демонстрация умеренности только упрочит его положение. Разделяясь с оппозиционерами поодиночке, он тем самым подготавливал партийное мнение к финальной схватке, а пока же мог особенно не бояться принципиальных заявлений и политических деклараций оппозиции и ее демонстраций протеста, проводившихся в ЦК или Политбюро. Из того, что говорили вожди оппозиции, почти ничего не доходило до низовых ячеек и еще меньше проникало в печать. Пока сохранялось такое положение и правящая коалиция оставалась солидарной, словесные баталии в Политбюро и ЦК не приносили оппозиции никакой пользы.

Именно из-за этого оппозиции ничего не оставалось, как обратиться к рядовым партийцам через голову Политбюро и ЦК. Летом 1926 года Троцкий и Зиновьев наказывали своим сторонникам знакомить всех членов партии со взглядами оппозиции, распространять политические заявления, брошюры и тезисы и выступать в ячейках. Сами вожди оппозиции отправившись на заводы и в мастерские, чтобы выступить перед рабочими. Троцкий неожиданно появился на крупных митингах на Московском автозаводе и в железнодорожных мастерских. Но оппозиционерам так же не удавалось повлиять на настроения партийцев снизу, как и диктовать свою политику сверху. Партийный аппарат опережал их. Его агенты встречали их оскорбительным улюлюканьем, заглушали аргументы адским шумом, запугивали слушателей, разгоняли собрания и лишали ора-

торов физической возможности быть услышанными. Впервые почти за тридцать лет, впервые с начала своей карьеры революционного оратора Троцкий обнаружил себя беспомощным перед лицом толпы. Ни самые убедительные аргументы, ни талант убеждения, ни мощный и звучный голос не могли преодолеть презрительных выкриков, навязчивого шиканья и свиста. Еще более жестоким оскорблением подвергались другие ораторы. Стало ясно, что первое согласованное обращение оппозиции к мнению партии провалилось.

Сталин вскоре после этого хвастался, что оппозиция потерпела заслуженное поражение от рук честных рядовых большевиков. Оппозиция отвечала, что он настраивал против нее самые презренные элементы — люмпен-пролетариев и хулиганов, которые просто не дали ознакомиться рядовым партийцам с взглядами оппозиции. Сталин, конечно, не знал шепетильности, и рев, с которым его агенты встречали Троцкого, Зиновьева и их соратников, вряд ли можно было принять за «глас народа». Однако одним этим унижительные испытания оппозиции не объясняются. Банды громил могут разогнать крупные собрания лишь в том случае, если большинство поддерживает их или, по крайней мере, настроено нейтрально. Заинтересованная и дисциплинированная аудитория обычно умеет справляться с шумными личностями, мешающими ей слушать и собираться с мыслями. За хулиганами с их свистом стоят молчаливые толпы, слишком запуганные или безразличные, чтобы приложить усилия по поддержанию порядка. Именно апатия рядовых партийцев в конечном счете привела к поражению оппозиции.

Однако требования в пользу рабочих, выдвигавшиеся оппозицией, такие, как предложение повысить ставки зарплаты, были призваны разрушить эту апатию. Почему же они остались без ответа? По вопросу о зарплате правящие фракции сделали вид, что пошли на уступки. В июле они категорически отказывались рассматривать это требование, заявив, что повышение зарплат пагубно скажется на национальной экономике. Но в сентябре, понимая, что их противники готовы обратиться к массам, Сталин и Бухарин опередили их и пообещали увеличить жалованье для самых низкооплачиваемых и недовольных групп рабочих под тем предлогом, что экономическая ситуация якобы радикально улучшилась, хотя такого улучшения за два месяца не могло произойти в принципе. Таким образом, оппозиция добилась частичного успеха, но при этом лишилась самого

убедительного аргумента. Сталин еще больше спутал ей карты, когда начал применять идеи Троцкого в промышленной политике. Он еще ни в коем случае не был готов к всеохватной индустриализации, но в своих резолюциях и заявлениях использовал многие формулировки и даже целые цитаты из речей Троцкого.

Политика партии на селе также перестала быть внятной. Сталин утверждал, что у оппозиции и правящих фракций нет расхождений по отношению к кулаку, а только по отношению к среднему крестьянству. Объявленное на XIV съезде «наступление на кулака» возымело эффект. Оно пробудило в партийных кадрах скрытую подозрительность по отношению к неопопулистской школе. Бухарин больше не мог себе позволить публично заявлять о необходимости задабривать крепких хозяев. Настроения в массе большевиков переменялись: кулака снова стали считать врагом социализма. Хотя правительство по-прежнему опасалось задевать его и не желало увеличивать его налоговое бремя, не собиралось оно и идти на новые уступки. Вопрос о неонэпе больше не стоял на повестке дня. Но это не улучшило положения. Официальная политика, оказавшись в тисках противоположных мнений, застыла в неподвижности, лишившись каких-либо положительных сторон: она не могла рассчитывать ни на преимущества, которые могло бы принести заигрывание перед кулаком, ни на те, которые извлекла бы из жестких социальных и фискальных мер. Все доводы оппозиции оставались в силе. Однако Сталин сумел отвлечь внимание от этого обстоятельства: он обвинил Троцкого и Зиновьева в том, что они пытаются втянуть партию в конфликт с миллионами середняков — труженников, а не эксплуататоров, чья привязанность к частной собственности безвредна и чья добрая воля необходима для союза между пролетариатом и крестьянством.

Оппозиция в действительности не собиралась ссориться со средним крестьянством¹. Она не требовала от партии выжимать из них все соки налогами — кроме того, масса середняков, с трудом кормившаяся со своих наделов, в любом случае не могла помочь стране решить продовольственную проблему. Одна-

¹ Однако оппозиция утверждала, что сталинцы и бухаринцы нередко преуменьшают силу капиталистических хозяйств, называя кулака середняком.

ко обвинение в том, что оппозиция «жаждет крови середняка», сильно подпортило ей репутацию. Снова, как в 1923-м и 1924 годах, толпы пропагандистов рисовали Троцкого как архиврага крестьянства, прибавляя, что Зиновьев и Каменев тоже заразились враждебностью Троцкого к мужику. В партийных кругах люди перестали что-либо понимать в обвинениях и контробвинениях. Они с подозрением выслушивали призывы Бухарина поддержать крепкого хозяина, а теперь прониклись таким же недоверием к Троцкому и Зиновьеву. Рабочим, многие из которых имели деревенские корни, меньше всего был нужен конфликт с крестьянством. В первую очередь их интересовала собственная безопасность — и, поскольку Сталин как будто бы обещал им именно это, они не торопились ломать себе шею ради оппозиции.

Сила Сталина заключалась в его игре на всеобщем стремлении к миру, безопасности и стабильности. Троцкий же, казалось, снова шел наперекор этому стремлению и даже издевался над ним. Внутрипартийная борьба шла на фоне усталости масс и их страха перед рискованными экспериментами. Сталин играл на этой усталости и страхе еще более умело, когда старался оправдать свою внешнюю политику. Он снова изображал Троцкого как Дон-Кихота коммунизма, который может вовлечь партию в самые опасные авантюры.

«Троцкий, — говорил он, защищая Англо-русский комитет, — берет исходным пунктом своей политики эффектных жестов не конкретных людей, не конкретных и живых рабочих... а каких-то идеальных, бесплотных людей, революционных с ног до головы... Первое применение этой политики мы имели во время Брестского мира, когда Троцкий не подписал германско-русского мирного соглашения и сделал эффектный жест против него, полагая, что можно поднять жестом пролетариев всех стран против империализма... Как дорого нам обошелся этот жест, вы, товарищи, знаете хорошо. Кому на руку играл этот эффектный жест? ...Всем тем, которые старались удушить тогда еще не окрепшую Советскую власть... Нет, товарищи, мы не пойдем на эту политику... так же, как не пошли во время Брестского мира... Не хотим, чтобы наша партия превратилась в игрушку в руках наших врагов».

Сопоставление Брестского мира с Англо-русским комитетом было совершенно неуместно: даже прямой разрыв между советскими и британскими профсоюзными вождями —

а вследствие возражений Зиновьева оппозиция не настаивала на этом — ни в коем случае не представлял бы для Советского Союза угрозы, хотя бы отдаленно сопоставимой с той, которая стояла перед ним в дни брест-литовского кризиса. Это обвинение звучало еще более гротескно в устах Бухарина: в 1918 году он возглавлял «партию войны», которая потерпела поражение лишь тогда, когда за мир высказался Троцкий, от чьего решения зависел исход голосования. Но кто знал и помнил подробности той грандиозной драмы? Память у партии большевиков была короткой, и тем легче было возбудить в ней страх перед «героическими жестами» Троцкого.

В этом же самом настроении рядовой большевик прислушивался к дискуссиям о социализме в одной стране. Ему было чрезвычайно трудно разобраться в сущности вопроса. Диспут, пока он не увяз в искажениях фактов и софизмах, шел между двумя школами экономистов — одна предполагала «строительство социализма» в рамках национальной самодостаточной системы, а другая рассматривала его в контексте широчайшего международного разделения труда. За аргументацией на этом уровне могли следить только самые образованные члены партии. Рядовые партийцы не понимали, почему Зиновьев и Каменев настаивают, что внутренних ресурсов России, достаточно изобильных, чтобы обеспечить серьезный прогресс, все же недостаточно для построения полноценного социализма. Еще более темными были для них рассуждения Троцкого, опиравшиеся на более глубокие слои марксистской мысли. Он указывал, что, хотя социалистическая революция может какое-то время быть ограничена пределами одного государства, социализм невозможно построить в рамках отдельного национального государства, даже такого обширного, как Советский Союз или США. Марксизм всегда рассматривал социализм в рамках международного сообщества, поскольку утверждал, что общество в историческом плане стремится ко все более крупномасштабной интеграции. При переходе от феодального к буржуазному строю Европа преодолела свою средневековую разобщенность. Буржуазия создала национальный рынок; на его основе сформировалось современное национальное государство. Однако производительные силы и экономическая энергия развитых стран не могут замкнуться в национальных границах; они перерастают их даже при капитализме с его международным разделением труда, этим выдающимся достижением прогрес-

са, осуществленным на буржуазном Западе¹. Маркс, который в данном случае был преданным учеником Смита и Рикардо, писал в «Манифесте Коммунистической партии»:

«Крупная промышленность создала всемирный рынок... [который] вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения... Потребность в постоянно увеличивающемся сбыте продуктов гонит буржуазию по всему земному шару... Буржуазия... сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров, она вырвала из-под ног промышленности национальную почву... На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга». (Курсив автора.)

Тогда каким же образом, спрашивал Троцкий, социализм может ограничиваться пределами одной нации, с ее изоляцией и самодостаточностью? Предсказываемый социализм, который превзойдет уровень, достигнутый капитализмом, не может быть построен в стране с замкнутой и отсталой экономикой. Социализм еще сильнее, чем капитализм, основывается на «всесторонней зависимости наций». Он должен достичь в международном разделении труда несравненно большего прогресса, чем тот, о котором буржуазия способна лишь мечтать; в то время как последняя развивает его спорадически и без всякого плана, социализм будет создавать международное разделение труда систематически и рационально. Поэтому концепция о построении социализма в одной стране не просто нереальна — она еще и реакционна, так как игнорирует логику исторического развития и структуру современного мира. Троцкий еще более настойчиво, чем прежде, проводит мысль о «Соединенных Штатах Европы» как о предпосылке для мирового социалистического сообщества.

Какими бы ни были достоинства и недостатки этих рассуждений, они лежали за пределами понимания рядовых большевиков, которых оппозиция надеялась привлечь на свою сторону. Два года спустя, уже в ссылке, Радек, рассуждая о причинах поражения оппозиционеров, писал Троцкому, что они подо-

¹ Соответственно в 1930-х гг. Троцкий считал вернейшим признаком упадка буржуазного Запада его возврат к экономическому национализму (особенно в автаркичном Третьем рейхе).

дили к стоявшей перед ними задаче как пропагандисты, рассказывающие о великих, но абстрактных теориях, а не как политические агитаторы, старающиеся пробудить в массах отклик на популярные и практичные идеи. Несомненно, Радек писал это в пораженческом настроении — вскоре он капитулировал перед Сталиным, — поэтому его отзыв более чем несправедлив. Те практические идеи, которые выдвигала оппозиция (относительно заработной платы, налогообложения, промышленной политики, пролетарской демократии и т. д.), также не произвели впечатления на простых партийцев. Тем не менее в замечании Радека есть доля истины. Рядовые коммунисты устали, были разочарованы и склонялись к изоляционизму. Их не привлекали грандиозные исторические перспективы, которые раскрывал Троцкий. Они мечтали, как выразился Варга, об «утешительном учении, которое обещало бы им компенсацию за все жертвы — уже принесенные и те, к которым их только призывали». Теория о «социализме в одной стране» представляла собой мифотворческое достижение, которое должно было служить показателем успехов сталинизма и прикрыть пропасть между тем, что обещали большевики, и тем, чего на самом деле добились. Троцкий же считал это мифотворчество новым опимом для народа, от которого партия должна отказаться:

«Наша партия в свой героический период решительно стремилась к мировой революции, а не к социализму в одной стране. Вооружившись этим знаменем и программой, в которой откровенно утверждалось, что отсталая Россия в одиночку... не способна прийти к социализму, наша коммунистическая молодежь преодолела самые тяжелые годы гражданской войны, длительного голода, холода и эпидемий, выходила на субботники, училась и платила за каждый шаг вперед бесчисленными жертвами. Члены партии и комсомольцы сражались на фронтах и [в выходные дни] добровольно таскали бревна на железнодорожные станции — не потому, что надеялись построить из этих бревен национальный социализм; они служили делу всемирной революции, которая бы погибла, если бы пала советская крепость, и каждое бревно шло на укрепление этой крепости... Времена изменились... но принцип полностью сохраняет свою силу. Рабочий, крестьянин-бедняк, партизан, юный коммунист до 1925 года демонстрировали всем своим поведением, что им не нужно новое Евангелие. Оно нужно чиновнику, который свысока взирает на массы, мелкому бюрократу, не желающе-

му новых потрясений, и приспешнику партаппарата... Именно они полагают... что народ не может обойтись без утешительного учения... Рабочий, понимающий, что невозможно построить социалистический рай как оазис среди преисподней мирового капитализма и что судьба Советской республики и его собственная судьба зависят исключительно от всемирной революции — такой рабочий исполнит свой долг перед Советским Союзом куда более энергично, чем тот, кто верит в сказку о том, что у нас уже есть «90-процентный социализм».

К несчастью для оппозиции и для Троцкого, не только «мелкий бюрократ и приспешник партаппарата», но также усталые, разочарованные массы с большей готовностью откликнулись на такое утешительное учение, чем на героические призывы к перманентной революции. Они поверили в то, что Сталин обещает им более безопасный, легкий и безболезненный путь.

Строительство социализма в одной стране также пробуждало в населении национальную гордость, в то время как ссылки Троцкого на интернационализм понимались недалекими людьми в том смысле, что Россия не может полагаться на себя и ее спасение в конечном счете придет с революционного Запада. Это не могло не задеть самоуверенность людей, которые совершили величайшую из революций, — а такая самоуверенность, несмотря на жалкую повседневную жизнь, реально существовала, хотя странным образом перемешивалась с политической апатией. Троцкий придерживался архаического представления о России как о грозном препятствии на пути к социализму. Возглавляемые большевиками массы осознавали свою отсталость; их протестом против нее и стала Октябрьская революция. Однако нации, классы и партии, подобно отдельным людям, не могут бесконечно долго существовать с острым осознанием своей неполноценности. Раньше или позже они стараются подавить его, чувствуют себя оскорбленными, когда им слишком часто напоминают о нем, и приходят в ярость, когда подозревают, что кто-то намеревается сделать именно это. Апологеты социализма в одной стране приуменьшали российскую отсталость, оправдывали ее и даже отрицали¹. Они говорили народу, что и без всякой помощи сумеют построить со-

¹ Это отразилось даже в большевистской историографии, особенно в представлениях Покровского об эволюции капитализма и государства в России. В то время Покровский был ортодоксальным историком-сталинистом.

циализм, величайшее чудо в истории. Сталин пообещал не просто самый легкий и спокойный путь — это был путь избранных людей, той особой революционной миссии России, о которой мечтало не одно поколение народников. Собственно, мы видим столкновение двух конкурирующих, квазимессианских верований: троцкизма с его верой в революционное пробуждение пролетариата Запада и сталинизма с его прославлением социалистической судьбы России. Поскольку западное коммунистическое движение неоднократно продемонстрировало свое бессилие, можно было заранее предсказать, какое из этих учений найдет больший отклик в народе.

Однако, несмотря на всю свою неоправданную веру в грядущую революцию на Западе, именно Троцкий, а не его противники, как правило, более трезво представлял себе текущее состояние мировых дел. Его революционный идеализм не мешал жестко реалистическому подходу к конкретным ситуациям либо в сфере дипломатии, либо в коммунистическом движении. Впрочем, по самой своей природе эта сторона его деятельности, его авторитетные обзоры и анализ мировых событий не могли произвести большого впечатления на рядовых партийцев, привыкших цинично воспринимать окружавший Троцкого ореол революционного романтизма.

В дискуссиях Троцкого с противниками было еще труднее разобраться из-за того характерного схоластического стиля, в котором они велись. Параллель им можно найти в средневековой литературе, где теологи обсуждали, сколько ангелов может уместиться на головке булавки, или в талмудических диспутах о том, что было раньше — яйцо или курица. Когда простые большевики слышали, как Троцкий говорит, что лучший способ строить социализм в России — разжигать всемирную революцию, а Сталин отвечает, что лучший способ разжигать всемирную революцию — строить социализм в России, они чувствовали лишь головную боль от этих тонкостей аргументации. Обе стороны ссылались на каноны ортодоксального ленинизма, которые создали триумвиры, чтобы с их помощью разгромить Троцкого, а затем и навязали самому Троцкому. С тех пор эти каноны окрепли, застыли и еще сильнее запутались. Подобно многим другим канонам, они были призваны поставить нравственный авторитет унаследованного учения на службу интересам правящей группы, скрыть тот факт, что само это учение не дает четких ответов на новые вопросы, дать новую

интерпретацию его положением, покончить с сомнениями и разногласиями и навязать верным сторонникам образец поведения. Было бессмысленно искать в сочинениях Ленина решение текущих проблем. Несколько лет назад эти проблемы еще не встали или существовали только в зародыше; даже на те вопросы, которыми занимался Ленин, можно было найти самые противоположные ответы, поскольку он разбирался с ними в самые разные моменты и при совершенно противоположных обстоятельствах. Но это не помешало партийным вождям придать характер теологических формулировок тем фразам, которые для Ленина были всего лишь политическими оборотами речи. Хлесткие эпитеты, которыми Ленин любил награждать товарищей в пылу спора, превратились в папские анафемы. Чем более независимо мыслящим и инициативным был кто-либо из вождей большевиков, тем больше подобных отзывов в его адрес можно было выискать в сочинениях и переписке Ленина — лишь оппортунистам и лизоблюдам такая полемика ничем не грозила. Таким образом, призрак Ленина был вызван, чтобы учинить побоище среди его друзей и учеников, теперь возглавлявших оппозицию. Та изо всех сил старалась с помощью этого же призрака нанести ответный удар, заявляя, что именно ее противники виновны в искажении ленинского учения, в то время как оппозиция старается вернуть партию «к ленинизму».

Действительно, по ключевому вопросу дискуссий — о построении социализма в одной стране — ссылки оппозиции на ленинское учение были чрезвычайно убедительны: Ленин неоднократно утверждал, что это невозможно, а вслед за ним то же самое до 1924 года повторяли Сталин и Бухарин¹. Если бы

¹ Подробное изложение и анализ взглядов Ленина на этот вопрос можно найти в моей книге «Жизнь Ленина». Здесь же будет достаточно нескольких коротких цитат из Ленина: «Наша ставка была ставкой на международную революцию, и эта ставка безусловно была верна... Мы всегда подчеркивали, что смотрим с международной точки зрения и что в одной стране совершить такое дело, как социалистическая революция, нельзя». Ленин говорил так в третью годовщину Октябрьского восстания. После завершения Гражданской войны он заявляет снова: «Мы всегда и неоднократно говорили рабочим, что... важнейшее условие нашей победы состоит в распространении революции по крайней мере на несколько более развитых стран». На VI съезде Советов Ленин сказал: «Полная победа социалистической революции немыслима в одной стране, а требует самого активного сотрудничества по меньшей мере нескольких передовых стран, к которым мы Россию причислить не можем».

Сталин и Бухарин могли отстаивать свои взгляды в откровенной дискуссии, они бы сказали, что при жизни Ленина этот вопрос еще не стоял в том виде, в котором стоит сейчас, что после его смерти изоляция русской революции стала куда более очевидной, и, следовательно, заявления Ленина по этой теме утратили силу, так что новое учение можно создавать без оглядки на «священные тексты». Но Сталин и Бухарин не были свободны. Установленные ими самими каноны диктовали свою волю и им. Они не могли себе позволить предстать в облике ревизионистов ленинизма, которыми, несомненно, и являлись. Им приходилось объявлять теорию о «социализме в одной стране» законным следствием из ленинского учения — собственно, как идею, выдвинутую самим Лениным. Поскольку ленинские тексты тем не менее однозначно подтверждали правоту оппозиции, Бухарин и Сталин были вынуждены отвлечь от них внимание общественности, утопив дискуссию в бесконечных и запутанных софизмах, которые только запутывали, раздражали и в конце концов смертельно утомляли рядовых партийцев. Практически невозможно пересказать в историческом исследовании всю навязчивость и невыразимую монотонность этих замкнутых схоластических споров. Тем не менее стиль этой дискуссии представляет собой самую суть событий: его навязчивость и монотонность играли важную роль в политической драме. Они убивали в среднем большевике и рабочем всякий интерес к дискутировавшимся проблемам, порождая у него ощущение, что это догматическое копание в малопонятных вопросах не представляет никакого интереса для простых людей. Таким образом оппозиция теряла свою аудиторию, а правящие фракции получали возможность «доказать ортодоксальность своего учения апостольскими пинками и тычками».

Точно так же и призыв оппозиции «Назад к Ленину!» остался неуслышанным, когда оппозиция пыталась напомнить партии о той свободе, с которой она вела дискуссии и работала во времена Ленина. Эти напоминания были обоюдоострыми, ведь, хотя большевики действительно пользовались почти неограниченной свободой самовыражения почти до конца ленинской эпохи, сам Ленин под конец жестоко урезал эту свободу, наложив запрет на фракции и группировки. Может показаться, что чувство самосохранения должно было заставить оппозицию объявить этот запрет вредным или хотя бы устаревшим и потребовать его отмены. Однако оппозиция к тому вре-

мени настолько запуталась в сетях схоластики, что не осмелилась выступить против запрета, установленного по воле Ленина. В 1924 году Троцкий даже отмежевался от своих друзей, когда некоторые из них попытались отстаивать свободу внутрипартийных группировок. Два года спустя он считал этот запрет не утратившим силу, хотя и указывал, что тот предназначался для партии, пользовавшейся свободой самовыражения, и что в партии, которой зажат рот, недовольство и разногласия поневоле принимают форму фракционной борьбы. Таким образом, единая оппозиция, организовав настоящую фракцию, не осмеливалась отстаивать этот шаг, и такое малодушие делало ее вдвойне уязвимой. Только лицемеры, заявлял Сталин, могут призывать вернуться к ленинским нормам и попирают ногами запрет на фракции и монолитную дисциплину, которые являлись важнейшими принципами ленинизма. Следовательно, делал он вывод, ЦК не должен оставлять фракционную деятельность безнаказанной: в рядах большевиков нет места тем, кто отвергает ленинскую концепцию партии.

Тот отпор, который оппозиция получила в ячейках, и озвученная Сталиным угроза исключения внесли смятение в ее ряды. Зиновьев и Каменев, питавшие чрезмерные надежды на легкую победу, впали в уныние. Ощущение поражения усиливалось раскаянием. Они сожалели о своей попытке поднять ячейки против Центрального комитета и были готовы объявить отступление и задобрить противников. Кроме того, их тревожили те идеи, которые получили распространение в ультра-радикальных слоях оппозиции, где многие считали, что партия под ногтем у Сталина и Бухарина утратила способность прислушиваться к независимому мнению и безнадежно окаменела, поэтому оппозиция должна извлечь урок из своего поражения и объявить себя независимой партией. Это мнение, которого обычно придерживались выходцы из «рабочей оппозиции» и децисты, начало проникать даже в круги троцкистов — по свидетельству Троцкого, к нему склонялся даже Радек. Сторонники «новой партии» старались подвести более широкую основу под свои идеи: они утверждали, что старая партия уже вступила в «посттермидорианскую» фазу, «предала революцию», больше не является представителем рабочего класса и превратилась в защитницу бюрократии, кулаков и нэпманов. Некоторые заявляли, что Советская республика перестала быть пролетарским государством, потому что бюрократия стала в ней новым пра-

вящим и эксплуататорским классом, похитившим у трудящихся плоды их революции, как поступила и французская буржуазия в 1794 году. Поэтому оппозиция должна свергнуть бюрократию точно так же, как Бабеф со своим «заговором равных» пытался свергнуть власть посттермидорианской буржуазии.

Ни Зиновьев, ни Каменев, ни Троцкий не были с этим согласны. «Советский термидор» был для них не свершившимся фактом, а опасностью, которую следовало предотвратить. Революция, как они утверждали, еще не закончилась. Бюрократия не является ни правящим, ни собственническим классом, ни независимой социальной силой, а просто паразитическим наростом на государстве рабочих. Социально и политически неоднородная, раздираемая между социализмом и собственностью, бюрократия может со временем капитулировать перед нэпманами и капиталистами из числа крестьянства, в союзе с ними разрушить общественную собственность и восстановить капитализм. Однако, пока этого не случилось, основные завоевания Октябрьской революции остались нетронутыми, Советский Союз по сути своей является пролетарским государством, и старая партия в каком-то смысле остается стражем революции. Поэтому оппозиции не следует порывать с нею; напротив, она должна считать себя частью партии и с крайней преданностью и решительностью защищать большевистскую монополию на власть.

Отсюда следовало, что оппозиция не имеет права искать поддержку за пределами партии. Но и набирать себе сторонников из рядов партии ей тоже не позволяли. Тем самым оппозиция столкнулась с неразрешимой дилеммой. В данный момент было ясно, что оппозиция должна уступить, если хочет сохранить за собой возможность действовать в рамках партии, особенно после намеков Сталина об исключении. По этому вопросу троцкисты и зиновьевцы не могли прийти к единому мнению. Зиновьев и Каменев ставили лояльность к старой партии превыше всего. При этом вставал вопрос — как им продолжать борьбу, если партаппарат полностью подчинен Сталину? Они стремились к перемирию и собирались заявить, что отныне станут уважать запрет на фракции. Каменев и Зиновьев были готовы даже распустить созданные ими организованные группы, то есть распустить оппозицию как фракцию. Они прикладывали все силы к тому, чтобы отмежеваться от сторонников «новой партии», и порвали отношения с теми, кто ос-

паривал политическую монополию большевиков, а также собирались позабыть о главных вопросах, ставших причиной разногласий со Сталиным и Бухариным, — по крайней мере, на время. Похоже, большинству их сторонников также не терпелось протрубить отбой. Троцкисты были настроены более воинственно, а самые радикальные из их числа сочувственно прислушивались к аргументам в пользу новой партии.

В этой мешанине мнений Троцкий пытался спасти оппозицию. Чтобы не дать Зиновьеву и Каменеву упасть ниц перед Сталиным, он был готов вместе с ними пойти на некоторые уступки. Они договорились, что совместно объявят о своей готовности распустить оппозицию как фракцию и отмежеваться от сторонников «новой партии», но одновременно решительно подтвердят принципы оппозиции и критику в адрес правящих фракций, продолжая выступать против них на ЦК и в прочих комитетах, где те были представлены.

4 октября 1926 года Троцкий и Зиновьев обратились в Политбюро с предложением о перемирии. Сталин согласился, снял угрозу исключения, но выставил свои условия. Все фракции согласились с заявлением, которое собиралась сделать оппозиция, лишь после длительного торга. Не отказываясь от своей критики, а, наоборот, четко повторив ее, оппозиция объявила, что считает для себя обязательными все решения ЦК, прекращает всякую фракционную деятельность и отмежевывается от Шляпникова и Медведева, бывших вождей «рабочей оппозиции», и от всех тех, кто выступает за «новую партию». По требованию Сталина Троцкий и Зиновьев также отреклись от тех иностранных группировок и лиц, которые объявили о своей солидарности с российской оппозицией и были исключены из соответствующих компартий¹.

Оппозиция приняла эти условия с тяжелым сердцем. Она понимала, что происходящее мало отличается от капитуляции. Хотя оппозиция не отказалась от своей критики и сохранила лицо, у нее не осталось никаких перспектив и никакой надежды. Троцкий и Зиновьев, в сущности, отказались от своего права снова обратиться к рядовым партийцам. Они обязывались высказывать свои мнения лишь в руководящих органах партии, заранее зная, что никогда не получат большинства голосов и их

¹ В частности, они отреклись от Рут Фишер и Аркадия Маслова в Германии и от Бориса Суварина во Франции.

взглядам не суждено дойти до рядовых коммунистов. Таким образом, замкнулся порочный круг. Именно вследствие своей неудачи произвести какое-либо впечатление на ЦК они пытались обратиться к ячейкам; не получив отклика в ячейках, вернулись обратно в ЦК и оказались в ловушке. Оппозиционеры ослабили свои ряды, отмежевавшись от группы Шляпникова и Медведева, какими бы причинами ни руководствовались, и от ряда своих сторонников за границей. Объявив о роспуске собственной организации, они косвенно признали, что Сталин и Бухарин были правы, когда с самого начала обвиняли их в ее создании, а заявив, что признают запрет на фракции как не утративший силы и необходимый, они, в сущности, благословили тот кнут, которым их хлестал Сталин.

Взяв на себя все эти тягостные обязательства и продемонстрировав свою слабость, ее сторонники не сумели добиться соблюдения того перемирия, о котором просили. 16 октября их заявление появилось в «Правде», а всего через неделю, 23 октября, от перемирия не осталось и следа. В тот день ЦК собрался на обсуждение повестки дня предстоящей (XV) партконференции. Более-менее непротиворечивая повестка уже была подготовлена, однако ЦК — несомненно, с подачи Сталина — неожиданно решил добавить к ней специальный доклад об оппозиции, который следовало зачитать Сталину. Это не могло не разбедить старую рану. Троцкий выступил с протестом и призвал большинство соблюдать условия перемирия. Тем не менее ЦК дал наказ Сталину готовить доклад.

Почему Сталин нарушил перемирие, едва заключив его? Очевидно, он хотел воспользоваться своим преимуществом и разгромить оппозицию, пока она отступает. Помимо этого, возможно, его спровоцировало на новые враждебные действия событие, произошедшее через два дня после объявления перемирия. 18 октября «троцкист» Макс Истмен опубликовал завещание Ленина в «Нью-Йорк таймс» — тогда полный и подлинный текст завещания впервые появился на свет. За год до того Истмен привел отрывки из завещания в своей книге «После смерти Ленина», и, как мы помним, Троцкий отмежевался от него и по требованию Политбюро отрицал подлинность завещания. На этот раз Сталин не мог потребовать от него нового опровержения, но он наверняка заподозрил, что Истмен действовал по прямому или косвенному наущению Троцкого. Для такого подозрения имелись некоторые основания. В нача-

ле того же года посланец оппозиции действительно привез текст ленинского завещания в Париж и вручил его Суварину, который требовал от Истмена опубликовать его. «Думаю, это было не только решение Суварина, — пишет Истмен, — а идея всей оппозиции, чтобы именно я опубликовал его: во-первых, потому, что я уже получил значительную известность как друг Троцкого, во-вторых, потому, что многие люди в Москве, не утратившие совести, были обеспокоены отречением Троцкого от моей книги».

Догадки Истмена, несомненно, верны. Среди «людей, не утративших совести», никто не был обеспокоен сильнее, чем сам Троцкий. Он отрицал подлинность завещания и отмежевался от Истмена в тот промежуток времени, когда ни он, ни его друзья не желали быть втянутыми в борьбу и навлечь на себя репрессии по этому вопросу. Но после того как Троцкий создал единую оппозицию и снова ввязался в драку, у него появились все основания попытаться исправить свою оплошность. Зиновьев и Каменев не могли его не поддержать. Ведь именно они на XIV съезде снова выдвинули требование опубликовать завещание и повторяли его при каждой новой возможности. Как и Троцкий, они предпочли бы, чтобы завещание Ленина было напечатано в «Правде». Но поскольку об этом не могло быть речи, они едва ли испытывали особые колебания, передавая его для публикации в крупную буржуазную газету за границей, — завещание Ленина ни в коем случае не было государственной тайной или «антисоветским документом». Конечно, приходилось действовать в секрете, потому что формально они становились виновными в нарушении дисциплины. Копия документа была отправлена за границу в момент наибольших успехов единой оппозиции с надеждой, что публикация завещания сыграет на руку оппозициям в зарубежных компартиях и получит благоприятные отклики и в самом Советском Союзе. Однако к тому времени, как документ был издан, ситуация изменилась: оппозиция уже потерпела поражение, просила о перемирии и отмежевалась от заграничных приверженцев. 23 октября, в день заседания ЦК, газеты всего мира кричали о сенсационном разоблачении, и это, несомненно, вызвало крайнее озлобление в ЦК. Большинство решило игнорировать перемирие и задать оппозиции хорошую взбучку.

Два дня спустя на Политбюро разыгралась бурная сцена. Сталин только что огласил свои «тезисы» об оппозиции, ко-

торые намеревался зачитать на XV конференции. Он заклеил оппозицию за «социал-демократический уклон» и потребовал, чтобы ее вожди признали ошибочность своих взглядов и отказались от них¹. Троцкий снова выступил с протестом против нарушения перемирия, говорил о вероломстве Сталина, предупреждал большинство, что оно становится на такой путь, который вне зависимости от его желаний закончится полномасштабным остракизмом. Гневными словами он говорил о последующей братоубийственной борьбе, о полном разрушении партии и смертельной опасности, в которой окажется революция. Наконец, указывая на Сталина, он воскликнул: «Первый секретарь выдвигает свою кандидатуру на должность могильщика революции!» Сталин побледнел, встал, пытаясь сдержать себя, но затем выбежал из зала, хлопнув дверью. Заседание, на котором присутствовали многие члены ЦК, утонуло в шуме и гвалте. На следующее утро Центральный комитет изгнал Троцкого из Политбюро и объявил, что Зиновьев отныне не представляет советскую компартию в Исполкоме Коминтерна, тем самым пусть не номинально, но фактически лишив его места председателя Коминтерна. Эти события омрачили открывшуюся в тот же день конференцию.

Оппозиция оказалась в полном замешательстве. Она пошла на столько уступок и ничего не добилась, отреклась от единомышленников и союзников, признала себя виновной в нарушении запрета 1921 года, распустила свои организации — все для того, чтобы избежать обострения борьбы, а в результате оказалась вовлечена в еще более ожесточенную схватку, чем когда-либо, и подверглась новым ударам после того, как сама связала себе руки. В ее рядах царили раздоры. Зиновьев и Каменев упрекали Троцкого за то, что он без всякой нужды оскорбил Сталина и оттолкнул от себя большинство в тот самый момент, когда оппозиция пыталась утихомирить страсти. Даже некоторые троцкисты были напуганы тем неистовством, с каким Троцкий обрушился на Сталина. Жена Троцкого так описывает эту сцену:

«Однажды под вечер на нашу кремлевскую квартиру явились Муралов, Иван Смирнов и другие и стали ждать, когда Лев Давидович вернется с заседания Политбюро. Первым

¹ «Тезисы» Сталина появились в «Правде» 22 октября, в день открытия конференции.

пришел Пятаков. Он был очень бледным, его била дрожь. Он налил стакан воды, проглотил его одним залпом и сказал: «Знаете, мне довелось нюхать порох, но я никогда не видел ничего подобного, ничего более кошмарного! Зачем, зачем Лев Давидович сказал эти слова? Сталин никогда не простит ни его, ни его внуков и правнуков!» Пятаков был так потрясен, что не мог внятно рассказать, что случилось. Когда Лев Давидович наконец вошел в столовую, Пятаков бросился к нему с вопросом: «Зачем, зачем вы это сказали?» Лев Давидович только отмахнулся от вопроса. Он был обессилен, но спокоен. Он выкрикнул в лицо Сталину: «Могильщик революции!»... Мы понимали, что это окончательный разрыв»¹.

Эта сцена стала предвестием последующих событий: год спустя Пятаков вместе с Зиновьевым и Каменевым дезертировал из оппозиции. Но и сейчас, как утверждает Седова, он был убежден, что «наступил длительный период реакции» и в России, и за ее пределами, что рабочий класс политически обессилен, партии заткнули рот, а оппозиция погибла. Он по-прежнему выступал против Сталина, но скорее из чувства собственного достоинства и солидарности с товарищами, чем из убеждения.

После того как в оппозицию проникли такие пораженческие настроения, ее вожди решили еще раз попытаться заключить перемирие: они намеревались отказаться от нападков на правящие фракции во время конференции и выступать только в самозащиту. В течение семи из девяти дней, что продолжалась конференция, они не вымолвили ни единого слова в ответ противникам, которые всячески выражали ликование по поводу поражения оппозиционеров, высмеивали их и пытались втянуть в дискуссию. Наконец на седьмой день Сталин предпринял полномасштабную многочасовую атаку. Он привел свою версию событий, напомнив все, что Зиновьев говорил о Троцком как об архивраге ленинизма, и все нападки Троцкого на Зиновьева и Каменева, «штрейкбрехеров Октября», тем самым высмеив дарованную ими друг другу «взаимную амнистию». Он со вкусом описал злоключения оппозиции и сказал, что только они стали причиной для призыва к перемирию, которое зате-

¹ Седова говорит, что этот случай произошел в конце 1927 г., но она путается в датах. На XV конференции, в октябре 1926 г., Бухарин уже упоминал об этом инциденте и цитировал слова Троцкого о «могильщике революции».

валось с целью выиграть время и отсрочить окончательное поражение. Но партия не должна давать оппозиции передышку: следует вести решительную борьбу с ложными взглядами оппозиции, в какую бы революционную фразеологию они ни были облечены, пока оппозиция не откажется от них. Сталин долго рассказывал о жизненном пути Троцкого, чтобы в который раз доказать неискоренимый антагонизм Троцкого к ленинским идеям и упрекнуть Зиновьева и Каменева за их «капитуляцию перед троцкизмом». Наконец, он обвинил оппозицию в том, что она настраивает партию против крестьянства и призывает к чрезмерной индустриализации, которая обречет миллионы рабочих и крестьян на лишения и поэтому окажется ничуть не лучше капиталистических методов индустриализации. Как заявил будущий автор насильственной индустриализации и коллективизации, он и его союзники признают лишь такие формы экономического развития, которые вносят непосредственный вклад в повышение благосостояния народа и избавляют страну от социальных потрясений; во имя этого Сталин призвал конференцию дать оппозиции единодушный отпор.

Когда вожди оппозиции наконец взяли слово, делегаты подметили совершенно разный тон их ответов Сталину. Каменев, который говорил первым, досконально, но довольно неуверенно изложил свои взгляды, тщетно пытаясь смягчить самые острые места дискуссии. Он пожаловался на вероломство Сталина, предпринявшего свирепую атаку меньше чем через две недели после заключения перемирия, и пытался очистить себя и Зиновьева от обвинения в «капитуляции перед троцкизмом», заявив, что они объединились с Троцким только ради определенной и ограниченной цели, как нередко поступал и Ленин. Он снова напомнил о завещании Ленина и его страхе перед расколом в партии, но в ответ на это зал загудел. Тогда у Каменева вырвались такие слова, прозвучавшие то ли как полупредупреждение, то ли как полусамутешение:

«Обвиняйте, товарищи, нас в чем угодно, но мы живем уже не в средние века! Невозможны же теперь «процессы ведьм»! Нельзя же живых людей, которые говорят, что нужно установить *налоговый нажим на кулака, чтобы помочь бедняку и вместе с ним строить социализм*, — нельзя же этих людей обвинить и сжечь на политическом костре по обвинению в том, что они хотят грабить крестьянство!»

Ровно десять лет спустя Каменев пал жертвой «охоты на ведьм».

Затем на трибуну поднялся Троцкий и произнес одну из своих величайших речей, умеренную по тону, но разгромную по содержанию, логически безупречную и композиционно изящную, сдобренную искрометным юмором — и все же снова обнажившую его самое слабое место: непоколебимую уверенность в европейской революции. Троцкий говорил от имени оппозиции в целом, но не забывал и про себя, одним махом сбросив всю гору недопонимания и клеветы, которой его засыпали на конференции. Его обвиняли в паникерстве, пессимизме, пораженчестве и «социал-демократическом уклоне». Но Троцкий оперировал лишь фактами и цифрами, а «арифметика не знает ни пессимизма, ни оптимизма». Говорить о нехватке промтоваров называется паникерством; но разве нет оснований для беспокойства в том факте, что в текущем году промышленность была недогружена на четверть? Сталин обвинял Троцкого в пораженчестве и много прохаживался насчет его «страха перед хорошим урожаем», потому что он утверждал, что, пока нация испытывает дефицит промышленных товаров, напряжение между городом и селом будет сохраняться вне зависимости от размеров урожая. К несчастью, последний урожай оказался хуже, чем все ожидали. Социальное расслоение крестьянства нарастает быстрыми темпами. Ни одна из этих проблем еще не приняла катастрофический характер, но предзнаменования надо замечать вовремя. Оппозиция просила поднять налоги для зажиточных и облегчить налоговое бремя для бедных. Пусть это требование ничем не оправдано, но «что тут социал-демократического?». Оппозиция выступает против кредитной политики, потворствующей кулаку, — и это тоже по-социал-демократически? Она призывает к скромному повышению зарплаты — и это по-социал-демократически? Она не разделяет мнения Бухарина о том, что произошла стабилизация капитализма, — и это тоже по-социал-демократически? Может быть, «социал-демократической» была критика оппозиции в адрес Англо-русского комитета?

Троцкий напомнил о своей работе в Коминтерне, о своем тесном сотрудничестве с Лениным и особенно о той поддержке, которую он оказал Ленину при переходе к нэпу — тому нэпу, который он якобы стремится ликвидировать. Его обвиняют в неверии в построение социализма. Но не писал ли он,

что «в совокупности своей имеющиеся у нас преимущества перед капитализмом создадут нам, при правильном их использовании, возможность уже в ближайшие годы поднять коэффициент промышленного роста не только в два, но и в три раза выше довоенных процентов, а может быть, и более того»?¹ То, что он не верит в построение социализма в одной стране и является автором теории о перманентной революции, — правда. Впрочем, перманентную революцию притянули сюда за уши: за эту теорию несет ответственность он один, а не оппозиция. В качестве подачи Зиновьеву и Каменеву Троцкий прибавил: «А я сам этот вопрос считаю давным-давно сданным в архив». Но что же говорят его критики? Они ставят ему в вину, что он еще в 1906 году предсказывал неизбежное столкновение городского коллективизма с крестьянским индивидуализмом после революции. Неужели они не видят, что это предсказание сбывается? Не был ли провозглашен нэп именно из-за этого столкновения? Не было ли в 1921 году Кронштадтского восстания, «во время которого «середняки» разговаривали с советской властью 12-дюймовыми морскими орудиями»? Критики обвиняют его в том, что он предсказывал столкновение между революционной Россией и консервативной Европой. Они проспали годы интервенции? «И если мы, товарищи, живем, то именно потому, что Европа не осталась все же такой, как была».

Однако тот факт, что революция уцелела, не дает гарантий против новых конфликтов с крестьянством и капиталистическим Западом; не может он служить и аргументом в пользу построения социализма в одной стране. Несомненно, предстоит столкнуться с новыми конфликтами, причем в более худших условиях, если продвижение к социализму будет осуществляться «помаленечку» и в отрыве от всемирной революции. Бухарин писал, что «спор идет о том, сможем ли мы строить социализм и *построить* его, если *отвлекаемся от международных дел?*» «Если «отвлекаемся», то можно, — отвечает Троцкий. — Но отвлекаться-то *нельзя!* В этом вся штука. (Смех.) Можно в январе месяце нагишом пройти по Москве, если «отвлечься» от погоды и от милиции. (Смех.)

¹ Именно такими темпами советская промышленность развивалась впоследствии согласно пятилетним планам. В 1930 г. Сталин даже призывал к ежегодному увеличению на 50 процентов!

Но я боюсь, что ни погода, ни милиция не отвлекутся от вас... С какого времени начинается... этот самодовлеющий характер [нашей революции] ?»

Здесь Троцкий подходит к «стержню всего вопроса»: что произойдет в Европе, пока Россия будет строить социализм? До сих пор все соглашались с предположением Ленина, что России понадобится «30—50 лет, как минимум», чтобы построить социализм. Во что превратится мир в течение этого времени? Если за эти годы на Западе победит революция, то вопрос, по которому они дискутируют, отпадет сам собой. Приверженцы теории о «социализме в одной стране», очевидно, исходят из того, что этого не случится. Должно быть, их взгляды основываются на одном из следующих возможных допущений: во-первых, в Европе воцарится экономическая и социальная стагнация, европейская буржуазия и пролетариат будут пребывать в неустойчивом равновесии. Но такая ситуация едва ли продлится сорок или даже двадцать лет. Во-вторых, европейский капитализм способен на новый подъем. «Развивающийся капитализм, ведущий хозяйство и культуру вперед... это означало бы, что мы пришли слишком рано, и, следовательно, русская революция обречена. Мы будем задушены или разбиты, ибо развивающийся капитализм будет иметь... соответствующую военную технику и вообще соответствующие средства... Эта мрачная перспектива исключается, по-моему, всей обстановкой мирового хозяйства». В любом случае, на таком предположении нельзя рассматривать перспективы социализма в России.

Наконец, можно допустить, что в течение тридцати—пятидесяти лет упадок европейского капитализма будет продолжаться, но не в такой степени, чтобы рабочий класс смог его свергнуть. «Можно ли представить себе это? — спрашивает Троцкий. — Я спрашиваю, почему я должен брать эту предпосылку, которую нельзя иначе назвать, как предпосылкой необоснованного черного пессимизма за счет европейского пролетариата, и в то же время развивать некритический оптимизм насчет постройки социализма изолированными силами нашей страны? В каком смысле мой... долг коммуниста обязывает меня принять ту предпосылку, что европейский пролетариат в течение 40—50 лет власти не возьмет... У меня нет никаких теоретических или политических оснований думать, что нам вместе с крестьянством легче построить социа-

лизм, чем европейскому пролетариату взять власть... Я и сегодня считаю, что победа социализма в нашей стране обеспечена только совместно с победоносной революцией европейского пролетариата. Это вовсе не означает, что наше строительство несоциалистическое или что мы не можем и не должны со всей энергией вести его вперед... Если бы мы не думали, что наше государство пролетарское, хотя и с бюрократическим извращением... если бы мы не считали, что наше строительство социалистическое; если бы мы не думали, что в нашей стране есть достаточные ресурсы для того, чтобы вести вперед социалистическое хозяйство; если бы мы не были убеждены в полной и окончательной нашей победе, то, разумеется, нам не могло бы быть места в рядах коммунистической партии».

В таком случае оппозиции придется создавать новую партию и поднимать рабочий класс на борьбу с существующим государством. Однако не такая была у нее цель. Но имейте в виду, говорит Троцкий: вероломные и бессовестные методы Сталина, свежий пример которых — превращение им перемирия в клочок бумаги, — могут действительно привести к расколу в партии и к борьбе между двумя партиями.

Конференция слушала речь Троцкого в напряженном молчании и с уважительной враждебностью, даже несмотря на то, что он неоднократно прерывался в самые драматические моменты и просил разрешения продолжать; ему снова и снова добавляли времени. Троцкий был сама сдержанность и убедительность, он не выказывал ни малейших признаков колебаний или слабости. Ларин, поднявшийся на трибуну сразу же после Троцкого, так выразил настроение большинства: «Мы переживаем сейчас один из самых драматических эпизодов нашей революции... революция перерастает часть своих вождей»¹.

Совершенно в ином настроении делегаты выслушивали Зиновьева, пытавшегося разжалобить их и втереться в доверие. В ответ он получил лишь грубое презрение и ненависть. Его согнали с трибуны, не позволив ему даже отчитаться о своей

¹ Ларин до 1914 г. принадлежал к числу крайне правых меньшевиков, летом 1917 г. вступил в партию большевиков и поддерживал дружеские отношения с Троцким. Его отношение к оппозиции 1923 г. было двусмысленным; впоследствии он присоединился к сталинистам.

работе в Коминтерне, несмотря на то что готовы были проголосовать за его «удаление» из Исполкома Коминтерна¹.

Задним числом читая стенограммы этих съездов и конференций и сравнивая их тон, поражаешься той злобе и бешенству, которые вызывала у правящих фракций оппозиция; можно почти физически ощутить, как от собрания к собранию грубая жестокость становилась все более истерической и превращалась в ярость. Совершенно гротескный оттенок этому обстоятельству придает тот факт, что многие из самых диких и мстительных нападок на оппозицию и многие из самых льстивых восхвалений Сталина исходили из уст тех людей, которые лишь несколько лет спустя разочаруются в нем, выступят с запоздалой критикой и погибнут беспомощными жертвами чисток. Среди тех, кто на этой конференции выделялся своим фанатизмом, были Гамарник, будущий главный политкомиссар Красной армии, объявленный предателем и покончивший с собой накануне суда над Тухачевским; Сырцов, Чубарь, Угланов, казненные как «саботажники и заговорщики», и даже Осинский, бывший децист, который сейчас заявлял о своей вере в социализм в одной стране, но также окончивший жизнь как «вредитель и враг народа». Однако никто из них не превзошел Бухарина. Лишь несколько месяцев назад он еще поддерживал дружеские отношения с Троцким, теперь же стоял рядом со Сталиным, как два года назад стоял Зиновьев, и нападал на оппозицию с отчаянной злобой, изолируясь в обещаниях, похвальбах, угрозах, подстре-

¹ Согласно стенограмме, вот как закончилась речь Зиновьева: «Товарищи, я хотел бы несколько слов сказать о блоке... [т. е. про единую оппозицию] (Голоса: «Вы довольно сказали. Вы собирались с самого начала сказать и ничего не сказали. Довольно». Шум.) Я хотел сказать несколько слов о блоке и Коминтерне... (Голоса: «Довольно, об этом и надо было говорить, а не о том, о чем вы говорили».) Да неверно же это, вопрос о строительстве социализма в одной стране [о чем и говорил Зиновьев] не важный вопрос? Почему же Сталин говорил об этом три часа?.. (Шум, протесты.) Я прошу 10—15 минут для того, чтобы сказать о блоке и о вопросах Коминтерна. (Шум, голоса: «Достаточно».) Вы знаете, товарищи, что теперь партия решает, что я не должен работать больше в Коминтерне. (Голос с места: «Уже решила».) Это безусловно неизбежно в данной обстановке, но не дать мне пять минут сказать о вопросах Коминтерна — будет ли справедливо с вашей стороны? (Шум, крики: «Довольно». Звонок председателя.) Поэтому я прошу вас, товарищи, предоставить мне 10—15 минут на эти два вопроса. (Председатель ставит просьбу на голосование; подавляющее большинство — против того, чтобы продлить Зиновьеву время на десять минут.)».

кательствах, насмешках и играя на самых низменных чувствах партийцев. Добродушный интеллеktуал словно подвергся неожиданному превращению; мыслитель стал хулиганом, а философ — громилой, лишенным всяких сомнений и предчувствий. Он восхвалял Сталина как «истинного друга крестьян» и «стража ленинизма» и требовал от Троцкого повторить перед конференцией то, что он говорил о Сталине как о «могильщике революции» на Политбюро. Он насмеялся над сдержанностью, с которой Троцкий выступал перед конференцией, — сдержанностью, обязанной только тому факту, что партия «схватила за горло нашу оппозицию». Оппозиция, заявил он, призывает предотвратить «катастрофу», к которой приведет раскол. Но его, Бухарина, это предупреждение только забавляет: «Три человека отошли бы от партии — вот вам и весь раскол!» Это восклицание Бухарина сопровождалось всеобщим смехом. «Сейчас все это перестало быть трагедией и в значительной мере превращается в фарс». Бухарин так издевается над апологией Каменева:

«Когда т. Каменев выходит сюда и... говорит: я, Каменев, сейчас объединяюсь с Троцким, как Ленин объединялся с Троцким и опирался на него, то в ответ на это можно разразиться только гомерическим хохотом. Ишь какой Ленин нашелся! Вы видите, и все мы видим прекрасно, что т. Каменев и т. Зиновьев весьма странным образом опираются на Троцкого. (Продолжительный смех, аплодисменты.) Они «опираются» на Троцкого так, что Троцкий сидит целиком «верхом» на них. (Хохот, аплодисменты.) И потом т. Каменев... пищит: я опираюсь на Троцкого. (Хохот.) Совсем как Ленин! (Смех.)».

Не пройдет и двух лет, как Бухарин попытается «опереться» на сломленного и поверженного Каменева и в ужасе шептать ему на ухо, что Сталин — это новый Чингисхан. Но сейчас, полный самоуверенности и самодовольства, жонглируя и бряцая цитатами из Ленина, он продолжал нападки на перманентную революцию, на «героические позы» Троцкого, на его враждебность к мужику, на «фискальную теорию построения социализма», снова и снова превозносил непоколебимость, прочность и осторожность своей собственной и сталинской политики, укреплявшей союз с крестьянством. Когда оппозиция кричит о силе кулака, об опасности крестьянских забастовок и о голоде в городах, она пытается напугать партию призраками. Партия не должна прощать им ни этого, ни «криков о совет-

ском Термидоре», если только оппозиционеры не явятся, склонив головы, раскаются, признаются во грехах и попросят: «Простите нам наши грехи против духа, буквы и самой сущности ленинизма!» Среди неистовых аплодисментов Бухарин продолжал:

«Скажите же, по-честному скажите: Троцкий ошибался, когда он говорил, что [наше государство] «не совсем пролетарское»! Почему у вас нет элементарного мужества выйти и сказать, что это ошибка?.. Тов. Зиновьев... говорил... как хорошо Ильич поступил с оппозицией, не выключая всех тогда, когда он имел только два голоса из всех на профессиональном собрании. Ильич дело понимал: ну-ка, исключи всех, когда имеешь два голоса. (Смех.) А вот тогда, когда имеешь всех, и против себя имеешь два голоса, а эти два голоса кричат о термидоре — тогда и можно подумать».

Конференция с восторгом встречала этот цинизм и бушевала от восторга. Сталин выкрикнул с места: «Здорово, Бухарин, здорово! Не говорит, а режет».

Что было причиной странного, едва ли не безумного поведения Бухарина? Несомненно, его искренне пугала та политика, в защиту которой выступала оппозиция. Он боялся конфликта с крестьянством, который та могла спровоцировать, и не понимал, что к этому конфликту ведет именно его и сталинская политика. Оппозиция, слишком слабая, чтобы заменить правящую группу, тем не менее была достаточно сильной, чтобы вынудить сталинскую фракцию изменить свою позицию. Правда, на данной конференции было похоже, что бухаринцы одерживают верх в правящей коалиции: Бухарин, Рыков и Томский выступили с тремя основными докладами от имени ЦК. Однако даже им приходилось считаться с оппозицией. Самому Бухарину в вопросах сельской политики отныне приходилось действовать осторожно — он больше не мог откровенно взывать к сильному хозяину. Он видел, что сталинская фракция все более болезненно реагирует на критику Троцкого и Зиновьева и старается потихоньку украсть пункт за пунктом из их программы. Сталин уже поддавался требованиям об ускоренной индустриализации; это проявилось даже в резолюциях, принятых конференцией. Бухарин предпочел бы, чтобы правящая коалиция твердо стояла на своем и разбила противников, не заимствуя у них идей и создавая тем самым путаницу. Он не знал, насколько далеко

может отступить партия под давлением оппозиции, и его охватывала «дрожь с головы до ног» при мысли, что все это закончится кровавым конфликтом с крестьянством. Поэтому в данный момент он гораздо сильнее, чем Сталин, стремился вырвать официальную политику из-под косвенного влияния оппозиции. Бухарин отчаянно цеплялся за Сталина, словно для того, чтобы не позволить ему отступать дальше, поощрял и подстрекал сталинскую злобу и интриги в надежде, что поражение оппозиции обеспечит мир в стране. За это он готов был принести в жертву все: чувство такта, вкуса и собственного достоинства.

Свирепость атак на оппозицию также была обязана смущению и замешательству. Сталинская фракция уклонялась от гигантского шага, который ей пришлось совершить два года спустя. Ее ораторы тоже ставили Троцкому и Зиновьеву в вину, что те подталкивают партию к насильственной коллективизации крестьянства. Например, Каганович, который в дальнейшем сыграл заметную роль в уничтожении частного земледелия, восклицал: «Их путь — путь обирания крестьянства, гибельный путь, и, как бы здесь тг. Троцкий и Зиновьев ни протестовали против этой постановки вопроса, их лозунги именно таковы и есть». Оппозиция снова уперлась в тупик однопартийной системы. Когда она требовала свободы в рамках этой системы, ее обвиняли в покушении на систему: Бухарин и Сталин утверждали, что оппозиция старается превратиться во вторую партию. Молотов, при всей невнятности своих речей, попал в точку: ораторы оппозиции, протестуя против притеснений, напоминали, что даже во время брест-литовского кризиса Ленин позволил левым коммунистам издавать собственную газету, полную бесстрашной и нелюбезной критики его собственного курса; Молотов ответил на это: «В 1918 г... свои газеты имели и меньшевики и эсеры. И даже кадеты имели свою газету. Что-то теперь на это у нас не похоже». Опять же большевики не могли пользоваться той свободой, которой они лишили других. Каганович напомнил слова, сказанные Троцким на XI съезде, когда он выступал как главный обвинитель «рабочей оппозиции». Недопустимо, заявил тогда Троцкий, чтобы члены партии говорили о своих товарищах и вождях как о «нас» и «их», потому что в таком случае, какими бы ни были их намерения, они противопоставляют себя партии, пытаясь воспользоваться ее затруднениями, и поддержать тех, кто поднял знамя Кронш-

тадтского мятежа. «Почему же вы, т. Троцкий, имели право сказать так Медведеву и Шляпникову тогда, когда они ошибались (а эти товарищи являются старыми большевиками)... а мы не можем вам сказать, что вы идете по пути Кронштадта?..»

Поддержать нападки на Троцкого были призваны не только призраки Кронштадта и «рабочей оппозиции». Шляпников и Медведев присоединились к ним лично. После того как оппозиция по настоянию Сталина заявила, что отрекается от них, Сталин ухитрился угрозами и лестью убедить Шляпникова и Медведева признать свои ошибки, покаяться и выступить с обличением оппозиции. После этого ЦК с большой помпой объявил об их отречении и даровал им прощение. Медведев и Шляпников призывали единую оппозицию забыть о приверженности к однопартийной системе и преобразовать свою фракцию в рамках старой партии в новую партию, но, столкнувшись с угрозой собственного исключения из старой партии и оскорбленные отречением от них единой оппозиции, капитулировали перед Сталиным. Это было первое покаяние, которое сумел вырвать Сталин, ставшее прецедентом и примером для многих других. Не успела конференция закончиться, как Сталин преподнес оппозиции новый сюрприз: он объявил, что Крупская порывает с Троцким и Зиновьевым. В Москве шептались, что Сталин шантажировал ее нескромными намеками на частную жизнь Ленина. «На роль вдовы Ленина, — якобы сказал он, — мы назначим кого-нибудь еще». Более вероятно, что Крупская отошла от оппозиции, потому что с ужасом смотрела, как раскалывается и разваливается партия, основанная ее мужем. Поскольку она была в числе наиболее решительных критиков Сталина и Бухарина, ее отступничество оказалось для оппозиции очень болезненным.

Наконец, Сталин настроил против Троцкого и Зиновьева вождей зарубежных компартий. Клара Цеткин, старая германская коммунистка, которая на IV конгрессе Коминтерна, когда Ленин уже был болен, от лица всего Коминтерна торжественно отдала дань уважения Троцкому, теперь же отмежевывалась от него и Зиновьева, обвиняя их в том, что они спровоцировали кризис в Интернационале и льют воду на мельницу всех врагов коммунизма.

«То ничтожное влияние, которое оппозиция вначале еще имела, — заявила она с достоинством, — определяется... ста-

рыми заслугами лидеров, ее возглавлявших. Я буду последней, которая будет отрицать огромные заслуги того или иного отдельного товарища... Но я считаю, что капитал, накопленный каждым отдельным товарищем, есть капитал, накопленный партией, и чем больше заслуги какого бы то ни было товарища в прошлом, тем более бережно он должен обращаться с этим капиталом...»

Оппозиция была разгромлена; конференция санкционировала изгнание трех ее вождей из Политбюро, пригрозив дальнейшими репрессиями, если они осмелятся возобновить дискуссию.

Так единая оппозиция оказалась в таком же положении, к которому пришла оппозиция 1923 года после своего поражения. После того как ей вынесли формальный вердикт, нужно было решать, что делать дальше: продолжать борьбу, рискуя полным и окончательным исключением, или признать поражение, хотя бы временно? Каждое из крыльев оппозиции реагировало по-разному. Зиновьевцы предпочитали залечь на дно. Это было нелегко, потому что официальные нападки на них продолжались с прежней силой, несмотря на формальное закрытие дискуссии. Газеты, вместо того чтобы ограничиться комментарием к решениям конференции, посвящали целые страницы самой яростной полемике и не давали критикуемым никакой возможности ответить. Рядовые оппозиционеры расплачивались за отвагу своих убеждений: их выгоняли с работы, подвергали остракизму и обращались с ними немногим лучше, чем с неприкасаемыми. Зиновьев и Каменев решились на самую скромную форму пассивного сопротивления. Стараясь защитить своих сторонников, они советовали им держать свои взгляды при себе и при необходимости даже отрицать свою связь с оппозицией. Подобный совет мог только дискредитировать оппозицию и деморализовать тех, для кого он предназначался; оппозиционеры начали дезертировать и каяться.

С другой стороны, троцкисты, уже прошедшие через аналогичное испытание, знали, что бездействием и полумерами ничего не добьются. Сам Троцкий подвел итог недавним событиям в дневниковых заметках, написанных в конце ноября. В них он выражается о проблемах оппозиции с куда большей откровенностью, чем позволил бы себе на публике или в

ЦК. Троцкий признает поражение и приписывает его не только вероломству Сталина и мерам бюрократического запугивания, но и усталости и разочарованию масс, которые слишком много ожидали от революции, жестоко обманулись в своих надеждах и восстали против духа и идей раннего большевизма. Молодежь, оказавшись под опекой с самого момента своего вхождения в политику, не могла развить в себе способностей к критике и политических суждений. Правящие фракции играли на всеобщей усталости и стремлении масс к безопасности, путая народ призраком перманентной революции. Говоря для протокола, Троцкий обычно напирал на антагонизм между правящей группой и рядовыми партийцами. В личных записях он признавал, что идеи и лозунги правящей группировки отвечали эмоциональным потребностям рядовых, что это оказывалось сильнее их антагонизма и призывы оппозиции не отвечали настроениям народа.

Что остается в таком случае? Революционеру-марксисту, размышляет Троцкий, не следует идти на поводу у реакционных настроений масс. В те времена, когда их классовое сознание притупилось, он должен быть готов к изоляции от них. Эта изоляция не продлится долго, так как речь идет о переходном и кризисном периоде; помимо того, революционные силы как в Советском Союзе, так и за границей, еще могут подняться на борьбу. В любом случае оппозиции не следует падать духом и колебаться, даже если все шансы против нее. Революционер обязан сражаться, какая бы судьба ни была ему уготована — судьба Ленина, дожившего до триумфа своего дела, или участь Либкнехта, ставшего мучеником своих убеждений. В своих личных заметках и в разговорах с друзьями Троцкий не раз намекал на подобную возможность, и, хотя его не оставляла надежда, что его может ожидать «судьба Ленина», внутренне он явно все больше и больше примирялся с «участью Либкнехта».

«Я не верил в нашу победу, — вспоминает Виктор Серж, — и в глубине души даже был уверен в разгроме. Я так и сказал Льву Давидовичу, когда меня отправили в Москву, чтобы передать ему послания от нашей группы. Наш разговор состоялся в просторном офисе Комитета по концессиям... Троцкий страдал от приступа малярии; его кожа пожелтела, губы были почти синими. Я сказал ему, что мы крайне слабы, что у нас в Ленинграде насчитывается не более нескольких сотен сторонни-

ков, что основная масса рабочих остается безразличной к нашим дискуссиям. Я чувствовал, что он знает все это лучше меня. Но он, как вождь, должен был выполнять свой долг, а мы, как революционеры, — свой. Если поражение было неизбежно, что еще оставалось делать, кроме как встретить его с отвагой?»

Зима 1926/27 года проходила относительно спокойно. Оппозицию ослабили внутренние разногласия. Троцкий делал все возможное, чтобы сохранить свои партнерские отношения с Зиновьевым, и, поскольку тот был близок к панике, единая оппозиция платила за свое единство нерешительностью. В декабре ее вожди даже заявили Сталину протест против попыток втянуть их в новые дискуссии в московских партячейках. В том же месяце Исполком Коминтерна обсудил положение, сложившееся в русской компартии, и оппозиционерам волей-неволей пришлось вновь заявить о своей позиции. Троцкий снова был вынужден защищать свою репутацию; протестуя против «биографического метода», применявшегося во внутрипартийных дискуссиях, он пересказал всю историю своих отношений с Лениным, чтобы продемонстрировать аудитории, что «непримиримый антагонизм между троцкизмом и ленинизмом — не более чем миф»¹. Исполком подтвердил исключение из зарубежных компартий троцкистов и зиновьевцев на том основании, что они отрицают пролетарский характер Советского государства. Троцкий заявил, что оппозиция будет бороться против любого из своих мнимых зарубежных сторонников, придерживающихся такого взгляда. Едва смирившись с исключением Суварина, он выступил в защиту Росмера и Монатта, которые были его политическими друзьями с Первой мировой войны; они же основали и возглавляли Французскую компар-

¹ Воспользовавшись случаем, Троцкий рассказал поучительную историю своих отношений с Лениным вплоть до 1917 г. Он говорил о «внутреннем сопротивлении», которое сопровождало его постепенное сближение с Лениным. Тем более чистосердечным и полным в конце концов оказалось его согласие с ленинизмом. Троцкий сравнивал себя с Францем Мерингом, который пришел к марксизму только после того, как боролся с ним в качестве вождя либералов. Несмотря на это, или, вернее, благодаря этому, убежденность Меринга в марксизме была непоколебимой, и в старости он заплатил за нее свободой и жизнью, в то время как Каутский, Бернштейн и другие представители «старой гвардии» марксизма дезертировали из-под его знамен.

тию, из которой их теперь изгоняли¹. Но помимо этих мелких вмешательств, Троцкий проводил зиму уединенно, редактируя свое собрание сочинений; тогда же ему удалось «достигнуть теоретического углубления в ряде вопросов».

В число наиболее сильно занимавших его вопросов помимо экономической аргументации против планов построения социализма в одной стране входил, конечно, «советский Термидор». Этот вопрос вносил большую путаницу в ряды оппозиции и ее сторонников за границей. Некоторые утверждали, что русская революция уже вошла в термидорианскую фазу. Сторонники этого взгляда также говорили о бюрократии как о новом классе, который уничтожил пролетарскую диктатуру, подчинил себе рабочий класс и эксплуатирует его. Другие, и в первую очередь Троцкий, бурно протестовали против такого мнения. Как часто случается в тех случаях, когда историческая аналогия становится политическим поверьем, никто из дискутировавших не представлял себе четко тот прецедент, на который ссылались, и Троцкому пришлось не один раз пересмотреть свои представления о нем. На данном этапе он определял «советский Термидор» как решительный «поворот вправо», который может произойти в партии большевиков на фоне всеобщей апатии и разочарования революцией и привести к гибели большевизма и реставрации капитализма. Троцкий, исходя из этого определения, делал вывод, что говорить о «советском Термидоре» по меньшей мере преждевременно, но оппозиция поднимает тревогу вполне обоснованно. Наличие одного элемента «термидорианской ситуации» было более чем очевидно: массы устали и испытывали разочарование. Однако решительный «поворот вправо», ведущий к реставрации, еще не произошел, хотя «термидорианские силы», стремящиеся к его осуществлению, консолидировались и набирали мощь.

Не было бы особо острой необходимости вдаваться в дальнейшую глубокомысленную аргументацию, если бы не тот факт, что взгляды, сформулированные Троцким, отчасти опре-

¹ Между прочим, Троцкий оспаривал планы Политбюро отправить Пятакова с торговой миссией в Канаду. Он указывал, что из-за присутствия множества украинских эмигрантов в Канаде это поручение будет опасным для Пятакова, который возглавлял большевиков на Украине во время Гражданской войны. Пятакову только что отказали в американской визе как «человеку, приговорившему к смерти многих достойных граждан России».

деляли в последующие годы его собственное поведение и судьбу оппозиции и если бы развернувшиеся вокруг них дискуссии не породили неопиcуемый накал страстей во всех фракциях. Вообще этот феномен представляется одним из самых иррациональных моментов борьбы. Достаточно было какому-нибудь оппозиционеру промолвить слово «Термидор» на любом партсобрании, как тут же все срывалось с цепи, исходя пылом и гневом, хотя большинство имело лишь смутное представление, о чем шла речь. Они знали, что термидорианцы были «могильщиками» якобинства, а оппозиция обвиняет правящую группировку в тайном заговоре против революции — этого было достаточно. Этот странный исторический лозунг приводил в ярость даже образованных бухаринцев и сталинистов, которые знали, что его смысл далеко не так прост. Оппозиция утверждала, что термидорианцы не просто погубили якобинство и привели Первую республику к гибели, — они сделали это невольнo, вследствие усталости и замешательства. Аналогично и советские термидорианцы могут поступить так же, сами не зная, что делают. Такая аналогия зацепилась в мыслях многих сталинистов и бухаринцев, подрывая их уверенность. Они стали задумываться о присущем революции неконтролируемом элементе, который осознавали все более явственно, хотя все еще очень смутно; у них рождалось чувство, что они стали или могут стать пешками в руках колоссальных, враждебных и неуправляемых социальных сил.

Многие большевики с беспокойством ощущали, что оппозиция может быть права. Представителя любой фракции до смерти пугали призраки, наколдованные оппозицией. Это был типичный случай, когда мертвецы хватают живых. Когда бухаринцы или сталинисты отрицали всякое сходство с термидорианцами, ими двигала не спокойная самоуверенность, а порожденное внутренней неуверенностью возмущение, с которым Бухарин на XV конференции говорил о «непростительной болтовне оппозиции о Термидоре». Его гнев на оппозицию помогал забыть о собственных опасениях. Оппозиционеры видели призрак Термидора, крадущийся по улицам Москвы, нависающий над Кремлем или стоящий среди членов Политбюро на трибуне Мавзолея Ленина в дни государственных праздников и парадов. Сверхъестественно бурные страсти, вызванные книжными историческими реминисценциями, имели своим источником иррациональность политического климата, в котором

выросла и развивалась однопартийная система. Рядовой большевик ощущал, что его отстраняют от собственной работы — от революции. Над ним воздымались его собственное государство и партия, словно бы наделенные своим разумом и волей, которые имели мало общего с его разумом и волей и вынуждали его поклоняться себе. Государство и партия представлялись ему слепыми силами, действующими нелогично и непредсказуемо. Когда большевики превращали Советы в «органы власти», они вместе с Троцким были убеждены, что создадут «самую открытую и прозрачную политическую систему», какую когда-либо видел мир, — систему, при которой правители и подчиненные окажутся ближе друг к другу, чем когда-либо прежде, при которой народные массы получают возможность для такого непосредственного выражения и воплощения своей воли, какого у них никогда не было. Однако через несколько лет однопартийная система, а вместе с ним и общество в целом лишились всей своей прозрачности. Ни один социальный класс не мог свободно выражать свою волю. Соответственно, их воля оставалась неведомой. Правителям и политическим теоретикам приходилось лишь догадываться, в чем она заключается, но события все чаще и чаще учили тому, что их догадки ошибочны. В результате социальные классы принимали облик стихийных сил, непредсказуемо напавших на партию со всех сторон, а в каком-то смысле действительно стали такими стихийными силами. Группировки и отдельные лица внутри партии под давлением этих сил словно бы неосознанно двигались в самых неожиданных направлениях. Во всех сферах между тем, что люди думали (о себе и о других), тем, чего желали, и тем, что делали, возникал или продолжал расширяться раскол — раскол между «объективными» и «субъективными» аспектами политической деятельности. Решительно никто не мог сказать, кто друг, а кто враг революции. И правящая группа, и оппозиция блуждали во тьме, сражаясь с реальными опасностями и призраками, гоняясь друг за другом и за своими тенями. Они стали относиться друг к другу как к таинственным социальным образованиям с тайными и зловещими возможностями, которые следовало вскрыть и обезвредить. Именно отчуждение от общества и друг от друга заставляло правящие фракции объявлять оппозицию орудием чужеродных социальных элементов, а оппозицию — утверждать, что за правящей группой стоят силы «Термидора».

Что же это были за силы? Богатые крестьяне, нэпманы и часть бюрократии, — отвечал Троцкий: короче, все классы и группировки, заинтересованные в буржуазной реставрации. Рабочий же класс сохраняет преданность «завоеваниям Октября» и по самой своей природе враждебен термидорианцам. Что касается бюрократии, Троцкий ожидал, что в критической ситуации она расколется: одна ее часть поддержит контрреволюцию, а другая будет защищать революцию. Внутрипартийные разногласия он считал косвенным отражением этого раскола. Правое крыло стояло ближе всего к термидорианцам, но не обязательно было тождественно им. От бухаринской защиты собственничества попахивало «Термидором»; но оставалось неясно, действительно ли бухаринцы — термидорианцы или только их невольные приспешники, которые в минуту опасности вернутся на сторону революции. Согласно этому взгляду, только левые, т. е. единая оппозиция, представляли в партии интересы пролетарского класса и имели неискоркаженную социалистическую программу; они выступали в роли авангарда антитермидорианских сил. Центр — сталинская фракция — не обладал своей программой, и, хотя контролировал партаппарат, за ним не стояло широкой социальной поддержки. Он балансировал между правыми и левыми и паразитировал на программах и тех и других. Пока центр оставался в коалиции с правыми, он помогал вымостить путь для «Термидора». Но он ничего бы не приобрел от «Термидора», который означал бы его собственный конец; поэтому, столкнувшись с угрозой контрреволюции, центр или значительная его часть объединится с левыми, чтобы под руководством последних вести борьбу с «советским Термидором».

Не будем забегать вперед и раскрывать, в какой степени события оправдали или опровергли такие взгляды. Сейчас достаточно указать на один важный практический вывод, сделанный Троцким, а именно — ни при каких условиях ни он, ни его товарищи не должны заключать союз с фракцией Бухарина против Сталина. В известных обстоятельствах оппозиция, утверждал Троцкий, даже должна быть готова к единому фронту со Сталиным против Бухарина, на таких же условиях, на каких создавался любой единый фронт: оппозиция должна сохранить свою независимость, право критики и требование внутрипартийной свободы. Согласно известной тактической формулировке, левые и центр должны выступать

раздельно и наносить совместный удар. Правда, пока что у оппозиции не было возможности применить это правило: сталинисты и бухаринцы делили власть и сохраняли единство. Но Троцкий не сомневался, что вскоре их блок развалится. Его тактическое правило было призвано вогнать между ними клин и способствовать такому перераспределению сил, при котором оппозиция стала бы главной среди всех «антитермидорианцев», включая сталинистов. В течение следующих нескольких лет все поведение оппозиции определялось этим принципом: «Со Сталиным против Бухарина? Да. С Бухариным против Сталина? Никогда!»

Если рассматривать это тактическое решение, за которое в основном ответствен Троцкий, в мрачном свете той участи, которая ожидала все антисталинские фракции и группировки, оно не может не показаться актом самоубийственной глупости. Дух Термидора, который, по мнению Троцкого, заключался в неудачнике Бухарине, выглядит как плод воображения, перекормленного историческим чтением. И если задним числом задуматься о многочисленных тревожных предупреждениях Троцкого об «опасности справа», т. е. со стороны бухаринской фракции, и о его явной недооценке силы Сталина, остается только поразиться близорукости или слепоте, которая в тот момент охватила человека, наделенного безусловным пророческим предвидением. Однако такой взгляд был бы слишком односторонним. Решение Троцкого следует рассматривать на фоне обстоятельств, в которых он его принял. Нэп был в расцвете, силы, заинтересованные в буржуазной реставрации, еще существовали и проявляли активность, и никто еще не мог себе представить скорую отмену нэповского капитализма и «ликвидацию кулака как класса». Троцкий не мог знать заранее последствия борьбы между антагонистическими силами в советском обществе. Призрак Термидора отчасти еще сохранял реальность. Через восемь или даже десять лет после 1917 года не следовало исключать возможности реставрации. Как марксист и большевик, Троцкий, естественно, считал своим первейшим долгом напрячь все силы и мобилизовать всю энергию, чтобы не допустить ее. Этим определялась его внутривнутрипартийная тактика. Если что-либо и могло вымостить дорогу для реставрации, так только бухаринская, а не сталинская политика. В этом контексте Троцкий не мог не прийти к выводу, что оппозиция должна

на определенных условиях оказать Сталину поддержку против Бухарина. Такой вывод вполне согласовывался с марксистской традицией, которая одобряла союзы левых и центра против правых, но считала любое объединение левых и правых против центра беспринципным и недопустимым. Таким образом, поведение Троцкого оказывается достаточно логичным, если рассматривать его в соответствующем контексте и судить о нем в марксистских терминах. Троцкому не повезло в том, что последующие события перечеркнули эту логику и та стала выглядеть как логика оппозиционерского саморазрушения. Трагедия Троцкого состояла в том, что самый тот путь, который он избрал для защиты революции, оказался для него путем политического самоубийства.

Весной 1927 года внутрипартийная борьба разгорелась снова в связи с вопросом, который до этого практически никак в ней не проявлялся, но с данного момента оставался в ее центре до самого конца, до окончательного исключения и роспуска единой оппозиции.

Этим вопросом была китайская революция. Примерно в то время она вошла в серьезный кризис, подготовленный событиями, произошедшими еще в конце ленинской эпохи. Большевики очень рано заинтересовались антиимпериалистическими движениями в колониальных и полуколониальных странах, считая, что эти движения представляют собой крупный «стратегический резерв» для пролетарской революции в Европе. И Ленин и Троцкий были убеждены, что западный капитализм резко ослабеет, если отрезать его от колоний с их дешевой рабочей силой, сырьем и возможностями для исключительно прибыльных инвестиций. В 1920 году Коминтерн объявил о союзе с коммунистами Запада и с освободительными движениями на Востоке, но не пошел дальше принципиальных заявлений, оставляя открытым вопрос о формах такого союза и методах, которыми его следовало добиваться. Коминтерн признавал борьбу азиатских народов за независимость как исторический эквивалент буржуазных революций в Европе; он признавал крестьянство и в некотором отношении даже буржуазию этих стран союзниками рабочего класса. Но ленинский Коминтерн еще не пытался четко определить взаимоотношения между антиимпериалистическими движениями и борьбой за социа-

лизм в самой Азии, а также отношение Китайской и Индийской компартий к их собственной «антиимпериалистической» буржуазии.

Тогда решать эти вопросы было еще рано. Влияние Октябрьской революции только начало проникать в восточные страны, его сила и глубина оставались неизвестными. В важнейших странах Азии коммунистические партии едва заявили о себе; рабочий класс обладал малой численностью и не имел политических традиций; даже буржуазное антиимпериалистическое движение еще находилось в стадии формирования. Лишь в 1921 году Китайская компартия, основу которой составляли мелкие пропагандистские кружки, провела свой первый съезд. Но не успела она сформулировать свою программу и оформиться организационно, как Москва начала подталкивать ее к сближению с гоминьданом. Тот пользовался большим влиянием благодаря моральному авторитету Сунь Ятсена, как никогда высокому. Сам Сунь Ятсен стремился заключить с Россией союз, который бы упрочил его позиции в борьбе с западным империализмом; придерживаясь невнятной, «бесклассовой» концепции популистского социализма, он был готов сотрудничать и с китайскими коммунистами, но лишь в том случае, если они без всяких оговорок признают его руководящую роль и окажут поддержку гоминьдану. Сунь Ятсен подписал с ленинским правительством договор о дружбе, но заставить китайских коммунистов сотрудничать с ним на его условиях оказалось куда более затруднительно.

Коммунистов возглавлял Чен Дусю, один из интеллектуалов, начавших распространение марксизма в Азии, первый великий марксистский пропагандист в Китае и самый выдающийся деятель китайской революции до прихода Мао Цзэдуна, которому Чен уступал как тактик, вождь-практик и организатор, но, похоже, превосходил как мыслитель и теоретик. Чен Дусю стал инициатором грандиозной кампании против привилегий, которыми западные державы пользовались в Китае. Эта кампания стартовала в Пекинском университете, профессором которого был Чен Дусю, и приняла такой размах, что под ее давлением китайское правительство отказалось подписывать Версальский договор, санкционировавший эти привилегии. В основном благодаря влиянию Чен Дусю создавались марксистские пропагандистские кружки, которые объединились в компартию. Чен оставался бесспорным вождем партии с момента ее основания до

конца 1927 года, в течение решающих этапов революции. С самого начала он подозрительно относился к политическим советам, которые его партия получала из Москвы, признавал необходимость сотрудничества коммунистов с гоминьданом, но боялся слишком тесного союза, в результате которого китайское коммунистическое движение утратит свои характерные особенности; он предпочитал, чтобы его партия крепко встала на ноги, прежде чем вливаться в ряды гоминьдана. Однако Москва настойчиво требовала от него отставить такие сомнения, а он не обладал ни силой воли, ни хитростью Мао Цзэдуна, который в аналогичных ситуациях никогда не спорил с Москвой, делая вид, что согласен с ее советами, но в реальности игнорируя их и действуя в соответствии с собственными представлениями, но при этом ни разу не довел дело до полного разрыва с Москвой. Чен Дусю был слишком откровенным, мягкотелым, и ему не хватало самоуверенности; в результате он стал трагической фигурой. В каждом случае он чистосердечно объявлял, в чем не согласен с московской политикой, но не стремился отстаивать собственную линию, а подчинялся авторитету Коминтерна и проводил политику Москвы, даже зная, что она ошибочна.

Уже в 1922—1923 годах два человека, впоследствии ставшие выдающимися деятелями троцкистской оппозиции, — Иоффе и Маринг-Снифлет¹ — сыграли решающую роль в объединении молодой Китайской компартии с гоминьданом и в подготовке почвы для той политики, которую собирались вести Сталин с Бухариным. Иоффе, как посол ленинского правительства, вел с Сунь Ятсеном переговоры о заключении пакта. Стремясь исполнить порученное ему дело и, несомненно, выходя за пределы своих полномочий, он гарантировал Сунь Ятсену, что большевики не заинтересованы в китайском коммунистическом движении и будут использовать свое влияние, чтобы заставить китайских коммунистов сотрудничать с гоминьданом на условиях Сунь Ятсена. Маринг как делегат от Коминтерна присутствовал на II съезде Китайской компартии

¹ Маринг-Снифлет, голландский марксист, был тесно связан с зарождением коммунистического движения в Индонезии и представлял Голландскую компартию в Москве. Впоследствии, особенно в 1930-х гг., он был ревностным сторонником Троцкого. Во время Второй мировой войны Маринг возглавлял одну из групп голландского Сопротивления и был казнен фашистами.

в 1922 году. Именно по его инициативе та наладила контакты с гоминьданом и начала обсуждать условия союза с ним. Но Сунь Ятсен твердо стоял на своем, и переговоры были прерваны.

Позже в том же году Маринг вернулся в Китай и заявил Чен Дусю и его товарищам, что Коминтерн решительно требует от них объединиться с гоминьданом на любых условиях. Чен Дусю не торопился выполнять этот приказ, но, когда Маринг напомнил о принципе коминтерновской дисциплины, Чен и его товарищи подчинились. Сунь Ятсен, как впоследствии и Чан Кайши, настаивал, чтобы Китайская компартия воздержалась от открытой критики политики гоминьдана и соблюдала принятую там дисциплину, иначе он выгонит коммунистов из гоминьдана и объявит договор с Россией утратившим силу. Китайская компартия вошла в гоминьдан в начале 1924 года. Сперва она не принимала всерьез условия Сунь Ятсена, сохраняя свою независимость и ведя чисто коммунистическую политику, что вызывало недовольство в гоминьдане.

Влияние коммунистов быстро росло. Когда в 1925 году Южный Китай охватило великое «Движение 30 мая», в его авангарде шли коммунисты, призывая к бойкоту западных концессий и концернов и возглавив всеобщую забастовку в Кантоне, на тот момент величайшую в китайской истории. Так как размах движения нарастал, вожди гоминьдана испугались, попытались обуздать его и наткнулись на противодействие коммунистов. Последние, предчувствуя приближение гражданской войны, старались вовремя развязать себе руки и обратились в Москву за разрешением. В октябре 1925 года Чен Дусю предложил начать подготовку к выходу его партии из гоминьдана. Однако Исполком Коминтерна наложил вето на этот план и обязал Китайскую компартию приложить все силы к предотвращению Гражданской войны. При штабе Чан Кайши работали советские военные и дипломатические советники, включая Бородина, Блюхера и других, — они вооружали и обучали гоминьдановские войска. Ни Бухарин, ни Сталин, фактически руководившие советской политикой, не верили, что китайские коммунисты имеют какую-то возможность в ближайшем будущем захватить власть, поэтому оба старались сохранить союз с гоминьданом. Рост коммунистического движения угрожал разрушить этот союз, и оба советских вождя были решительно настроены не давать китайским коммунистам воли.

Так, Москва требовала от Чен Дусю и его ЦК воздержаться от классовой борьбы с «патриотической» буржуазией, от революционно-аграрных движений и критики суньятсенизма, который после смерти Сунь Ятсена был канонизирован как идеология гоминьдана. Оправдывая свои шаги в марксистских терминах, Бухарин и Сталин выдвинули теорию о том, что начавшаяся в Китае революция, имея буржуазный характер, не может ставить перед собой социалистические цели, что антиимпериалистическая буржуазия, поддерживающая гоминьдан, играет революционную роль, и долг компартии состоит в том, чтобы сохранять с ним союз и не предпринимать ничего, что могло бы привести к разрыву. Стараясь найти дальнейшие теоретические основания для своей политики, Сталин и Бухарин вспомнили выражавшуюся Лениным в 1905 году идею о том, что в ходе «буржуазной» русской революции, направленной против царизма, целью социалистов должна стать «демократическая диктатура рабочих и крестьян», а не пролетарская диктатура. Этот прецедент был слабо связан с ситуацией в Китае: в 1905 году Ленин и его партия не искали союза с либеральной буржуазией против царя — наоборот, Ленин неустанно заявлял, что буржуазная революция может победить в России лишь под руководством рабочего класса, питающего непримиримую враждебность к русской буржуазии; даже меньшевики, стремившиеся к союзу с буржуазией, не собирались признавать ее руководящую роль и подчиняться дисциплине ее организации. Сталинская и бухаринская политика, как позже указывал Троцкий, представляла собой пародию на взгляды не только большевиков, но даже меньшевиков в 1905 году.

Однако эта софистика сыграла свою роль: она послужила идеологическим оправданием московской политики и утешала совесть тех коммунистов, которые с трудом принимали ее. Оппортунизм этой политики особенно ярко высветился в начале 1926 года, когда гоминьдан был принят в Коминтерн на правах ассоциированной партии, а Исполком Коминтерна с помпой избрал генерала Чан Кайши в свои почетные члены. Этот жест Сталина и Бухарина стал демонстрацией «доброй воли» в отношении гоминьдана и нагоняем для китайских коммунистов. 20 марта, лишь через несколько недель после того как «Генштаб всемирной революции» избрал его в почетные члены, Чан Кайши совершил свой первый антикомму-

нистический переворот. Он изгнал коммунистов со всех постов в штабе гоминьдана, запретил им критиковать политическую философию Сунь Ятсена и потребовал, чтобы ЦК коммунистов представил список всех членов партии, вошедших в гоминьдан. Под нажимом советников из СССР Чен Дусю и его товарищи пошли на уступки. Но в убеждении, что Чан Кайши готовит против них гражданскую войну, они старались организовать собственные вооруженные силы, готовые дать отпор военной мощи гоминьдана, и попросили в этом советского содействия. Советские представители в Кантоне наложили решительное вето на этот план и отказали в какой-либо помощи. Чен Дусю снова подчинился авторитету Коминтерна¹. Газеты в Москве никак не комментировали переворот Чан Кайши — они вообще ничего о нем не говорили. Политбюро, опасаясь осложнений, направило в Китай своим представителем бывшего дециста Бубнова, которому предстояло убедить китайских коммунистов, что их революционный долг — «исполнять роль кули» при гоминьдане.

Во время всех этих событий китайский вопрос оставался как бы вовне русской внутрипартийной борьбы. Подчеркнем: тем самым разоблачается один из вульгарных троцкистских мифов, представляющий дело так, будто бы оппозиция с самого начала неустанно противодействовала сталинскому и бухаринскому «предательству китайской революции». Несомненно, Троцкий уже в начале 1924 года ощущал беспокойство и выступил на Политбюро с критической оценкой союза китайских коммунистов с гоминьданом; в последующие два года он несколько раз возвращался к этой теме, но, в сущности, между делом. Троцкий почти не занимался этим вопросом и не принимал его близко к сердцу. Обнаружив, что оказался в Политбюро в одиночестве — все остальные поддерживали официальную политику в отношении Китая, — Троцкий не пытался повторить свои возражения перед лицом более широкой аудитории Центрального комитета. Кажется, в эти годы — 1924—1926-й — он ни разу не заговорил о Китае на Исполкоме Коминтерна или в его комиссиях. По крайней мере, на публике Троцкий ни разу не давал понять, что придерживается другого мнения по этой про-

¹ По словам Чен Дусю, китайский ЦК попросил от советских военных советников в Кантоне выделить из оружия, переданного Чан Кайши, по меньшей мере 5000 винтовок для коммунистов с целью вооружить восставших крестьян Квантуна. В этой просьбе было отказано.

блеме. Похоже, что он уделял ей гораздо меньше внимания и придавал гораздо меньше значения, чем политики в отношении Британской или даже Польской компартий. Очевидно, Троцкий не вполне отдавал себе отчет в том, какой силы буря разразилась в Китае, недооценивал глубину и серьезность надвигающегося кризиса в коммунистической политике.

В начале 1926 года Троцкого по-прежнему сильнее беспокоили действия советской дипломатии в отношении Китая, чем руководство китайским коммунистическим движением. Он возглавлял специальную комиссию — в составе Чичерина, Дзержинского и Ворошилова, — которая должна была подготовить для Политбюро рекомендации о том, какую линию советская дипломатия должна проводить в Китае. О работе этой комиссии почти ничего не известно, кроме ее доклада, представленного в Политбюро Троцким 25 марта 1926 года. Поскольку он не отмежевывался от доклада, следует сделать вывод, что тот в основном не вызывал у него возражений. Комиссия облекла свои рекомендации в строго дипломатическую терминологию, никак не ссылаясь на цели Китайской компартии. В то время как эта партия старалась в сотрудничестве с гоминьданом опрокинуть существующий в Китае статус-кво, предложенные комиссией инструкции для советских дипломатических служб подразумевали, что те должны придерживаться этого статус-кво. И компартия и гоминьдан призывали к политическому объединению страны, то есть к свержению правительства Чжан Цзолия, которое контролировало север Китая, и к распространению революции с юга на север. Комиссия Троцкого считалась с расколом Китая и в своих рекомендациях едва ли не старалась закрепить это положение. В то время Чан Кайши уже готовил великий военный поход на север. Поскольку на советской дальневосточной границе царил полная неразбериха, комиссия Троцкого старалась не содействовать революции, а обеспечить любые возможные преимущества для советского правительства. Так, комиссия считала, что советские дипломатические органы должны придерживаться модус вивенди и содействовать разделению сфер влияния между правительством Чан Кайши на юге и Чжан Цзолия на севере.

Впоследствии Троцкий утверждал, что во время обсуждения доклада на Политбюро Сталин внес поправку о том, чтобы советские военные советники убедили Чан Кайши не осуществ-

лять этот поход. Комиссия отвергла поправку, но в общем советовала советским представителям в Китае склонять Чан Кайши к «умеренности». Больше всего Политбюро волновал вопрос, как оградить советские позиции в Маньчжурии против японских поползновений. Поэтому комиссия советовала, чтобы советские посланники в Северном Китае склоняли Чжан Цзолиня к политике лавирования между Москвой и Токио. Москва, слишком слабая, чтобы ликвидировать японское влияние в Маньчжурии, и не верившая, что гоминьдан способен на это, была готова смириться с преобладанием японцев в Южной Маньчжурии при условии, что СССР, по-прежнему владевший КВЖД, сохранит свои позиции в северной части провинции. Комиссия рекомендовала советским послам «осторожно и тактично» готовить общественное мнение к такому соглашению, которое наверняка уязвит патриотические настроения в Китае. В Политбюро преобладали смешанные и запутанные мотивы. Советские вожди были заинтересованы в Маньчжурии, но одновременно опасались, что поход Чан Кайши на север может спровоцировать западные державы к более энергичному вмешательству в китайские дела. Кроме того, Политбюро подозревало, что он замышляет свой поход как средство предотвратить революцию, отвлечь и истратить революционные силы юга на решение других задач.

В апреле Политбюро утвердило доклад комиссии Троцкого. Однако в этот момент Троцкий поднял вопрос о строго коммунистической политике в Китае. Как он утверждал, она должна осуществляться помимо советской дипломатической работы: дело дипломатов — заключать соглашения с существующими буржуазными правительствами, даже с реакционными милитаристами; сокрушать эти правительства — задача для революционеров. Он протестовал против приема гоминьдана в Коминтерн. Суньятсенизм, как заявлял Троцкий, призывает к классовой гармонии и поэтому несовместим с марксизмом, провозглашающим классовую борьбу. Избрание Чан Кайши в почетные члены Исполкома Коминтерна представляет собой дурную шутку. Далее Троцкий повторил свои прежние возражения против присутствия китайских коммунистов в составе гоминьдана. Все члены Политбюро, включая даже Зиновьева и Каменева, которые готовы были сформировать единую оппозицию, снова отстаивали официальную линию в китайских коммунистических делах. Но и эта дискус-

сия носила случайный характер. Она происходила за закрытыми дверями Политбюро и не имела последствий.

После этого целый год, с апреля 1926 года до конца марта 1927 года, ни Троцкий, ни другие вожди оппозиции не поднимали этот вопрос (лишь Радек, с мая 1925 года возглавлявший Университет имени Сунь Ятсена в Москве и вынужденный разъяснять партийную политику недоумевающим китайским студентам, «приставал» к Политбюро с просьбами о руководящих указаниях, но не получал их и выражал по этому поводу легкое недовольство). Тем не менее это был самый решающий и критический год в истории китайской революции. 26 июля, через четыре месяца после обсуждения на Политбюро доклада комиссии Троцкого, Чан Кайши, игнорируя советские призывы к «умеренности», отдал приказ выступать на север. Его войска повели стремительное наступление. Вопреки ожиданиям Москвы, их появление в Центральном Китае послужило колоссальным стимулом для всекитайского революционного движения. Северные и китайские провинции охватили восстания против правительства Чжан Цзолиня и поддерживавших его местных коррумпированных милитаристов. Самое активное участие в политическом движении принимали городские рабочие. Компартия была на подъеме. Она возглавляла и инспирировала восстания, ее члены стояли во главе профсоюзов, которые вырастали как грибы и получали восторженную массовую поддержку в освобожденных городах и деревнях. Вдоль всего пути армии Чан Кайши крестьяне приветствовали его войска и, рассчитывая на их поддержку, поднимались против милитаристов, землевладельцев и ростовщиков, готовые сбросить их иго.

Чан Кайши, напуганный размахом революции, пытался обуздать ее. Он запретил забастовки и демонстрации, боролся с профсоюзами и рассылал карательные экспедиции для умиротворения крестьян и реквизиций продовольствия. Между его штабом и компартией установились откровенно враждебные отношения. Чен Дусю, сообщая об этих событиях в Москву, требовал, чтобы его партии наконец позволили выйти из гоминьдана. Он все еще выступал за единый фронт коммунистов и гоминьдана против северных милитаристов и западных держав, но считал, что его партии необходимо освободиться от оков гоминьдановской дисциплины, вернуть себе свободу маневра, поощрять пролетарское движение в городах, поддерживать борьбу крестьян за землю и готовиться к открытому кон-

фликту с Чан Кайши. Исполком Коминтерна снова ответил лишь упреками. Бухарин назвал требование Чен Дусю опасной «ультралевацкой» ересью. Выступая с докладом от ЦК на партконференции в октябре, Бухарин подчеркнул необходимость «держать единый национальный революционный фронт в Китае, где «торгово-промышленная буржуазия... сейчас играет объективно революционную роль». В таких обстоятельствах, продолжал он, коммунистам затруднительно удовлетворить земельные требования крестьянства. Китайская компартия должна поддерживать равновесие между интересами крестьянства и антиимпериалистической буржуазии, выступающей против сельских восстаний. Первейшая задача коммунистов — обеспечить единство всех антиимпериалистических сил, и поэтому они должны дать отпор любым попыткам разрушить гоминьдан. Лозунгами китайских коммунистов должны стать терпение и осторожность, тем более что революционная атмосфера проникает и в гоминьдан, принося с собой радикализацию и обессиливая его правое крыло.

Несколько позже и Сталин, выступая перед китайской комиссией Коминтерна, превозносил «революционные армии» Чан Кайши, требовал от коммунистов полного подчинения гоминьдану и предупреждал их об опасности любых попыток создать Советы в разгар «буржуазной революции».

На первый взгляд предсказания Сталина и Бухарина о «левом повороте в гоминьдане» вскоре оправдались. В ноябре правительство гоминьдана было преобразовано в широкую коалицию, в которой на первый план вышли левацкие группировки, возглавляемые Ван Чинвеем, соперником Чан Кайши; портфели министров сельского хозяйства и труда достались коммунистам. Новое правительство переехало из Кантона в Ухань. Однако правое крыло гоминьдана было отнюдь не «обессилено». Чан Кайши оставался Верховным главнокомандующим вооруженными силами и старательно подготавливал фундамент для своей диктатуры. Скорее какой-либо силы лишились коммунисты, входящие в правительство. Министр сельского хозяйства всячески старался сбить волну крестьянских восстаний, а министр труда был вынужден проглатывать антирабочие указы Чан Кайши. Чтобы успокоить коммунистов, из Москвы прибыли новые посланцы: после отъезда Бубнова в конце 1926 года в Ухане с этой миссией появился выдающийся индийский коммунист М.Н. Рой.

Политбюро все еще выступало за единство гоминьдана, когда весной 1927 года Чан Кайши, по-прежнему будучи почетным членом Исполкома Коминтерна, осуществил очередной переворот, который стал началом открытой контрреволюции. Основные события разыгрались в Шанхае — крупнейшем городе и коммерческом центре Китая, где доминировали экстратерриториальные анклавные западных держав, а в гавани стояли их боевые корабли. Незадолго до того как войска Чан Кайши вошли в город, рабочие Шанхая восстали, низложили прежнюю администрацию и захватили власть в городе. Несчастный Чен Дусю в который раз обратился в штаб Коминтерна, стараясь донести до него значение этого события — величайшего пролетарского восстания, которое когда-либо видела Азия, — и освободить свою партию от обязательств перед гоминьданом. Но Чен и его товарищей снова заставили подтвердить свою преданность гоминьдану и уступить власть в Шанхае Чан Кайши. Смущенные, но послушные, отвергая помощь, которую предлагали им отряды самого Чан Кайши, коммунисты немедленно выполнили этот приказ, сложили оружие и сдались. 12 апреля, лишь через три недели после их победоносного восстания, Чан Кайши устроил резню, в ходе которой погибли десятки тысяч коммунистов и следовавших за ними рабочих.

Так китайских коммунистов заставили принести жертву священному эгоизму первого пролетарского государства — эгоизму, который учение о «социализме в одной стране» возвело в принцип. Побочные следствия этого учения проявились написанными кровью на мостовых Шанхая. Сталин и Бухарин считали себя обязанными пожертвовать китайской революцией в интересах консолидации Советского Союза. Они отчаянно старались избежать любых шагов, которые бы спровоцировали капиталистические державы на войну с СССР и уничтожили бы с трудом завоеванный непрочный мир и равновесие. Советские вожди осуществляли свою китайскую политику в той же струе, в которой вели политику внутреннюю, полагая наивысшей мудростью придерживаться безопасной стороны и все государственные дела решать осторожно, шаг за шагом. Та же самая логика, которая заставляла их идти навстречу «крепкому хозяину» внутри страны, вела и к чрезмерным надеждам на гоминьдан. Несомненно, они ожидали, что китайская революция будет развиваться, как и социализм в России по предсказаниям Бухарина — «потихонечку».

Как нередко бывает в истории, такой осторожный и вроде бы практичный реализм в реальности оказался миражом. Невозможно «потихонечку» мчаться на драконах революции и контрреволюции. Однако большевики уже сколько лет из всех сил старались обеспечить для Советского Союза передышку, а добившись ее, надеялись продлить до бесконечности и поэтому резко отрицательно реагировали на все, что в принципе могло сократить ее или прервать. Во внутренних делах такую опасность несла политика, угрожавшая конфликтом с крестьянством, за границей — откровенная коммунистическая политика. Правящие фракции решительно старались не допустить этого, и поэтому не моргнув глазом позволили задушить китайскую революцию, чтобы для первого пролетарского государства продолжалась передышка¹.

И лишь 31 марта 1927 года, после годичного молчания и меньше чем за две недели до шанхайской резни, Троцкий подверг критике китайскую политику Политбюро. Несомненно, он всегда был настроен против этой политики и ее предпосылок, о чем свидетельствовали его предыдущие протесты против вхождения Китайской компартии в гоминьдан и тех почестей, которые Чан Кайши получил от Коминтерна. Собственные концепции Троцкого, последовательно разрабатывавшиеся более двадцати лет, не позволяли ему ни на момент согласиться с теми идеологическими аргументами, с помощью которых Сталин и Бухарин пытались оправдать свою политическую стратегию. Для сторонника перманентной революции не было ничего более далекого, чем их мнение, что вследствие буржуазного характера китайской революции тамошние коммунисты должны забыть свои социалистические убеждения ради союза с буржуазным гоминьданом. Весь образ мысли Троцкого подталкивал его к идее о том, что буржуазный и социалистический этапы этой революции сольются, как они слились в России, что в течение всей революции ее главной движущей силой будет рабочий класс и революция либо победит как пролетарское движение, установившее пролетарскую диктатуру, либо не победит вовсе.

Почему же тогда Троцкий сохранял молчание в решающий год? Во-первых, большую часть этого времени он болел; кро-

¹ Сталин пытался применить такой же подход и к следующей китайской революции (1947—1949), но размах той революции оказался чересчур велик, да и Мао Цзэдун кое-чему научился на опыте Чен Дусю.

ме того, он был по горло занят внутренними проблемами и делами европейского коммунистического движения, участвовал в неравной борьбе; ему приходилось считаться с деликатной тактической ситуацией, в которой пребывала оппозиция. Судя по личным бумагам Троцкого, он не уделял особого внимания китайской проблеме до первых месяцев 1927 года и не знал, насколько далеко зашли оппортунизм и цинизм Политбюро. Троцкий не имел представления, с какой неохотой китайские коммунисты выполняли указания Москвы, не было ему ничего известно о многочисленных обращениях и протестах Чен Дусю — Сталин и Бухарин держали их в секрете, не был он знаком и с прочей конфиденциальной информацией, которой обменивались Москва и Кантон, а впоследствии — Ухань. Когда же наконец Троцкий получил некое представление о реальной ситуации, встревожился и поднял этот вопрос в ведущих кругах оппозиции, оказалось, что даже там он остался практически в изоляции.

До самого конца 1926 года Зиновьев и Каменев почти не имели никаких упреков к официальной политике. Придерживаясь «старых большевистских взглядов» 1905 года, они также считали, что китайская революция по необходимости должна ограничиться буржуазными и антиимпериалистическими целями, одобряли союз китайской компартии с гоминьданом. Зиновьев в пору руководства Коминтерном наверняка играл заметную роль в осуществлении этой политики, не прислушиваясь к возражениям Чен Дусю. Но и самые выдающиеся троцкисты — Преображенский, Радек и даже, кажется, Пятаков и Раковский — были ошарашены, когда Троцкий стал прикладывать к Китаю схему перманентной революции. Они не думали, что коммунистическая партия может захватить власть и установить пролетарскую диктатуру в еще более социально отсталой стране, чем Россия. Лишь когда Троцкий пригрозил поднять этот вопрос под свою ответственность, что могло привести к расколу оппозиции, и после того, как стало совершенно очевидно, что реально «главной движущей силой» китайской революции являются рабочие, а Сталин и Бухарин, противодействуя ей, зашли далеко за те пределы, в которых «старые большевистские» теории и догмы сохраняли какой-то смысл, вожди оппозиции согласились начать в ЦК дискуссию по китайскому вопросу. Но и тогда они были готовы выступить против официальной политики, но не против пред-

посылок, на которых она основывалась. Они собирались осадить чрезмерное усердие, с которым Сталин и Бухарин превращали Китайскую компартию в помощницу Чан Кайши по подавлению забастовок, демонстраций и крестьянских восстаний, но по-прежнему полагали, что коммунисты должны сохранять союз с гоминьданом и «буржуазная» революция не может привести к пролетарской диктатуре в Китае. Это были противоречивые и пораженческие настроения, так как, если предполагалось, что коммунисты должны оставаться в составе гоминьдана, было бы явной непоследовательностью не сделать вывод, что им придется за это расплачиваться.

Троцкий ограничился тем, что открыл новую дискуссию в тех пределах, в которых ее были готовы вести Зиновьев, Каменев, Радек, Преображенский и Пятаков. В первые месяцы года вожди оппозиции все еще пытались уладить свои разногласия; лишь к концу марта они выявили общую позицию, с которой предстояло начать атаку. Троцкий осознавал безрадостные перспективы нового и опасного начинания. 22 марта, в тот самый день, когда рабочие Шанхая взялись за оружие, а войска Чан Кайши входили в город, он отмечал в своих бумагах опасность того, что «на ЦК этот вопрос превратится во фракционную грызню вместо серьезного обсуждения». Тем не менее вопрос следует поднимать, ибо «как сохранять молчание, когда на карту поставлено не что иное, как головка китайского пролетариата?».

Тот факт, что оппозиция с таким опозданием обратилась к китайским делам и выставила такое количество мысленных оговорок, с самого начала ослабил ее позиции. Политика, которая через несколько недель привела к полному разгрому, осуществлялась по меньшей мере три года, и ее вряд ли удалось бы повернуть в другую сторону в течение двух-трех недель. В тот момент, когда Троцкий решил, что не может молчать, раз «на карту поставлена головка китайского пролетариата», эту самую головку уже сокрушал Чан Кайши. Когда оппозиция возложила ответственность на Сталина и Бухарина, они в ответ спросили, где оппозиция была раньше и почему она все эти годы молчала. Очевидно, они полагали, что негодование критиков этой политики надуманно, что оппозиция уже давно искала повод для дискуссии и ухватилась за китайский вопрос, «как утопающий хватается за соломинку». Упреки в адрес оппозиции были не вполне

незаслуженными. Далее Сталин подчеркнул противоречия в подходе оппозиции и в полной мере воспользовался разногласиями между Троцким и его коллегами. Впрочем, это не меняет тот факт, что критика оппозиции при всей ее запоздалости и малодушности была оправданной. Троцкий же в течение этих судьбоносных недель день за днем жертвовал всю свою отвагу и энергию на то, чтобы в последний момент добиться пересмотра китайской политики. Его анализы ситуации отличались кристальной ясностью, прогнозы оказывались безупречными, а предупреждения звучали могучим набатным колоколом.

Задним числом можно только поражаться злостному самодовольству и упрямству, с каким правящие фракции затыкали себе уши в течение этих недель и до конца года, когда на фоне множества резких перестановок в Китае Троцкий безустанно умолял их спасти хотя бы остатки китайского коммунистического движения. Но его обращения неизменно игнорировались — отчасти из политического расчета, отчасти из желания доказать, что он не прав. Когда события подтвердили его правоту и принесли с собой новые бедствия, московские правители отчаянно и все же неохотно устремились в том направлении, которое указывал Троцкий, но было уже слишком поздно, и естественно, что они попытались оправдаться путем обвинений и клеветы на троцкизм.

Будет уместным упомянуть по крайней мере некоторые случаи вмешательства Троцкого. В письме Политбюро от 31 марта, жалуясь, что лишен доступа к докладам от московских советников и посланцев Коминтерна, Троцкий указывает на подъем рабочего движения в Китае и на коммунистический характер данного этапа революции. Почему, спрашивает он, партия не призывает рабочих создавать Советы, по крайней мере в главных промышленных центрах, таких как Шанхай и Ханькоу? Почему она не поощряет революцию на селе? Почему она не старается наладить теснейшее сотрудничество между восставшими рабочими и крестьянами? Только это может спасти революцию, над которой, как уверен Троцкий, уже нависла опасность контрреволюционного военного переворота.

Три дня спустя, 3 апреля, он снова выступает против редакционной статьи в «Коммунистическом Интернационале», где утверждалось, что важнейшим вопросом в Китае является «дальнейшее развитие гоминьдана». Именно это как раз не

важнейший вопрос, отвечает Троцкий. Гоминьдан не может привести революцию к победе. Следует срочно организовывать Советы рабочих и крестьян. День за днем Троцкий протестует против речей Каилина, Рудзутака и других, которые утверждают, что все классы китайского общества «видят в гоминьдане *свою* партию и должны оказать гоминьдановскому правительству чистосердечную поддержку». 5 апреля, за неделю до шанхайского кризиса, Троцкий подчеркивает, что Чан Кайши готовит квазибонапартистский или фашистский переворот, который могут предотвратить лишь Советы, созданные рабочими. Такие Советы сперва должны стать противовесом гоминьдановской администрации, а затем, после периода «двоевластия», превратятся в органы восстания и революционного правительства. 12 апреля, в день шанхайской резни, Троцкий пишет язвительное опровержение появившегося в «Правде» панегирика гоминьдану — его автор, Мартынов, который двадцать лет был одним из самых правых меньшевиков, вступил в компартию лишь через несколько лет после Гражданской войны, а сейчас стал светилом Коминтерна. Еще через несколько дней Троцкий пишет Сталину, снова тщетно упрашивая предоставить ему секретные доклады из Китая. По иронии судьбы 18 апреля, через неделю после шанхайской резни, восточный секретариат Коминтерна попросил Троцкого, вслед за другими советскими вождями, надписать свой портрет для Чан Кайши в качестве дружеского жеста. Троцкий отказался, ответив презрительным упреком в адрес коминтерновских чиновников и их вдохновителей.

К этому времени в Москву пришли сообщения о шанхайской резне. Призывы Сталина и Бухарина были еще свежи у всех в памяти. К счастью для них, критика со стороны оппозиции не стала достоянием общественности — об этой дискуссии знали лишь некоторые партийные кадры, чиновники Коминтерна и китайские студенты в Москве. Сталин и Бухарин всячески старались приуменьшить масштаб событий и представляли их как временное отступление китайской революции. Однако они были вынуждены внести коррективы в свою политику. Поскольку «союз» с Чан Кайши рухнул, они велели китайским коммунистам еще более тесно сотрудничать с «левым гоминьданом», т. е. с уханьским правительством, во главе которого стоял Ван Чинвей. Левый гоминьдан в то время конфликтовал с Чан Кайши и рассчитывал на поддержку

коммунистов. Москва с готовностью пошла ему навстречу и потребовала, что Чен Дусю и его товарищи, как и прежде, воздерживались от «провокационных» революционных действий и во всем подчинялись Ван Чинвею¹.

Троцкий заявлял, что новая политика всего-навсего воспроизводит старые ошибки в меньшем масштабе. Следует, наконец, поощрять проведение коммунистами прямолинейной политики, создание рабочих и крестьянских Советов и оказывать всю возможную поддержку крестьянским восстаниям в Южном Китае, куда не распространялась власть Чан Кайши и где у коммунистов все еще были развязаны руки. Правда, Троцкий считал, что возможности для революционных действий невелики: переворот Чан Кайши, несмотря на официальные попытки приуменьшить его масштабы, представлял собой «коренной поворот» от революции к контрреволюции и «сокрушительный удар» по городским революционным силам. Но при этом Троцкий полагал, что Чан Кайши не сумел подавить рассеянные и неуловимые волнения в деревне, что борьба крестьян за землю будет продолжаться и со временем она может обеспечить стимул для возрождения революции в городах. Коммунисты должны все свои силы и влияние направить на поддержку крестьянских волнений, но для этого им следует порвать с гоминьданом, как правым, так и «левым», и преследовать собственные цели. Зиновьевцы снова не согласились с Троцким. Они все еще предпочитали, чтобы Китайская компартия оставалась в составе левого гоминьдана, но вела независимую политику в качестве оппозиции Ван Чинвею. Оппозиция отстаивала такую линию во многих своих заявлениях, ни одно из которых не было опубликовано.

Возвращение оппозиции к критике китайской политики свергло правящие фракции в лихорадку. Их замешательство легко себе представить, ведь никогда прежде ошибочность их курса не была столь откровенно продемонстрирована и никогда прежде их вождям не случалось столь скандально и нелепо опозориться. Примерно в то же время по их репутации был нанесен еще один удар, на этот раз не такой мощный. Англо-русский комитет развалился: из него вышли лидеры британских профсоюзов. В дипломатической сфере между Великобритани-

¹ Этот курс Китайская компартия неохотно одобрила на своем съезде в апреле 1927 г.

ей и Советским Союзом существовали серьезные трения. И на этом фоне рухнула еще одна великая надежда официальной политики. Однако правящие фракции постарались воспользоваться этим обстоятельством именно для того, чтобы отвлечь внимание от Китая и пресечь всякие дискуссии. Они подняли крик об опасности войны и интервенции, породив состояние всеобщей нервозности и национальной тревоги, при которой тем легче было заклеить оппозицию за непатриотичность. Сталин разошелся, снова и снова угрожая исключением из партии, и использовал любые средства морального давления, чтобы заткнуть рот критикам. По его настоянию Крупская умоляла Зиновьева и Каменева «не устраивать ссору из-за Китая» и напоминала, что им, того и гляди, вскоре придется «критиковать партию снаружи». Оппозиция стремилась избежать ссоры. Троцкий и Зиновьев предложили, чтобы ЦК собрался и уладил разногласия частным образом, так, чтобы дискуссия не упоминалась даже в конфиденциальном бюллетене, который ЦК выпускал для «активистов». Сталин, однако, отказывался дискутировать даже без протокола, и Политбюро не стало проводить такую сессию¹.

Наконец в последнюю неделю мая Троцкий навязал дискуссию на пленуме Исполкома Коминтерна. Он обратился к Коминтерну от имени советской компартии, имея на это полное право. Исполком Коминтерна номинально представлял собой апелляционный суд, к которому любой коммунист мог обратиться с жалобой на собственную партию. Однако «Правда» заранее назвала это обращение актом нелояльности и нарушением дисциплины. Тем не менее оппозиция воспользовалась возможностью, чтобы подвергнуть критике всю официальную политику как во внутренних делах, так и в иннос-

¹ 7 мая Троцкий написал письмо Крупской. Уязвленный ее словами о «ссоре из-за Китая», он просил ее не уклоняться от этого важного вопроса. «Кто прав — мы или Сталин?» Троцкий перечисляет все, что сделала оппозиция, чтобы организовать неофициальное совещание, и напоминает Крупской, что до самого недавнего времени она вместе с оппозицией выступала против «жестокости и вероломства» Сталина. Изменился ли сталинский режим с тех пор в лучшую сторону? Письмо Троцкого вдове Ленина полно сожалений и разочарования, но одновременно и теплых чувств — Троцкий фактически прощался с ней и не знал, как лучше закончить: «От всего сердца желаю вам доброго здоровья и полной... уверенности в чистоте той линии, которая...» Последние две строчки он зачеркнул, написал заново и снова зачеркнул. Черновик письма сохранился в его архивах.

транных, как в Азии, так и в Европе. Чтобы упрочить свое положение и защититься от репрессий, или, как выразился Троцкий, чтобы «переложить ожидавшийся удар на множество плеч», оппозиция устроила политическую демонстрацию, аналогичную демонстрации «сорока шести» в 1923 году: накануне пленума группа из восьмидесяти четырех выдающихся партийцев заявила о своей солидарности со взглядами Троцкого и Зиновьева¹. Сталин в самом деле не мог сразу же наказать Троцкого и Зиновьева, не наказывая одновременно «восемьдесят четырех», а впоследствии «трехсот», подписавших заявление. Однако их совместный демарш позволил Сталину заявить, что оппозиция нарушила свое обязательство и вновь превратилась во фракцию².

24 мая Троцкий выступил перед Исполкомом Коминтерна. По иронии судьбы ему пришлось начать с протеста против оскорбления, нанесенного Зиновьеву, бывшему председателю Исполкома, который не так давно обличал его перед этим же самым Исполкомом, а теперь не был даже допущен на пленум. Троцкий говорил об «интеллектуальной слабости и неуверенности», заставившей Сталина и Бухарина скрыть от Коминтерна правду о Китае и называть обращение оппозиции к Исполкому преступлением. Исполком должен опубликовать свои материалы — «проблемы китайской революции нельзя запечатать в бутылке». Ему следует иметь в виду серьезные опасности, которыми грозит «режим» Коминтерна, выстроенный по образцу советской компартии. Некоторые зарубежные коммунистические вожди нетерпимы к оппозиции и воображают, что советская компартия и Коминтерн вернутся к нормальной жизни, как только избавятся от Троцкого и Зиновьева. Они занимаются самообма-

¹ Этот документ иногда называют «Заявлением 83-х», а иногда «Заявлением 84-х». Оно было подано в ЦК между 23 и 26 мая. Впоследствии число подписавших его достигло 300 человек.

² См. письмо Троцкого от 12 июля 1927 г., адресованное одному из вождей оппозиции, занимавшему должность посла за границей (либо Крестинскому, либо Антонову-Овсеенко). Корреспондент Троцкого полагал, что «демарш 84-х» без всякой нужды обостряет борьбу. Троцкий признает, что такие сомнения выражала и московская оппозиция, но говорит, что она решилась на демарш в качестве меры самозащиты. В обострение борьбы из-за выступления оппозиции Троцкий не верит, полагая, что из-за долгого отсутствия в стране его корреспондент потерял связь с Россией, и приглашает его посетить Москву, чтобы почувствовать местную атмосферу.

ном. «Произойдет нечто совершенно противоположное... На этой дороге вас ждут лишь дальнейшие трудности и дальнейшие потрясения». Никто в Интернационале не смеет поднять голос из опасения, что критика повредит Советскому Союзу. Однако нет ничего столь вредоносного, как отсутствие критики, и это доказывают события в Китае. Сталин и Бухарин заняты в основном самооправданием и сокрытием своих чудовищных ошибок. Они утверждают, что все предвидели и обо всем позаботились. Тем не менее лишь за неделю до шанхайского кризиса Сталин похвалялся на партсобрании, что «мы используем китайскую буржуазию, а затем выбросим, как выжатый лимон». «Эта речь осталась неизвестна публике, потому что через несколько дней «выжатый лимон» захватил власть». Советники из СССР и посланцы Коминтерна, особенно Бородин, вели себя так, «как будто представляют какой-то Гоминьтерн»:

«Они препятствовали независимой политике пролетариата, ее независимой организации и особенно вооружению рабочих... Боже упаси, как бы оружие в руках рабочих не спугнуло великую химеру национальной революции, которая должна охватить все классы китайского общества... Коммунистическая партия Китая оказалась в оковах... Почему у нее не было и по сей день нет собственной ежедневной газеты? Потому что этого не хочет гоминьдан... Но таким образом рабочий класс оставался политически безоружным».

Пока продолжался пленум Исполкома, трения между Великобританией и Советским Союзом подошли к критической точке: британская полиция устроила налет на советское торговое представительство в Лондоне, британское правительство разорвало отношения с СССР. Сталин воспользовался этим обстоятельством.

«Я должен сказать, товарищи, — заявил он на Исполкоме в завершение своей речи, — что Троцкий выбрал для своих нападений... слишком неподходящий момент. Я только что получил известие, что английское консервативное правительство решило порвать отношения с СССР. Нечего и доказывать, что теперь пойдет повсеместный поход против коммунистов. Этот поход уже начался. Одни угрожают ВКП(б) войной и интервенцией. Другие — расколом. Создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до Троцкого... Можете не сомневаться, что мы сумеем разбить и этот новый «фронт».

Он возлагал все надежды на левый гоминьдан так же уверенно, как ранее надеялся на правый гоминьдан: «Только слепые могут отрицать за левым Гоминьданом роль органа революционной борьбы, роль органа восстания против феодальных пережитков и империализма в Китае». Фактически Сталин требовал, чтобы оппозиция молчала под угрозой обвинения в помощи и сочувствии врагу.

Сталин уже не в первый раз делал намеки о «едином фронте от Чемберлена до Троцкого». Несколькими месяцами раньше такие инсинуации анонимно появились в «Правде»¹. Однако сейчас эти туманные и анонимные намеки впервые приняли форму прямых обвинений. Вот как ответил Троцкий:

«Было бы откровенным абсурдом верить в то, что оппозиция откажется от своих взглядов... Сталин сказал, что оппозиция образует один фронт вместе с Чемберленом и Муссолини... Я на это отвечаю: никто не помог Чемберлену сильнее, чем Сталин с его ложной политикой, особенно в Китае... Ни один честный рабочий не поверит в безумную ложь о едином фронте Чемберлена и Троцкого».

В ответ на предпочтение, оказываемом Сталиным левому гоминьдану, Троцкий заявил:

«Сталин хочет, чтобы Интернационал взял на себя ответственность за политику Гоминьдана и Уханьского правительства, как он неоднократно брал на себя ответственность за политику... Чан Кайши. У нас с этим нет ничего общего. Мы не желаем брать на себя даже тени ответственности за действия Уханьского правительства и Гоминьдановского руководства и настоятельно советуем Коминтерну также отказаться от такой ответственности. Мы прямо говорим китайским крестьянам: вожди левого гоминьдана... неизбежно предадут вас, если вы пойдете за ними... а не станете создавать собственные независимые Советы... [Они] десять раз объединятся с Чан Кайши против рабочих и крестьян».

В Кремле все еще шли эти перепалки, когда на дальнем юге Китая предсказания Троцкого начали сбываться. В мае произошел так называемый Чаншинский переворот. Уханьское пра-

¹ В архиве Троцкого имеется черновик резкого протеста против этого выпада, написанный 6 января 1927 г. и адресованный Политбюро. Зиновьев возражал против резкости этого протеста и предоставил собственный черновик, в котором призывал Политбюро защитить оппозицию от клеветы.

вительство, в свою очередь, начало бороться с профсоюзами, отправляло войска на подавление крестьянских восстаний и ударило по коммунистам. Советская печать умалчивала об этих событиях почти месяц¹. Резолюции Исполкома, продиктованные Сталиным и Бухариным, невероятно устаревали еще до того, как выходили в свет, и Сталин торопился сочинить новые инструкции для Китайской компартии. Он по-прежнему приказывал ей оставаться в левом гоминьдане и поддерживать Уханьское правительство, но требовал, чтобы коммунисты протестовали против подавления крестьянских восстаний и советовали Уханьскому правительству прибегать к помощи крестьянских Советов для обуздания этих восстаний, вместо того чтобы использовать войска. Однако к тому моменту левый гоминьдан изгнал коммунистов из своих рядов. В течение июня и июля раскол между ними углублялся и возникли условия для примирения левого гоминьдана с Чан Кайши.

Последствия этих событий сразу же проявились в Москве. Троцкий почти ежедневно протестовал против сокрытия информации. Зиновьев просил, чтобы партийный суд осудил Бухарина как редактора «Правды», ответственного за это сокрытие. Зиновьев и Радек наконец-то согласились вместе с Троцким потребовать, чтобы коммунисты порвали с левым гоминьданом, но это было бессмысленно, ведь левый гоминьдан уже сам порвал с коммунистами, и даже Сталину не оставалось ничего иного, как посоветовать поступить точно так же.

В реальности Сталин уже готовился к одному из резких политических поворотов, намереваясь пойти «ультралевым» курсом, который к концу года, на откате революции, привел китайских коммунистов к кровавому и неудачному Кантонскому восстанию. В июле Сталин отозвал из Китая Бородина и Роя и послал вместо них секретаря комсомола Ломинадзе и немецкого коммуниста Хайнца Нойманна; оба ничего не смыслили в китайских делах и старались склонностью к «путчизму», намереваясь провести переворот в Китайской компартии. Они объявили Чен Дусю, неохотно, но добросовестно исполнявшего приказы Сталина и Бухарина, негодяем и «оппортунистом», превратив его в козла отпущения за все неудачи.

¹ Вожди оппозиции узнавали о них из секретного бюллетеня Советского Информбюро.

Во внутренних делах Сталин по-прежнему эксплуатировал угрозу войны и антикоммунистического крестового похода, что позволило ему усилить нажим на оппозицию. Многих вождей оппозиции он отправил за границу под предлогом различных дипломатических миссий. Пятаков, Преображенский и Владимир Косиор вместе с Раковским оказались в парижском посольстве. Каменева назначали послом к Муссолини — трудно было придумать более досадное и унижительное поручение для бывшего председателя Политбюро. Антонов-Овсеенко был в Праге; Сафаров — комсомольский вождь-зиновьевец — получил назначение в Константинополь; других послали в Австрию, Германию, Персию и Латинскую Америку. Таким образом ведущая группа оппозиции была в основном рассеяна. Что касается «восьмидесяти четырех», то их одного за другим понижали в должности, наказывали и под предлогом административных назначений перемещали в отдаленные провинции. На низших уровнях репрессии шли почти в открытую: рядовых партийцев увольняли и ссылали в глушь без всяких объяснений.

Оппозиция в отчаянии пыталась защищаться, протестуя против скрытых форм депортации и ссылки, но ничего не добилась. Правящие фракции усматривали в любой попытке самозащиты новые проступки, оправдывающие новые репрессии. Каждая жалоба воспринималась как еще один признак злокозненного неподчинения, каждый вопль и даже стон протеста — как призыв к бунту. Сталинисты и бухаринцы так старались вывернуть намерения оппозиции наизнанку и представить ее даже самые робкие жесты как акты неслыханного неповиновения, что в результате каждый такой жест действительно становился актом неповиновения — от оппозиционеров требовалось самое упрямое неподчинение, чтобы подавать какие-то жалобы, а каждый стон звучал грозным набатом к восстанию. Любой инцидент, даже самый тривиальный, мог разжечь безумные страсти во фракциях, поднять их на дыбы и сотрясти партию и правительство.

Одним из таких инцидентов стал «митинг на Ярославском вокзале». Примерно в середине июня Смилга получил приказ покинуть Москву и отправиться к новому месту службы в Хабаровск, на маньчжурскую границу. Смилга — вождь Балтийского флота в Октябрьскую революцию, видный политкомиссар в годы Гражданской войны и выдающийся экономист — был одним из самых уважаемых и популярных вождей зиновье-

евской фракции. В день его отбытия из Москвы на Ярославском вокзале собралось несколько тысяч оппозиционеров и их друзей, чтобы проводить Смилгу и провести демонстрацию против ведущихся исподтишка репрессий. Толпа была обозлена, и демонстрация получилась беспрецедентная. Она проходила в публичном месте, среди людского скопления, обычного для крупного железнодорожного узла. Беспартийные пассажиры и прохожие, смешавшись с демонстрантами, слышали их нелицеприятные отзывы о партийных вождях и запоминали возбужденные реплики. Кроме того, с речами выступили Троцкий и Зиновьев. Из-за этих обстоятельств проводы Смилги стали первой публичной, хотя отчасти непреднамеренной, демонстрацией против правящей группировки. Троцкий, осознавая всю деликатность ситуации, обращался к толпе сдержанно, никак не ссылаясь на внутривнутрипартийный конфликт. Кажется, он даже не упоминал причину протеста, а вместо этого самым серьезным тоном говорил о международной напряженности, об угрозе войны и о необходимости сплочения всех честных большевиков и граждан вокруг партии.

Тем не менее правящая группировка обвинила Троцкого и Зиновьева в попытке вынести внутривнутрипартийные дискуссии на публику. Простых оппозиционеров, уличенных в присутствии на Ярославском вокзале, исключали из ячеек без лишних слов. Отголоски этого инцидента не утихали до конца лета — на фоне постоянной угрозы войны, что вело к нехваткам продовольствия.

«Партия находится в состоянии такого глубокого кризиса, какого она со времени революции еще не переживала», — заявлял Троцкий в письме ЦК от 27 июня. Он ссылаясь на угрозу войны и на ее побочные последствия, указывая, что, если ЦК сам верит речам агитаторов о неминувости войны, ему тем более следует пересмотреть свою политику и восстановить в партии нормальные отношения, «ленинский режим». Возможность для этого, указывает Троцкий, налицо: ЦК готовится к новому съезду партии; так пусть же он проведет открытую предсъездовскую дискуссию, вернув всех фактически сосланных приверженцев оппозиции и позволив им принять участие. Но не успело обращение Троцкого дойти по адресу, печать снова заговорила о сговоре оппозиции с иностранными империалистами. На следующий день Троцкий снова обратился в ЦК, сказав между прочим, что Сталин явно наце-

ливается на физическое уничтожение оппозиции: «Дальнейший путь сталинской группы механически предопределен. Если сегодня она нам приписывает фальшивые цитаты, то завтра будет вынуждена приписывать нам фальшивые действия... Сталинская группа вынуждена будет, и притом в самый короткий срок, мобилизовать против оппозиции все те средства и приемы, какие в июле 1917 г. мобилизовал против большевиков классовый враг — когда Ленин бежал из Петрограда, а все говорили о «пломбированном вагоне», «иностранном золоте», заговорах и т. д. К этому ведет курс Сталина. К этому — и ко всем вытекающим отсюда последствиям. Не признавать этого может только ханжа или политический слепец»¹.

Сталин с негодованием отрицал, что собирается уничтожить своих критиков. Однако вскоре он решил вызвать вождей оппозиции на суд ЦК и ЦКК — два эти органа совместно выполняли роль верховного партийного трибунала. Перед ним поставили требование исключить Зиновьева и Троцкого из ЦК — это стало бы предпоследней дисциплинарной мерой перед их исключением из партии. В принципе только съезд, избирающий членов ЦК, мог лишить их своих мест; но запрет 1921 года на фракции наделял такими полномочиями также верховный партийный трибунал, позволив ему в промежутках между съездами исключать из ЦК тех членов, которые нарушают запрет. Примерно в конце июня Ярославский и Шкирятов предъявили двум вождям оппозиции обвинение. Оно содержало лишь два пункта: обращение Троцкого и Зиновьева в Исполком Коминтерна и демонстрацию на Ярославском вокзале. Оба обвинения были настолько хрупкими, что в течение четырех месяцев трибунал, почти поголовно состоявший из ревностных сталинистов и бухаринцев, не нашел достаточных оснований для вынесения вердикта.

Пока тянулось разбирательство, нетерпение Сталина росло. Он горел желанием добиться вердикта об исключении до открытия XV съезда. Пока вожди оппозиции пребывали в составе ЦК, они оставались официальными лицами, имеющими право выступить перед съездом с критикой официальной по-

¹ Зиновьевцы с таким ужасом, а может, и с недоверием думали о гильотине, нависшей у них над головой, что умоляли Троцкого не делать таких резких заявлений.

литики и даже зачитать формальные контрдоклады, как поступили Зиновьев и Каменев на последнем съезде. Благодаря этому они могли огласить всю правду о Китае и развернуть вокруг нее открытую дискуссию, которую бы услышали и страна, и весь мир. Сталин не мог пойти на такой риск. По этой и по другим причинам — события снова вынуждали его изменить свою позицию и во внутренней политике, тем самым косвенно признав свои ошибки, — Сталин готов был на все, чтобы не допустить Троцкого и Зиновьева на трибуну съезда. Для этого сперва следовало исключить их из ЦК. Сделав это, он мог быть уверен, что внимание возбужденных делегатов будет поглощено внутрипартийными интригами, а поражение в Китае и другие политические вопросы останутся незамеченными, и вожди оппозиции смогут появиться на съезде в крайнем случае как обвиняемые, протестующие против жестокого вердикта. Съезд был назначен на ноябрь. Сталину следовало торопиться.

24 июля Троцкий впервые появился перед президиумом ЦКК, чтобы ответить на обвинения. Пять лет назад он сам обвинял «рабочую оппозицию» перед тем же самым органом. Тогдашний председатель ЦКК — Сользу, старый и уважаемый большевик, которого в дни Ленина порой называли «совестью партии», — сейчас как сталинист сидел среди судей Троцкого. Председательствовал же земляк и друг Сталина — вспыльчивый, но по-своему честный и даже благородный Орджоникидзе, на защиту которого встал Троцкий, когда Ленин собирался исключить его из партии за действия в Грузии в 1922 году. Обвинители Троцкого — Ярославский и Шкирятов — также находились в президиуме. Еще одним судьей был некто Янсон, которого ЦКК ранее порицала за излишнее антитроцкистское рвение. Остальные тоже являлись ставленниками правящих фракций. Троцкий мог не ждать, что его дело разберут беспристрастно, и начал свою защиту с сомнений в объективности судей, потребовав отвода хотя бы для Янсона. Но даже эти люди выполняли свою работу вяло, упав духом. Как и подсудимого, их преследовали мысли о французской революции и якобинских чистках. В их ушах звенело зловещее предсказание, сделанное 130 лет назад осужденным Дантоном: «После меня придет твоя очередь, Робеспьер!»

Незадолго до начала слушаний Сользу в разговоре с одним из соратников Троцкого, пытаясь доказать ему, какую вред-

ную роль выполняет оппозиция, заявил: «К чему это ведет? Вы знаете историю Великой французской революции, — до чего это доводило. До арестов и гильотинирования». — «Что же, вы собираетесь нас гильотинировать?» — спросил его оппозиционер, на что Сольц ответил: «А как вы думаете, Робеспьеру не было жалко Дантона, когда он отправлял его на гильотину? А потом пришлось идти и Робеспьеру... Вы думаете, не жалко было? Жалко, а пришлось...» И судьбы и подсудимые видели гигантское окровавленное лезвие, занесенное над их головами, но, охваченные фатализмом, не могли предотвратить неизбежного, и каждый из них, нерешительно и даже трепеща, продолжал делать то, что лишь быстрее приближало финал.

Троцкий вкратце ответил на два предъявленных ему формальных обвинения. Он возражал против права трибунала судить его за речь, произнесенную на Исполкоме Коминтерна. Точно так же он отрицал бы право «губернской контрольной комиссии» привлекать его к ответственности за выступление в качестве члена ЦК — ведь его судьбы, в качестве руководящих органов партии, признавали над собой власть Коминтерна. Что касается второго обвинения — демонстративных проводов Смилги, — то правящая группировка отрицала, что намеревалась наказать Смилгу. Но «если Смилга отправлен в нормальном порядке для работы в Хабаровск, то вы не смее-те говорить, что коллективные провода его были демонстрацией против Центрального Комитета. Однако если это назначение было замаскированной формой наказания, то вы... ведете двойную игру». Впрочем, эти мелкие обвинения представляют собой лишь предлог «для травли оппозиции и для подготовки ее разгрома». Отсюда и угроза войны, придуманная для того, чтобы запугать критиков и заставить их замолчать. «Мы заявляем: сталинский режим мы будем критиковать до тех пор, пока вы нам механически не закроете рот». Этот режим «подорвет все завоевания Октябрьской революции». Оппозиционеры не имеют ничего общего с теми старорежимными «патриотами», которые путали отечество с царизмом. Их уже обвинили в том, что они помогают и сочувствуют британским тори. Однако оппозиционеры имеют полное право обвинить в том же самом своих обвинителей. Сталин и Бухарин, поддерживая Англо-русский комитет, на самом деле косвенно помогают Чемберлену, а их «со-

юзники» — вожди британских профсоюзов — по всем основным вопросам поддерживают внешнюю политику Чемберлена, включая разрыв отношений с СССР. В партийных официальных агитаторах задают провокационные, вполне черносотенные вопросы о том, на какие средства оппозиция ведет свою работу. «Эту грязную, дрянную, гнусную, чисто сталинскую кампанию против оппозиции вы обязаны были бы прекратить, если бы вы были ЦКК». Если правящая группировка действительно озабочена безопасностью страны, ей не следовало отстранять от дел лучших военных работников — Смилгу, Мрачковского, Лашевича, Бакаева и Муралова — только за то, что они сторонники оппозиции. Настало время не раздувать внутрипартийные конфликты, а гасить их. Наступление на оппозицию связано с общей надвигающейся волной реакции.

Сделав обзор основных вопросов, Троцкий привел ряд многозначительных намеков на французскую революцию. Он процитировал приведенный выше разговор между Сольцем и оппозиционером и сказал, что согласен с Сольцем — всем им следует подновить знания о французской революции. Но следует правильно использовать исторические аналогии:

«Во время Великой французской революции гильотинировали многих. И мы расстреляли многих. Но в Великой французской революции было две больших главы, одна шла так (*показывает вверх*), а другая шла этак (*вниз*)... Когда глава шла так — вверх, — французские якобинцы, тогдашние большевики, гильотинировали роялистов и жирондистов. И у нас такая большая глава была, когда и мы, оппозиционеры, вместе с вами, были расстрельщиками, — это когда расстреливали белогвардейцев и жирондистов, — мы были с вами расстрельщиками. А потом началась во Франции другая глава, когда... термидорианцы и бонапартисты — из правых якобинцев — стали ссылать и расстреливать левых якобинцев... Я бы хотел, чтобы тов. Сольц продумал свою аналогию до конца и, прежде всего, себе самому сказал: по какой главе Сольц собирается нас расстреливать? (Шум в зале.) Тут не надо шутить, революция — дело серьезное. Расстрелов никто из нас не пугается. Мы все — старые революционеры. Но надо знать, кого и по какой «главе» расстреливать. Когда мы расстреливали, то твердо знали, по какой главе. А вот сейчас, — ясно ли вы понимаете, тов. Сольц, по какой главе собираетесь рас-

стреливать? Я опасаюсь... что вы собираетесь нас расстреливать по... термидорианской главе».

Далее Троцкий объяснил, что его противники ошибаются, считая, что он зря их обзывает. Термидорианцы не были сознательными контрреволюционерами — они были якобинцами, «только поправевшими».

«И вы думаете, что на другой день после 9 термидора они сказали себе: теперь мы передали власть в руки буржуазии? Ничего подобного! Возьмите все газеты того времени. Они говорили: мы изничтожили кучку людей, которые нарушали в партии покой, а теперь, после гибели их, революция восторжествует окончательно. Если тов. Сольц сомневается в этом...

Сольц: Вы почти что повторяете мои слова.

Троцкий: ...Я вам прочитаю, что говорил Бриваль, один из правых якобинцев — термидорианцев, когда докладывал о том заседании Конвента, где Робеспьера и других якобинцев предали революционному трибуналу: «Интриганы-контрреволюционеры, прикрывшись тогой патриотизма, хотели погубить свободу; Конвент декретировал, что они подлежат аресту. Эти представители — Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст, Леба, Робеспьер-младший. «Каково же было ваше мнение?» — спросил меня председатель. Я ответил: «Кто всегда голосовал в духе принципов Горы... тот голосовал за арест; я сделал даже более, так как я являюсь одним из людей, предложивших эту меру; кроме того, в качестве секретаря я поспешил подписать и разослать этот декрет Конвента». Вот как докладывал тогдашний Сольц... Контрреволюционеры — это Робеспьер и его единомышленники. «Кто всегда голосовал в духе принципов Горы» на языке того времени значило: «кто всегда был большевиком». Бриваль считал себя «старым большевиком». «В качестве секретаря я поспешил подписать и разослать этот декрет Конвента». И теперь есть секретари, которые спешат «подписывать и рассылать». И теперь есть такие секретари».

Термидорианцы, продолжал Троцкий, тоже расправлялись с левыми якобинцами под крики «Отечество в опасности!». Считая Робеспьера и его друзей не более чем «отдельными лицами», они не понимали, что те «отражали низовую революционную стихию тогдашнего времени», которая шла против тогдашнего «неонэпа» и бонапартизма. Робеспьера и его друзей обвиняли в принадлежности к аристократии — «и разве не слышали мы сегодня той же клички «аристократ» по мо-

ему адресу из уст Янсона?» Левых якобинцев называли агентами Питта, точно так же как сталинисты заявляют, что за спиной оппозиции стоит Чемберлен — «теперешний Питт карманного масштаба».

«Этот запах «второй главы» бьет в нос... партийный режим душит всякого, который борется против Термидора... В партии задушен массовик. Рядовой рабочий молчит. [До такого же состояния были доведены и якобинские клубы.] В них установился режим запуганности и безличия, ибо заставляли молчать, требовали стопроцентных голосований, воздержания от всякой критики, заставляли думать так, как приказано сверху, отучали понимать, что партия — это живой, самостоятельный организм, а не самодовлеющий аппарат власти... И якобинские клубы, очаги революции, стали рассадниками будущих наполеоновских чиновников. У Французской революции должно учиться. Но неужели же ее нужно повторять? (Реплики.)».

Однако еще не все потеряно. Несмотря на серьезные разногласия, раскола все еще можно избежать. Еще есть «гигантский революционный заряд в партии», есть запас идей и традиций, унаследованных от Ленина. «Вы многое из этого капитала промотали, многое подменили дешевкой... Но осталось еще много чистого золота. На дворе стоит эпоха грандиозных событий, крутых поворотов, и историческая сцена в любой момент может резко измениться. Не смейте эти факты скрывать. Рано или поздно они все же станут известны. Нельзя скрыть победы и поражения пролетариата. Если бы партии позволили поразмыслить над фактами и свободно сформировать свое мнение, нынешний кризис был бы преодолен. Поэтому правящая группировка не должна принимать поспешных и непоправимых решений. Смотрите, чтоб вам не пришлось сказать: мы расстались с теми, кого нужно было сохранить, а сохранили тех, с кем нужно было расстаться».

Невозможно читать эти слова, не вспоминая «мурашек, бегущих по спине», о которых молодой Троцкий говорил в 1904 году, когда на пороге своей карьеры размышлял о будущем ленинской партии и сравнивал ее с якобинцами. Те же мурашки бежали по его спине двадцать три года спустя. В 1904 году он писал, что «якобинский трибунал по обвинению в умеренности осудил бы все международное рабочее движение, а львиная голова Маркса первой бы скатилась с гильотины». Теперь же он сам с львиной отвагой защищал собствен-

ную голову перед большевистским трибуналом. В 1904 году Троцкого отталкивала ленинская «злая и нравственно отвратительная подозрительность — жалкая карикатура на трагическую якобинскую нетерпимость». Теперь же он противопоставлял идеи Ленина нетерпимости и «злой и нравственно отвратительной подозрительности» ленинских наследников. Однако представления Троцкого о якобинстве оказались почти диаметрально противоположны тем, которые он провозглашал в юности. Тогда он считал якобинство несовместимым с марксистским социализмом — это были «два противоположных мира, два учения, две тактики, два образа мысли», так как якобинство означало «абсолютную веру в метафизическую идею и абсолютное недоверие к живым людям», в то время как марксизм в первую очередь опирался на классовую сознательность трудящихся масс. Поэтому в 1904 году Троцкий требовал четкого выбора между тем и другим, потому что возрожденный якобинский метод будет состоять в «возвышении над пролетариатом нескольких избранных... или одного человека, уполномоченного уничтожить и разрушать». И вот он сам предстал перед этими избранными и перед человеком, получившим власть уничтожить и разрушать, но обвинял их не в том, что они действуют в якобинском духе; наоборот, они делают все, чтобы этот дух уничтожить. Теперь Троцкий подчеркивал сходство между марксизмом и якобинством и отождествлял себя и своих сторонников с группой Робеспьера; именно он бросил Сталину и Бухарину обвинение в умеренности.

Таким образом «конфликт двух душ большевизма — марксистской и якобинской», впервые подмеченный Троцким в 1904 году и лежавший в основе всей большевистской истории в последние годы, вынудил Троцкого взглянуть на якобинство с совершенно иного угла, чем прежде. Этот конфликт выражался в смене представлений, характерных для всех большевистских фракций. Любопытно, что все они отождествляли себя с одной и той же стороной якобинства. В то время как Троцкий сравнивал свою позицию с позицией Робеспьера и считал своих противников «умеренными», Сольц и прочие видели в Сталине нового Робеспьера, а в Троцком — нового Дантона. На самом деле, как показали события, расстановка сил была намного более сложной и запутанной. Общей чертой, объединявшей и якобинство, и большевизм, была склонность к подменам. Каждая из этих партий, встав во главе общества, при реализации

своей программы не могла рассчитывать на его добровольную поддержку. Как и якобинцы, большевики «не могли полагаться на то, что их истины завоюют сердца и мысли людей». Они оглядывались со злобешей подозрительностью и повсюду «видели врагов, выползающих из всех щелей». Им пришлось резко отделить себя от остального мира, поскольку «каждая попытка затереть эту границу угрожает выпустить на свободу внутренние центробежные силы», причем границу проводили «лезвием гильотины», а уничтожив внешних врагов, начали искать их в своих рядах. И все же Троцкий как марксист повторял то, что впервые сказал в 1904 году: «Партия должна считать гарантией своей стабильности собственную основу — активный и уверенный в себе пролетариат, — а не свою верхушку, которую революция... может внезапно смахнуть своими крыльями». Он снова восклицал, что «любая серьезная группировка... столкнувшись с дилеммой, следует ли ей из чувства дисциплины молча затаиться или, пренебрегая дисциплиной, бороться за выживание, — несомненно выберет последний курс... и скажет: «Долой такую «дисциплину», которая губительна для жизненных интересов нашего движения».

* * *

Незадолго до конца июля партийный трибунал разошелся, не вынеся Троцкому и Зиновьеву никакого вердикта. Похоже, что большинство судей по-прежнему жалело их, как «Робеспьер жалел Дантона». Однако Сталин требовал немедленного решения. Последствия его «колоссальных ошибок» с каждым днем становились все очевиднее. Окончательное поражение китайской революции грозило ему дискредитацией. Англо-русский комитет окончательно развалился: входившие в его состав британцы не издали ни единого протеста по поводу разрыва отношений между Англией и Россией. В самой России угроза войны и нехватка продовольствия вызвали очередной товарный дефицит. Крестьянство волновалось. Имелись основания опасаться, что осенью города сядут на голодный паек. Сталину пока что удавалось скрывать свою ответственность: он сумел сохранить в тайне все предупреждения и предсказания, сделанные его противниками. Практически каждая из предыдущих речей Троцкого могла бы разрушить его приобретенный с такими трудами и по-прежнему

непрочный авторитет, но Сталин не позволял голосу Троцкого проникнуть сквозь толстые стены Кремля и вызвать отклики снаружи. Однако приближалось открытие XV съезда, обещавшего Троцкому и Зиновьеву возможность выступить в защиту своего дела. Их речи услышала бы вся страна. Было невозможно скрывать сделанные на съезде заявления так, как скрывалась критика, прозвучавшая на ЦК. Сталину нужно было любой ценой лишить их этой возможности.

У него была еще одна причина для спешки. Сталину приходилось считаться с трениями внутри правящей коалиции. Правая политика последних лет практически выдохлась. Проводить ее за границей через Коминтерн становилось все труднее. Во внутренних делах также все указывало на необходимость ее изменения; до каких пределов — неясно, но все понимали, что это изменение потребует от партии более радикального отношения к крестьянству и более смелого курса в промышленности. По всем этим вопросам сталинистам и бухаринцам прежде удавалось скрыть свои разногласия, чтобы выступать единым фронтом против оппозиции. Но приближался тот момент, когда сокрытие разногласий оказалось бы невозможным, что привело бы к расколу. И все же Сталин не мог пойти против Бухарина, Рыкова и Томского, пока не завершил борьбу с Троцким и Зиновьевым. Он не мог противостоять двум оппозициям одновременно, тем более если смена курса выглядела бы как оправдание взглядов Троцкого и Зиновьева. Сталину нужно было как можно скорее разделаться с единой оппозицией и развязать себе руки.

С удвоенной яростью он набросился на Троцкого после того, как тот огласил свой так называемый «тезис о Клемансо» — сперва 11 июля, в письме к Орджоникидзе, а под конец месяца — еще раз, в статье, написанной для «Правды». Ссылаясь на угрозу войны, Троцкий неоднократно заявлял, что в случае войны вожди правящих фракций проявят свою некомпетентность и неумение справиться с задачами и что в интересах обороны оппозиция продолжит борьбу с ними, стараясь взять ведение войны в свои руки. Эти заявления навлекли на Троцкого обвинения в вероломстве и пораженчестве. Оправдываясь, он объяснял, что оппозиция выступает за «безусловную оборону» СССР и стремится встать на место правящих фракций именно для того, чтобы вести военные действия с исключительной энергией и с полным понимани-

ем обстановки, чего нельзя ожидать от тех, кто сейчас возглавляет партию. Если речь идет о том, чтобы вымести «невежественных и бессовестных шпаргалыщиков» как мусор, то такое отношение никак нельзя считать поражением. Наоборот, оно продиктовано искренней заботой об обороне — «идейный мусор победы не дает». Отсюда и следует наделавший столько шума «тезис о Клемансо»:

«Примеры, и весьма поучительные, можно было бы найти в истории других классов [пишет Троцкий Орджоникидзе]. Приведем только один. Французская буржуазия в начале империалистической [т. е. Первой мировой] войны имела во главе свое правительство без руля и без ветрил. Группа Клемансо находилась к этому правительству в оппозиции. Несмотря на войну и военную цензуру, несмотря даже на то, что немцы стояли в 80 километрах от Парижа (Клемансо говорил: «именно поэтому»), он вел бешеную борьбу против мелкобуржуазной дряблости и нерешительности за империалистическую свирепость и беспощадность. Клемансо не изменял своему классу — буржуазии, наоборот, он служил ей вернее, тверже, решительнее, умнее, чем Вивиани, Пенлеве и К°. Дальнейший ход событий доказал это. Группа Клемансо пришла к власти и более последовательной, более разбойничьей империалистической политикой обеспечила французской буржуазии победу. Были ли такие французские газетчики, которые называли группу Клемансо пораженцами? Наверное, были: глупцы и клеветники тащатся в обозе всех классов. Но они не всегда имеют возможность играть одинаково значительную роль».

Значит, именно этому примеру намерен следовать Троцкий; можно добавить, что тому же самому примеру следовал в начале Второй мировой войны Черчилль по отношению к Чемберлену. Троцкому сразу же дали ответ. Сталинисты и бухаринцы подняли крик, что Троцкий угрожает переворотом во время войны, когда враг будет стоять в восьмидесяти километрах от Кремля, — какое еще требуется доказательство предательских намерений? Примерно в то же время группа высших военачальников обратилась в Политбюро с секретным заявлением, в котором выражалась солидарность с оппозицией и критиковался Ворошилов, нарком обороны, за некомпетентность в военных делах. Среди подписавших заявление, помимо Муралова, еще недавно бывшего начальником военно-морской инспек-

ции, числились Путна, Якир и некоторые другие полководцы, десять лет спустя ставшие жертвами армейских чисток¹. Правящие фракции восприняли демарш военных как доказательство замыслов оппозиции.

Шумиха вокруг «тезиса о Клемансо» продолжалась до конца года, вплоть до исключения Троцкого, а ее отзвуки не утихали и много лет спустя: этот тезис упоминался всякий раз, как речь заходила о вероломстве Троцкого. Очень немногие из числа партийцев знали, в чем суть тезиса о Клемансо; большинство считало, что он представляет собой угрозу Троцкого превратить следующую войну в гражданскую, а то и прелюдию к настоящему перевороту. То, что Троцкий не угрожал ничем подобным, и то, что прецедент, на который он ссылался, не подразумевал переворота, не имело никакого значения. Немногие, совсем немногие большевики имели представление о том, что на самом деле сделал французский «тигр» и каким образом он встал во главе страны. Для Троцкого было вполне естественно сослаться на Клемансо — десятью годами ранее он в Париже своими глазами наблюдал борьбу Клемансо за власть. Но этот прецедент был давним, малоизвестным и поэтому зловещим в глазах общественности, подавляющего большинства в ЦК и даже членов нового Политбюро (среди которых вряд ли кто, за исключением Бухарина, имел представление о французских делах). Вот как сам Троцкий сатирически описывает изумленное непонимание, с которым ЦК воспринял его аналогию:

«Из моей статьи... Молотов впервые узнал много нового, о чем и доложил в ЦК как об ужасном доказательстве этих мятежных замыслов. Так, Молотов узнал, что во время войны во Франции был политик по имени Клемансо, что этот политик вел борьбу против тогдашнего французского правительства, чтобы проводить более решительную и безжалостную империалистическую политику... Потом Сталин объяснил Молотову, а Молотов донес до нас истинный смысл этого прецедента: по примеру группы Клемансо оппозиция намеревается бороться за иную политику социалистической обороны — то есть за мятежную политику, вроде той, которую вели левые эсеры [в 1918 году]».

¹ В число подписавших не входил Тухачевский, никогда не поддерживавший никаких связей с единой оппозицией.

Тем более легко было запугать призрачной угрозой ячеек — сперва в Москве, а затем и в провинциях, где все громче раздавались голоса, что пора уже считать оппозицию безвредной.

1 августа ЦКК и ЦК снова рассмотрели ходатайство об исключении Троцкого из партии. Сталин, Бухарин и прочие снова метали громы и молнии, зачитывая бесконечный список обличений, в которых припоминались все подробности политического прошлого Троцкого начиная с 1903 года, окрашенные в самые мрачные цвета. На свет были вытащены даже давно забытые обвинения, сделанные в 1919 году военной оппозицией, которая утверждала, что во время Гражданской войны Троцкий проявил себя врагом коммунистов в армии и приказывал преследовать храбрых и ни в чем не виновных комиссаров¹. Однако на этот раз в центре внимания был «тезис о Клемансо», на котором строилось обвинение в том, что нельзя полагаться на лояльность оппозиции во время войны и на ее участие в обороне Советского Союза.

В ответ Троцкий напомнил о своей колоссальной ответственности за военную политику партии в течение многих лет и о том, что именно он сформулировал принципы Коминтерна в отношении войны и мира. Троцкий нападал на Сталина и Бухарина за их привычку вместо организации обороны хвататься за соломинки или, как он выражался, за «гнилые веревки» и «гнилые опоры». Не они ли превозносили Англо-русский комитет как бастион на пути интервенции и войны, и не он ли оказался «гнилой опорой»? Не стал ли «гнилой веревкой» и их союз с гоминьданом? Не они ли ослабили Советский Союз, саботируя китайскую революцию? Ворошилов утверждал, что «крестьянская революция [в Китае] могла помешать походу генералов на Север». Но именно так смотрел на это дело Чан Кайши. «Поэтому вы тормозили революцию в интересах военного похода... Но ведь революция сама есть действительный, настоящий поход угнетенных против угнетателей». «Москва выступала против постройки Советов «в тылу армии», — как

¹ Это конкретное обвинение сделал Ярославский, но оно шокировало даже сталинцев, и Орджоникидзе решительно отмежевался от него. Ярославский в 1919 г. входил в военную оппозицию. Тогда обвинения против Троцкого выдвинули на Политбюро Смига и Лашевич, а комиссарами, которых якобы преследовал Троцкий, были Залуцкий и Бакаев, — теперь же все четверо являлись видными членами оппозиции.

будто революция есть тыл армии, — чтобы не дезорганизовать тыл тех самых генералов, которые через два дня громили у себя в тылу рабочих и крестьян». Подобная речь в устах Ворошилова, наркомвоенмора и члена Политбюро, — «сама по себе катастрофа. Она стоит потерянного сражения». В случае войны «гнилые веревки будут рваться под руками» — вот почему оппозиция не может не критиковать сталинское руководство.

Не подрывает ли эта критика нравственную позицию СССР? «Это церковно-поповская или сановно-генеральская постановка вопроса... Католическая церковь требует непрекаемого признания своего авторитета со стороны верующих. Революционер поддерживает, критикуя, и чем неоспоримее на деле его право на критику, тем с большей преданностью он борется за то, в создании и укреплении чего принимал непосредственное участие. Нам нужно не лицемерное «священное единение», а честное революционное единство». Да и победа в войне — это не только вопрос оружия. Это оружие должно быть в руках у людей, а люди вдохновляются идеями. Какая идея лежит в основе большевистской обороны? Добиться победы можно одним из двух способов: либо вести войну в духе революционного интернационализма, как предлагает оппозиция, либо в «термидорианском» стиле — но это означает победу кулака, дальнейшие притеснения рабочих и «капитализм в рассрочку». Сталинская политика не представляет собой ни то ни другое; она колеблется между обеими возможностями. Но война не прощает нерешительности. Она вынудила сталинскую группу сделать выбор. В любом случае та, сама не зная, куда она идет, не может гарантировать победу.

В этот момент в стенограмме зафиксировано одобрительное восклицание Зиновьева, но Троцкий остановился и поправился: сначала он сказал, что «руководство Сталина *не в состоянии* обеспечить победу», а затем — что оно «затрудняет победу». «А партия где?» — перебил его Молотов. «Партию вы задушили», — рявкнул в ответ Троцкий и еще раз подчеркнул, что руководство Сталина «затрудняет победу». Поэтому оппозиция не может приравнять защиту СССР к защите сталинизма. «Ни один оппозиционер не откажется от своего права и долга, накануне войны или во время войны, бороться за исправление партийного курса... ибо в этом лежит важнейшее условие победы. Резюмирую: за социалистическое отечество? Да! За сталинский курс? Нет!»

После Второй мировой войны эти пророчества позабылись в блеске сталинских триумфов. В конце концов Сталин все же обеспечил России победу, а последующие события не принесли никакого «капитализма в рассрочку». Однако слова Троцкого прозвучали в самый разгар нэпа, когда Россия оставалась одной из наиболее индустриально отсталых стран, когда в стране преобладало мелкое крестьянское хозяйство, когда кулак набирал силу, партия представляла собой водоворот конфликтующих течений, а Троцкий говорил о той конкретной войне, которую правящие фракции считали неминуемой. Можно только догадываться о том, во что бы вылилась война в таких обстоятельствах и как бы вел ее Сталин. В любом случае, на этом фоне прогнозы Троцкого выглядят гораздо более обоснованно, чем при попытках приложить их к Советскому Союзу в 1941—1945 годах. Однако даже после Второй мировой войны сталинизм пытался преодолеть напряжения в советском обществе, силой распространяя свою власть на Восточную и Центральную Европу. Можно утверждать, что альтернативой экспансии выступал именно «капитализм в рассрочку» внутри Советского Союза, о котором говорил Троцкий. И даже после победы, задним числом, нападки Троцкого на некомпетентность Сталина и Ворошилова выглядят не вполне беспочвенными. В 1941 году, в самые первые месяцы русско-немецких боевых действий, Ворошилов наделал столько ляпов и ошибок, что ему больше никогда не давали командовать войсками. Что касается Сталина, то Генеральный секретарь в 1927 году еще практически не имел тех эмпирических военных знаний и опыта, которые диктатор более позднего времени приобрел за долгие годы абсолютной власти. И хотя роль Сталина во Второй мировой войне надолго останется предметом исторических дискуссий, тем не менее кажется бесспорным, что победа *«при Сталине оказалась более трудной»*, чем могла бы быть; что при более дальновидном, чем сталинское, руководстве Советский Союз не потерпел бы таких жестоких поражений на первом этапе войны, в 1941—1942 годах, и что ему не пришлось бы принести в жертву финальному триумфу бесчисленные человеческие жизни и колоссальные материальные ресурсы.

Слабость позиции Троцкого заключалась не в его выпадах против противников. Она заключалась в ином — в его представлениях о действиях оппозиции в случае войны. Очевидно, что никакого намека на пораженчество в них не было. Но как

он представлял самого себя в роли «советского Клемансо»? Троцкий вернулся к этому вопросу 6 августа, когда ЦК и ЦКК продолжили обсуждать ходатайство об его исключении. Нелепо, заявил он, обвинять его в подстрекательстве к бунту: Клемансо не восставал и не совершал переворота, действуя строго в рамках конституции; он скинул существующее правительство и сам занял его место самым законным образом, используя для этой цели парламентский механизм. Но возможно, кто-то скажет, что в СССР нет такого парламентского механизма? «Да, — отвечает Троцкий, — к счастью, нет». Тогда как же оппозиция может законным образом свалить правительство? «Но у нас есть, — продолжает Троцкий, — механика партии». Иными словами, оппозиция должна действовать в рамках партийного устава и попытаться снять Сталина голосованием на ЦК или, возможно, на съезде. Но не сам ли Троцкий неоднократно говорил и демонстрировал, что номинальный устав партии — фикция, а ее реальным уставом является сталинский бюрократический абсолютизм? Разве сам ход событий ежедневно не подтверждает это? Именно поэтому, говорит Троцкий, оппозиция стремится к изменению внутрипартийного режима: «Партия должна и в случае войны сохранить, или, вернее, воссоздать более гибкий, более правильный, более здоровый внутрипартийный режим, который допускал бы своевременную критику, своевременные предупреждения и своевременные изменения политики». Однако правящие фракции в данном вопросе были настроены решительно: они не могли потерпеть таких реформ и позволить произвести смену руководства законными методами. Этим определялось и их отношение к заявлению Троцкого; они сделали вывод, что раз ему не дадут возможности скинуть Сталина путем каких-либо парламентских процедур или голосования, остается только переворот. С этой точки зрения они проявляли известную последовательность, считая «тезис о Клемансо» заявлением оппозиции о своем праве на восстание. Хотя Троцкий фактически не провозглашал этого права в открытую — он сделает это лишь в ссылке, восемь или девять лет спустя, — правящие фракции пришли к выводу, что в ситуации, созданной ими самими, Троцкому ничего другого не остается.

Троцкий куда более убедительно утверждал, что именно правящие фракции угрожают сохранить свою власть в партии

и в государстве методами гражданской войны, что они готовы использовать эти методы против оппозиции. Собственно говоря, подняв шум по поводу «тезиса о Клемансо», Сталин в скрытой форме провозглашал принцип, который большевистская традиция не позволяла ему объявлять в открытую — о том, что его власть нерушима и неотчуждаема и любая попытка сместить его равнозначна контрреволюции. Именно в этом заключалась суть дискуссии. Буря по поводу «тезиса о Клемансо» раскрыла всю глубину, ширину и непреодолимость пропасти между правящей группировкой и оппозицией: в силу обстоятельств язык, на котором они говорили друг с другом, уже был языком новой гражданской войны.

Но и теперь партийный трибунал, второй месяц размышляющий об исключении Троцкого, все еще не решался вынести вердикт. Сталин на этот раз забежал вперед своих сторонников и последователей. Они не были готовы удовлетворить его требование. Запутавшись в паутине былых связей, по-прежнему называя своих противников товарищами, по-прежнему заботясь о тонкостях партийного устава и стараясь соблюсти большевистский декор, они опять пытались примириться с оппозицией. Последняя была только рада пойти им навстречу, и поэтому Троцкий и Зиновьев попытались утихомирить бурю эмоций, вызванную «тезисом о Клемансо», выступив с заявлением о том, что оппозиция сохраняет верность партии и государству и готова к безусловной защите Советского Союза от любой угрозы. Было заключено новое «перемирие»; 8 августа ЦК и ЦКК объявили о закрытии пленума, оставив без внимания требование об исключении и удовлетвовавшись голосованием о вынесении порицания вождям оппозиции.

В тот момент казалось, что оппозиция будет допущена на XV съезд и сумеет с его трибуны еще раз обратиться к партии. Вожди оппозиции готовили полное и систематическое обоснование своей политики — «Платформу», ничего подобного которой у них не было раньше. «Платформа» прошла обсуждение в оппозиционных кругах, где предлагались многочисленные поправки и добавления¹. Однако уже давно миновало то время, когда еще была возможна какая-то «нормализация». «Перемирие» оказалось последним и еще более недолгим, чем

¹ Эту «Платформу» Троцкий, будучи в изгнании, опубликовал под названием «Реальное положение в России».

предыдущее. Правящие фракции неохотно решились на него, молчаливо подразумевая, что вожди оппозиции, едва избежав наказания, прекратят свои нападки. Тем не менее последние вовсе не так понимали свои обязательства. Они считали, что имеют полное право на свободное выражение своего мнения и на критику, особенно в месяцы, предшествующие съезду, которые традиционно представляли собой сезон всепартийных дискуссий. Сталин и его ближайшие подручные делали все возможное, чтобы покончить с перемирием. Генсек продолжал гонения на оппозицию, наказывая и исключая ее сторонников, порой без всякого предлога, пытался свалить всю вину на оппозицию, утверждая, что та нарушила перемирие, подготовив свою «Платформу», отказавшись участвовать в осуждении своих немецких сторонников и т. д. Понимая, что не успевает к назначенному сроку, Сталин отложил XV съезд на месяц.

6 сентября Троцкий и его друзья обратились в Политбюро и ЦК с заявлением о том, что Генеральный секретариат ведет собственную политическую линию, не совпадающую даже с волей сталинско-бухаринского большинства, представили подробный доклад о новых преследованиях и протест против отсрочки съезда. Троцкий снова просил о проведении законной дискуссии до съезда с участием исключенных оппозиционеров. Кроме того, он потребовал, чтобы ЦК в соответствии с давней традицией опубликовал «Платформу» оппозиции и распространял ее вместе со всеми официальными документами среди партийного электората. После непрерывных и яростных вмешательств Сталина ЦК отверг требования оппозиции и отказался издавать «Платформу» в числе дискуссионных документов. Более того, он запретил оппозиции самостоятельно распространять «Платформу».

Разумеется, это только подлило масла в огонь. Для оппозиции соблюдать этот новый запрет означало постыдно капитулировать — возможно, навсегда. Но и нарушать его было рискованно, так как «Платформу» пришлось бы издавать и распространять подпольно или полуподпольно. Оппозиция решила пойти на риск. Чтобы защититься от репрессий — снова «равномерно распределить удар», — а также с целью произвести впечатление на съезд, Троцкий и Зиновьев призвали своих сторонников коллективно подписаться под «Платформой». Количество подписей было призвано продемонстри-

ровать численность оппозиции, поэтому кампания с самого начала приняла форму противоборства, на которое оппозиция ранее не осмеливалась.

Сталин не мог позволить такой вольности. В ночь с 12 на 13 сентября ГПУ устроило налет на «типографию» оппозиции, арестовало нескольких человек, выпускавших «Платформу», и с помпой объявило о раскрытии заговора. ГПУ утверждало, что поймало оппозиционеров с поличным, что те работали рука об руку с знаменитыми контрреволюционерами — якобы оппозиционную типографию основал бывший врангелевский офицер. В день налета Троцкий отправился на Кавказ, но ряд вождей оппозиции — Преображенский, Мрачковский и Серебряков — попытались выступить с опровержением и заявили, что берут на себя полную ответственность за «типографию» и за издание «Платформы». Всех троих немедленно исключили из партии, а одного — Мрачковского — даже арестовали. Подобному наказанию впервые подвергся кто-либо из видных деятелей оппозиции.

Этот инцидент предвещал те «амальгамы», на которых основывались «великие чистки» следующего десятилетия. Заявления ГПУ были призваны произвести впечатление на всех, кто недоверчиво прислушивался к сталинским воплям о «едином фронте Чемберлена и Троцкого». Если совесть этих людей была неспокойна и они задавались вопросом, не существует ли такой «единый фронт» в воображении Сталина, то история о раскрытом заговоре должна была их успокоить. Знакомая фигура «врангелевского офицера» служила связующим звеном между оппозицией и темными силами мирового империализма. Сомневающиеся и смущенные получили ясное предупреждение. Им показали ту сеть, в которой они могли бы запутаться, если бы оказались вовлечены в любую деятельность, направленную против официальных вождей, или всего лишь потворствовали такой деятельности, какой бы невинной та ни выглядела на первый взгляд.

Удар попал в точку. К тому времени, как оппозиция сумела разоблачить заявления ГПУ как фальшивку, непоправимое уже совершилось. Зиновьев, Каменев и Троцкий, прервавший свое пребывание на Кавказе и вернувшийся в Москву, обратились к Менжинскому, который возглавил ГПУ после смерти Дзержинского, и выяснили все смехотворные подробности мнимого заговора. ГПУ застало членов оппозиции за размножением маши-

нописных экземпляров «Платформы». Как выяснилось, у оппозиции не было даже подпольной типографии вроде той, которая имелаась у любой нелегальной группы времен царизма. Просто несколько молодых людей добровольно вызвались распечатывать и размножать текст «Платформы». Правда, некоторые из них не были членами партии, но в этом состояло их единственное прегрешение — впоследствии Сталин не сумел найти для них более уничижительного ярлыка, чем «буржуазные интеллигенты». «Бывший врангелевский офицер» действительно участвовал в этой работе и обещал помочь с распространением «Платформы», но Менжинский признался — сперва Троцкому и Каменеву, а затем Центральному комитету, — что ГПУ наняло этого офицера как агента-provokatora, чтобы тот шпионил за оппозицией. Сам Сталин подтвердил это разоблачение и сказал: «Но что же тут плохого, если этот самый бывший врангелевский офицер помогает Советской власти раскрывать контрреволюционные заговоры? Кто может отрицать за Советской властью право привлечения на свою сторону бывших офицеров для того, чтобы использовать их в деле раскрытия контрреволюционных организаций?» Итак, Сталин сперва выставил врангелевского офицера как несомненное доказательство контрреволюционного характера деятельности оппозиции, а затем заявил, что не видит причин, почему бы не использовать этого офицера, чтобы добыть такое доказательство. Оппозиция восклицала: «Наши враги — гонители и клеветники!» Но ей не удалось оправиться от последствий клеветы.

Троцкий поспешил вернуться в Москву не только из-за этого дела. Пока он находился на Кавказе, президиум Коминтерна неожиданно назначил на конец сентября свой пленум и поставил в повестку дня исключение Троцкого из Исполкома Коминтерна. 27 сентября Троцкий выступил перед Исполкомом в последний раз, с гневом и презрением обращаясь к посланцам всех коммунистических партий. Разбирательство получилось гротескным. Иностранцы коммунисты, собравшиеся судить одного из отцов-основателей своего Интернационала и отказывавшиеся признавать за ним хоть какие-либо революционные заслуги, были почти до единого жалкими неудачниками, а не революционерами: зачинателями провалившихся восстаний, превратившими поражения практически в свою профессию, или вождями мелких сект, паразитирующих на славе Октябрьской революции, в которой обвиняемый сыг-

рал такую выдающуюся роль. Среди них были Марсель Кашен, который во время Первой мировой войны, когда Троцкого выслали из Франции как автора Циммервальдского воззвания, отправился в качестве агента французского правительства в Италию, чтобы поддержать милитаристскую кампанию Муссолини, Дорио — будущий фашист и марионетка Гитлера¹, Тельман, который привел немецких коммунистов к капитуляции перед Гитлером в 1933 году, а затем погиб в одном из гитлеровских концлагерей, и Рой, только что вернувшийся из Китая, где прилагал все усилия, чтобы убедить Китайскую компартию пресмыкаться у ног Чан Кайши. Выступить с ходатайством об исключении Троцкого был призван Дж.Т. Мерфи, малоизвестный представитель одной из самых ничтожных зарубежных компартий — британской. Презрение, которое Троцкий обрушил на этого мелкого сектанта, было пропорционально нанесенному ему оскорблению.

«Вы обвиняете меня, — заявил он, — в нарушении дисциплины. Я не сомневаюсь, что у вас уже есть готовый вердикт. Никто из членов Исполкома не осмелился бы на это сам — все они лишь выполняют приказы. Их угодливость дошла до таких пределов, что генеральный секретарь советской компартии имеет наглость назначить представителя зарубежной компартии мелким чиновником в далекую советскую губернию». Троцкий имел в виду зиновьевца Вуйовича, югославского представителя в Коминтерне, которого тоже собирались исключать. Его, Троцкого, призвали к ответу за то, что он от имени советской компартии обратился к Коминтерну — «как и в дни царизма, пристав по-прежнему готов устроить взбучку всякому, кто осмелится подать на него жалобу начальству». У мнимых вождей всемирного коммунистического движения не хватило достоинства даже на то, чтобы сохранить видимость приличия: в своем лизоблюдстве они забыли исключить из своего Исполкома Чан Канши и Ван Чинвея, а гоминьдан по-прежнему состоит в Коминтерне; и при этом они собираются судить людей, представляющих собой плоть и кровь российской революции².

¹ Кажется, Дорио не присутствовал на пленуме, но он был кандидатом в члены Исполкома и одним из самых неистовых обличителей Троцкого. (Примеч. авт.)

² По словам Троцкого, «Юманите» называла Чан Кайши «героем шанхайской коммуны».

В ходе четырех судьбоносных лет, продолжал Троцкий, не состоялось ни одного конгресса Коминтерна; в дни Ленина конгрессы проводились каждый год, даже во время Гражданской войны и блокады. В Коминтерне не обсуждалось ни одного из серьезнейших вопросов, встававших в эти годы, так как все они оказались под запретом — по каждому из этих вопросов сталинская политика закончилась полным крахом. «Почему же молчит печать коммунистических партий? Почему молчит печать Коминтерна?» Исполком почти ежедневно попирает свой устав, а после этого обвиняет советскую оппозицию в нарушении дисциплины. «Единственная вина оппозиции, — признается Троцкий, — состоит в ее чрезмерной уступчивости сталинскому секретариату, который нанес страшный вред делу революции». «Подготовка к съезду советской компартии ведется издевательскими методами... Излюбленное оружие Сталина — клевета. Каждый, кто знаком с историей, знает, что любой шаг узурпатора к власти всегда отмечен подобными ложными обвинениями». Оппозиция не может отказаться от своего права выступать против режима, который представляет собой смертельную опасность для революции: «Когда руки бойца связаны, главная опасность исходит не от врага, а от веревки, связывающей его руки».

«Он бросился в атаку, — вспоминает Мерфи, автор ходатайства об исключении, — со всей энергией и решимостью, на какие был способен. Он бросал нам вызов по всем аспектам тех проблем, которые вызывали споры в течение последних трех лет... лишь он один был способен на такое красноречие; наконец, повернувшись спиной к Исполкому той организации, на которую когда-то возлагал свои величайшие надежды, Троцкий вышел с высоко поднятой головой»¹. Исполком не заботился даже о тех мелочах, которые еще волновали советский ЦК, — его вердикт действительно был заранее подготовлен.

В этот момент внутривнутрипартийная борьба в Москве привела к дипломатическому инциденту, который вызвал бурю в меж-

¹ Мерфи рассказывает, как перед заседанием он встретил Троцкого в коридоре. «Все пришли в шубах и шапках, и поэтому на вешалке в коридоре не осталось места. Троцкий оглядывался, когда [секретарь Мерфи] ... спросил: «Могу ли я помочь вам, товарищ Троцкий?» Он тут же съязвил: «Боюсь, что нет. Я ишу две вещи — честного коммуниста и крючок, чтобы повесить пальто. Ни того ни другого тут нет». Заседание продолжалось с 9.30 утра до 5 вечера.

дународных отношениях. После разрыва отношений между Великобританией и Россией советско-французские отношения также серьезно ухудшились. Французское правительство и печать снова принялись раздувать старый шум о невыплаченных займах, впервые поднявшийся тогда, когда ленинское правительство отказалось от всех царских долгов иностранным кредиторам. Политбюро и ЦК снова и снова обсуждали этот вопрос. В 1926 году Троцкий выступал за то, чтобы примириться с французами. В то время всю Великобританию охватили забастовки, китайская революция была на подъеме, Франция сражалась с последствиями инфляции, а Советский Союз, как утверждал Троцкий, мог себе позволить сделать уступки французам и удовлетворить требования мелких рантье. Однако в то время, по словам Троцкого, Сталин пребывал в чрезмерно самоуверенном настроении и не желал слышать ни о каком умиротворении. Потом, осенью 1927 года, когда этот вопрос снова встал на повестку дня, Сталин был готов отчасти пойти французам навстречу, однако теперь против этого выступали Троцкий и его друзья. Троцкий указывал, что после поражения китайской революции, краха Англо-русского комитета и разрыва с Англией советское правительство не может отступать дальше; любая уступка с его стороны будет восприниматься как очередной признак слабости.

Для оппозиции ситуация осложнялась тем фактом, что переговоры в Париже проводил Раковский (как посол), и он же стал главной мишенью для французских нападок. Уже в августе французский посол в Москве выражал неудовольствие своего правительства связями Раковского с троцкистской оппозицией. С другой стороны, на ЦК Сталин сделал попытку настроить Раковского против Троцкого: он утверждал, что именно Раковский, «лояльный оппозиционер», призывает Москву уступить французам. Троцкий написал Раковскому и попросил не забывать, что его роль в Париже становится одним из вопросов внутрипартийной борьбы. Раковский был настолько предан оппозиции и Троцкому, что не мог оставить без внимания это предупреждение. Но еще до того, как получить письмо, он сделал шаг, который вызвал один из величайших дипломатических скандалов той эпохи. Раковский поставил свою подпись под манифестом, призывающим рабочих и солдат капиталистических стран в случае войны встать на защиту Советского Союза. В годы «стабилизации» и «нормализа-

ции» дипломатических отношений с буржуазными правительствами советские послы редко выступали с такими революционными заявлениями. Французская печать бушевала. Французское правительство объявило Раковского персоной нон грата. Министр иностранных дел Аристид Бриан заявил, что советское правительство тем более должно отозвать своего необузданного посла, поскольку положение, при котором оно представлено в Париже сторонником оппозиции, совершенно неуместно.

Москва ответила двусмысленно. Чичерин, нарком иностранных дел, защищал своего посла, но французское министерство имело основания полагать, что начальство Чичерина не слишком недоволено нападками на Раковского. Троцкий утверждал, что Сталин вероломно вел себя в истории с Раковским и советский наркомат должен был заявить Бриану, чтобы тот не вмешивался во внутренние дела большевистской партии. Однако поскольку Раковский был объявлен во Франции персоной нон грата, Москве оставалось только отозвать его. Хотя Раковский был выдающимся дипломатом, зарубежные поручения тяготили его, и он после четырехлетнего перерыва с готовностью окунулся во внутривластную борьбу. Троцкий тоже был рад, что старый товарищ вернулся в ряды оппозиции. Та нажила известный капитал на обстоятельствах отъезда Раковского: тот факт, что на одного из ее вождей ополчилось буржуазное правительство, потому что он обратился к иностранным рабочим и солдатам с призывом защищать Советский Союз, разительно противоречил предъявлявшимся оппозиции обвинениям в пораженчестве и заявлениям о «едином фронте Чемберлена и Троцкого».

Сталин, понимая, что недостаточно заваливать своих противников обвинениями, попытался повысить свою популярность более позитивным образом. Оппозиция в своей «Платформе» повторила сделанные год назад требования, которые правящие фракции якобы с тех пор выполнили. Они касались повышения зарплат для низкооплачиваемых рабочих, строгого соблюдения восьмичасового рабочего дня, налоговых послаблений для бедняков и т. д. В «Платформе» утверждалось, что правящие фракции не удовлетворили ни одного из этих требований, что условия существования пролетарских и полупролетарских масс только ухудшились. В ответ на это Сталин пошел на поразительный шаг: он объявил, что правительство

вскоре введет восьмичасовой рабочий день и пятидневную неделю, но рабочие будут получать ту же зарплату, что и раньше. Эту реформу предполагалось приурочить к приближающейся десятой годовщине Октябрьской революции, по поводу чего Политбюро должно было издать торжественное обращение к народу, провозглашающее семичасовой рабочий день величайшим на тот день завоеванием социализма — итогом первого десятилетия революции.

Все это было чистым двуличием. Советский Союз был слишком бедной страной, чтобы позволить себе такую реформу, — даже тридцать лет спустя, когда СССР стал второй индустриальной державой мира, советские рабочие по-прежнему трудились восемь часов в день и шесть дней в неделю¹. Однако Сталина не интересовали экономические реалии. Он издал свой сенсационный закон, не согласовав его с профсоюзами, Госпланом и даже с ЦК. Бухаринцев охватили тягостные предчувствия. Томский, возглавлявший профсоюзы, не скрывал своего недовольствия этим трюком. Тем не менее Сталин стоял на своем, и в середине октября в Ленинграде был созван специальный пленум ЦИК для формального одобрения предложенных мер.

После того как Киров выступил 15 октября на пленуме с официальным докладом, Троцкий разоблачил всю лживость сталинского плана. Он напомнил, что, когда оппозиция призывала к скромному повышению зарплаты, ее требования были с негодованием отвергнуты, так как якобы вели к чрезмерному напряжению советской экономики. Как же тогда эта экономика выдержит семичасовой день? Оппозиция утверждала, что в государственном секторе промышленности даже восьмичасовой день толком не соблюдается — тогда с какой стати Сталин вдруг затеял свою «великую реформу»? Не будет ли более честно предложить рабочим пусть более скромное, но реальное послабление? Позорно отмечать юбилей революции такими бесстыдными фокусами. Троцкий указал, что ни один из проектов первого пятилетнего плана, только что законченного пос-

¹ Номинально уже около 13 лет (по состоянию на 1959 г. — Пер.) приняты семичасовой день и пятидневная неделя, но на практике они не соблюдаются. В начале Второй мировой войны были возвращены нормальная неделя и восьмичасовой рабочий день, которые остаются обязательными уже почти двадцать лет. Лишь в 1958 г. начался *постепенный* переход к семичасовому дню (но не к пятидневной неделе).

ле многолетней подготовки, не содержит и намека на сокращение рабочего дня. Как же тогда его сокращать, если развитие экономики распланировано на годы вперед в предположении, что рабочий день останется прежним? Вся реформа, делает вывод Троцкий, имеет единственную цель: с ее помощью правящая группировка намерена разделаться с оппозицией.

В этой дискуссии разум, правда и искренность были на стороне Троцкого, но не в первый и не в последний раз они мгновенно завели его в ловушку. Протесты Троцкого оказались для Сталина настоящим подарком. Сталинисты поспешили на заводы, чтобы рассказать рабочим о последней выхвядке Троцкого: якобы он хочет лишить рабочих того подарка, который приготовила для них партия; он препятствует эпохальной реформе, предвещающей расцвет социализма. Что значат тогда все клятвы в верности большевизму этого мнимого защитника рабочего класса? Для людей на заводах аргументация Троцкого оставалась непонятной. Возможно, у старых и рассудительных рабочих имелись опасения по поводу сомнительного подарка Сталина. Но доверчивое большинство было в восторге, и критика не могла вызвать у него ничего, кроме неприязни. Оппозиция поднимала главным образом те темы, которые находились за пределами понимания рабочих: гомильдан, Англо-русский комитет, перманентная революция, Термидор, Клемансо и т. д. и т. п. Язык оппозиции переставал быть заумным лишь тогда, когда речь заходила об улучшении жизни рабочих. Это требование получило широкую, хотя и пассивную, поддержку. Теперь же с этой поддержкой было покончено. Вокруг оппозиции сомкнулась стена безразличия и враждебности.

Однако — столь сильна порой в людях «мечта, на которую можно лишь смутно надеяться», — именно в тот момент неожиданное событие принесло вождям оппозиции утешение и поддержку. Во время пленума ЦИКа, на котором обсуждался вопрос о семичасовом дне, в Ленинграде прошли официальные демонстрации в поддержку этого закона. Они были организованы с обычной помпезностью; вожди партии приветствовали многотысячные колонны демонстрантов. Троцкого и Зиновьева не было видно среди вождей. Случайно или сознательно, в знак несогласия с официальной линией, они стояли в кузове грузовика чуть поодаль от парадной трибуны, в месте, мимо которого должны были проходить демонстранты после окончания шествия. За спиной Троцкого возвышался Таврический дворец,

где десять лет назад он метал грома против Керенского и призывал столичных рабочих к восстанию. Колонны демонстрантов, проходя мимо главной трибуны, приближались к вождям оппозиции, узнавали их, застывали на месте, шли дальше и снова останавливались, онемело глядя на них, поднимая руки, жестикулируя, размахивая шапками и платками, снова шли и снова останавливались. Вокруг грузовика скапливалась толпа, перекрывая движение, в то время как место вокруг главной трибуны опустело. Казалось, что возвращаются отзвуки того шумного восторга, с которым толпы 1917 года приветствовали своих вождей. По правде говоря, люди, собравшиеся перед Троцким и Зиновьевым, при всем своем возбуждении держались робко и нерешительно, а их поведение было двусмысленным. Если они пытались продемонстрировать свою симпатию к оппозиции, то эта демонстрация почти не выходила за пределы немой картины, выражая лишь уважение и сочувствие толпы к побежденным, а вовсе не готовность сражаться на их стороне.

Однако вожди оппозиции не разобрались в настроении демонстрантов. «Это было молчаливое, подавленное, неудобное приветствие», — описывает эту сцену свидетель. Тем не менее Зиновьев и Троцкий восприняли его с явным восторгом, как доказательство своей силы. «Массы с нами!» — говорили они тем же вечером. Последствия этого инцидента оказались совершенно непропорциональны его значению. В основном именно под его впечатлением, в надежде, что массы действительно пойдут за ними, вожди оппозиции решились на прямое «обращение к массам» в годовщину революции, три недели спустя. С другой стороны, правящие фракции увидели в двусмысленном поведении толпы предупреждение: они поняли, что с настроением народа шутить нельзя.

Сталин вскоре возобновил атаку. 23 октября он снова потребовал исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. За четыре месяца ему наконец-то удалось преодолеть нерешительность и сопротивление людей, входивших в верховный партийный трибунал, и они были готовы удовлетворить его требование. Но их страхи и предчувствия никуда не делись, проявившись в исключительной нервозности и жесткости процедуры. Атмосфера была пропитана мрачным напряжением, как во время казни, когда палач и его помощники смотрят на жертву с глубокой ненавистью, но также и с благоговением и с тревожной

неуверенностью в справедливости своего дела и его последствий. Все, что говорит и делает жертва, пробуждает в них противоречивые эмоции, которые выходят наружу вспышками ярости. Все убеждены, что жертва должна умереть, чтобы они могли жить, но все содрогаются при мысли о грядущих ужасах и пытаются подавить свои сомнения, требуя от палача поспешить, бесстыдно оскорбляя осужденного и забрасывая его камнями. Именно так вели себя сталинисты и бухаринцы на этом пленуме. Они постоянно прерывали последние мольбы Троцкого вспышками ненависти и вульгарной бранью, оставались глухи к его аргументам и требовали от председателя лишить его слова. Пока Троцкий держал речь, в него с председательского места летели чернильницы, тяжелые книги и стаканы. Ярославский, Шверник, Петровский и прочие шумно подбадривали Сталина и призывали его разделаться с врагом. Угрозам, насмешкам и проклятиям не было конца, отчего заседание стало походить на сборище проклятых душ¹.

Сталин единственный из правящей группировки выступал самоуверенно, с грубой и холодной ненавистью, без следа каких-либо колебаний. Он прошелся по известному списку обвинений, а его речь — именно в ней он признался в засылке агентов-провокаторов («врангелевского офицера») к членам партии — отличалась исключительным даже для него цинизмом. Равное ему самообладание проявил только Троцкий. Его голос взлетал над пандемониумом как последний вызов перед ссылкой. Троцкий напомнил всем фракциям, что цель Сталина — не более как уничтожение всякой оппозиции, и под аккомпанемент издевательских выкриков предсказал длинный ряд кровавых чисток, в которые угодят не только его приверженцы, но и многие бухаринцы и даже сталинисты. Он выразил не слишком обоснованную уверенность в том, что триумф Сталина окажется недолгим и что сталинский режим поджидает неожиданный и мгновенный крах. Сегодняшние победители, сказал он, слишком полагаются на насилие. Правда, большевики достигли «гигантских результатов», когда применяли насилие против старых правящих классов, а также против меньшевиков и эсеров, выступавших за проигранное

¹ Троцкий в письме, отправленном на следующий день в секретариат ЦК, протестует против неполного изложения его речи в официальной стенограмме и отсутствия упоминаний об этих сценах.

или реакционное дело. Но им не удастся точно так же уничтожить оппозицию, которая выступает за исторический прогресс. «Можете исключать нас — вам не предотвратить нашей победы» — такими были последние слова, которые верховный партийный орган услышал из уст Троцкого.

Дальше были недели активной работы. Оппозиция по-прежнему собирала подписи под «Платформой» в надежде парализовать партийное мнение численностью своих сторонников. Зиновьев был уверен, что удастся получить от 20 до 30 тысяч подписей, что Сталину, получившему доказательство такой могучей поддержки оппозиции, придется прекратить репрессии и что оппозиция даже может вернуть свои позиции. Вожди оппозиции решили в годовщину революции выступить с «обращением к массам», идея о котором искушала их со времени ленинградской демонстрации. Было трудно придумать форму этого обращения. Его целью было ознакомить массы с требованиями оппозиции и настроить их против официальных вождей, однако так, чтобы не дать последним основание объявить оппозицию в нарушении дисциплины. Вряд ли было реально выполнить оба этих требования, и оппозиционеры проводили дни и ночи в дискуссиях и в подготовке к пробе сил.

Троцкий, как и его товарищи, проводил большую часть времени в пригородах, в жилищах простых рабочих, как и в те годы, когда он был юным и неизвестным революционером; он спорил, разъяснял принципы и точки зрения и инструктировал маленькие группы ревностных и нетерпеливых приверженцев. В данный момент он слабо походил на Робеспьера накануне Термидора, с которым привык себя сравнивать. В нем словно смешались две разные личности — Дантон и Бабеф; но в данный момент Троцкий больше напоминал последнего — загнанного вождя «заговора равных», выступившего с призывом к обновлению революции и обличающего неумолимых строителей нового государства-левиафана; волна истории надвигалась на Троцкого так же неотвратимо, как надвигалась в свое время на Бабефа.

Виктор Серж так описывает одно из типичных совещаний:

«Около пятидесяти человек набилось в бедную столовую, выслушивая Зиновьева — растолстевшего, бледного, неухоженного и говорившего тихим голосом; в нем ощущалась какая-то

дряблость, но в то же время и сильная привлекательность... За другим концом стола сидел Троцкий. Постаревший на глазах, поседевший, великий, ссутулившийся, с изможденным лицом, он был настроен дружелюбно и всегда находил верный ответ. Работница, сидевшая по-турецки на полу, неожиданно спросила его: «А что, если нас исключат из партии?» — «Нельзя запретить коммунистам-пролетариям быть коммунистами, — ответил Троцкий. — Ничто не сможет отрезать нас от партии». С легкой улыбкой Зиновьев объясняет, что мы вступаем в эпоху, когда вокруг партии скопится много исключенных и полуисключенных людей, более достойных называться большевиками, чем партсекретари. Это было простое и волнующее зрелище — представители пролетарской диктатуры, еще вчера всемогущие, возвращаются в жилища бедных, говорят здесь как человек с человеком и ищут поддержки и товарищей. Снаружи на лестничной площадке стояли на страже добровольцы, следя за коридорами и подходами к дому; в любой момент могло явиться ГПУ.

Однажды я сопровождал Троцкого, когда тот уходил с такого собрания, проводившегося в ветхом и нищенском жилище. На улице Лев Давидович поднял воротник пальто и надел шапку на глаза, чтобы никто его не узнал. Сейчас он казался старым интеллигентом, не потерявшим осанки после двадцати лет лишений. Он подошел к извозчику. «Пожалуйста, поторгуйтесь с ним, — сказал мне Лев Давидович, — у меня очень мало денег». Извозчик, бородатый старообразный крестьянин, нагнулся к нему и спросил: «Я с вас денег не возьму. Садитесь, товарищ. Вы же Троцкий, верно?» Шапка не могла замаскировать победителя под Свяжском, Казанью, Пулковом и Царицыном. Лицо Троцкого осветила бледная дружеская улыбка. «Не рассказывайте никому об этом. Все знают, что извозчики — мелкобуржуазный элемент, и их милость лишь дискредитирует нас».

Слова Троцкого о том, что «ничто не сможет отрезать нас от партии», не были просто малодушным утешением. Троцкий, как и Зиновьев, рассчитывал на массовое исключение, но вопреки всем ожиданиям надеялся на его целительный эффект — совесть партии проснется, люди начнут искать текст «Платформы», чтобы узнать, за что борется оппозиция, и это приведет к началу великой дискуссии, о которой столько раз тщетно просила оппозиция. Троцкий полагал, что Сталин перегнет пал-

ку: если тысячи членов партии будут исключены как контрреволюционеры, то их вслед за этим арестуют. Это не могло не «смутить партию», которая поймет, что подобная репрессивная мера означает «конец пролетарской диктатуры». Действительно, в тот момент многих сталинистов и бухаринцев беспокоила мысль о том, что они станут гонителями и тюремщиками своих собственных товарищей и братьев по оружию. Сталину и Молотову пришлось уверять их, что до этого дело не дойдет и что нужды в массовых исключениях не будет, потому что Политбюро вынудит оппозицию остановиться и капитулировать, пока не поздно. 2 ноября Троцкий, цитируя эти заверения, призвал оппозицию не снижать накала борьбы — лишь тогда основная масса сталинистов и бухаринцев, видя, что вожди их обманывают, сами потребуют прекратить гонения и вынудят самих гонителей дрогнуть и сдаться. Однако заявления Сталина и Молотова были не совсем беспочвенными: они знали слабые места оппозиции и предвидели, что в критический момент по крайней мере зиновьевцы не устоят. Тем временем заверения в том, что массовые исключения не потребуются, утихомиривали недовольство и тревогу, подталкивая партию к пассивному выжиданию, которое фактически означало примирение с неизбежной развязкой.

С другой стороны, потоки оскорблений и угроз, которыми осыпали оппозицию, приносили свои плоды. Немногие осмеливались поставить свою подпись под «Платформой», которую власти регулярно обличали как подрывной документ. Оппозиции удалось собрать не более 5—6 тысяч подписей вместо 20—30 тысяч, на которые рассчитывал Зиновьев¹. А опасения за судьбу подписавшихся заставляли вождей оппозиции с целью защитить своих сторонников обнародовать лишь несколько сотен имен. Таким образом, кампания по сбору подписей превратилась в очередное подтверждение слабости оппозиции.

По словам Седовой, чрезмерная нагрузка и напряжение вызывали у Троцкого головные боли, лихорадку и бессонницу. Врагам он по-прежнему казался нестигаемой фигурой, а сторонникам подавал пример самообладания и героических усилий. Но в кругу семьи телесная немощь давала о себе знать.

¹ Такие цифры приводит оппозиция. Согласно сталинским источникам, было собрано лишь 4000 подписей. По сведениям Н. Попова, сталинского историка, на выборах делегатов съезда оппозиция получила 6000 голосов из 725 000.

Тщетно Троцкий боролся с бессонницей; никакие лекарства не помогали. Он все больше и больше жаловался на головные боли и головокружение. Его одолевала депрессия и отвращение к жизни. Порой его чувства совершенно омертвлялись потоками грязи и оскорблений, льющимися со всех сторон. «За завтраком мы видели, как он открывает газеты, — пишет его жена, — просматривает их и с тоской швыряет на стол. Все они были полны глупой лжи, искажений простейших фактов, площадной брани, ужасных угроз и телеграмм со всех концов света, с ревностным и безграничным лизоблюдством повторяющих все те же оскорбления... Во что они превратили революцию, партию, марксизм и Интернационал!»

Вместе с Троцким горечь поражения испили и его ближайшие родственники. Вся семья, жившая в напряжении и ожидавшая самого худшего, страдала от бессонницы и ночь за ночью в тревоге готовилась к тому, что принесет новый день, — когда же наступало утро и приходили друзья, заставляла себя взбодриться и продолжала борьбу. Седова не очень интересовалась политикой и более уверенно чувствовала себя в стенах музеев и галерей, чем среди споров и планов внутрипартийной борьбы, но женская любовь и преданность заставили ее целиком втянуться в жестокую драму. Забыв о собственных интересах и держась в тени мужа, она жила с ним одной жизнью, старалась думать заодно с ним, вместе с мужем содрогалась от гнева и сохла от тревог и забот.

Их старший сын, Лёва, которому шел двадцать второй год, все свое детство и отрочество, как впоследствии и остаток своей короткой жизни, был зачарован величием своего отца. Быть сыном Троцкого, разделять его идеи, следовать по его стопам — все это для подростка и юноши было источником величайшего счастья. Он вступил в комсомол обманом, будучи моложе положенного возраста и приписав себе лишние года, а затем попытался поступить в Красную армию, затем покинул родительский дом в Кремле и жил в коммуналке-общезитии, среди голодающих и нищенствующих рабочих-студентов. В оппозиции Лёва состоял с момента ее формирования. Для него было мучительно смотреть, как комсомольцев, для которых его отец совсем недавно служил живой легендой и источником вдохновения, подстрекали и настраивали против троцкизма. С сыновним и революционным гневом он ненавидел тех людей, которых его отец клеймил как бюрократов, развращенных влас-

тью. Лёва многие годы провел в спорах и в организации оппозиционных групп; он вел агитацию в партячейках и бок о бок с такими признанными вождями оппозиции, как Пятаков и Преображенский, выступал на провинциальных митингах, добираясь даже до Урала. Юношеская энергия подпитывала его оптимизм и уверенность; но в эти недели, среди всеобщего ожесточения и злобы, его охватывал страх за жизнь отца, и Лёва не отлучался от него, как помощник и телохранитель, готовый в любой момент вцепиться в горло нападающему.

В отличие от Лёвы Сергей, который был на два года младше, в период возмужания взбунтовался против отцовского авторитета и отказался пребывать в тени отцовского величия. Этот бунт принял форму ненависти к политике. Сергей не вступил в комсомол, знать ничего не желал о партийной борьбе и не хотел иметь ничего общего с оппозицией. Сильный, храбрый и склонный к авантюрам, или, как считали его отец и брат, легкомысленный, он посвятил свою жизнь играм, спорту и искусству. Питая тягу к цирку (который в России того времени претендовал на звание искусства) и, кажется, к некоей циркачке, Сергей покинул дом в Кремле и провел год или два с цирковой труппой. Перебесившись, блудный сын вернулся домой, но по-прежнему настаивал на своей независимости. Скептически отзываясь о политике, он погрузился в математику, к которой выказывал выдающиеся способности, как и его отец в том же возрасте. И тем не менее чувство привязанности понемногу побеждало неприязнь к отцу и к политике. Юноша, тронутый отцовской отвагой и жертвенностью, возмущался тем, как общались с отцом и его единомышленниками, и не мог оставить без внимания те тревоги и опасности, которые нес с собой каждый новый день.

В дела Троцкого оказалась тесно вовлечена и другая родня — по первому браку. Для ленинградских троцкистов центром сплочения по-прежнему являлась Александра Соколовская, постаревшая, но твердая в убеждениях и по-прежнему безбоязненно высказывающая их, как и в Николаеве 1890-х годов, где она была единственным марксистом. Две ее дочери, Зина и Нина, которым шел уже третий десяток, жили в Москве и были ревностными сторонницами оппозиции. Обе так же восхищались своим отцом, как и во время его возвышения в 1917 году, и обе были несчастны. Зина и Нина были замужем, у каждой было по двое детей; мужья обеих, активные троцкисты, лиши-

лись работы и средств к существованию и были уже либо исключены из партии, либо ожидали исключения и ссылки в Сибирь. Оказавшись в нищете, не получая ниоткуда помощи, истерзанные тревогой за детей, мужей и родителей, обе женщины заболели чахоткой; им предстояло стать первыми жертвами той судьбы, которая уничтожила всех детей Троцкого.

С приближением десятой годовщины революции оппозиция готовилась «обратиться к массам». Ее приверженцы получили приказ участвовать в официальных ноябрьских празднествах, но таким образом, чтобы донести идеи и требования оппозиции до сведения миллионов людей, которые заполняют улицы и площади советских городов. Нельзя было допустить ни малейшего намека на призывы к восстанию или хотя бы к неповиновению. Членам оппозиции следовало принять участие в официальных демонстрациях, но отдельными сплоченными группами под собственными знаменами и лозунгами. Те внешне были совершенно безобидными и содержали лишь скрытые намеки против правящей группировки, так что лишь самые политически подкованные наблюдатели могли отличить их от официальных лозунгов.

«Против кулака, нэпмана и бюрократа», «Против оппортунизма», «Выполним завещание Ленина», «Против раскола», «За единство ленинской партии!» — такими были лозунги оппозиции. Они были призваны произвести впечатление лишь на коммунистов и тех беспартийных, которые пристально и сочувственно наблюдали за течениями в большевистской политике. Поэтому действия оппозиции нельзя всерьез называть «обращением к массам» — в реальности это было обращение к партии. Однако изгоняемая из партии и лишенная доступа к рядовым партийцам оппозиция обратилась к ним извне, на глазах страны и всего мира. В этом и заключалось слабое место ее плана. Оппозиция попыталась выступить с открытым протестом против официальных методов управления партией и в то же время продемонстрировать свою дисциплинированность и преданность партии. Поэтому протест в том виде, в каком он планировался, едва ли был бы услышан, а демонстрация дисциплины нисколько бы не помогла. Согласно строго догматической интерпретации устава — а от Сталина не следовало ожидать другой интерпретации, — публичная демонстрация

против партийного руководства уже представляла собой нарушение дисциплины. Одним словом, оппозиция заходила либо слишком далеко, либо недостаточно далеко. Однако такими были обстоятельства и настроения оппозиционеров, что они зашли так далеко, как получилось, и не могли идти дальше.

День 7 ноября принес оппозиции сокрушительное поражение. Сталина не удалось поймать врасплох. Он отдал жесткий приказ немедленно пресекать любую попытку демонстрации, даже самую невинную. С его точки зрения невинной такая попытка быть не могла, так как если бы его противники на этот раз преуспели, нельзя было бы сказать наверняка, не удастся ли им все-таки рано или поздно увлечь за собой недовольные и взбудораженные, но пока покорные массы. Сталин знал, что даже сейчас, когда вершина уже рядом, он может поскользнуться и потерять все, и что, несмотря на сокрушительные удары, обрушившиеся на его противников, они все еще могут взять над ним верх, если он даст им хоть малейшую свободу действий. Поэтому 7 ноября отряды активистов и милиции бросались на любых оппозиционеров, пытавшихся развернуть транспарант, поднять портрет Троцкого или Зиновьева или выкрикнуть несанкционированный лозунг. Оппозиционеров рассеивали, осыпали бранью и избивали. Они пытались защититься голыми руками, снова сплотиться и продолжить демонстрацию. На улицах и площадях то и дело завязывались стычки и погони, народ то собирался, то рассеивался, и наконец даже до самых нелюбопытных зрителей в праздничной толпе дошло, что они стали свидетелями серьезных и решающих событий, что внутрипартийная борьба выплеснулась из ячеек на улицу и демонстранты своеобразным способом ищут всеобщей поддержки. Именно гонения действительно превратили действия оппозиции в нечто вроде обращения к массам, и в результате ее окружила атмосфера полускандала, полувосстания.

Виктор Серж оставил яркое описание этого дня в Ленинграде. Еще с 15 октября оппозиция возлагала большие надежды на ленинградцев, и Зиновьев прибыл в город, уверенный в их поддержке. Но местный партаппарат, предупрежденный событиями 15 октября, был во всеоружии. Сперва группы оппозиционеров вместе с прочими демонстрантами прошли мимо трибуны, на которой официальные вожди принимали парад; оппозиционеры подняли свои плакаты и транспаранты, но те почти не привлекли внимания. Затем милиция тихо окружила

оппозиционеров и изолировала их. Серж описывает, что не сумел присоединиться к демонстрации из-за ограждений, выставленных милицией, и остановился, чтобы посмотреть на колонну рабочих под красными флагами, идущую к центру города. Активисты оппозиции то и дело обращались к марширующим людям и выкрикивали свои призывы, но демонстранты воспринимали их апатично. Тогда сам Серж сделал несколько шагов к колонне и воскликнул: «Да здравствуют Троцкий и Зиновьев!» или что-то в этом роде. Ответом было лишь изумленное молчание. Только какой-то активист, собравшись с духом, прокричал в ответ грозно и яростно: «На свалку их!» Марширующие рабочие сохраняли молчание. Серж почувствовал, что раскрылся, и приготовился к тому, что его «разорвут в клочья». Внезапно он оказался среди пустоты — рядом с ним не осталось других зрителей, лишь какая-то женщина с ребенком в нескольких шагах от него. К Сержу подбежал студент и прошептал на ухо: «Идемте отсюда. Все это может плохо кончиться. Я пойду с вами, чтобы никто не мог ударить сзади».

В другой части города, напротив Эрмитажа, несколько сотен оппозиционеров беззлобно боролись с милицией. Высокий человек в милицмейской форме — это был Бакаев, бывший глава Ленинградского ГПУ, — повел «людскую волну» на конных милиционеров, которые пытались ее остановить. Толпа, получив отпор, отступала и снова накатывала. В другом месте группа рабочих во главе с маленьким коренастым человеком напала на конную милицию. Коренастый человек стащил милиционера с седла, сбил с ног, но затем помог ему встать и громким уверенным голосом, «привыкшим командовать», прокричал: «Стыдитесь! Стыдитесь, что напали на ленинградских рабочих!» Человеком, обрушившим на милиционера товарищеский гнев, был Лашевич, бывший заместитель наркомвоенмора, который прежде командовал огромными армиями. Аналогичные стычки происходили по всему городу и продолжались много часов. Группы зрителей следили за ними в ошеломленном молчании. Вечером, на оппозиционных собраниях, Серж снова видел Бакаева и Лашевича — они пришли в разорванной форме, чтобы обсудить события дня.

В Москве беспорядки и столкновения проходили куда менее «беззлобно» и «по-товарищески». Команды активистов и милиция действовали с холодной и жестокой решительностью. Город остро ощущал наступивший кризис, в воздухе разлилась

тревога. «Накануне юбилея говорилось, — отмечает очевидец, который, однако, слишком полагался на слухи, исходившие из официальных кругов, — что армия, выйдя на Красную площадь для ежегодного парада, выступит против Сталина. Какой-то храбрый солдат или командир воскликнет «Долой Сталина!», и остальные подхватят этот лозунг». Однако, как отмечает автор, ничего подобного не произошло. Сперва группам оппозиционеров, приближающимся к Мавзолею Ленина, удавалось тут и там развернуть плакаты, но не успевали они дойти до Красной площади, как их окружали отряды, разрывавшие плакаты в клочья и загонявшие оппозиционеров в ряды официальных демонстрантов. Так, стиснутые со всех сторон противником и шагая в ногу с прочими демонстрантами, оппозиционеры в неловком молчании прошли мимо вождей и иностранных гостей, собравшихся на Красной площади. Одни лишь китайские студенты из Московского университета Сунь Ятсена выстроились в форме длинного, извивающегося дракона и посреди площади подняли в воздух призывы Троцкого. За пределами площади оппозиционеров вышвыривали из толпы, избивали дубинками и либо разгоняли, либо арестовывали. Кое-где оппозиционеры вывесили портреты Ленина и Троцкого из украшенных флагами окон, но портреты разрывали, а вывесившие их подвергались насилиям. Вернувшийся из Хабаровска Смилга украсил такими портретами свой балкон на Доме Советов и поднял лозунг «Выполним завещание Ленина!». К нему домой ворвалась банда громил, порвала портреты и транспарант, разгромила квартиру и жестоко избивала человека, который десять лет назад привел Балтийский флот в Неву на помощь Октябрьскому восстанию, — его преступление состояло в том, что он вывесил портрет вождя этого восстания. Среди прочих избивали и Седову, оказавшуюся в группе демонстрантов.

Троцкий в сопровождении Каменева и Муралова весь день ездил по городу на машине. На площади Революции он остановился и попытался обратиться к колонне рабочих, направляющейся в сторону Мавзолея Ленина. На него тут же набросились милиция и активисты. Раздались выстрелы. Кто-то закричал: «Долой Троцкого, еврея и предателя!» Было разбито стекло машины. Демонстранты с беспокойством поглядывали на эту сцену, но продолжали идти.

Что творилось в уме бесчисленных людей, собравшихся на праздничных улицах? Никто этого не знал и не мог даже пред-

положить. Демонстранты послушно шли по предписанным маршрутам, выкрикивали предписанные лозунги и механически соблюдали предписанную дисциплину, не выдавая своих мыслей и ни разу не позволив излиться своим чувствам в спонтанной вспышке. Какой контраст они составляли с голодными, оборванными, но благодушными, щедрыми, восторженными и опьяненными толпами 1917 года! Как резко отличался нынешний городской пейзаж и пейзаж революции, чей юбилей отмечался! А какой различной оказалась судьба ее вождей! Десять лет назад рабочие обеих столиц были готовы отдать свою жизнь по первому приказу Троцкого. Сейчас же они даже не оборачивались, чтобы его выслушать. Десять лет назад Троцкий, глядя, как Мартов возглавляет исход меньшевиков из Советов, торжественно воскликнул: «Идите, идите на свалку истории!» — и его слова были заглушены громовыми большевистскими аплодисментами. «На свалку его!» — теперь эти слова разносились насмешливым эхо по ленинградской площади, когда кто-то из оппозиционеров попытался произнести в честь него здравицу. Неужели колесо истории, думали оппозиционеры, повернулось обратно или развалилось на куски? Может быть, это и есть «русский Термидор»?

Эти вопросы занимали и самого Троцкого. Он видел, что многие из тех, кто возглавлял большевистскую революцию, теперь выступают на его стороне. Казалось абсурдом думать, что его и их поражение не имеет глубокого исторического смысла, что оно не связано с «нисходящим движением» революции, о «второй главе» которой он говорил на ЦК несколько месяцев назад. Но помимо этого Троцкий видел, что, как бы ни изменился пейзаж революции, ее климат и окраска, твердыни революции стоят, как и прежде, непоколебимые и незыблемые. Республикой по-прежнему управляла партия большевиков — та партия, в неизменной преданности которой клялась оппозиция. Эту республику, несмотря на ее «буржуазное перерождение», Троцкий по-прежнему считал пролетарской диктатурой и вместе с оппозицией по-прежнему решительно отмежевывался от тех, кто видел в ней новое полицейское государство во главе с «новым классом», не имеющим ничего общего с пролетариатом и социализмом. Троцкий отказывался считать бюрократию новым эксплуататорским классом — он думал, что она представляет собой «болезненный нарост на теле пролетариата». Общественный сектор экономики, созданный большевиками,

существовал, как и прежде. Кулаки и нэпманы не добились победы. Антагонизм между первым пролетарским государством и мировым капитализмом сохранял всю свою силу, хотя до вооруженных столкновений дело не доходило. Изменилось так много — и вместе с тем так мало, словно на сцену обрушился ураган, раскидал актеров в разные стороны, перевернул вверх дном все, что мог, раскачивая сцену туда и сюда, но нисколько не повредив ее основу. Казалось невозможным, чтобы этим все и кончилось, — ведь ураган предвещает землетрясение? Троцкий полагал, что 7 ноября «еще не было советским Термидором», но наверняка — «кануном Термидора».

Серж рассказывает, что вечером 7 ноября на собрании ленинградских оппозиционеров раздавались два голоса. Один мрачно повторял: «Ничего не поделаешь, придется продолжать борьбу». — «Против кого нам бороться? — тревожно спрашивал второй. — Против собственного народа?» Те же самые голоса можно было услышать на любом собрании оппозиционеров. Как правило, троцкисты заявляли о своей готовности к дальнейшей борьбе, а зиновьевцы сомневались в ее пользе. Сам Зиновьев вернулся из Ленинграда в полном отчаянии; они с Каменевым уже сожалели о злосчастной попытке «обратиться к массам», которую предпринимали в полной уверенности в своей силе. Троцкий же ни в чем не раскаивался. Оппозиция сделала то, что должна была сделать; сделанного не исправишь. «*Adviennne que rougга*»¹, — повторял он. На следующий день Троцкий потребовал от Политбюро и Президиума ЦКК провести официальное расследование событий и при этом сохранял довольно оптимистичный взгляд на вещи. Своим приверженцам он говорил, что итог демонстраций не так уж и плох: оппозиция написала на своих знаменах призыв «Сохраним большевистское единство», тем самым продемонстрировав свою позицию и вырвав у Сталина лозунг, которым тот пытался воспользоваться. Зиновьев и Каменев возражали, что события 7 ноября привели их на самую грань раскола, и, если оппозиция действительно хочет сохранить большевистское единство, ей следует отступить.

Несколько дней продолжались споры о том, что делать дальше. Троцкий вскоре отказался от своего мнения о последствиях 7 ноября. Лишь через пять дней после заявления о том, как

¹ Что будет, то будет (фр.).

он доволен, что оппозиция «вырвала лозунг единства» у Сталина, Троцкий заявил, что слишком поздно говорить о единстве, потому что партийный аппарат превратился в безвольное «орудие сил Термидора» и намерен сокрушить оппозицию в интересах кулаков и нэпманов. Зиновьев и Каменев не были в этом уверены: они подчеркивали смену акцентов в политике Сталина и утверждали, что тот начинает наступление на кулака и нэпмана. В любом случае они не были согласны, что единство уже недостижимо.

14 ноября ЦК и ЦКК на чрезвычайном пленуме исключили из партии Троцкого и Зиновьева по обвинению в подстрекательстве к контрреволюционным демонстрациям и восстанию. Раковского, Каменева, Смилгу и Евдокимова исключили из ЦК; Бакаева, Муралова и других — из ЦКК. Сотни коммунистов были изгнаны из партячеек. Итак, после многих месяцев и лет, в течение которых все фракции колебались и маневрировали, наступали, отступали и продолжали бороться, раскол стал свершившимся делом.

Вечером 7 ноября Троцкий вернулся домой и сообщил семье, что придется освободить кремлевскую квартиру. Сам он выехал сразу же, чувствуя себя в большей безопасности за пределами Кремля и совершенно не на месте в резиденции правящей группировки. Троцкий временно разместился в комнатке дома № 3 по улице Грановского, в квартире Белобородова — оппозиционера, продолжавшего занимать пост наркома внутренних дел РСФСР и известного тем, что в 1918 году он приказал расстрелять Николая II в Екатеринбурге. Несколько дней местопребывание Троцкого оставалось неизвестным. Правящая группа немного встревоженно размышляла о том, что он затевает и не ушел ли «в подполье». Но у Троцкого не было таких намерений, и вообще столь известному человеку невозможно уйти в подполье. На следующий день после исключения из партии он сообщил свой новый адрес секретарю ЦИК Советов, членом которого номинально оставался¹. Покинув Кремль, он избавился от унижения, ко-

¹ Кроме того, Троцкий уведомил ЦИК, что его жена и один из сыновей больны и не в состоянии переезжать, но через несколько дней освободят квартиру.

тому подверглись другие члены оппозиции: 16 ноября все они были выселены. Их странный исход из Кремля описал Виктор Серж. Зиновьев тащил под мышкой только посмертную маску Ленина — настолько жуткую, что цензура никогда не разрешала публиковать ее снимки, и поэтому та осталась в собственности Зиновьева. Затем вышел Каменев, который в свои сорок с небольшим внезапно поседел и выглядел «красивым стариком с очень ясными глазами». Радек паковал свои книги с намерением продать их; раздавая собравшимся вокруг людям томики немецкой поэзии в качестве сувениров, он саркастически бормотал: «Какими мы были идиотами! Остались без копейки, когда могли бы скопить изрядную сумму на черный день. Безденежье убивает нас. Знаменитая революционная неподкупность делает нас жалкими щепетильными интеллигентами».

Кое-кто ушел по-иному. Вечером 16 ноября кремлевскую тишину неожиданно разрушил револьверный выстрел. С собой покончил Адольф Абрамович Иоффе, оставив Троцкому письмо, в котором объяснял, что только так может выразить протест против исключения Троцкого и Зиновьева из партии и свой ужас перед тем безразличием, с которым партия встретила это событие. Иоффе был последователем и другом Троцкого примерно с 1910 года — тогда он, студент-невротик, помогал Троцкому издавать в Вене «Правду». Вместе с Троцким он вступил в партию большевиков в 1917 году и ко времени Октябрьского восстания стал членом ЦК. Добродушный, улыбчивый и тихий Иоффе был одним из самых решительных сторонников и организаторов восстания. Вскоре он превратился в одного из крупнейших большевистских дипломатов, возглавив первую советскую делегацию в Брест-Литовске и став первым советским послом в Берлине. Иоффе вел мирные переговоры с Польшей в 1921 году, а годом позже заключил пакт о дружбе между правительствами Ленина и Сунь Ятсена; побывал он также послом в Вене и Токио. В начале 1927 года Иоффе вернулся из Токио, серьезно заболев туберкулезом, и был назначен заместителем Троцкого в Концессионном комитете. Московские врачи не оставляли ему никакой надежды и настаивали, чтобы он ехал лечиться за рубеж. Троцкий хлопотал за него в Наркомате здравоохранения и в Политбюро, но то отказалось отправлять Иоффе за границу на том основании, что лечение обойдется слишком дорого —

в тысячу долларов. Американский издатель только что предложил заплатить Иоффе 20 тысяч долларов за книгу воспоминаний, и Иоффе просил разрешения поехать лечиться за свой счет. Тогда Сталин запретил ему издавать мемуары, отказался дать выездную визу, лишил медицинской помощи и всячески осложнял ему жизнь. Прикованный к постели, страдающий от боли, оставшийся без копейки и подавленный жестокостью нападков на оппозицию, Иоффе предпочел застрелиться¹.

Прощальное письмо Иоффе интересно не только тем, что раскрывает отношение его автора к Троцкому — оно представляет собой уникальный человеческий и политический документ, будучи изложением общих принципов революционной морали.

Иоффе начинает письмо с того, что оправдывает свое самоубийство — поступок, который революционная этика в принципе отвергает. В юности, вспоминает Иоффе, он выступил против Бебеля, встав на защиту Поля и Лауры Лафарг, зятя и дочери Маркса, покончивших с собой, когда старческая немощь лишила их возможности участвовать в революционной борьбе. «Всю свою жизнь я был убежден, что политик-революционер должен знать, когда сойти со сцены, и сделать это вовремя... в тот момент, когда поймет, что больше не может принести пользы своему делу. Более чем тридцать лет спустя я пришел к выводу, что человеческая жизнь имеет смысл лишь тогда, когда она посвящена служению вечности; а для нас вечность — это человечество. Работать ради какой-либо конечной цели — а конечно все, кроме человечества, — бессмысленно. Даже если жизнь человечества когда-нибудь закончится, это произойдет в таком отдаленном будущем, что мы можем считать человечество абсолютно вечным. Человек, подобно мне верящий в прогресс, может допустить, что, когда настанет конец нашей планете, человечество заблаговременно найдет способ переселиться на более молодые планеты... Таким образом все, сделанное в наше время ради человечества, так или иначе сохранится в последующие века, и вследствие этого наше существование приобретает единственное значение, которое может иметь».

¹ В тот самый момент, когда Иоффе писал свое письмо Троцкому, пришла его жена с известием, что Политбюро отклонило его последнюю просьбу поехать на месяц-два за границу.

Выразив в такой марксистской терминологии и атеистическом ключе древнюю мечту людей о бессмертии — о бессмертии человечества и его духа, — Иоффе говорит, что за двадцать семь лет его жизнь полностью обрела смысл: он жил ради социализма, не потратив ни одного дня, так как даже в тюрьме использовал все свое время, чтобы учиться и готовиться к дальнейшей борьбе. Но теперь его жизнь стала бессмысленной, и его долг — уйти из нее. Последними ударами послужили исключение Троцкого и молчание, с которым партия встретила это событие. Если бы не болезнь, Иоффе сражался бы в рядах оппозиции. Но может быть, его самоубийство — «несущественная мелочь по сравнению с вашим исключением» (а также «жест протеста против тех, кто привел партию к такому состоянию, в котором она никак не способна возмутиться таким зверством»), — может быть, его самоубийство поможет поднять партию на борьбу с угрозой термидора. Иоффе боялся, что час пробуждения еще не настал, — но все равно его смерть будет более полезной, чем его жизнь.

С чрезвычайной скромностью, ссылаясь на долгую дружбу и совместную работу, Иоффе извиняется за то, что «пользуется этой трагической возможностью», чтобы сказать Троцкому, в чем, по его мнению, заключается главная слабость Троцкого, говорит, что хотел поговорить с ним об этом раньше, но решил только теперь. Иоффе никогда ни капли не сомневался в том, что с 1905 года Троцкий в политике всегда оказывался прав. Он слышал, как сам Ленин говорил это, признаваясь, что не он, а Троцкий был прав в их старых дискуссиях по вопросу о перманентной революции. «Перед смертью не лгут, и я еще раз повторяю вам это теперь».

«Но я всегда считал, что вам недостает ленинской непрклонности, неуступчивости, его готовности остаться хоть одному на признаваемом им правильном пути... Но вы часто отказывались от собственной правоты в угоду переоцениваемому вами соглашению, компромиссу»¹.

Таким образом, в своем последнем слове Иоффе желает Троцкому найти в себе ту «неуступчивость», которая

¹ В своей автобиографии Троцкий рассказывает, что Иоффе несколько раз собирался обнародовать этот разговор с Лениным и ленинское признание, но Троцкий разубедил его из-за опасения, что Иоффе подвергнется нападкам, которые окончательно погубят его здоровье. Письмо Иоффе подтверждает это.

приведет их общее дело к неизбежному, хотя и нескорому триумфу.

Эта критика, исходящая из глубин преданности и любви умирающего друга, не могла не тронуть и не впечатлить Троцкого: он был обречен до конца жизни на «непреклонную и неуступчивую» борьбу в одиночку. Однако в политическом плане самоубийство Иоффе не вызвало ни малейшего отклика. Его письмо не было опубликовано — ГПУ попыталось скрыть его даже от Троцкого, которому пришлось доставать письмо буквально с боем. В рядах оппозиции поступок Иоффе лишь посеял уныние, будучи воспринят как жест отчаяния. Троцкий опасался, что пример может оказаться заразительным. После поражения «оппозиции 1923 года» с собой покончили некоторые из ее приверженцев — Евгения Бош, легендарная героиня Гражданской войны на Украине, Лутовин, видный профсоюзный деятель и ветеран «рабочей оппозиции», Глазман, один из секретарей Троцкого. Теперь же, когда новая оппозиция подвергалась неизмеримо свирепейшим атакам и не видела впереди ясного пути, имелось куда больше оснований для паники. Лишь после того, как письмо Иоффе получило распространение в оппозиционных кругах, стал известен тот смысл, который он придавал своему самоубийству, и поступок Иоффе начал рассматриваться не как жест отчаяния, а как жест веры¹.

19 ноября длинная процессия, которую возглавляли Троцкий, Раковский и Иван Смирнов, последовала за гробом Иоффе по улицам и площадям Москвы к окраинному Новодевичьему кладбищу. Был разгар обычного рабочего дня — власти назначили похороны на такое время, чтобы не привлекать к ним внимания, — но к процессии присоединилось много тысяч людей, распевавших траурные мелодии и революционные гимны. С оппозиционерами смешались представители ЦК и Наркомата иностранных дел — стараясь предотвратить скандал, они пришли воздать официальные почести своему мертвому противнику. Когда процессия достигла монастыря — где когда-то Петр Великий держал в заточении свою сестру Софью, приказав казнить под окном ее кельи несколько сотен ее сторонников, — милиция и ГПУ попытались не пустить процес-

¹ Троцкий по требованию самого Иоффе убрал из текста письма те пассажи, в которых довольно пессимистично оценивались ближайшие перспективы оппозиции.

сию на кладбище. Толпа силой пробила себе путь и скопилась вокруг открытой могилы, встретив рассерженным ропотом официального оратора, попытавшегося произнести надгробную речь. Тогда выступили Троцкий и Раковский. «Иоффе покинул нас, — сказал Троцкий, — не из-за нежелания бороться, а из-за отсутствия сил для борьбы. Он опасался стать бременем для участников борьбы. Образцом для тех, кто остался, должна служить его жизнь, а не смерть. Борьба продолжается. Всем оставаться на местах! Не покидать рядов!»

Это собрание на кладбище, где витали призраки страшного русского прошлого, стало последним публичным митингом и демонстрацией оппозиции, а также последним появлением Троцкого на публике, а его призыв к отваге, эхом разошедшийся среди могил, стал последним публичным выступлением в России¹.

«Всем оставаться на местах! Не покидать рядов!» — сколько раз эти слова появлялись в приказах Троцкого в критические моменты Гражданской войны, и сколько раз, повинувшись им, возвращались в бой разбитые, павшие духом дивизии и добивались победы! Однако теперь эти слова утратили свою силу. Зиновьев, Каменев и их последователи уже «покинули свои места» и отчаянно оглядывались в поисках пути к отступлению. Накануне похорон Иоффе по Москве ходили слухи об их капитуляции перед Сталиным. В записке от 18 ноября Троцкий опроверг эти слухи, заявив, что их распускает сам Сталин, чтобы смутить оппозицию. Троцкий снова утверждал, что репрессии только помогают оппозиции, и предупреждал своих сторонников, что они по-прежнему должны считать себя членами партии, и даже исключение и аресты не оправдывают создание новой партии. Но если оппозиция смирилась с исключением, отвечали Зиновьев и Каменев, то она неизбежно, пусть даже

¹ Л. Фишер, бывший свидетелем этой сцены, пишет, что после завершения церемонии «все собрались вокруг Троцкого и устроили ему овацию. Раздались призывы расходиться по домам. Но все остались, и Троцкий очень долго не мог выйти с кладбища. Наконец, молодые люди, сцепившись локтями, образовали две живые цепи лицом друг к другу, чтобы по узкому коридору между ними Троцкий смог пройти к выходу». Однако толпа хлынула в этот коридор, и Троцкому пришлось пережидать в кладбищенской сторожке. «Он не стоял на месте, а шагал взад-вперед, как тигр в клетке... Я находился поблизости, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что он боится покушения».

против своей воли, становится новой партией. Поэтому они изо всех сил старались добиться отмены исключения. «Лев Давидович, — говорили они, — настало время, когда мы должны набраться мужества и сдаться». — «Если все, что нам нужно, — мужество, чтобы сдаться, — возражал Троцкий, — то революция уже давно бы победила по всему миру». Все-таки они договорились обратиться с совместным заявлением к съезду, который открывался в начале декабря. В этом заявлении, подписанном 121 оппозиционером, утверждалось, что оппозиция не отказывается от своих взглядов, но признает, что раскол, ведущий к борьбе двух партий, является «серьезнейшей угрозой для дела Ленина», что оппозиция несет свою долю ответственности, хотя и не главную, за произошедшее, что внутрипартийная борьба должна принять иные формы, и оппозиция, готовая снова распустить свою организацию, обращается к съезду с просьбой вернуть в партию исключенных и арестованных оппозиционеров.

Было ясно, что съезд ответит на это обращение немедленным отказом и не согласится аннулировать исключения. В этом случае единая оппозиция была обречена на распад и каждой из составляющих ее двух группировок пришлось бы идти по своей дорожке.

Съезд заседал три недели и был полностью посвящен расколу. У оппозиции не оказалось ни одного делегата с правом голоса. Троцкий не присутствовал на съезде; его даже не пригласили прийти, чтобы лично попросить об отмене исключения. Съезд единогласно постановил, что выражение оппозиционных взглядов несовместимо с членством в партии. Раковский попытался выступить на защиту оппозиции, но его стащили с трибуны. После этого съезд с радостным изумлением выслушал Каменева, патетически описавшего бедственное положение оппозиции. По его словам, он и его товарищи стоят перед дилеммой: либо образовать вторую партию — а это «гибельный для революции путь, это путь вырождения политического и классового», или же «после жестокой и упорной борьбы придется целиком и полностью подчиниться партии». Они выбирают капитуляцию — то есть согласны воздержаться от какой-либо критики официальной политики, — поскольку «глубоко уверены, что правильная, ленинская политика может восторжествовать только в нашей партии и только через нее, а не вне партии, не вопреки ей». Поэтому

они готовы подчиниться любым решениям съезда, «как бы тяжелы они для нас ни были».

Отдав себя и своих товарищей на милость съезда и встав перед ним на колени, Каменев попытался остановиться на полпути. Капитулировавшие оппозиционеры, заявил он, поступают как большевики, но они не будут большевиками, если откажутся и от своих взглядов. Никогда прежде никого в партии не принуждали к этому, — утверждал Каменев, забывая, что сам с Зиновьевым требовал этого от Троцкого в 1924 году. «Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили». Он сделал еще одну отчаянную попытку спасти честь капитулянтов, умоляя освободить арестованных троцкистов: «Такое положение, когда такие люди, как Мрачковский, находятся в тюрьме, а мы находимся на свободе перед вашими глазами, — оно *неудержимо*. Мы вместе с этими товарищами боролись. Мы несем ответственность за все их действия». В сущности, Каменев призывал съезд дать всем оппозиционерам возможность исправить случившееся. «Мы просим съезд, если этот съезд хочет войти в историю... съездом умиротворения в партии, — помогите нам в этом деле».

Неделю спустя единая оппозиция окончательно развалилась. 10 декабря зиновьевцы и троцкисты расстались друг с другом и «заговорили разными голосами». Каменев, Бакаев и Евдокимов от имени первых объявили о своем окончательном согласии со всеми решениями съезда. Раковский, Радек и Муралов в тот же день заявили, что, хотя согласны с зиновьевцами в абсолютной необходимости сохранить однопартийную систему, тем не менее отказываются подчиняться решениям съезда. «Отказ от защиты своих взглядов в партии политически равносителен отказу от самих взглядов, и поэтому он явился бы на деле отказом от выполнения своего элементарного долга по отношению к партии и рабочему классу».

Зиновьев и его сторонники фактически повторяли то, что Троцкий говорил в 1924 году, — что партия является единственной силой, способной «защитить завоевания Октября», «единственным орудием исторического прогресса», и что «никто не может идти наперекор ему». Именно уверенность в этом привела его к капитуляции. С другой стороны, Троцкий и его сторонники теперь были убеждены, что «имели право пойти

против партии»; и все же они решились продолжать борьбу, считая, что сражаются не против партии, а за нее, — чтобы спасти ее от самой себя, а вернее, от партийной бюрократии. В сущности, и Троцкий и Зиновьев пытались решить одну и ту же неразрешимую задачу, только по-разному. Зиновьевцы надеялись, что, оставшись в партии, они при благоприятных обстоятельствах смогут «обновить» ее; троцкисты считали, что это можно сделать только извне. И те и другие повторяли одними и теми же словами, что любая попытка создать новую партию будет губительна для революции; тем самым и те и другие косвенно признавали, что рабочий класс остается политически незрелым, что от него не следует ждать поддержки двух компартий, что до сих пор оставались тщетными любые попытки обратиться к рабочим в борьбе с партийной бюрократией, которая, несмотря на все изъяны и пороки, все еще выступает защитницей пролетарских интересов, опекуном революции и строителем социализма. Если бы они так не думали, ужас, с которым и Троцкий и Зиновьев говорили о «другой партии», оставался бы нелепым и необъяснимым. В этом случае они, наоборот, считали бы своим долгом создать другую партию. Признавая в своих противниках, пусть только косвенно и с серьезными оговорками, стражей и опекунов пролетарской диктатуры и вступив с ними в конфликт, оппозиционеры оказались перед противоречием. Зиновьев, терзаемый совестью, пытался решить это противоречие, признав диктат правящих фракций. Троцкий, убежденный в том, что те не смогут долго оставаться «стражами революции», подчинялся диктату своей совести, которая говорила ему, что самоотречением ничего не добьешься.

Пока вокруг него рушилась единая оппозиция, множились исключения и капитулировали тысячи оппозиционеров, Троцкий сохранял бесстрашие и презрение к «мертвым душам» — Зиновьеву и Каменеву, — предсказывая, что их будут гнать от одной капитуляции к другой, от одного позора к следующему, еще более худшему. Правящие партии шумно праздновали победу. Они тем более разбушевались, поскольку до последнего момента не были уверены, что Сталин сумеет довести оппозицию до признания своего поражения. И лишь когда Зиновьев и Каменев объявили о капитуляции, правящие фракции ответили, что не принимают ее, и капитулянты должны полностью отречься от своих идей и покаяться. Прежде Зиновьеву и Каменеву давали понять, что их восстановят в

правах, если они всего лишь воздержатся от выражения своих взглядов. Когда же они теперь согласились на это, им заявили, что их молчание станет оскорблением и вызовом партии. «Товарищи, — говорил на съезде Калинин, — как может оценить рабочий класс... людей, которые перед всем миром заявляют, что отказываются пропагандировать взгляды, являющиеся, по их мнению, правильными?! Или это — сознательный обман... или же эта группа оппозиционеров превратилась в обывателей, которые имеют свои взгляды про себя, но их не проповедают». На самом деле правящие фракции опасались, что скомпрометируют себя, признав первую капитуляцию Зиновьева и Каменева. Что же это за партия, подумают люди, которая позволяет своим членам придерживаться определенных взглядов, но не выражать их? Победители не могли остановиться на полпути. Чтобы удержать только что завоеванный плацдарм, они должны были продолжать наступление, еще сильнее потеснив своих разбитых противников. Запретив им распространять свою ересь, съезд был вынужден запретить исповедовать ее даже молча. Лишив их голоса, следовало отказать и в праве мыслить, а затем вернуть им голос, чтобы они могли отречься от своих идей.

Еще одну неделю заняла торговля по поводу условий, а зиновьевцы все это время пытались вырваться из ловушки. Они не могли вернуться к своей первой капитуляции, и, чтобы сохранить в ней какой-либо смысл и добиться того, чего надеялись добиться через ее посредство, они докатились до следующей капитуляции. 18 декабря Зиновьев и Каменев вернулись и постучались в двери съезда, чтобы сказать, что осуждают свои взгляды как «неверные и антиленинские». Как говорят, Бухарин встретил их такими словами: «Вы правильно сделали, что передумали в последнюю минуту. Железный занавес истории вот-вот опустится», — тот железный занавес, который, как мы знаем, раздавил и самого Бухарина. Бухарин, несомненно, испытал облегчение, когда Зиновьев и Каменев вернулись и покорились, так как он, как и ряд других членов правящей фракции, с беспокойством размышлял, что случится, если Зиновьев и Каменев не станут каяться и снова объединятся с Троцким. Даже Орджоникидзе, выступивший с докладом от ЦКК и потребовавший исключения оппозиционеров, продемонстрировал тревогу, когда сказал, что репрессивные меры бьют по людям, «которые принесли много пользы нашей партии и много лет

сражались в наших рядах». Но Сталин и большинство, опьяненные победой, продолжали топтать поверженных, отказываясь восстановить их в партии даже после покаяния. По странному капризу судьбы именно Рыков, который впоследствии разделил участь Зиновьева и Каменева, вышел к ним, пока они ждали, и захлопнул перед ними дверь. Он сообщил, что они не допускаются в партию, а останутся на положении кандидатов не менее полугода, и лишь после этого ЦК решит, стоит ли их восстанавливать.

После капитуляции зиновьевцев Троцкий и его приверженцы оказались в изоляции. Это утешило не особенно щепетильную совесть многих сталинистов и бухаринцев, которые полагали, что действия Сталина в конечном счете оказались оправданными. Безусловно, Троцкий абсолютно не прав, думали они, если от него отворачиваются даже бывшие союзники. Глаза партии и страны были прикованы к съезду, на котором разворачивался поразительный спектакль капитуляции; та часть оппозиции, которая не участвовала в спектакле, никого особенно не интересовала. Больше всего были ошеломлены сами троцкисты. Их раздавил факт свершившегося разрыва с партией. Они с недоверием смотрели на ту пропасть, которая разверзлась между ними и зиновьевцами, и задумывались над тем, не слишком ли безрассудно поступили. Стоило ли им вести свою полуподпольную пропаганду? Стоило ли 7 ноября «обращаться к массам»? Следовало ли ускорять раскол? Из-за подобных угрызений они встречали вердикты об исключении бесконечными патетическими заявлениями о своей нерушимой верности партии. Немногие пошли по следам зиновьевцев; другие колебались. Большинство сохраняло решимость бороться дальше даже под угрозой гонений. Но никто не знал, кто капитулировал, а кто нет. Сразу же после съезда 1500 оппозиционеров было исключено, а 2500 написали заявления об отречении от своих взглядов. Но и среди отрекшихся некоторые отказались от своих заявлений, когда поняли, что один акт капитуляции влечет за собой следующий, а среди тех, кто отказался подписаться, некоторые лишались своей решимости, когда подвергались дальнейшим гонениям, искушениям и уговорам. Выбравшие разные пути считали друг

друга штрейкбрехерами и предателями. Поскольку не было известно, кто сломался, а кто устоял, всю бывшую единую оппозицию охватили подозрительность и замешательство.

Троцкий, понимая всю бессмысленность капитуляции Зиновьева, проникся убеждением, что выбрал верный путь, и лихорадочно старался поделиться этой уверенностью со своими отчаявшимися сторонниками. Он говорил им, что никакое благоразумие и проволочки не помогут, поскольку Сталин все равно найдет предлог, чтобы выгнать их из партии. Следовало сплотить тех, кто крепко держался, провести четкий водораздел между ними и ренегатами, избегать двусмысленного отношения и разъяснить причины разрыва как современникам, так и потомкам. Более того, оппозиция должна работать по-новому — ей следует на время уйти в подполье, выработать новые методы связи между своими группировками, новые методы работы и установить контакты со своими иностранными единомышленниками.

На все это оставалось очень мало времени. Еще до конца года Сталин приступил к высылке оппозиционеров. Однако безжалостный режиссер будущих кровавых чисток все еще проявлял странную озабоченность своим алиби и соблюдением приличий. Он старался избежать скандала в случае неприкрытой и насильственной высылки и пытался так организовать изгнание своих врагов, чтобы оно выглядело как добровольный отъезд. От имени ЦК он предлагал ведущим троцкистам незначительные административные должности в отдаленных уголках громадной страны: сам Троцкий должен был «по собственной воле» отправиться в Астрахань, на Каспийское море. В начале января 1928 года Раковский и Радек, делегированные оппозицией, и Орджоникидзе, с другой стороны, приступили к фантастическому торгу по поводу этих предложений. Радек и Раковский протестовали против назначения Троцкого в Астрахань, заявляя, что его организм, истощенный малярией, не выдержит жаркого и влажного климата прикаспийского порта. Все игры сразу же закончились, как только Троцкий и его друзья заявили, что готовы к назначению на любую должность в провинции при условии, что это не станет лишь предлогом к высылке, что каждое назначение будет согласовано с оппозицией и что при этих назначениях будут учтены требования здоровья и безопасности ответствующих лиц и их семей.

3 января, пока торг еще продолжался, Троцкий был вызван в ГПУ, но проигнорировал повестку. На этом фарс завершился. Несколько дней спустя, 12 января, ГПУ сообщило Троцкому, что согласно статье 58-й Уголовного кодекса, т. е. по обвинению в контрреволюционной деятельности, он будет сослан в Алма-Ату — город в Туркестане, поблизости от китайской границы. Датой высылки объявлялось 16 января.

О последних днях Троцкого в Москве оставили свои воспоминания два автора — один совершенно посторонний человек, другой — троцкист. Первым был Пауль Шеффер, корреспондент «Берлинер тагеблатт», взявший у Троцкого интервью 15 января. С первого взгляда он не заметил никаких признаков слежки за Троцким (можно предположить, что у немецкого журналиста был недостаточно наметанный глаз, чтобы замечать такие признаки). Он подметил возбуждение в доме у Троцкого — постоянно приходили, уходили и прощались люди, которым тоже предстояла высылка, паковались вещи для долгого путешествия. «Во всех коридорах и проходах лежали штабеля книг и снова книг — пища революции, подобно тому как бычья кровь была пищей спартанцев». На этом фоне Шеффер описывает и самого хозяина: «Чуть ниже среднего роста, с очень нежной кожей, желтоватым цветом лица и голубыми, но не крупными глазами, которые порой смотрят очень дружелюбно, а в иные моменты метают молнии и становятся чрезвычайно повелительными; на большом оживленном лице отражаются сила и величие мысли; непропорционально маленький рот; изящная, мягкая, женственная рука. Этот человек, на голом месте создававший армии и наполнявший неразвитых рабочих и крестьян своим энтузиазмом, поднимая их на высоты, недоступные их пониманию... сперва кажется застенчивым, слегка смущенным... может быть, именно поэтому он обладает такой привлекательностью».

В течение всего интервью Троцкий, соблюдая вежливость, все же держался настороже, радуясь возможности выступить публично, но чрезвычайно сдержанно излагая буржуазному журналисту свою точку зрения по внутренним вопросам. Ни единого упоминания о противниках, ни жалоб, ни полемических высказываний. Лишь один раз разговор коснулся внутрипартийных дел, когда интервьюер заметил, что Ллойд Джордж

предсказывал Троцкому «наполеоновское будущее». Таким образом, Шеффер пытался затронуть тему ссылки, планов Троцкого на будущее и т. д., однако Троцкий воспринял это сравнение по-иному. «Странно себе представить, — ответил он без улыбки, — что именно я положу конец революции. Это не первая из ошибок Ллойд Джорджа». Что характерно, сравнение с Наполеоном натолкнуло Троцкого не на очевидную и поверхностную параллель между концом их политической карьеры в изгнании, а на столь ненавистную Троцкому политическую идею бонапартизма как наследника термидора. Общественные проблемы для него всегда стояли выше личных («Вам постоянно напоминают, — замечает Шеффер, — что этот человек в первую очередь боец»). Троцкий говорил в основном об упадке капитализма и перспективах революции в Европе, с которыми всегда связывал будущее большевистской России. «Речь Троцкого быстро переходит с разговорного тона на ораторский и взмывает ввысь; взлеты и падения мировой революции он иллюстрирует красивыми плавными жестами». Дискуссию прерывает товарищ, в тот же вечер отправляющийся в ссылку и все-таки пришедший спросить, не может ли он что-нибудь сделать для Троцкого. «Лицо Троцкого с маленькими вздернутыми усиками покрывается множеством веселых морщинок: «Вы же уезжаете сегодня, верно?» Как любитель споров и иронии он никогда не упустит возможности... Юмор непоколебимого борца по-прежнему незамутнен». На прощание Троцкий пригласил Шеффера посетить его в Алма-Ате.

В отличие от Шеффера Серж пишет, что Троцкого «день и ночь стерегут товарищи, за которыми, в свою очередь, следят филеры». Агенты ГПУ на мотоциклах фиксируют все приезжающие и отъезжающие машины.

«Я поднялся по черной лестнице... Тот, кого между собой мы с преданным почтением называли «Стариком», как прежде звали Ленина, работает в маленькой комнатке, выходящей на двор; вся ее обстановка — походная кровать и стол... Одетый в потрепанный френч, с почти поседевшей гривой волос, с болезненным лицом, деятельный и величавый, он и в этой клетке сохраняет свою упрямую энергию. В соседней комнате печатают только что надиктованные им послания. В столовой принимают товарищей, приезжающих со всех уголков страны, — он поспешно беседует с ними в промежутках между телефонными звонками. Всех могут арестовать в любой

момент — и что дальше? Никто не знает... но все торопятся воспользоваться этими последними часами, потому что других явно не будет».

День 16 января, заполненный совещаниями, инструкциями, новыми прощаниями и последними приготовлениями к путешествию, прошел как в лихорадке. Час отбытия был назначен на 10 вечера. Вечером вся семья, обессиленная и напряженная, уселась в ожидании агентов ГПУ. Назначенное время прошло, но те не появлялись. Семья терялась в догадках, пока из ГПУ Троцкому без всяких объяснений не сообщили по телефону, что его отъезд отложен на два дня. Дальнейшие догадки прервало появление крайне возбужденных Раковского и других друзей. Они прибыли с вокзала, где собрались тысячи человек, чтобы попрощаться с Троцким. У поезда, в который он должен был сесть, прошла бурная демонстрация. Многие ложились на рельсы, поклявшись, что не пропустят поезд. Милиция пыталась растащить их и разогнать толпу; но власть имущие, увидев, какой оборот принимает демонстрация, приказали отложить депортацию. Оппозиция поздравляла себя с победой и планировала через два дня повторить акцию протеста. Однако в ГПУ решили заставить оппозицию врасплох и тайком похитить ее вождя. Его собирались отвезти на другой вокзал, переправить на маленькую станцию за пределами Москвы и лишь там посадить на поезд, идущий в Среднюю Азию. Троцкому велели приготовиться к отъезду 18 января, но уже 17-го числа пришли за ним. Как ни странно, его сторонники в тот момент не следили за домом, и, когда прибыли агенты ГПУ, они застали лишь Троцкого и его жену, двух сыновей и еще двух женщин, в том числе вдову Иоффе.

Разыгралась редкая трагикомическая сцена. Троцкий заперся и отказался впускать агентов ГПУ — жест пассивного сопротивления, которым в прежние дни он всякий раз встречал пришедшую за ним полицию. Узник и офицер с орденом вели переговоры через запертую дверь. Наконец последний приказал своим подчиненным выбить дверь, и они ворвались в комнату. По странной прихоти судьбы офицер, прибывший арестовать Троцкого, служил в его поезде во время Гражданской войны как телохранитель. Оказавшись лицом к лицу с бывшим командиром, он потерял самообладание, сломался и только бессвязно бормотал: «Стреляйте меня, товарищ Троцкий, стреляйте!» Троцкий изо всех сил старался успокоить сво-

его тюремщика и даже настаивал и убеждал его, чтобы тот выполнял свои приказы. После этого он снова занял позу неповиновения и отказался одеваться. Вооруженные агенты стащили с него комнатные туфли, одели его и, поскольку он не желал выходить, спустили его на руках по лестнице под крики и причитания домочадцев Троцкого и вдовы Иоффе, следовавших за ними. Других свидетелей не было, кроме нескольких соседей — высокопоставленных чиновников и их жен; те, услышав шум, выглядывали из-за дверей и поспешно прятали испуганные лица.

Арестанта и его семью запихнули в милицейскую машину, которая среди бела дня промчалась по московским улицам, незаметно увозя вождя Октябрьской революции и основателя Красной армии. Троцкого привезли на Ярославский вокзал. Там он отказался садиться в поезд, и конвоиры затащили его в одинокий вагон, ожидающий на запасных путях. Агенты оцепили вокзал и не пускали на него пассажиров; поблизости суетилось лишь несколько железнодорожников. За конвоем следовала и семья Троцкого. Его младший сын, Сергей, сцепился с одним из агентов, а старший, Лёва, пытался агитировать железнодорожников. «Товарищи, — кричал он, — смотрите, как несут товарища Троцкого!» Но у тех в глазах не было ни слезинки; никто не протестовал — ни громко, ни шепотом.

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как молодой Троцкий впервые увидел башни и стены Москвы. Тогда его перевозили из одесской тюрьмы к месту ссылки в Сибирь, и «деревня царей», будущая «столица Коммунистического интернационала», впервые открылась ему в зарешеченном окне тюремного вагона. Из таких же окон он увидел Москву и в последний раз, так как больше никогда не вернулся в город своих триумфов и поражений. Он прибыл в Москву как наказанный революционер и покинул ее точно тем же образом.

Глава 6

ГОД В АЛМА-АТЕ

На пустынной маленькой станции в полусотне километров от Москвы вагон, в котором увезли из столицы Троцкого и его семью, был прицеплен к поезду, направляющемуся в Среднюю Азию. Сергей, торопясь продолжить университетские занятия, сошел с поезда и вернулся в Москву. Большая лихорадкой Седова и Лёва направились с Троцким в ссылку. Их сопровождал конвой из десятка человек. Из коридора через полуприкрытую дверь часовые следили за узником и его женой, приютившимися на деревянных скамьях в темном купе, едва освещенном свечой. Главным все еще оставался офицер, прибывший арестовать Троцкого; его присутствие в поезде гротескным образом напоминало о другом, знаменитом поезде, который служил председателю Реввоенсовета полевым штабом, где этот офицер был телохранителем Троцкого. Седова вспоминала: «Мы устали от неожиданностей, неопределенности, напряжения последних дней и теперь отдыхали». Лежа во тьме или глядя на бескрайнюю белую равнину, по которой поезд катился на восток, Троцкий начал примеряться к новым обстоятельствам. Он был оторван от мира с его захватывающей суетой, отрезан от своей работы и борьбы, изолирован от сторонников и друзей. Что будет дальше? И что ему делать? Троцкий попытался заставить себя сделать несколько заметок в дневнике или сочинить черновик протеста, но обнаружил, что оказался в дальнем путешествии «без карандаша и листа бумаги», и был даже слегка потрясен этим, так как ничего подобного не случалось с ним раньше, даже во время рискованного побега с Крайнего Севера в 1907 году.

Теперь же риск таился во всем — он даже не знал, действительно ли его везут в Алма-Ату. Опасность подхлестывала его воинственный и упрямый темперамент. Как Троцкий заявил жене, его утешает хотя бы то, что он не умрет смертью обывателя в уютной кремлевской кровати.

На следующий день поезд остановился в Самаре; отсюда Троцкий по телеграфу отправил протест Калинину и Менжинскому, утверждая, что за всю его длинную революционную карьеру никакая буржуазная полиция не обращалась с ним столь же лживо и коварно, как ГПУ, похитившее его и не сообщавшее, куда его везут, отправившее его в путь без смены белья, элементарных удобств и без лекарства для больной жены. Однако конвоиры были внимательны и даже дружелюбны, как и царские солдаты в 1907 году, сопровождавшие его, осужденного на ссылку председателя Петербургского Совета. По дороге они покупали для семьи Троцкого белье, полотенца, мыло и пр., приносили обеды с вокзалов. Их узник по-прежнему вызывал у них благоговение, которое мог бы вызывать великий князь, сосланный при старом режиме: в конце концов, никто не знал, не вернется ли он вскоре к власти. И когда поезд прибыл в Туркестан, начальник конвоя попросил своего узника написать свидетельство, что с ним хорошо обращались. По пути на поезд сели два преданных секретаря Троцкого — Сермукс и Познанский, — надеясь перехитрить ГПУ. Такие случаи скрашивали монотонность дороги.

Поездка по железной дороге завершилась в Пишпек-Фрунзе¹. Дорогу в 250 километров, соединявшую этот город с Алма-Атой, предстояло преодолеть на автобусе, грузовике, в санях и пешком, через обледенелые, обдуваемые ветрами горы и по глубоким снежным заносам, остановившись на ночь в заброшенной хижине среди пустыни. Наконец, через неделю после выезда из Москвы, 25 января в 3 часа ночи, отряд достиг Алма-Аты. Троцкого и его семью поселили в гостинице «Джетысу» на улице Гоголя, где были «меблированные номера действительно времени Гоголя». Витавший над гостиницей призрак великого сатирика, похоже, подсказал Троцкому многие из его алма-атинских наблюдений и стиль его нередких протестов, которые он посылал в Москву.

¹ Город Пишпек (ныне Бишкек. — *Пер.*) только что был переименован в честь Фрунзе, сменившего Троцкого на посту наркомвоенмора.

В конце 1920-х годов Алма-Ата по-прежнему оставалась маленьким и совершенно восточным городком. Она славилась своими грандиозными садами, но представляла собой грязную и сонную казахскую глубинку, едва затронутую цивилизацией и подверженную землетрясениям, наводнениям, буранам и иссушающей жаре. Последняя приносила с собой пыльные бури, малярию и паразитов. Город предполагалось развивать как административный центр Казахстана, но республиканская администрация только создавалась, однако чиновники уже забрали себе все приличные помещения, и местные трущобы были, как никогда, переполнены. «В центре на базаре, в грязи, на ступеньках магазинов грелись на солнце казахи и искали на теле у себя насекомых». Встречалась и проказа; летом на домашних животных Троцкого напал мор, а на улицах выли бешеные собаки.

Жизнь в Алма-Ате в том году была еще более скудной из-за постоянных перебоев с хлебом. В течение первых нескольких месяцев ссылки Троцкого цена на хлеб увеличилась втрое. К немногим булочным выстраивались длинные очереди. Другого продовольствия не хватало еще сильнее. Регулярного транспорта не было. Почта ходила редко; местный Совет пытался привлечь к ее доставке частных подрядчиков. Мрачную атмосферу, беспомощность и легкомыслие местных чиновников хорошо иллюстрирует такой пассаж из переписки Троцкого: «Недавно в местной газете писали: «В городе функционируют слухи, будто хлеба не будет, хотя то и дело приезжают возы с мукой». Возы действительно приезжают; однако пока слухи функционируют, малярия функционирует, только хлеб не функционирует».

В таком месте и предстояло жить Троцкому. Сталин намеревался держать его как можно дальше от Москвы и оставить без всякой помощи. Два секретаря Троцкого были арестованы — один на пути из Москвы, второй в Алма-Ате — и сосланы в другие места. Однако в тот момент, кажется, у Сталина не было новых замыслов насчет своего врага; ГПУ по-прежнему относилось к Троцкому с внимательностью, совершенно немислимой впоследствии. Были приняты меры к тому, чтобы переправить Троцкому его громадную библиотеку и архивы, где хранились важные государственные и партийные документы — вскоре в Алма-Ату прибыл нагруженный ими грузовик. Троцкий посылал протесты Калинин, Орджоникидзе и Менжинскому по поводу условий, в которых он содержится,

требуя более приличного жилья, права ходить на охоту и чтобы из Москвы ему прислали любимую собаку. Он жаловался, что в гостинице на улице Гоголя его держат только потому, что так удобнее для ГПУ, и его ссылка фактически превратилась в тюремное заключение. «В тюрьму вы могли посадить меня и в Москве — не было смысла ссылать меня за четыре тысячи верст». Протест возымел эффект. Спустя три недели после прибытия Троцкому отвели четырехкомнатную квартиру в центре города, в доме 75 по улице Красина, названной в честь его покойного друга. Ему разрешили ходить на охоту. Троцкий засыпал Москву саркастическими телеграммами, в которых содержались новые требования, порой серьезные, порой тривиальные, а мелкие обиды соседствовали с великими проблемами. «Моя славная Майя [его домашняя собака], — писал он другу, — даже не подозревает, что оказалась в центре грандиозной политической борьбы». В сущности, он отказался считать себя узником, и его гонители проявляли снисходительность.

После долгих лет непрерывных трудов и напряжения Троцкого охватило что-то вроде расслабленности. Поэтому первые месяцы его пребывания в Алма-Ате получили неожиданный и странный привкус квазиидиллии. Степь и горы, реки и озера впервые так сильно манили его со времен детства. Троцкий предавался охоте, а в его обширной переписке среди политической аргументации и советов часто пробиваются поэтические описания пейзажа и юмористические рассказы об охотничьих приключениях. Сперва Троцкому запрещали покидать Алма-Ату. Затем позволили охотиться в пределах 25 верст от города. Он отправил телеграмму Менжинскому, заявив, что проигнорирует это ограничение, так как вблизи от города отсутствуют подходящие места для охоты, а мелкая дичь его не интересует — ему *должны* позволить удаляться от города по крайней мере на семьдесят верст, и пусть Москва поставит об этом в известность местное ГПУ, чтобы избежать неприятностей. После этого он нарушал запрет, и никаких репрессий не последовало. Затем Троцкий направил протест начальнику местного ГПУ, заявляя, что за ним грубо и откровенно следят, поэтому он «объявит забастовку» и перестанет охотиться — если только подобный полицейский надзор не предписан непосредственно из Москвы; в таком случае он понимает положение местного ГПУ и снимает протест. Надзор стал более мягким и не таким заметным.

Троцкий начал охотиться вскоре после своего приезда и продолжал ходить на охоту, пока продолжалась весенняя миграция зверей по реке Или. Порой напряженная, но бодрящая охота продолжалась по десять дней. В письмах друзьям Троцкий гордо описывает свои охотничьи успехи. Сперва он ночевал в казахских глинобитных хижинах или кишевших клопами юртах, где приходилось, едва сдерживая тошноту, спать вместе с десятком туземцев на полу и кипятить грязную воду для чая. «В следующий раз, — заявил он, — я буду спать на открытом воздухе и все равно жаловаться своим спутникам». И действительно, в следующий раз — март еще не закончился — охотники провели на открытом воздухе девять морозных дней и ночей. Переправляясь через реку на лошади, Троцкий свалился в воду. Трофеи оказались невелики: «около сорока уток». «Правда, — пишет Троцкий к друзьям, — крупную дичь следует искать еще дальше, на озере Балхаш, где водятся даже снежные барсы и тигры; но я решил заключить с тиграми пакт о ненападении».

«Поездка доставила мне огромное удовольствие, суть которого состоит во временном обращении в варварство: спать на открытом воздухе, есть под открытым небом баранину, изготовленную в ведре, не умываться, не раздеваться и потому не одеваться, падать с лошади в реку (единственный раз, когда пришлось раздеться под горячим полуденным солнцем), проводить почти круглые сутки на маленьком помосте среди воды и камышей — все это приходится переживать не часто».

Когда охотничий сезон завершился, началась рыбалка, в которой участвовала даже Наталья Ивановна, хотя это была не та рыбалка, которой предается расслабленный горожанин в выходной день, а долгая и тяжелая возня с лодками и массой грузов, в которой от рыбаков требовались изрядные навыки.

В начале июня, когда в Алма-Ату пришла жара, семья переселилась на дачу в предгорьях сразу за городом, сняв крестьянский дом с тростниковой крышей, окруженный большим яблоневым садом. Из дома открывался вид на город и раскинувшуюся за ним степь с одной стороны и на снеговые горные хребты с другой. Во время сильных ливней крыша протекала, и все бросались на чердак с лоханками, котлами и кастрюлями. В саду построили хижину, служившую для Троцкого кабинетом. Вскоре здесь было не протолкнуться среди книг, газет и рукописей; стены хижины дрожали от гро-

хота изношенной пишущей машинки, разносившегося по саду. Сидя за письменным столом, Троцкий смотрел, как через щель в полу пролез побег, вскоре выросший ему до колен. Все это подчеркивало «эфемерный характер» обиталища, но все же семейство с большим облегчением вырвалось из города, где в тучах пыли люди гонялись за бешеными собаками, устроив на них охоту. В первые месяцы и Троцкий, и Седова страдали от малярии и жили на «хининовой диете», теперь же приступы лихорадки почти прекратились.

Ссылному приходилось зарабатывать на жизнь. Правда, он получал официальное пособие, но это были жалкие гроши, и, хотя семья была маленькой, а ее потребности — очень скромными, пособия не хватало на пропитание, так как цена на продукты все время поднималась. Госиздат только что прекратил издавать сочинения Троцкого, которых вышло тринадцать томов, уже изъятых из магазинов и публичных библиотек. Голова Троцкого была полна новых литературных замыслов. Он собирался написать исследование об азиатской революции и собрал солидную коллекцию справочников по Китаю и Индии. В другой книге он планировал дать обзор развития России и всего мира после Октябрьской революции. Сразу же после прибытия в Алма-Ату он приступил к объемистому изложению принципов оппозиции, которое было адресовано VI конгрессу Коминтерна, назначенному на лето. Друзья Троцкого, особенно Преображенский, настаивали, чтобы он писал мемуары. В апреле он уже приступил к работе над ними с помощью старых южных газет и карт Николаева и Одессы, воссоздавая картину своего детства и юности, которой открывается его книга «Моя жизнь».

Однако ни один из этих трудов не мог обеспечить его гонорами, так как их никто бы не издал. Но даже человек, сосланный по 58-й статье за «контрреволюционную деятельность», имел право зарабатывать на жизнь трудом переводчика, редактора и корректора. Когда выяснилось, что авторы, которых Троцкому позволено переводить или редактировать переводы их сочинений, — это Маркс и Энгельс, он с готовностью принялся за работу. Рязанов, старый друг Троцкого, а ныне директор Московского института Маркса—Энгельса, готовил полное русское собрание сочинений Маркса и Энгельса; он попросил Троцкого перевести «Господина Фогта». В этом длинном и малоизвестном памфлете Маркс отвечает на оскорбления некое-

го Карла Фогта, который, как выяснилось впоследствии, был агентом Наполеона III. Прочитав эту брошюру впервые, Троцкий отметил, что Марксу понадобилось двести страниц, чтобы опровергнуть обвинения Фогта, а его переводчику понадобится «целая энциклопедия», чтобы отмыться от сталинской клеветы. После этого Рязанов попросил Троцкого отредактировать переводы и вычитать гранки других томов Маркса и Энгельса, чем Троцкий и занялся¹.

Переписка Троцкого с Рязановым служит примером той скромности и ответственности, с которыми Троцкий подходил к работе: в ней содержится подробная, едва ли не педантичная критика стиля переводов и многочисленные мелкие поправки. Характер этой переписки совершенно аполитичный и подчеркнуто деловитый. Нет ни намек а иронии со стороны Троцкого по поводу единственного доходного занятия, разрешенного ему в Советском Союзе. Гонораров от Рязанова хватало и на семейные потребности, и на расходы по обширной переписке Троцкого².

С самого момента прибытия в Алма-Ату Троцкий упорно старался наладить контакты с друзьями и соратниками, разбросанными по всей стране и обреченными на изоляцию и молчание. Вначале это можно было сделать лишь по почте, причем в крайне примитивных условиях, когда добыть ручку, карандаш, несколько листов грубой бумаги или пару свечей было настоящим подвигом. Лёва стал при отце «министром иностранных дел и министром почт и телеграфа», телохранителем, ассистентом, секретарем и организатором охотничьих экспедиций. С его помощью из Алма-Аты во все стороны полетел нескончаемый поток писем и приказов. Дважды или трижды в неделю верховой почтальон-инвалид привозил полный мешок писем, вырезок из газет, а позже даже книг и газет из-за границы. Несомненно, цензура и ГПУ пристально наблюдали за этой перепиской. Главными корреспондентами Троцкого были Раковский, сосланный в Астрахань, Радек, отправленный в Тобольск, Преображенский, оказавшийся на Урале, Смилга в Нарыме,

¹ В одном из писем Троцкий упоминает, что переводит также сочинения Томаса Ходжкина, «английского социалиста-утописта».

² Между апрелем и октябрём 1928 г. Троцкий отправил 800 политических писем, многие из которых имеют объем статьи, и 550 телеграмм; получил он 1000 писем и 700 телеграмм, не считая частной переписки.

Белобородов, которому местом жительства назначили Усть-Кылом в республике Коми, Серебряков в центральноазиатском Семипалатинске, Муралов в Таре, Иван Смирнов в армянском Ново-Баязете и Мрачковский в Воронеже. Менее систематически Троцкий переписывался с дюжиной других оппозиционеров. Позже в том же году он сообщал Сосновскому, что поддерживает более-менее регулярные связи со всеми крупными колониями ссыльных в Сибири и Советской Азии в целом — в Барнауле, Каменске, Минусинске, Томске, Колпашеве, Енисейске, Новосибирске, Канске, Ачинске, Актюбинске, Ташкенте, Самарканде и пр. С колониями в Европейской России он общался через Раковского, который из Астрахани наладил контакты с оппозиционными центрами по Нижней Волге и в Крыму, и через Мрачковского, который из Воронежа установил связь с колониями на севере. В местах, где существовали крупные колонии ссыльных, письма и приказы размножались и пересылались в мелкие колонии. Начиная с апреля между Алма-Атой и Москвой завязалась секретная переписка; письма по тайным каналам доставлялись раз в две или три недели.

Таким путем группы ссыльных, численность и размер которых постоянно возрастали, поддерживали единство и вели напряженную политическую жизнь. Троцкий стал вдохновителем, организатором и символом оппозиции в ссылке. Сосланные были настроены как угодно, только не примиренчески. Некоторых потрясло то, что с ними случилось. Другие считали гонения, которым они подвергались, не более чем дурной шуткой. По-видимому, большинство поначалу было убеждено, что триумф Сталина продлится недолго, что ход событий вскоре докажет правоту оппозиции и ее приверженцы вернутся из ссылки, восхваляемые за свое предвидение, отвагу и преданность марксизму-ленинизму.

Поскольку условия, в которых они оказались, при всей их мучительности и унижительность были не катастрофически безнадежными, оппозиционеры повели такой же образ жизни, к которому привыкли еще до революции. Политзаключенные и ссыльные пользовались вынужденным бездельем, чтобы приводить в порядок свои мысли, заниматься и готовиться к тому дню, когда им снова придется взвалить на себя ношу непосредственной борьбы или ответственность за страну. Для такой деятельности условия казались вполне подходящими. Во многих колониях оказались образованные люди, блестящие теоретики

и талантливые писатели, для которых товарищи по ссылке стали отборной аудиторией. Интенсивный обмен идеями помогал сохранять самодисциплину и самоуважение. Троцкий из Алматы жадно следил за этим обменом и поощрял его, цитируя в письме к друзьям Максиму Гёте о том, что в интеллектуальных и нравственных вопросах необходимо постоянно завоевывать для себя то, чем уже владеешь. В результате колонии стали центрами серьезной интеллектуальной и литературно-политической работы. Помимо меморандумов и «тезисов» по текущим вопросам, которые получили широкое распространение, предпринимались и крупные проекты. Радек приступил к сочинению объемистой биографии Ленина и исследовал его жизнь; Раковский работал над «Жизнью Сен-Симона» и занимался истоками утопического социализма; Преображенский писал и завершал уже начатые книги о советской экономике и об экономике средневековой Европы; Смилга начал книгу о Бухарине и его школе мысли; из-под пера Дингельштедта выходили статьи о социальной структуре Индии и т. д. Однако эти интеллектуальные штудии, при их несомненной ценности, не могли дать прямого ответа на вопрос, который в первую очередь занимал мысли ссылных и который жизнь снова ставила на повестку дня: что дальше?

Даже в далекой Сибири и в Средней Азии еще до конца зимы дал о себе знать новый социальный кризис. Он зарождался уже давно и достиг критической точки осенью, как раз перед ссылкой оппозиционеров. Государственные зернохранилища опустели, городскому населению угрожал голод, и не было даже ясно, хватит ли продовольствия для армии. По всему Советскому Союзу к пекарням выстраивались нескончаемые очереди, подобно тем, что видел Троцкий в Алматы, а цены на хлеб выросли многократно.

Однако внешне ситуация в сельском хозяйстве была неплохая. Засеивались почти такие же площади, как в лучшие времена, три года подряд собирали превосходный урожай. Но «смычка» между городом и деревней снова оказалась разорвана. Крестьяне не желали привозить хлеб и продавать его по фиксированным ценам. Хлебозаготовки сопровождались бунтами: государственные заготовители, изгоняемые из деревень, возвращались в город с пустыми руками. Крестьянство не было заин-

тересовано в продаже своей продукции, поскольку не могло получить в ответ тканей, обуви, сельхозинструментов и прочих промтоваров. Оно призывало резко поднять цену на зерно и в своих требованиях еще более откровенно, чем прежде, шло вслед за богатыми кулаками.

На Политбюро между бухаринцами и сталинистами произошла стычка по этому вопросу как раз в тот момент, когда они совместно изгнали троцкистов и разгромили зиновьевцев. Бухаринцы хотели успокоить крестьян уступками, в то время как сталинисты склонялись — пока еще не слишком решительно — к применению силы. На первой неделе января, за десять дней до ссылки Троцкого, Политбюро должно было принять решение о дальнейшем ходе хлебозаготовок; несомненно, общая нервность из-за ситуации в стране заставила поспешить с высылкой Троцкого. 6 января Политбюро спустило в парторганизации секретный приказ принимать самые суровые меры против крестьян, препятствующих хлебозаготовкам, организовать принудительные «хлебные займы», твердо сопротивляться повышению цен на продовольствие и пристально следить за кулаками. Эти приказы не принесли каких-либо результатов, и пять недель спустя Политбюро было вынуждено повторить их более решительно, но уже без такой секретности.

В середине февраля «Правда» забила тревогу: «Кулак поднял голову!» Наконец, в апреле ЦК откровенно, словно позаимствовав терминологию у троцкистов и зиновьевцев, объявил, что стране грозит тяжелый кризис и что эту угрозу создает «повышение доходности... кулацких слоев», которое государственная фискальная политика не сумела предотвратить. «В связи с дальнейшим расслоением деревни она дала возможность кулачеству, удельный хозяйственный вес которого возрос... оказать вместе с частником довольно значительное влияние на всю рыночную конъюнктуру». Однако партии, по словам ЦК, по-прежнему не удастся их обуздать. Были объявлены чрезвычайные меры: следовало навязать кулакам принудительные займы, чтобы снизить их покупательную способность; реквизировать запасы зерна; установить фиксированную цену на хлеб и, наконец, снимать с должностей тех официальных лиц и членов партии, которые склонны попустительствовать кулакам. Эти решения подавались не как отход от существующего политического курса, а как временные меры с целью справиться с непредвиденными трудно-

стями. В решениях ЦК не содержалось ни намека на «сплошную коллективизацию» — наоборот, подобная идея решительно отвергалась. Однако сам тон, которым ЦК объяснял причины чрезвычайной ситуации, объявлял об угрозе, исходящей от кулака, и признавался в неспособности партии принять ответные меры, уже указывал на коренной поворот в политике. Сталинисты брали верх в ЦК. Получив полномочия, чтобы вести борьбу с кулаком, Сталин одновременно начинал и борьбу с бухаринцами; теперь он мог свободно снимать их с должностей на нижнем и среднем уровне администрации и партаппарата.

Поначалу сосланные троцкисты реагировали на эти события с удивлением, иронией и даже восторгом. Не сбываются ли предсказания оппозиции? — спрашивали они. Не вынужден ли Сталин избрать левый курс, который отстаивала оппозиция? Теперь партия наконец должна понять, кто был прав, а кто не прав в великой дискуссии последних нескольких лет. Многие оппозиционеры поздравляли себя, все более уверенно ожидая, что их в любую минуту призовут принять участие в отражении опасности и встать у руля новой большевистской политики. Троцкий в своей переписке также подчеркивал предвидение оппозиции и, судя по всему, ожидал скорых перемен, хотя и не разделял самых оптимистичных настроений своих сторонников¹.

Шли недели, левый курс углублялся, но ничего не менялось в официальном отношении к оппозиции, и торжествующие настроения среди ссыльных сменились беспокойством и сомнениями. Тот оборот, который принимали события, ставил под вопрос ряд важнейших предположений и предсказаний оппозиции, особенно ее оценку политических течений в партии. Правы ли мы были, задавались вопросом иные троцкисты, нападая на Сталина как на защитника кулака? Насколько обоснованными были наши заявления, что после разгрома левой оппозиции внутрипартийное равновесие так необратимо изменится, что правые бухаринцы возьмут верх и разделаются со сталинским центром? Не преувеличивали ли

¹ В письме Сосновскому от 5 марта 1928 г. он, между прочим, вспоминает, что его обвиняли в поражечестве после утверждений, что при той политике, какую ведут Сталин и Бухарин, не только плохой урожай, но и хороший укрепляет кулака. Теперь же «Правда», неожиданно открыв для себя силу кулака, пишет о трех последних обильных урожаях как о «трех землетрясениях».

мы силу консервативных элементов в партии? Сталинская фракция, отнюдь не побежденная, сама начала громить правых — так не переборщили ли мы с нашими криками об угрозе термидора? И, вообще говоря, не зашли ли мы слишком далеко в борьбе со Сталиным?

Подавляющее большинство сосланных тщательно гнало от себя подобные колебания. Но меньшинство ставило эти вопросы все более настойчиво, и каждый вопрос влек за собой следующие вопросы, подвергающие сомнению все новые и новые пункты оппозиционной программы и работы. Ответы зависели от того, насколько серьезно оппозиция воспринимала левый курс Сталина. По-прежнему существовала возможность считать действия Сталина против кулака случайным тактическим маневром, который не помешает ему возобновить прокулацкую политику. Именно такого мнения придерживалось большинство оппозиционеров. Но некоторые уже убедились в серьезности левого курса, видели в нем начало грандиозного сдвига и с беспокойством размышляли о перспективах оппозиции. Как та может оставаться пассивным наблюдателем, спрашивали они, пока партия ведет опасную борьбу против капиталистических и квазикапиталистических элементов страны, ту самую борьбу, к которой призывала оппозиция?

Действия оппозиции до такой степени основывались на идее, что во всех важных вопросах правое крыло играет ведущую роль и что сталинская фракция, слабая и колеблющаяся, всего лишь следует за ней как тень, что даже первая или предварительная атака Сталина на кулака выбила у оппозиции почву из-под ног. Еще в декабре, на XV съезде, Зиновьев и Каменев оправдывали свою капитуляцию на том основании, что Сталин готов к повороту влево. Вскоре после этого два выдающихся троцкиста — Пятаков и Антонов-Овсеенко — последовали их примеру и объявили о разрыве с Троцким. Оба были самыми храбрыми и энергичными вождями оппозиции 1923 года, оба неохотно участвовали в последующей борьбе, и оба объясняли свою капитуляцию тем, что Сталин и так выполняет программу оппозиции. Ссылные сперва встретили измену Пятакова и Антонова-Овсеенко презрением и насмешками в адрес ренегатов; но аргументация отступников тем не менее произвела впечатление и породила новые сомнения.

В начале мая Троцкий по-прежнему практически ничего не знал о брожении среди ссыльных; он отправил своим сторонникам письмо, в котором излагал свои взгляды. Троцкий писал, что левый курс Сталина символизирует начало важных перемен. По его словам, оппозиция с полным правом может гордиться тем, что именно она вдохновляла новую политику и подталкивала к ней руководство. Правда, гордость смешивается с горечью, если вспомнить ту цену, которую оппозиции пришлось заплатить за свой косвенный успех. Однако такой была участь не одного революционера: ценой тяжелых и трагических жертв они вынуждали других, даже своих врагов, выполнять свою революционную программу. Так, Парижская коммуна была погнута в крови, но восторжествовала над своими палачами, поскольку тем пришлось брать на вооружение некоторые пункты ее программы: хотя коммуна потерпела поражение как пролетарская революция, она помешала реставрации монархии во Франции и способствовала установлению хотя бы парламентской республики. Примерно такой же может оказаться и связь оппозиции с левым курсом Сталина: пусть оппозиция разгромлена, пусть она не увидит полного выполнения своей программы, но по крайней мере ее борьба помешала правящей группе продолжать отступление перед капиталистическими элементами и учредить неонэп.

Что же теперь делать оппозиции? Мы обязаны, заявляет Троцкий, решительно поддержать сталинский левый курс и ни при каких обстоятельствах не объединяться с Бухариным и Рыковым против Сталина. Напротив, мы должны подтолкнуть колеблющийся сталинский центр к решительному разрыву с правыми и заключить союз с левыми. Не следует исключать возможности альянса оппозиции с ее гонителями-сталинистами, направленного против защитников кулака, хотя такая возможность крайне сомнительна. Более, чем когда-либо, оппозиция должна добиваться внутрипартийной свободы, а «левый курс способствует борьбе за пролетарскую демократию». В этих рассуждениях Троцкий остается вполне последователен: еще с 1923 года он неизменно утверждал, что главная «функция» сталинского режима — в том, чтобы защитить от рабочих партийную бюрократию, которая покровительствует кулакам и нэпманам. Отсюда следовал вполне логичный вывод, что раз бюрократия прекратила защищать кулаков и нэпманов, ей следует сблизиться с рабочим классом, примириться с его глаша-

таями и вернуть им свободу самовыражения. И тем более решительно оппозиция, даже поддерживая левый курс, должна выступать против сталинских притеснений и предупреждать партию о том, что, пока те продолжают, нет никаких гарантий, что Сталин будет следовать новым курсом, а не вернется на поклон к кулаку. Троцкий признает, что такое «двойное отношение» представляет собой сложную задачу, но заявляет, что это единственная позиция, оправданная в данных обстоятельствах. Пятаков уже назвал взгляды Троцкого «противоречащими самим себе». «Никаких противоречий, — возражал на это Троцкий, — не остается в человеке, который [подобно Пятакову] самоубийственно бросается в реку».

Идея Троцкого обладала той диалектической гибкостью, которой требовала от него двусмысленная ситуация. Курс Сталина на борьбу с кулаком он считал великим и многообещающим достижением и тем решительнее выступал за свободу критики и дискуссий, считая ее главной гарантией разумности новой политики. Троцкий предлагал оппозиции не скатываться в оппортунизм, а защищать свои принципы. Когда враг вырывал очередной лист из его книги, он признавал, что лист украден у него, но призывал своих сторонников поддержать врага в том начинании, которое они считали необходимым. Но в книге оставалось еще много листов, и Троцкий не собирался отдавать их всех. Что касается перспектив оппозиции, он избегал крайностей и пессимизма и оптимизма: вполне возможно, что события заставят сталинистов искать примирения с оппозицией, и в этом случае оппозиция вернет себе нравственное и политическое лидерство; но оппозиция должна быть готова и к тому, чтобы разделить участь Парижской коммуны и посредством мученичества послужить делу социализма и прогресса.

Тот факт, что Троцкий относительно благоприятно воспринял левый курс Сталина и признал его положительное значение, произвело сильный и даже ошеломляющий эффект на троцкистов. Он наделял дополнительной силой аргументы тех из них, которые начали критиковать прежние методы оппозиции. Если Троцкий прав сейчас, говорили они, был ли он прав прежде, когда бил набат по поводу угрозы термидора? Не ошибался ли он в оценке сталинской политики? И имеет ли оппозиция право утешаться мыслью, что история оправдывает ее, как оправдала Парижскую коммуну? Должны ли троцкисты принять участие в грандиозной борьбе против частной собственности, которая

идет по всей стране, и тем самым помочь истории, вместо того чтобы пассивно полагаться на ее ожидаемый вердикт? Пусть потомство превозносит славную жертву коммунаров, но коммунары сражались не ради этой жертвы, а ради целей, которые считали практичными и вполне достижимыми.

В подобных рассуждениях отражалась дилемма, присущая троцкистскому мировоззрению, а отчаяние вело к озлобленности. Ссылка, вынужденное безделье и мучительные сомнения подтачивали энергичных и решительных людей, совершивших революцию, победивших в Гражданской войне и строивших новое государство. Изгнание из той партии, которой они посвятили свою жизнь, ради которой томились в царских тюрьмах и в которой видели величайшую надежду человечества, само по себе было тяжелой ношей, но она становилась совсем невыносимой, когда они понимали, что многие из решающих разногласий, отделявших их от сталинистов, исчезли, и партия начала делать то, к чему они так страстно призывали. Политическому борцу не так сложно перенести поражение, лишения и унижения, пока он четко знает, за что борется, и считает, что исход его дела зависит исключительно от него самого и его товарищей. Но даже самый закаленный боец падет духом в парадоксальной ситуации, когда видит, что дело, за которое он воевал, по крайней мере отчасти продолжают его гонители. Оно больше не зависит от того, продолжает ли он борьбу или нет. Сама борьба неожиданно становится бесполезной, а гонения, которым он подвергался, — бессмысленными. Он начинает сомневаться, прав ли был, когда считал своего гонителя врагом.

Сталин холодным и ясным взором проник в тревожные мысли оппозиционеров; но и у него имелись свои проблемы. Похвалы, раздававшиеся троцкистами левому курсу, помогали ему, но он опасался троцкистского содействия. На неизвестную и опасную дорогу Сталин вышел нерешительно, с колебаниями, под влиянием обстоятельств. Он рисковал серьезным конфликтом с крестьянством, будучи не в состоянии заранее оценить размах и энергию сопротивления, с которым столкнется, и осторожно повел борьбу со своими бывшими союзниками-бухаринцами, чьей популярности и влияния отнюдь не недооценивал. Сталин не мог знать, куда заведет его эта новая борьба и какие опасности его подстерегают. Как и Троцкий, он не мог исключить возможности, что в крайне затруднительной ситуации возникнет необходимость в союзе с левой оппозицией.

Но при этом Сталин понимал, что такой союз будет означать триумф Троцкого, и был намерен сделать все возможное, чтобы разгромить бухаринцев без помощи троцкистов. У Сталина были причины опасаться, что сил его фракции для этого не хватит и его сторонники не справятся с государственным аппаратом и не сумеют распорядиться национализированной промышленностью и финансами на новом и сложном этапе бурного экономического роста. Сторонники Сталина в основном являлись партаппаратчиками. Теоретики, политики, экономисты, промышленные руководители, специалисты по финансам и сельскому хозяйству и люди с политическими дарованиями оказались среди троцкистов, бухаринцев и зиновьевцев. Сталину требовалась помощь способных людей, готовых убежденно и ревностно выполнять антикулацкую политику. Таких людей можно было найти среди левой оппозиции. Поэтому Сталин стремился переманить на свою сторону столько талантов из числа троцкистов и зиновьевцев, сколько удастся, не отступая перед Троцким и Зиновьевым. Он обратился к троцкистам за спиной Троцкого, через своих агентов приманивая их своим левым курсом и стараясь убедить их, что оппозиция его режиму утратила смысл. Сперва ссыльные почти единодушно отвергали такие обращения, но те падали на плодородную почву. Некоторых сторонников Троцкого они подталкивали к новым сомнениям и к готовности трезвым взглядом пересмотреть историю оппозиции.

Троцкий узнал об этих настроениях только в середине мая, когда Белобородов прислал ему отчет о дискуссиях среди ссыльных. Другой троцкист, все еще состоявший на дипломатической службе, сообщал из Берлина о предполагаемом плане действий Сталина. По словам этого корреспондента, Сталин надеялся выпутаться из затруднительного положения, заставив влиятельных сосланных оппозиционеров покаяться, — с их помощью он собирался воплотить левый курс в жизнь и нанести Троцкому финальный удар. Сталин даже медлил с окончательным объявлением левого курса, пока не добьется капитуляции многих видных троцкистов. Теперь все зависело от того, удастся ли ему это. Если оппозиция отвергнет посулы Сталина, если ее не ослабят измены и если она продержится хотя бы до осени, когда сталинская фракция окончательно увязнет в трудностях, то у оппозиции появятся все шансы перехватить инициативу и вернуться к власти. Но если Сталин сумеет подор-

вать стойкость оппозиции и получить поддержку троцкистов-ре-негатов, то он сохранит власть, расправится с бухаринцами и продолжит следовать левым курсом, не прибегая к помощи Троцкого и его нераскаявшихся сторонников. Берлинский корреспондент Троцкого опасался, что Сталин преуспеет в этом: боевой дух оппозиции испарялся на глазах, и многие оппозиционеры были готовы прекратить борьбу¹.

Кажется, Троцкий не верил в такой упадок духа среди оппозиционеров. Капитулировали очень немногие из числа ссыльных, в частности, Сафаров, бывший комсомольский вождь, который подписал отречение и был вызван в Москву. Однако Сафаров представлял собой исключение, не будучи троцкистом. Он принадлежал к фракции зиновьевцев, но сперва отказался капитулировать вместе со своим вождем, отправился в ссылку с троцкистами и только там передумал и сдался. Судя по всему, его поступок не соответствовал настроениям среди троцкистов. Все же Сафаров, пытаясь оправдаться, сказал слова, задевавшие в них чувствительную струнку. «Теперь все пойдет без нас!» — воскликнул он. Под «всем» он имел в виду наступление на кулака и нэпмана, расширение социалистического сектора экономики, ускоренную индустриализацию, возможно, коллективизацию сельского хозяйства, так как все эти стороны левого курса были взаимосвязаны. Троцкистам тоже было невыносимо думать, что эти великие перемены, «вторая революция», пройдут без них. Чем более беспристрастно Троцкий подчеркивал желательность и прогрессивный характер последних шагов Сталина и чем сильнее настаивал, что долг оппозиции — поддержать их, тем большим было отчаяние среди его сторонников, с тем большим беспокойством они размышляли над плюсами и минусами оппозиционной политики, тем более остро ощущали оторванность от партии, поскольку в глуши ссылки не могли оказать никакой практической поддержки левому курсу.

В течение мая Троцкий снова несколько раз обращался к своим сторонникам, защищая дело оппозиции и пытаясь об-

¹ Это интересное письмо от 8 мая 1928 г. было анонимно послано из Берлина. Троцкий знал его автора, но под конец жизни, когда разбирал свои архивы, не мог вспомнить его имени. В 1928 г. анонимного корреспондента собирались отозвать из Германии, и он спрашивал у Троцкого, следует ли ему возвращаться в Москву. Похоже, что Троцкий ранее советовал ему вернуться.

рисовать новые перспективы. Его аргументацию можно свести к следующим трем пунктам.

Во-первых, неправда, что он переоценивал силу правых бухаринцев. Она по-прежнему велика. Не ошибалась оппозиция и в том, что пыталась донести до партии опасность термидора. Благодаря этому удалось сдержать термидорианские силы. Действия оппозиции и давление со стороны рабочего класса вынудили сталинистов порвать с бухаринцами, иначе нынешний хлебный кризис мог бы вынудить их на далеко идущие уступки «капиталистическому элементу в деревне», что могло бы спровоцировать вместо левого курса полномасштабный поворот вправо. Троцкий опасался, что те, кто считает, будто оппозиция преувеличивает угрозу справа, в конце концов капитулируют перед Сталиным.

Во-вторых, у оппозиции нет оснований укорять себя за то, что она слишком далеко зашла в борьбе. Наоборот, вследствие робости Зиновьева и Каменева сделано недостаточно: «Вся наша работа носила пропагандистский и только пропагандистский характер». Оппозиция почти никогда не обращалась к рядовым партийцам достаточно громко и смело. Когда она наконец попыталась так сделать 7 ноября, Сталин попробовал спровоцировать ее на Гражданскую войну, и пришлось дать отбой.

Наконец, тот факт, что Сталин присвоил себе лозунги оппозиции, не должен ее смущать. Сталинская фракция повела левую политику, когда ей ничего другого не оставалось, но она не сумеет довести ее до конца. Поэтому, как уверял Троцкий своих последователей, «мы еще нужны партии».

Эти аргументы и заверения удовлетворили не всех приверженцев Троцкого. Он не предлагал им ясных перспектив. Оставался вопрос, всерьез ли Сталин начал наступление на кулака, или его левый курс — только видимость; оппозиционеры ожидали четкого ответа. У Троцкого такого ответа не было, и, вероятно, сам Сталин еще точно не знал, чего добивается. Не мог Троцкий сказать своим сторонникам и того, как им, ссыльным, выполнять его советы и каким образом они могут одновременно и поддерживать Сталина, и противостоять ему.

Уже весной 1928 года в колониях троцкистов проявились два четко различающихся течения мысли. С одной стороны находились те, кто близко к сердцу принимал обязательство под-

держивать левый курс Сталина, — обязательство, к которому снова и снова призывал Троцкий; с другой стороны, были такие, кто в первую очередь склонялся к борьбе со Сталиным, на чем Троцкий тоже настаивал. Таким образом, разногласия, существовавшие в рамках единой оппозиции между троцкистами и зиновьевцами, теперь повторялись в рядах самих троцкистов, расколовшихся на «примиренцев» и «непримиримых». Примиренцы по-прежнему вовсе не собирались капитулировать перед Сталиным, но желали, чтобы оппозиция умерила свою враждебность по отношению к его фракции и подготовилась к достойному примирению на основе левого курса. Они полагали, что единство и собственные интересы оппозиции требуют от них критически пересмотреть и изменить в свете последних событий общепризнанные оппозиционные взгляды. К этому призывали оппозиционеры старшего поколения, склонные к неторопливой рефлексии, и те, кого чрезвычайно сильно охватила ностальгическая тоска по старой партии; кроме того, «просвещенные бюрократы» — экономисты и администраторы, больше заинтересованные в оппозиционной программе индустриализации и экономического планирования, чем в требованиях внутрипартийной свободы и пролетарской демократии; наконец, те, чья готовность вести борьбу против правящей группы уже была ослаблена перенесенными испытаниями. Поскольку людьми нередко движут смешанные побуждения, во многих случаях практически невозможно точно выяснить конкретные мотивы.

В число непримиримых троцкистов входили большей частью молодые люди, для которых исключение из партии не стало таким крахом, каким его восприняли более пожилые; этих людей оппозиция привлекала своим призывом к пролетарской демократии, а не своими экономическими и социальными требованиями; были среди них также идейные оппозиционеры, убежденные враги бюрократии и фанатики антисталинизма. В этой группе мотивы, двигавшие отдельными лицами, также непросто выявить. Чаще всего молодежь, для которой разрыв с партией не стал сильным нравственным потрясением, сохраняла относительное безразличие к сложным экономическим и социальным вопросам, но горячо поддерживала призыв оппозиции к свободе самовыражения и питала яростную вражду ко всяческой бюрократии, еще более обострившуюся в результате гонений и ссылки.

Оба крыла троцкистской оппозиции отчасти перекрывались с другими группами вне ее. Примиренцы все сильнее сближались с зиновьевцами, которых ранее презирали, а теперь же смотрели на них по-новому и даже если не были готовы следовать за ними, то начали понимать причины их капитуляции, внимательно прислушиваться к их аргументам и сочувственно следить за их действиями. С другой стороны, самые крайние непримиримые поняли, что у них много общего с нераскаившимися могиканами «рабочей оппозиции» и децистами, которые во главе с Сапроновым и Владимиром Смирновым были сосланы вместе с троцкистами. Они питали куда более неприкрытую вражду к бюрократии, чем троцкисты, и более или менее открыто отказывались от какого-либо подчинения существующему государству и партии, а также заявляли, что революция и большевизм мертвы и рабочему классу надо все начинать заново, то есть снова вести революционную борьбу, чтобы освободиться от эксплуатации со стороны нового «государственного капитализма», нэпманов и кулаков. Для многих молодых троцкистов эти простые и недвусмысленные призывы звучали гораздо более убедительно, чем тщательно взвешенный анализ и «двойная политика» Троцкого. Переварить их было гораздо легче, так как черное в них называлось черным, а белое — белым, без всяких диалектических хитростей. Как заявляли децисты, абсурдно в одно и то же время обличать Сталина как могильщика революции и подчеркивать, подобно Троцкому, прогрессивное значение левого курса; борьба со Сталиным должна заключаться в борьбе, а не в его поддержке.

Троцкисты обоих направлений ожидали от Троцкого указаний, хотя каждое крыло было склонно воспринимать только те советы, которые им импонировали. И те и другие ссылались на основные принципы и общие интересы оппозиции. Но разногласия углублялись, а вместе с ними испарялось чувство товарищества и росли взаимные подозрения, до тех пор пока у обоих крыльев друг для друга остались только неприязненные взгляды и обидные слова. Непримиримым их более умеренные товарищи казались маловеерами, если не дезертирами. Умеренные смотрели на непримиримых как на ультралевых или грубых анархистов, лишенных марксистской интеллектуальной дисциплины и ответственности за участь революции. Непримиримые подозревали, что примиренцы вольно или невольно работают на Сталина, в то время как примиренцы утверждали, что

ничто не компрометирует оппозицию и не помогает Сталину сильнее, чем преувеличения и выходки доктринеров и фанатиков троцкизма.

Глашатаями того и другого крыла выступали заслуженные оппозиционеры, доверенные и уважаемые друзья Троцкого. О необходимости более примирительного отношения к сталинизму первым заговорил Преображенский. Он никогда не отступал от оппозиции, и в его характере не имелось ни малейшего намека на эгоизм или оппортунизм. Слабость Преображенского, если это можно назвать слабостью, скорее заключалась в полном пренебрежении целесообразностью и популярностью и в теоретической последовательности его взглядов. Он начал призывать к примирению вследствие глубокого убеждения, которое прослеживается еще в его сочинениях 1924—1925 годов. Как мы знаем, Преображенский был главным теоретиком идеи о первоначальном социалистическом накоплении. «Период первоначального социалистического накопления, — писал он в «Новой экономике», — является самым критическим периодом в жизни социалистического государства после окончания Гражданской войны... Пробежать быстрее этот период, поскорей достигнуть момента, когда социалистическая система развернет все свои естественные преимущества над капитализмом — это есть вопрос жизни и смерти для социалистического государства». В течение этого периода социалистическое государство вынуждено удовольствоваться тем худшим, что есть в обоих мирах: для него закрыты как преимущества капитализма, так и преимущества социализма. Государству придется эксплуатировать крестьянство, чтобы обеспечить накопление фондов в социалистическом секторе. Напомним, что по этому вопросу Преображенский полемизировал с Бухариным и неопопулистской школой, «нашей советской Манчестерской школой мысли», как он ее называл. По словам Преображенского, с давлением иностранного (в первую очередь американского) капиталистического монополизма может справиться лишь социалистический монополизм. Тот должен подчинить себе посредством фискальной политики и государственного регулирования цен частный сектор экономики, в первую очередь сельское хозяйство. На негодующие возгласы Бухарина Преображенский отвечал: «Может ли быть иначе? Выражаюсь самыми понятными словами: может ли быть взвалено развертывание государственной промышленности... только на плечи трех

миллионов наших рабочих, или в этом деле должны принять участие и 22 млн наших крестьянских хозяйств?» Хотя Преображенский и не выступал за экспроприацию и насильственную коллективизацию крестьянства, но более чем-кто либо другой отдавал себе отчет в неизбежности жестокого конфликта между государством и крестьянством под «железной пятой закона первоначального социалистического накопления».

Вполне понятно, что Преображенский с готовностью отошел на левый курс Сталина, увидев в нем подтверждение своей теории и считая его неизбежным и абсолютно желательным шагом. Преображенский с самого начала был убежден в его колоссальном значении, причем убежден сильнее, чем сам Троцкий. Расхождения между ним и Троцким, ранее присутствовавшие лишь в их сочинениях, но не имевшие практических последствий, начали влиять на их воззрения. Троцкий никогда не придерживался взгляда, что пролетарское государство, как правило, должно «эксплуатировать» крестьянство, — в любом случае, он никогда не высказывал такого мнения так же откровенно, как Преображенский. Не выступал он, в отличие от Преображенского, и за насильственно ускоренный темп индустриализации. Теорема Преображенского, изложенная в «Новой экономике», была вполне совместима с идеей о построении социализма в одной стране — она подразумевала, что первоначальное накопление, самый трудный этап перехода от капитализма к социализму, может быть осуществлено в одном, промышленно неразвитом национальном государстве. Наконец, в отличие от Троцкого, Преображенский делал упор на «объективную силу законов перехода к социализму» — ту силу, которая проявляется сама собой и вынуждает вождей партии волей-неволей строить социализм. Национализация всей крупной промышленности, утверждал он, неизбежно ведет к плановой экономике и ускоренной индустриализации. Противодействуя им, сталинисты и бухаринцы идут наперекор исторической необходимости; одна лишь оппозиция разглядела ее вовремя и попыталась донести эту идею до сведения большевиков. Пусть Сталин и Бухарин разгромили оппозицию, но «им не перехитрить законы истории». «Структура нашей государственной экономики, [которая] нередко оказывается более прогрессивной, чем вся наша система экономического руководства, в конце концов заставит их выполнять программу оппозиции».

В прежних сочинениях Преображенского содержались лишь намеки на эти идеи; теперь же они занимали все его мысли. Сталин, объявивший войну кулаку, в его глазах всего лишь бес-сознательно и неохотно шел на поводу у необходимости. В то время как Троцкий по-прежнему относился к левому курсу с известным недоверием и опасался, что тот является всего лишь временным явлением, Преображенский был совершенно убежден в том, что Сталин действует искренне, что он не отступится от левого курса и будет вынужден еще более беспощадно воевать с кулаком, что создаст абсолютно новую ситуацию как для всей страны, так и для оппозиции в частности. Преображенский утверждал, что страна находится на грани колоссальных революционных сдвигов. Кулаки, говорил он, и дальше не будут продавать зерно, угрожая городу голодом. Крестьяне-середняки и бедняки не в состоянии поставлять достаточное количество продовольствия, а официальная борьба с кулаком оттолкнет и их, что приведет к колоссальному столкновению правительства с подавляющей массой крестьянства. В исследовании, написанном весной 1928 года, Преображенский утверждает, что угрозы и чрезвычайные меры Сталина уже подняли в стране такую свирепую бурю, что успокоить ее можно, лишь пойдя на столь обширные и опасные уступки капитализму, что не только Сталин, но даже Бухарин и Рыков на это не отважатся. Предотвратить угрозу может только радикально правая либо радикально левая политика, а все свидетельствует о том, что Сталин еще сильнее повернул влево.

Какой должна быть роль оппозиции в этих событиях? Оппозиция, отвечает Преображенский, действовала как сознательный интерпретатор исторической необходимости. Она продемонстрировала несравненное предвидение: ее идеи «отражаются в новой политике Сталина как в кривом зеркале». Нынешний кризис не стал бы таким глубоким, если бы партия следовала советам оппозиции. Оппозиция по-прежнему должна выступать за ускоренную индустриализацию и при этом еще более настойчиво призывать к пролетарской демократии. Однако, хотя оппозиция верно поняла потребности момента, ей не дано удовлетворить эти потребности на практике. Практические задачи взяли в свои руки Сталин и его приверженцы, став выразителями исторической необходимости, хотя не понимали этого и долго ей противились. Где-то в тот момент оппозиция сделала ложный шаг. Она преувеличи-

ла опасность справа и степень потворства Сталина кулаку, неверно оценив течения в рамках партии и их связь с социальными классами, что было серьезной ошибкой для марксиста. Поэтому оппозиции следует изменить свое отношение и пойти на сближение со сталинской фракцией.

Имея эту цель в виду, Преображенский предложил, чтобы оппозиция попросила официального разрешения провести свою конференцию, на которой были бы представлены все колонии ссыльных, чтобы обсудить новую ситуацию и свои задачи. Троцкий говорил о возможности и желательности союза между левыми и центром против правых, но не предлагал никаких практических мер для заключения такого союза, и Преображенского это не устраивало. Если нам нужен такой союз, утверждал он, следует стремиться к нему сейчас, когда сталинисты ведут борьбу с правыми; долг оппозиции — действовать, а не выжидать, когда события преподнесут ей такой союз на блюдечке, чего может и не случиться.

Троцкий остался глух к предложению Преображенского. Он утверждал, что, хотя коалиция левых и центра в теории желательна, оппозиция не в состоянии ее создать. Тюремщик и заключенный не могут быть союзниками. Он опасался, что Преображенский слишком благодушно относится к сталинскому левому курсу, но даже если не так, пропасть между сталинизмом и оппозицией никуда не исчезла. Гонения продолжаются. Партия по-прежнему лишена свободы, а режим в ней все ухудшается и ухудшается. Создана догма о непогрешимости Вождя, которая прилагается не только к прошлому, но и к настоящему. Фальсифицируется вся история партии, чтобы соответствовать требованиям этой догмы. При таких условиях оппозиция не может пойти навстречу правящей фракции. Было бы позором просить у гонителей разрешения на проведение конференции — одна лишь такая просьба пахнет капитуляцией.

В мае в колониях обсуждали предложение Преображенского, что стало первой проверкой реакции ссыльных на левый курс. Предложение было немедленно отвергнуто. Подавляющее большинство пошло за непримиримыми, скептически оценивая новый курс Сталина, в котором, как и прежде, видело защитника кулака и споспешника «термидорианцев», сохраняя уверенность в деле оппозиции и не желая никаких перемен в ее воззрениях.

Хотя предложение Преображенского не прошло, его идеи начали давать всходы в умах у многих. Вероятно, первым из вождей оппозиции под их влияние попал Радек. К тем, кто склонялся к умеренности, он примкнул совсем недавно. В течение 1927 года Радек призывал оппозицию более смело нападать на правящую группу, обращаться к заводским рабочим, не состоящим в партии, и решительно высказывать свои опасения, не удовлетворяясь «спасением лица» и высокими теориями. Его не отпугивала мысль о новой партии, и он выступал за включение в оппозицию децистов, которые именно это ставили своей целью. Будучи сослан, Радек все еще пребывал в воинственном настроении и презрительно отзывался об отречении Зиновьева и Пятакова, распространивших вокруг себя «отвратительный запах достоевщины». «Они отказались от собственных убеждений и лгали рабочему классу — ложью рабочему классу не поможешь». Еще в мае, когда Преображенский призывал к конференции, Радек явно был настроен против этой идеи — по крайней мере, он критиковал примиренческую позицию Преображенского.

Не прошло и месяца, как взгляды Радека совершенно переменились; он сам со всем своим мастерством, живостью и остроумием призывал к примирению и тем самым чрезвычайно усилил «умеренное» крыло, так как он и Преображенский после Троцкого и Раковского были самыми авторитетными из числа сосланных вождей. Впоследствии, как видно из обширной переписки Радека, его готовность противостоять сталинизму падала от недели к неделе, хотя прошел почти год, прежде чем он действительно капитулировал.

Было бы слишком просто приписывать эту перемену только непостоянству Радека или его малодушию. Он руководствовался очень разными мотивами. Несомненно, что Радек не обладал той «большевистской закалкой», которую другие приобрели в подполье, в царских тюрьмах и за долгие годы сибирской ссылки. Его работа в подполье была недолгой: вплоть до 1917 года участие Радека в политике сводилось в основном к легальным социалистическим движениям в Австро-Венгрии и Германии. По сути, Радек был западноевропейцем богемного склада, общительным, привыкшим вращаться в возбужденной атмосфере больших городов и приковывать к себе все взгляды. В течение более чем четверти века он покорял своими идеями и остротами самые известнейшие центральные

комитеты и редакции крупнейших газет. Десять лет он был одним из светочей большевистской партии и Коминтерна. Посреди суматохи политической жизни его не покидали уверенность и напор — даже в Моабитской тюрьме в Берлине в 1919 году Радек сохранял отвагу и активность, оставаясь в центре внимания. Но внезапно выброшенный в безлюдную, унылую, суровую глушь Северной Сибири, он пал духом. Его угнетало одиночество, он чувствовал себя изгнанным из самой жизни. Ощущение реальности ускользало от него. Не приснились ли ему все те годы, что он провел рядом с Лениным как достойный товарищ и советник, помогая руководить всемирным революционным движением?

Аналогичные чувства охватывали и куда более стойких людей. Например, вот что писал Радеку в Северную Сибирь из Южной Армении герой Гражданской войны Иван Смирнов:

«Дорогой Карлуша, тебя мучит то, что мы оказались вне партии. И для меня, и для всех остальных это вправду мучительно. Поначалу меня терзали кошмары. Случалось, я просыпался ночью и не мог поверить, что нахожусь в ссылке — я, работавший в партии с 1899 года, не прерываясь ни на день, в отличие от иных мерзавцев из «Общества старых большевиков», которые после 1906 года дезертировали из партии на целых десять лет».

Но не только эта проблема беспокоила Радека и его друзей. Их одолевали мысли о судьбе революции. Они привыкли считать себя истинными стражами завоеваний Октября и единственными хранителями марксизма-ленинизма, выхолощенного и фальсифицированного сталинистами и бухаринцами. Среди них распространилось мнение, что все, полезное для марксизма и революции, полезно также и для оппозиции, а поражения оппозиции — это поражения революции. Теперь же на их глазах оппозиция превратилась в крохотную группировку, практически секту, совершенно бессильную и отчужденную от великого государства и партии, с которой они себя отождествляли. Возможно ли, размышляли они, чтобы движение, поставившее перед собой столь высокую миссию, оказалось бы низведено к столь жалкому состоянию? Перед оппозиционерами вставала такая дилемма: если они действительно являлись единственными надежными и законными стражами Октября, то не означает ли их жестокое поражение неизбежную катастрофу для революции и утрату октябрьского наследия? Но если это не

так, если «завоевания Октября» более-менее уцелели, а Советский Союз, несмотря на все случившееся, по-прежнему остается пролетарским государством, то не заблуждается ли оппозиция и не виновна ли в высокомерии, считая себя единственным хранителем марксизма-ленинизма и не признавая за противниками каких-либо революционных добродетелей? Неужели несколько тысяч оппозиционеров — это все, что осталось от великого, потрясавшего мир большевистского движения? Неужели гора революции породила мышь? «Не могу поверить, — писал Радек Сосновскому, — что работа Ленина и революции оставили в России пять тысяч коммунистов, а все прочие кончень». И все же, если буквально принимать некоторые претензии оппозиции и полагать, что прочие большевистские фракции всего лишь мостили путь для контрреволюции, невозможно не прийти именно к такому выводу, который несовместим ни с реализмом, ни с марксистским чувством истории. Не могла же вся большевистская эпопея с ее героизмом, жертвами, надеждами, кровью и потом оказаться просто-напросто ничего не значащими шумом и яростью! Пока сталинисты и бухаринцы совместно защищали кулаков и нэпманов, претензии и обвинения со стороны оппозиции оставались обоснованными. Но левый курс, превратившийся в смертельную схватку сталинской фракции с частными собственниками, продемонстрировал, что труды Ленина и Октябрьской революции оставили не только горстку праведников, не «пять тысяч коммунистов», а гораздо больше. Вулкан революции не породил мышь и не потух после этого, он все еще изрыгал пламя.

Преображенский утверждал, что импульс к дальнейшему революционному и социалистическому преобразованию России давала «объективная сила» общественной собственности. Эта «объективная сила» проявлялась через людей — своих субъективных представителей. Сталинская фракция являлась выразителем исторической необходимости и, несмотря на путаницу, ошибки, а порой и преступления, оставалась хранителем октябрьского наследия и защитником социализма. Как обнаружил Радек, сталинисты оказались более достойными людьми, чем их считала оппозиция. Оппозиция могла и должна была признать это без какого-либо умаления для своей чести. В новом наступлении к социализму оппозиция играла роль авангарда, а сталинская фракция — арьергарда. Конфликт между ними обуславливался не интересами враждебных классов, а расколом внутри

одного класса, так как и авангард, и арьергард принадлежали к одному лагерю. Теперь же настало время преодолеть этот раскол. Многих оппозиционеров отталкивает идея о примирении сталинистов и троцкистов; но такая перегруппировка, заявляет Радек, не более нелепа, чем прежние рокировки во внутрипартийных союзах. «Было время, когда мы думали, что Сталин — хороший революционер, а Зиновьев безнадежен. Потом все изменилось, а теперь может измениться еще раз».

В этих призывах отчетливо слышна нотка отчаяния — но такого отчаяния, которое пыталось преодолеть себя, обратившись надеждой. Примиренческие настроения подпитывались растущим изоляционизмом большевистской России. Радек, Преображенский и многие другие ожидали великих и многообещающих перемен в судьбе коммунистического движения не за границей, а в Советском Союзе. И этим объясняются многие последующие события.

Последствия китайской революции давали о себе знать. В декабре 1927 года было подавлено коммунистическое восстание в Кантоне, которое являлось завершающим актом или даже эпилогом драмы 1925—1927 годов. Отголоски поражения отразились на всем большевистском образе мысли: интернационалистические традиции большевизма были еще сильнее подорваны, а «российский эгоцентризм» усилился. Более, чем когда-либо, идея о «социализме в одной стране» казалась единственным выходом и утешением. Однако на этот раз волна изоляционизма затронула и оппозицию, достигнув отдаленных колоний ссыльных и повлияв на настроения примиренцев. Как и поворот Сталина влево, это последнее поражение послужило для Преображенского и Радека еще одним поводом разочароваться в деятельности оппозиции. Они указывали, что оппозиция отчасти ошибалась в своей оценке внутрироссийского положения — не ошибалась ли она и в оценке международных перспектив? Троцкий заблуждался насчет «советского термидора» — так не ложна ли и его «теория перманентной революции»?

Всего лишь через несколько недель после высылки Троцкий и Преображенский уже вели переписку по поводу Кантонского восстания. Почти ничего не зная о его обстоятельствах и пытаясь сформулировать свою позицию на основе запоздалых и скудных сообщений «Правды», Троцкий возобновил обмен мнений, который начался еще в Москве. Как и многие старые

большевики, ушедшие в оппозицию, Преображенский не разделял идею о перманентной революции и следовавший из нее вывод о том, что китайская революция может победить только как пролетарская диктатура. Вслед за Зиновьевым и Каменевым он утверждал, что Китай не пойдет дальше буржуазной революции. Находясь в ссылке, Троцкий и Преображенский дискутировали о смысле Кантонского восстания в свете этих разногласий. В «Правде» сообщалось, что кантонские повстанцы создали Совет рабочих депутатов и приступили к национализации промышленности. Хотя восстание было подавлено, как писал Троцкий Преображенскому 2 марта, оно стало знаковым событием, предопределив течение следующей китайской революции, которая не остановится на буржуазном этапе, а приведет к созданию Советов и поставит перед собой социалистические задачи. Преображенский отвечал, что восстание было организовано Сталиным исключительно для того, чтобы спасти лицо после всех уступок гоминьдану, что оно являлось безрассудной авантюрой, и кантонский «Совет» с его «социалистическими» лозунгами, не став органическим итогом серьезного массового движения, не отражал внутреннюю логику подлинно революционного процесса. Конечно, Преображенский был знаком с фактами лучше Троцкого, который в данном случае делал выводы о характере следующей китайской революции, опираясь на сомнительные источники. Тем не менее его заключение оказалось правильным: революция 1948—1949 годов преодолела буржуазные рамки и в этом отношении стала «перманентной революцией», хотя ее течение и расстановка социальных классов оказались совершенно иными, чем предусматривали троцкистская и тем более марксистская и ленинская теории революции.

«Мы, старые большевики в оппозиции, должны отмежеваться от идеи Троцкого о перманентной революции», — заявил Преображенский. Сюрпризом для Троцкого стало не само это заявление, а его подчеркнутый тон. Троцкий привык слышать такие напоминания о своем небошевистском прошлом от своих противников, а впоследствии и от Зиновьева с Каменевым, но едва ли ожидал чего-то подобного от Преображенского, своего единомышленника с 1922 года. Он знал, что эти напоминания никогда не появлялись случайно. Еще больше его поразило, что с критикой перманентной революции выступил и Радек, сам не принадлежавший к числу старых большевиков

и доселе решительно поддерживавший эту теорию. Даже теперь Радек признавал, что Троцкий в 1906 году предсказал ход русской революции более верно, чем Ленин, но из этого, по его словам, вовсе не следовало, что механизм перманентной революции сработает и в других странах. В Китае, утверждал Радек, оказалась предпочтительной ленинская «демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», поскольку позволяла заполнить пробел между буржуазной и социалистической революциями.

С первого взгляда эта дискуссия не имела прямого отношения к текущим проблемам, и Троцкий втянулся в нее с неохотой. Он отвечал, что, судя по недавнему опыту Китая, любая современная революция, которая не завершилась социалистическим восстанием, обречена на поражение даже в качестве буржуазной революции. Как бы там ни было, тот факт, что два примиренца нападали на теорию перманентной революции, был еще более симптоматичным, поскольку Троцкий не пытался превратить свою теорию в оппозиционный канон. Уже не в первый раз разочарование, вызванное заграничными поражениями коммунизма, и изоляционистские наклонности вынуждали большевиков обрушиваться с критикой на теорию, само название которой бросало вызов изоляционизму. В результате всех догматических баталий вокруг теории перманентной революции после 1924 года эта теория в глазах партии стала символом троцкизма, главной ересью Троцкого и интеллектуальным источником всех его политических грехов. Для сторонников Сталина и Бухарина перманентная революция превратилась в пугало, в табу. Оппозиционер, мучимый сомнениями и задними мыслями и ищущий способ вернуться в партию — свой потерянный рай, — инстинктивно пытался смыть с себя все следы этого табу. Следует напомнить, что Троцкий в стремлении облегчить для Зиновьева и Каменева союз с ним заявил, что место его старым сочинениям о перманентной революции — в архиве, и он не будет отстаивать их ни по одному пункту, хотя сам убежден, что эта идея выдержала проверку временем. И все же ему не удалось упрятать свою теорию в архивах. Оттуда ее вытаскивали, чтобы дать бой Троцкому, не только его враги — союзники Троцкого снова и снова поступали точно так же, и всякий раз это служило верным признаком, что еще один из политических соратников или единомышленников готов от него отойти.

Вскоре начались разногласия по более злободневному и менее теоретическому вопросу. В Москве на лето 1928 года был назначен VI конгресс Коминтерна. По уставу оппозиция имела право подать ему жалобу на свое исключение из советской компартии и намеревалась это сделать, не имея никаких шансов, что ее обращение будет должным образом рассмотрено и вождям оппозиции позволят выступить перед конгрессом в свою защиту. «Конгресс сделает, вероятно, попытку накрыть нас самой тяжелой и самой авторитетной могильной плитой... — писал Троцкий. — К счастью... марксизм будет подниматься из бумажного гроба и в качестве неумного барабанщика бить тревогу». Он собирался обратиться к конгрессу с краткой и откровенной критикой коминтерновской политики и со сжатым объяснением целей оппозиции. Но результатом его работы стал объемистый трактат, сочинение которого заняло всю весну и лето. Предполагалось, что конгресс примет программу, проект которой, написанный в основном Бухариным и упирившийся на построение социализма в одной стране, был опубликован. Троцкий собирался подать свое заявление в виде критики новой программы, закончив свой труд в июне, а в июле предварив его послание к конгрессу под заглавием «Что же дальше?». В нем Троцкий подвел итог «пяти годам неудач Интернационала» и пяти годам работы оппозиции, «свободный от всяких следов умалчивания, двуличности и дипломатии» и четко обозначивший пропасть между оппозицией и противниками. Копии своего обращения Троцкий перед открытием конгресса разослал по колониям, попросив всех оппозиционеров поддержать свое заявление коллективными и индивидуальными посланиями в адрес конгресса.

Тем временем Радек и Преображенский готовили собственные заявления, более примирительные по тону и содержанию. Правда, Преображенский подвел сокрушительный итог коминтерновской политике последних лет и откровенно говорил о разногласиях, отделявших троцкистов всех оттенков от сталинизма и Коминтерна. Но в заключение Преображенский заявлял, что «многие из этих разногласий ликвидированы в результате поворота в политике Коминтерна», поскольку Коминтерн вслед за советской партией также повернул влево. Радек, выразив такое же мнение, немедленно отправил свое заявление в Москву. «Если история покажет, — пишет он, — что ряд вождей партии, с которыми вчера мы скрестили мечи, окажутся

лучше, чем взгляды, которые они защищают, никто не получит от этого большего удовлетворения, чем мы сами»¹.

Тот факт, что Троцкий и Радек обратились к конгрессу с различными и частично противоречащими друг друга заявлениями, мог лишь повредить оппозиции, демонстрируя, что в ней нет единства и оппозиция говорит разными голосами. Узнав о случившемся, Троцкий телеграфировал во все крупнейшие колонии оппозиционеров, требуя от ссыльных публично отмежеваться от Радека. Колонисты, кипя негодованием, порицали Радека и посылали в Москву соответствующие заявления. В конце концов Радек сам сообщил конгрессу, что отзывает свое послание и полностью согласен с Троцким. Он извинился перед своими товарищами за оплошность, утверждая, что все произошло из-за ненадежной связи с Троцким, чья «Критика Коминтерна» попала к нему слишком поздно. Троцкий принял извинения, и на какое-то время вопрос был улажен. Оппозиция, по словам Троцкого, «выровняла свой фронт». Однако намечавшийся раскол не был преодолен, а лишь кое-как замаскирован.

Сплотить ссыльных Троцкому помогло важное событие. В июле на пленуме ЦК бухаринская фракция по видимости стала брать верх над сталинской. Ключевой вопрос оставался прежним: хлебный кризис и угроза голода, нависшая над советскими городами. Чрезвычайные меры, принятые в начале года, не предотвратили угрозу, а ситуация усугубилась из-за частичной гибели озимых на Украине и Северном Кавказе. Крестьянство волновалось. Заготовки зерна составили лишь 50 процентов от дореволюционного уровня. Экспорт хлеба пришлось остановить. Силовых методов хватило для того, чтобы ожесточить крестьян, но запугать их не удалось. ЦК отмечал «недовольство среди... крестьянства, выразившееся в выступлениях протеста против административного произвола», и объявил, что случаи такого произвола «облегчили капиталистическим элементам в деревне использовать это недовольство против Советской власти... и дали повод для разговоров об отмене нэпа».

¹ Должно быть, Троцкий «психоаналитически» читал приведенный здесь абзац: он подчеркнул красным карандашом слово «вчера» во фразе Радека о вождях партии, «с которыми вчера мы скрестили мечи».

На пленуме ЦК после доклада Микояна бухаринская фракция призвала к отмене левого курса. Рыков потребовал прекратить антикулацкую политику; нарком финансов Фрумкин зашел еще дальше, попросив пересмотреть всю политику по отношению к крестьянству, сформулированную на XV съезде (когда Сталин позаимствовал ряд идей у троцкистов и зиновьевцев, чтобы запутать их), и вернуться к пробухаринской политике, одобренной предыдущим съездом. ЦК заявил, что будет придерживаться решений XV съезда, но отменил свои собственные чрезвычайные меры «против кулака», объявив, что отныне будет соблюдаться «законопорядок». Были запрещены обыски в амбарах и на фермах, остановлены реквизиции продовольствия и насильственные хлебные займы. Немаловажно и повышение цены зерна на 20 процентов, категорически запрещавшееся тремя месяцами ранее. С ретроспективной точки зрения это была последняя попытка ЦК умиротворить крестьянство перед переходом к политике подавления частного землевладения. Однако в тот момент создалось впечатление, что кулак побеждает, Сталин отказался от левого курса, а политику диктуют Бухарин с Рыковым.

Можно себе представить, как это воспринимали слыльные троцкисты. Они ощутили знакомую почву под ногами. Восстанавливался старый порядок вещей, в рамках которого они привыкли мыслить и полемизировать. Они видели, как вновь набирают силу «защитники кулака», видели, что сталинский «колеблющийся центр», как обычно, уступает. Приказав повысить цену на хлеб, ЦК ударил по промышленным рабочим, действуя в интересах богатых крестьян. И разумеется, это был не конец. Борьба продолжалась: правое крыло продолжит наступление, а сталинисты продолжают отступать. Опасность термидора, как никогда, приблизилась — «термидорианцы» были на коне. Троцкий придерживался аналогичных взглядов. «Речью Рыкова... — заявил он, — правые бросили перчатку Октябрьской революции... Надо поднять перчатку». Повышение цены на хлеб — это только начало неонэпа. Чтобы умиротворить кулака, правое крыло вскоре предпримет сознательную попытку подорвать государственную монополию на внешнюю торговлю. Троцкий считал Рыкова и Бухарина победителями: «Как Сталин в свое время спустил с цепи против Зиновьева всю зиновьевскую аргументацию против «троцкизма», так Рыков готовится теперь повторить ту же операцию против Сталина». Рыков

заявил на ЦК: «Главная задача троцкистов заключается в том, чтобы не дать этому правому крылу победить». Троцкий отвечал, что это действительно главная задача оппозиции.

Примиренцы из числа троцкистов в тот момент оказались в полной изоляции. «Где же сталинский левый курс? — торжественно спрашивали ссыльные у Радека и Преображенского. — Все закончилось пшиком, но вам и того хватило, чтобы выбросить за борт старые, проверенные идеи и взгляды и призвать нас к примирению со сталинистами!» Возвышение Сталина троцкисты снова считали всего лишь случайностью в ходе решительной борьбы с бухаринцами и еще более уверенно заявляли, что все большевики, сохранившие верность революции, вскоре начнут рассматривать вставшие перед страной проблемы в свете конфликта между правыми и левыми и перейдут на сторону левых. Явное поражение Сталина вознесло надежды троцкистов на недостижимую высоту. «Недалек тот день, когда требование возвращения Троцкого зазвучит на весь мир», — писал выдающийся троцкист Соновский.

В разгар этой политической суматохи семью Троцкого настигла трагедия. Обе его дочери — и Зина и Нина — страдали от чахотки. Здоровье Нины, младшей из двух сестер — ей было двадцать шесть — ухудшилось после ареста и ссылки ее мужа Невельсона. Вести об этом дошли до Троцкого весной, пока он был на рыбалке. Еще не зная, насколько серьезна болезнь Нины, тем не менее он провел следующие недели в беспокойстве и тревоге. Троцкий знал, что его дочери и их дети живут в полной нищете, не могут рассчитывать на помощь друзей, и Зина, сама измученная туберкулезом и лихорадкой, дни и ночи проводит у постели Нины. «Удручен, что не могу быть [с] Нинушкой, помочь ей, — телеграфировал он. — Сообщай ее состояние. Целую вас обеих. Папа». Он снова и снова осведомлялся о новостях, но не получал ответа, и тогда написал Раковскому с просьбой навести справки в Москве. Наконец он узнал, что Нина умерла 9 июня. Намного позже он получил от нее последнее письмо — цензура и почта задержали его больше чем на десять недель. Троцкому было мучительно думать, что дочь на смертном одре тщетно ждала его ответа. Отец оплакивал ее не только как дочь, но и как

«пылкого революционера и члена оппозиции», посвятив ее памяти «Критику программы Коминтерна», над которой работал в момент ее смерти.

В Алма-Ату еще прибывали послания с соболезнованиями от многих ссыльных, когда на Троцкого обрушился новый удар, причинивший много горя и страданий. После смерти Нины Зина собиралась переехать в Алма-Ату. Ее муж тоже был сослан, и она подорвала здоровье, ухаживая за сестрой. Зина откладывала свой отъезд с недели на неделю, пока в Алма-Ату не пришла весть, что она опасно больна и не может выехать. Ее болезнь была усугублена серьезным и продолжительным нервным расстройством; Зина так и не увиделась с отцом до его высылки из СССР.

Тем не менее пригородная дача стала свидетелем семейного воссоединения, когда сюда на каникулы приехал Сергей, а с ним жена и ребенок Лёвы. Они пробыли в Алма-Ате лишь несколько тревожных и горестных недель.

После правого поворота в официальной политике почти во всех оппозиционных центрах верх взяли крайние и непримиримые троцкисты. Основная масса ссыльных не хотела даже слышать о попытках преодолеть пропасть между ними и сталинистами. Однако у крайних непримиримых не имелось глашатая, сопоставимого своим авторитетом и способностями с Преображенским и Радеком. Их взгляды формулировали такие люди, как Сосновский, Дингельштедт, Эльцин и некоторые другие, выражавшие скорее настроения, чем определенные политические идеи.

Самым одаренным и красноречивым в этой группе был Сосновский; уверенно утверждая, что «требование возвращения Троцкого зазвучит на весь мир», он выражал горячую надежду многих товарищей. Сосновский был доверенным другом Троцкого и одним из самых талантливых большевистских журналистов, получившим широкую популярность далеко за пределами оппозиции. Но он не был ни политическим вождем, ни теоретиком, а выделялся как хроникер большевистской России и язвительный критик морали и нравов. Бунтарь по природе, питаемый острой ненавистью к неравенству и несправедливости, Сосновский с негодованием следил за расцветом привилегированной бюрократии в пролетарском государстве. Он энер-

гично разоблачал ее алчность, коррумпированность, снобизм и нескрываемые амбиции сравняться и породниться со старой бюрократией и аристократией. Сосновский ощущал лишь неприязнь к тем, кто хотя бы подумывал о примирении с правящей группой, и представлял в этом отношении диаметрально противоположность Радеку. Именно Сосновского имел в виду Радек, когда писал, что не может поверить, будто от всей партии Ленина осталась лишь горсточка праведных оппозиционеров — для Сосновского оппозиция в самом деле была единственным хранителем октябрьского наследия. Сосновского лучше всего характеризует письмо его старому товарищу Вардину, который вместе с Сафаровым вышел из оппозиции и «капитулировал». С безжалостным презрением Сосновский вспоминает старый еврейский похоронный обычай, согласно которому служка синагоги должен кричать в уши мертвеца перед тем, как его отнесут на кладбище: «Такой-то, сын такого-то, знай, что ты умер!» Он, Сосновский, ныне кричит это в ухо своего товарища и будет кричать в ухо всякого капитулянта. С недоверием он следил за эволюцией Радека, задумаваясь, не пора ли прокричать эти слова и ему¹.

Другими глашатаями от этого крыла оппозиции выступали более молодые и еще менее влиятельные люди. Дингельштедту шел четвертый десяток; это был многообещающий ученый, социолог и экономист, большевик с 1910 года, прославившийся как агитатор на Балтийском флоте в 1917 году. Эльцин же был одним из талантливых секретарей Троцкого. Сами они не были вполне уверены, не выказывает ли сам Троцкий признаков колебаний. Так, Дингельштедт писал ему, что «некоторых товарищей серьезно беспокоит» его мнение о том, что левый курс Сталина представляет собой «несомненный шаг в нашу сторону» и что оппозиция «безусловно должна его поддержать». Кроме того, они упрекали Троцкого за «потакание» Радеку и Преображенскому и не разделяли надежд Троцкого на перемены в партии и возрождение пролетарской демократии.

¹ Примерно в то же время Радек также написал Вардину, и его письмо представляет собой любопытную противоположность письму Сосновскому. Дело было в мае, когда Радек только начал склоняться к примиренческим настроениям. Он упрекает Вардина, но очень мягко и сочувственно, отнюдь не намереваясь обращаться с отступником как с «нравственным мертвецом».

Итак, одно крыло оппозиции составляли те, кто все более и более стремился примириться со своими гонителями, а представителей другого крыла было почти невозможно отличить от последователей децистов В. Смирнова и Сапронова и остатков «рабочей оппозиции». Как мы помним, эти «ультралеваяцкие» группы в 1926 году примкнули к единой оппозиции, но впоследствии вышли из нее или были исключены. В местах ссылок их сторонники встретились с троцкистами и вели с ними бесконечные споры. Идеи троцкистов они доводили до крайних выводов, порой логичных, порой абсурдных, а иногда абсурдных в своей полной логичности. Те являлись преувеличенным выражением всех тех чувств, которые волновали сердца троцкистов, пусть многие рассуждения Троцкого оставались для них непонятными. Поэтому время от времени они высказывали то, что Троцкий сперва с негодованием отвергал, но затем подбирал и говорил то же самое на последующем этапе. Они критиковали Троцкого за нерешительность и указывали, что рассчитывать на демократическую реформу в партии безнадежно (Троцкому понадобилось еще пять-шесть лет, чтобы прийти к такому же выводу). Партия под руководством Сталина превратилась в «разлагающийся труп», как писал В. Смирнов в 1928 году. Он и его сторонники утверждали, что Сталин — победоносный главарь «русского Термидора», который произошел еще в 1923 году, и подлинный вождь кулаков и вообще собственников. Смирновцы обличали сталинский режим как «буржуазную демократию» или «крестьянскую демократию», которую может свергнуть лишь новая пролетарская революция. «Ликвидация в 1923 году внутрипартийной бюрократии и пролетарской демократии в целом, — писал Смирнов, — оказалась всего лишь прологом к установлению крестьянско-кулацкой демократии». Сапронов — в 1928 году! — утверждал, что «в стране легально организуются буржуазные партии». Таким образом, они обвиняли Сталина в реставрации капитализма как раз в тот момент, когда тот собирался ликвидировать частное землевладение — основную питательную почву для капитализма в России, — и в поощрении буржуазного многопартийного режима, когда Сталин подводил однопартийную систему к своему логическому завершению и готовился к роли единовластного вождя. Несомненно, такие взгляды были донкихотством. Его элементы порой проявлялись и в Троцком, но сдерживались присущими ему чувством реализма и самодисциплиной. Что же

касается В. Смирнова, Сапронова и их сторонников, то они без всякого стеснения бросались в бой с мельницами сталинской «кулацкой демократии», и некоторые из младших и неразумных сторонников Троцкого испытывали искушение присоединиться к ним, особенно после того, как «ликвидация левого курса» в июле мгновенно придала этим мельницам подобие реального врага¹.

Среди всех этих встречных течений Троцкий делал все возможное, чтобы предотвратить распад оппозиции. Он рассматривал царившие в ней разногласия как конфликт между двумя поколениями оппозиционеров, столкновение «отцов и детей»: первые перегружены и утомлены знаниями и опытом, последние полны невинного пыла и энергии. Сам он чувствовал себя заодно с обоими, понимал обоих и опасался за обоих. Его угнетали предчувствия по поводу Радека и Преображенского, он улавливал в их настроении и рассуждениях побуждения, ведущие к капитуляции. Но Троцкий боялся оттолкнуть их, истолковывал сомнения в их пользу и защищал от оскорблений со стороны сверхрешностных троцкистов. Терпеливо, но уверенно Троцкий вел с обеими спор: допуская, что в их высказываниях по поводу левого курса и идущих в стране перемен содержится зерно истины, он умолял не спешить с выводами и не преувеличивать шансы на какое-либо серьезное примирение со сталинизмом. В то же время Троцкий пытался обуздать и экстремистов из другого крыла, утверждая, что они видят перспективы оппозиции в слишком розовом свете и их ждет разочарование: не следует воображать, будто недавняя попытка умиротворить кулаков представляет собой «последнее слово Сталина», за которым последует лишь неизбежный крах сталинского режима. Сам Троцкий считал положение гораздо более сложным: невозможно предсказать заранее, чем все кончится. В любом случае, несмотря на слова Троцкого о том, что «мы по-прежнему нужны партии», он, в отличие от Сосновского, был далеко не так уверен в том, что вскоре «требование возвращения Троцкого зазвучит на весь мир».

Троцкий старался сохранить единство оппозиции на основе «непрерывной и бескомпромиссной борьбы за внутрипар-

¹ Троцкий называл взгляды В. Смирнова и Сапронова безумной крайностью антисталинизма, но выступал за сотрудничество с более умеренными децистами, такими как Рафаил, В. Косиор, Дробнис и Богуславский.

тийную свободу». То, что он твердо отвергал «иллюзии по поводу сближения со сталинизмом», располагало в его пользу молодых «непримиримых», в то время как акцент на внутрипартийную реформу привлекал к нему «примиренцев». Троцкий не признавал «совершенно негативного и стерильного» децистского отношения к партии и старался побороть ностальгическую тоску по партии, нарастающее чувство изоляции и ощущение собственной бесполезности, которое начинало одолевать старших оппозиционеров. Он пытался вновь вдохнуть в них чувство миссии — убеждение, что даже в ссылке они говорят от имени немого пролетариата, что их слова имеют значение и рано или поздно дойдут до рабочего класса и партии. Это убеждение, добавлял Троцкий, не должно наполнять оппозицию самоуверенностью и высокомерием: при том, что лишь она последовательно выступает за марксистско-ленинскую традицию, не следует недооценивать врагов, и вообще не стоит полагать, что от партии Ленина осталось лишь несколько тысяч оппозиционеров. Оппозиция права, разоблачая «бюрократическое перерождение» партии, но даже в этом необходимо чувство меры, потому что «бывают разные степени перерождения», и в партии до сих пор остается много неиспорченных и здоровых элементов. «Сталин обязан своим положением не только террору партаппарата, но и доверию или полудоверию части рабочих-большевиков». Оппозиция не должна терять контакт с этими рабочими — она должна взывать к ним.

Тщательно продуманное посредничество Троцкого не всегда встречало хороший прием. Ультрарадикалы придирались к снисходительности Троцкого в адрес примиренцев, в то время как Преображенский и Радек упрекали его в поддержке «децистских настроений» тех троцкистов, которые вели себя так, словно оппозиция — новая партия, а не фракция в составе старой. Отчуждение между обеими группами постоянно росло. Но пока Троцкий оставался в Алма-Ате, сохраняя влияние на оппозиционеров, и пока сталинская политика, будучи приостановлена, не обостряла встающих перед оппозицией дилемм, Троцкому удавалось удержать своих сторонников в известных рамках и не допускать развала оппозиции.

В этих затруднительных обстоятельствах серьезнейшую моральную поддержку ему оказал Раковский. Их старая и тесная дружба достигла новых глубин преданности, близости и интеллектуального согласия. Раковский, при большевиках сделавший

выдающуюся карьеру как глава советского правительства Украины и дипломат, теперь работал в Астрахани, куда был сослан, получив место мелкого чиновника в местном Госплане. Его переписка с Троцким и рассказы очевидцев служат впечатляющим свидетельством стоического спокойствия, с которым он встретил свою участь, а также интенсивности и размаха его интеллектуальных трудов в ссылке¹. В «котомке странника» Раковский привез в Астрахань труды Сен-Симона и Анфантена, множества французских историков революции, Маркса и Энгельса, романы Диккенса и русскую классику. В первые недели ссылки его излюбленным чтением был Сервантес. «В этой ситуации, — пишет он Троцкому, — я возвращаюсь к «Дон-Кихоту» и получаю огромное удовольствие». Тоскуя по родной Добрудже, Раковский перечитывал Овидия. Занимаясь экономическим планированием в Астраханской области, он прилежно изучал «геологические профили» каспийских степей, а описывая свою работу Троцкому, пересыпал свои замечания ссылками на Данте и Аристотеля. Но в первую очередь он жадно изучал историю французской революции² и писал «Жизнь Сен-Симона». Раковский сообщал Троцкому о том, как движется работа, и цитировал предсказания Сен-Симона о России и США как о двух будущих гигантах-антагонистах (это менее известные, но более оригинальные предсказания, чем те, какие впоследствии делал Токвиль). Досадуя на память и воображение, ослабевшие с годами — в момент депортации ему было пятьдесят пять лет, — Раковский тем не менее работал «с колоссальным пылом — avec ardeur!». Нотка отцовской нежности слышится в его совете Троцкому не тратить энергию и талант лишь на текущие дела: «Крайне важно, чтобы вы тоже выбрали большую тему, что-нибудь вроде моего Сен-Симона, которая позволит вам бросить свежий взгляд на многие вопросы и перечитать многие вещи с определенной точки зрения».

¹ Луис Фишер, навестивший Раковского в Астрахани, рассказывает, что однажды местные власти наняли того в качестве переводчика для группы американских туристов. Обносившемуся и изможденному Раковскому американцы попытались дать чаевые, но Раковский, печально улыбнувшись, вежливым жестом отказался.

² В качестве посла в Париже Раковский всячески старался облегчить для советских историков доступ к архивам французской революции и сам проявлял к ним большой интерес. Среди его излюбленных книг, увезенных в ссылку, была «Политическая история Французской революции» Олара с дарственной надписью от автора.

Раковский доставал для Троцкого книги и журналы, которые невозможно было найти в Алма-Ате. Он поддерживал связь с детьми Троцкого в Москве и делил вместе с его семьей все горести. В политическом плане Раковский поддерживал Троцкого и против примиренцев, и против ультрарадикалов; Троцкий ни к одному из вождей оппозиции не питал такой тесной привязанности, как к Христиану Георгиевичу¹.

Раковский во многих отношениях обладал совершенно иным политическим темпераментом, чем Троцкий. Разумеется, ему не хватало силы мысли, страстности, выразительности, а также ураганной энергии Троцкого. Но ему был присущ очень ясный и пронизательный ум, а возможно, он превосходил Троцкого и способностями к отвлеченной философии. Несмотря на всю свою преданность оппозиции, Раковский не был ее энергичным сторонником, по крайней мере, в том смысле, что его взгляды оказывались шире конкретных задач и тактических приемов оппозиции. Убеденный в правоте оппозиционного дела и в его конечной победе, Раковский был куда менее уверен в шансах оппозиции на политический успех. Отступив в сторону, он созерцал грандиозную панораму революции и ясно улавливал присущий ей трагический мотив, затрагивающий все враждующие фракции. Этим мотивом был «неизбежный распад революционной партии после ее победы».

Эту идею Раковский развивал в «Письме к Валентинову»² — эссе, которое вызвало шумиху в колониях троцкистов летом 1928 года. Чем объяснить, спрашивает Раковский, чудовищную злобу и нравственную порочность, проявившиеся в большевистской партии — партии, состоявшей из честных, преданных и храбрых революционеров? Дело не только в правящей группе или бюрократии. Глубинной причиной является «апатия масс и безразличие победоносного рабочего класса после революции». Троцкий указывал на отсталость России, на малочисленность рабочего класса, на изоляцию и на капиталистическое окружение как на факторы, вызвавшие «бюрократическое разложение» государства и партии. Раковскому все эти факторы представлялись существенными, но недостаточными. Он утверждал, что даже в самой развитой и полностью индустриализо-

¹ «Христиану Георгиевичу Раковскому, борцу, человеку, другу», Троцкий посвятил свою «Литературу и революцию».

² В а л е н т и н о в — главный редактор «Труда», сосланный как троцкист.

ванной стране, даже в стране, состоящей почти из одних рабочих и окруженной лишь социалистическими государствами, массы после революции могут поддаться апатии, отказаться от права самим определять свою жизнь и позволить деспотической бюрократии узурпировать власть. Такая опасность, по его словам, присуща любой победившей революции, представляя собой «профессиональный риск» властителей.

Революция и гражданская война, как правило, сопровождаются социальным размыванием революционного класса. Французское «третье сословие» распалось после того, как восторжествовало над «старым режимом». Единство «третьего сословия» разрушили классовые антагонизмы в его среде, конфликты между буржуазией и плебеями. Но даже социально однородные группы раскалываются вследствие «функциональной специализации» их членов — одни из них становятся новыми правителями, а другие остаются среди подданных. «Функция приспособливает свой орган к своим нуждам и изменяет его». Вследствие распада «третьего сословия» социальная база революции сузилась и круг власть имущих постоянно сокращался. На смену выборам пришли назначения. Этот процесс далеко зашел еще до термидорианского переворота; Робеспьер способствовал ему и сам пал его жертвой. Сперва доверить судьбу революции народному голосованию якобинцам не позволило озлобление голодающего и обнищавшего народа; затем самовластное и террористическое правление якобинцев привило народу политическое безразличие, и тот позволил термидорианцам расправиться с Робеспьером и с якобинской партией. В России аналогичные изменения в «анатомии и физиологии» рабочего класса привели к таким же результатам: отмене избирательной системы, концентрации власти в немногих руках и замене представительных органов иерархией назначенцев. В большевистской партии произошел раскол между правителями и подчиненными; она распалась и настолько сильно изменила свой характер, что «большевик 1917 г. едва ли узнал бы себя в большевике 1928 г.».

Глубокая и поразительная апатия по-прежнему парализует рабочий класс. В отличие от Троцкого, Раковский не думал, что Сталин повернул на левый курс под нажимом рабочих: это была бюрократическая операция, проводившаяся исключительно по приказу верхов. Рядовые партийцы, лишённые инициативы, тем не менее горели желанием отстаивать свои свободы. Раков-

ский цитирует одно из изречений Бабефа 1794 года: «Обучить народ любви к свободе гораздо сложнее, чем завоевать свободу». Бабеф провозгласил боевой клич «Свобода и выборная коммуна», но он остался не услышанным. Французы «разучились» любить свободу. Потребовалось еще 37 лет, с 1793-го по 1830-й, прежде чем они вернули себе это умение, стряхнули с себя апатию и поднялись на новую революцию. Раковский не спешит задавать напрашивающийся вопрос: сколько времени потребуется российским массам, чтобы очнуться от спячки и вернуть себе политическую энергию? Но его аргументация подразумевает, что политическое возрождение может случиться в России лишь в относительно отдаленном будущем, после того как в обществе произойдут крупные изменения, рабочий класс вырастет, разовьется, восстановит единство и оправится от многих потрясений и разочарований. Раковский сознается, что никогда не ожидал скорых политических триумфов оппозиции, и делает вывод, что оппозиция должна направить свои усилия главным образом на долговременное политическое образование рабочего класса. В этом отношении, говорит он, оппозиция сделала или пыталась сделать очень мало, хотя и больше, чем правящая группа; кроме того, она должна иметь в виду, что «политическое обучение очень медленно приносит плоды».

Отсюда следовал невысказанный вывод, что оппозиции едва ли удастся повлиять на ход событий при своей жизни, однако она может быть уверена в конечном — хотя, может быть, посмертном — торжестве своего дела. Раковский выявляет ключевую проблему оппозиции: ее положение между деморализованной, коварной и тиранической бюрократией с одной стороны и безнадежно апатичным и пассивным рабочим классом с другой. «Думаю, — подчеркивает Раковский, — что было бы крайне нереалистично ждать от бюрократии каких-либо внутрипартийных реформ». Однако он не ждет и какого-либо возрождения в массах в течение многих-многих лет. Соответственно бюрократия, такая, как есть, останется, возможно на десятилетия, единственной силой, способной на инициативу и работу по формированию советского общества (хотя Раковский и не говорит этого). Оппозиция в силу своих принципов обречена на неизменную враждебность по отношению к бюрократии, но лишена возможности настроить против бюрократии массы. Поэтому она не будет играть никакой практической роли в эволюции партии и государства; она заранее устранена

из великого исторического процесса, который вскоре преобразует советское общество. Оппозиция может надеяться только на будущую работу главным образом в области идей.

Подобное заключение, косвенно следующее из «Письма к Валентинову», могло бы в известных обстоятельствах удовлетворить мелкий кружок теоретиков и идеологов, но оно звучит как смертный приговор любому политическому движению. Раковский рассматривает ход революции и перспективы оппозиции со спокойной, глубокой пронизательностью и стоическим хладнокровием. Подобного хладнокровия и отрешенности нельзя было ожидать от нескольких тысяч оппозиционеров, прочитавших «Письмо к Валентинову». Эти рабочие и интеллигенты были революционерами-практиками и борцами, страстно заинтересованными в немедленных результатах своей борьбы и в сдвигах, потрясающих и формирующих страну. Они вступили в оппозицию как в политическое движение, а не в кружок философов и идеологов, и стремились к тому, чтобы она восторжествовала как политическое движение. Даже самые героические и самоотверженные бунтари и революционеры, как правило, ведут борьбу за цели, которые в той или иной степени считают доступными для своего поколения — лишь немногие, совершенно исключительные люди, мыслители, могут сражаться ради награды, которую история вручит им посмертно.

Основная масса оппозиционеров стремилась к укреплению социалистического сектора советской экономики, к дальнейшей индустриализации, к оживлению духа интернационализма и к восстановлению внутривластной свободы. Они не могли заставить себя поверить в то, что эти цели недостижимы. Оппозиционеры уже поняли, что своими силами они ничего не добьются и нужно обращаться за помощью либо к массам, либо к бюрократии. Они были не в силах примириться с мыслью, что и то и другое бесполезно. Чтобы существовать политически, им следовало верить либо в то, что массы рано или поздно восстанут против бюрократии, либо что бюрократия по собственным соображениям проведет многие из реформ, за которые выступала оппозиция. Радикальные троцкисты оглядывались на массы, примиренцы — на правящую группу или какую-то ее часть. И те и другие надежды были иллюзорны, но в разной степени. В стране не наблюдалось никаких признаков спонтанного массового движения в поддержку целей оппозиции. Но среди бю-

рокрации явно шло брожение; она не имела единства по поводу таких вопросов, как индустриализация или крестьянская политика. Примиренцы полагали, что по этим вопросам сталинская фракция все-таки сблизилась с оппозицией, и вследствие этого надеялись, что она может пойти навстречу оппозиции и в других отношениях. Тот факт, что бюрократия была единственной силой, проявлявшей эффективную социальную инициативу, порождал надежду даже на восстановление бюрократией внутрипартийной свободы. О мрачной альтернативе — что внутрипартийная свобода и пролетарская демократия в целом надолго останутся пустыми мечтами — не хотелось даже задумываться.

Взгляды Раковского произвели сильное впечатление на Троцкого, который стал распространять их в кругах оппозиции; но, похоже, упустил ряд глубоких и относительно пессимистичных выводов. Отвлеченный мыслитель и активный политический лидер схлестнулись в Троцком. Мыслитель соглашался с анализом, из которого следовало, что оппозиция как политическое движение фактически обречена. Лидер даже не рассматривал такой вывод, не говоря уж о том, чтобы смириться с ним. Теоретик мог признать, что Россия, как и Франция в свое время, «разучилась любить свободу» и не научится этому снова ранее следующего поколения. «Человек действия» должен был изгнать такую перспективу из своих мыслей и поставить перед своими сторонниками практическую цель. Мыслитель мог опережать свое время и рассчитывать на благоприятный вердикт потомков. Вождю оппозиции следовало вернуться в свое время, жить в нем и вместе со своими последователями верить, что они должны сыграть великую и конструктивную роль. И как мыслитель, и как политический лидер Троцкий не желал рассматривать свою страну в изоляции от всего мира. Он оставался в убеждении, что самые серьезные проблемы большевизма порождались его изоляцией и распространение революции на другие страны помогло бы народам Советского Союза вновь научиться свободе намного раньше, чем при ином исходе.

* * *

В конце лета 1928 года до Алма-Аты дошли ошеломляющие вести, исходящие из подпольных троцкистских кругов в Москве. Все признаки говорили о том, что Сталин готов вернуться

на левый курс и между сталинской и бухаринской фракциями произошел полный и окончательный разрыв. Более того, в сообщениях из Москвы утверждалось, что и бухаринцы и сталинисты подумывают о союзе с левой оппозицией, что и те и другие уже ищут поддержки у троцкистов и зиновьевцев. Казалось, дело идет к тому, что вскоре в самом деле прозвучит призыв к возвращению Троцкого.

Московские троцкисты поддерживали весьма тесные контакты с Каменевым, который сообщил им о своих переговорах с Сокольниковым на июльском пленуме ЦК. Сокольников, по-прежнему входивший в ЦК и представлявший собой полубухаринца, полузиновьевца, судя по всему, питал надежду создать коалицию правых и левых против сталинского центра, а сам действовал как посредник. Он рассказал Каменеву, будто бы Сталин хвастался на ЦК, что в борьбе с бухаринцами троцкисты и зиновьевцы вскоре встанут на его сторону, что все они уже «у него в кармане». Бухарин пребывал в растерянности. Через Сокольникова он умолял левую оппозицию не оказывать поддержку Сталину и даже предлагал совместные действия против него. Однако июльский пленум ЦК закончился видимым успехом Бухарина или, вернее, компромиссом между ним и Сталиным. Но вскоре после этого они снова сцепились; Бухарин тайне встретился с Каменевым в присутствии Сокольникова. Бухарин сказал Каменеву, что и он, и Сталин вскоре будут вынуждены обратиться к левой оппозиции с целью заключить союз. Бухаринцы и сталинисты по-прежнему опасались звать бывших врагов на помощь, но и те и другие знали, что такой шаг станет неизбежен через пару месяцев. В любом случае, по словам Бухарина, исключенные и сосланные оппозиционеры вскоре будут несомненно возвращены в Москву и восстановлены в партии¹.

Каменев написал подробный отчет о своей встрече с Бухариным для Зиновьева, который все еще пребывал в полуссылке в Воронеже; этот отчет позволяет нам реконструировать всю сцену с ее странным колоритом и атмосферой. Бухарин, уеди-

¹ Отчет о переговорах Сокольникова с Каменевым датируется 11 июля 1928 г.; описание встречи Бухарина с Каменевым подписано 11 августа. Следующий отчет о встрече Каменева с троцкистами был составлен 22 сентября. Запись переговоров Каменева с Бухариным подпольно распространялась среди московских троцкистов несколько месяцев спустя, в момент депортации Троцкого из Союза.

нившийся с Каменевым и Сокольниковым, был совсем не тем человеком, чем тот, кто всего лишь семью месяцами раньше помогал разгромить оппозицию на XV съезде. Сейчас в нем не осталось ни следа того самоуверенного и хвастливого Бухарина, который высмеивал Каменева за «опору на Троцкого» и кого Сталин хвалил, что тот «не говорит, а режет». Домой к Каменеву он пришел тайком — испуганный, бледный, дрожащий, оглядываясь через плечо и разговаривая шепотом. Бухарин начал с того, что умолял Каменева никому не рассказывать об их встрече и не упоминать о ней в бумагах и по телефону, потому что за ними обоими следит ГПУ. Этот сломленный духом человек пытался «опереться» на своего бывшего противника, тоже морально искалеченного. Понять его неразборчивые панические речи было непросто. Не произнося имени Сталина, Бухарин навязчиво повторял: «Он убьет нас, он — новый Чингисхан, он нас задушит». На Каменева Бухарин произвел «впечатление обреченного человека».

Бухарин подтвердил, что кризис в руководстве был вызван конфликтом между правительством и крестьянством. В первой половине года, по его словам, ГПУ подавило по всей стране 150 спорадических крестьянских восстаний — в такое отчаяние чрезвычайные меры Сталина привели мужиков. В июле ЦК был столь встревожен, что Сталину пришлось изобразить отступление: он временно отменил чрезвычайные меры, но лишь для того, чтобы ослабить бухаринцев и лучше подготовиться к новой атаке. После этого Сталину удалось перетянуть на свою сторону Ворошилова и Калинина, которые симпатизировали бухаринцам, после чего он получил большинство в Политбюро. Как рассказывал Бухарин, Сталин был готов к окончательному наступлению на частное крестьянское хозяйство. Он проникся идеями Преображенского и утверждал, что первоначальное социалистическое накопление в России можно осуществить лишь путем «эксплуатации» крестьянства, поскольку, в отличие от капитализма, страна не может развиваться за счет эксплуатации колоний и с помощью иностранных займов. Из этого Сталин делал вывод («невежественный и идиотский», как выразился Бухарин), что чем дальше развивается социализм, тем сильнее становится народное сопротивление, с которым может справиться лишь «твердое руководство». «Это означает полицейское государство, — утверждал Бухарин, — но Сталин не остановится ни перед чем; его политика ведет нас к

гражданской войне, он будет вынужден топить восстания в крови»; кроме того, Сталин «обличает нас как защитников кулака». Партия стоит на краю пропасти: для победы Сталину придется подавить малейшие проявления свободы. И опять: «Он убьет нас, он нас задушит». «Корень зла в том, что партия и государство полностью слились».

В такой ситуации Бухарин решился воззвать к левой оппозиции. Старые конфликты, по его мнению, в основном потеряли свое значение. «Наши разногласия со Сталиным, — говорил он Каменеву, — намного, намного серьезнее, чем наши с вами». Сейчас на карте стояли не нормальные расхождения по вопросам политики, а сохранение партии и государства и самосохранение всех противников Сталина. Хотя левая оппозиция выступала за антикулацкие меры, Бухарин знал, что она не будет прибегать к безрассудным и кровавым сталинским методам. В любом случае, для Сталина значение имеют не идеи: «Он — беспринципный интриган, подчинивший все соображения жажде власти... Он знает только месть и удар ножом в спину». Поэтому оппоненты Сталина не должны допустить, чтобы старые идейные разногласия помешали им объединиться для самообороны.

Стараясь подбодрить своих возможных партнеров, Бухарин перечислил организации и влиятельных лиц, которых считал готовыми к борьбе со Сталиным. По его словам, ненависть рабочих к Сталину известна всем; Томский, напившись, шептал Сталину на ухо: «Скоро наши рабочие будут в тебя стрелять». Члены партячек питали такое отвращение к сталинской беспринципности, что, когда был объявлен левый курс, спрашивали: «Почему Рыков по-прежнему возглавляет Совнарком, а Троцкий сидит в алма-атинской ссылке?» Психологические условия для смещения Сталина еще не созрели; но Бухарин утверждал, что они зреют. Правда, Сталин заручился поддержкой Ворошилова и Калинина; Орджоникидзе, возненавидевший Сталина, — слабак; но Андреев, ленинградские вожди — и Киров в их числе? — а также Ягода и Трилиссер, два заместителя главы ГПУ, и многие другие готовы выступить против Сталина. Заявляя, что два фактических руководителя ГПУ стоят на его стороне, Бухарин тем не менее отзывался об этой организации с ужасом, и перечисление сил, которые можно выставить на борьбу со Сталиным, звучало для его собеседника не слишком убедительно.

Несколько недель спустя московские троцкисты сообщали в Алма-Ату об очередной своей встрече с Каменевым. «Сталин готов на уступки левой оппозиции». Каменев был так уверен в этом, что уже советовал Зиновьеву не скомпрометировать их позицию, с чрезмерной поспешностью отзываясь на сталинские посулы. Он утверждал, что развязка близится, и «вместе с Троцким» полагал, что сталинская политика вызывает противодействие не только кулаков, но и всего крестьянства, что напряжение достигло взрывоопасной точки. Поэтому перемены в партийном руководстве неизбежны: «они произойдут еще до конца года». Однако Каменев призывал Троцкого сделать шаг, который бы облегчил ему возвращение в партию: «Лев Давидович должен выступить с заявлением и сказать: «Позовите нас, и будем работать вместе». К несчастью, Лев Давидович — человек упрямый. Он не пойдет на это и скорее останется в Алма-Ате до тех пор, пока за ним не пришлют особый поезд. Но к тому времени, как за ним соберутся прислать поезд, ситуация выйдет из-под контроля, и Керенский будет стоять ante portas»¹.

Однако Сталин не торопился идти навстречу оппозиционерам, вопреки предсказаниям Каменева. Вместо этого он забрасывал множество смутных намеков на возможное примирение и принимал меры к тому, чтобы эти намеки дошли до Троцкого кружным путем. Так, он сказал одному азиатскому коммунисту, что признает — в отличие от децистов, Троцкий и его сторонники даже в ссылке остаются «на почве большевистской идеологии», и что он, Сталин, думает только о том, как бы вернуть их при первой возможности. Приближенные Сталина, особенно Орджоникидзе, открыто и свободно говорили о восстановлении Троцкого в партии, а на VI конгрессе Коминтерна зарубежным делегациям по секрету предлагали готовиться к возможному и даже вероятному союзу Сталина с Троцким.

Ощущение кризиса перешло из советской компартии и в Коминтерн. Несмотря на показное единодушие и официальный энтузиазм, VI конгресс был разочарован совместной деятельностью Сталина и Бухарина во главе Интернационала. Среди де-

¹ У ворот (*лат.*). Каменев возмущался нападками Троцкого на капитулантов; тем не менее он и Зиновьев заступались перед Бухариным и Молотовым за Троцкого, протестуя против условий ссылки, пагубным образом влияющих на его здоровье.

легатов конгресса ходила написанная Троцким «Критика» новой программы Коминтерна в подцензурной версии, и, по словам корреспондентов Троцкого, она произвела впечатление¹. Даже те вожди зарубежных компартий, которые имели репутацию ревностных сталинистов, в кулуарах с неприязнью отзывались о догмах и ритуалах, навязанных Сталиным коммунистическому движению. Как сообщалось, Тольятти-Эрколи жаловался на отрыв работы конгресса от реальности, на «скучные и тоскливые изъявления преданности», на высокомерие русских вождей. «Можно повеситься от отчаяния, — якобы сказал он. — Трагедия в том, что невозможно говорить истину по самым важным текущим вопросам. Мы не осмеливаемся открыть рот». «Критика» Троцкого показалась Тольятти «исключительно интересной... это очень разумный анализ теории о социализме в одной стране». Торез, руководитель Французской компартии, называл среди преобладающих настроений конгресса «беспокойство, недовольство и скептицизм»; он также весьма одобрял критику Троцкого в адрес «социализма в одной стране». «Как так случилось, — спрашивал он, — что нас заставили проглотить эту теорию?» Даже если советская компартия была вынуждена бороться с троцкизмом, она не должна была принимать сталинских догм. Деградация Коминтерна, по мнению Тореза, была «почти невыносимой». Скрыть от конгресса конфликт между Сталиным и Бухариным оказалось невозможно, и именно в этой связи проверенных иностранных делегатов предупреждали, что в случае явного разрыва с Бухариным Сталин может посчитать желательным или необходимым союз с Троцким.

Аналогичные сведения приходили со многих сторон в Алмату в августе и сентябре. Сам Сталин, несомненно, по-прежнему потакал слухам о том, что выступает за неминуемое возвращение Троцкого. Отчасти это было обманом и военной хитростью. Намекая на готовность заключить мир с Троцким, Сталин пытался запугать Бухарина и Рыкова, запутать троцкистов, а примиренцев из их числа еще сильнее склонить к заключению мира. Однако Сталин не просто блефовал. Он еще не был вполне уверен в исходе схватки с Бухариным, Рыковым и Томским и в своей способности одновременно в условиях на-

¹ Именно эту версию «Критики» американские коммунисты в 1928 г. привезли из России и издали в США.

ционального кризиса справиться с обеими оппозициями, левой и правой. Сталин без устали трудился над тем, чтобы поставить обе оппозиции на колени, но пока не преуспел в этом, приходилось иметь в виду возможность соглашения с одной из них. Его позиция уже была настолько сильнее бухаринской, что он не испытывал необходимости делать явные авансы, но бросал пробные шары и наблюдал за тем, как отреагируют Троцкий и его соратники.

Троцкий был вполне готов к некоторым из этих событий, но другие заставляли его врасплох. Столь опасный рецидив конфликта между городом и деревней, разрыв Сталина с Бухариным, тот факт, что взоры ряда его противников и капитулянтов снова обратились на него самого, — все это соответствовало ожиданиям Троцкого. Он по-прежнему был склонен полагать, что сталинская фракция не сумеет выпутаться из затруднений и будет вынуждена позвать себе на выручку левую оппозицию. Троцкий неоднократно заявлял самым торжественным и формальным образом, что в такой ситуации оппозиция «исполнил свой долг» и не откажется от сотрудничества. Сейчас он повторил эту клятву, но добавил, что отвергает любое «аппаратно-бюрократическое штукарство»: он не готов к закулисным сделкам ради возвращения в Политбюро и не удовлетворится такой долей контроля за партаппаратом, какую может предложить ему Сталин в самом крайнем случае. Он и его сторонники, заявлял Троцкий, вернуться в партию только на условиях пролетарской демократии, получив полную свободу выражения и критики и с требованием, чтобы партийное руководство избиралось рядовыми партийцами на тайном голосовании, вместо того чтобы назначаться в ходе обычных межфракционных сделок.

Сталин находился в затруднительной ситуации, но все же не в такой отчаянной, чтобы принимать условия Троцкого. Однако Троцкий ожидал, что положение будет ухудшаться и что большая часть сталинской фракции, со своим вождем или без него, окажется вынуждена заключить соглашение на его условиях. Исходя как из принципа, так и из личных интересов, Троцкий не желал рассматривать другие условия — по своему опыту он знал, что нельзя полагаться на милость «аппарата».

Но по ходу дела Троцкий столкнулся с неожиданным поворотом событий. Уже долгие годы он без устали говорил об

«опасности справа» и предупреждал партию об угрозе со стороны «защитников кулака» и «термидорианцев». Троцкий был готов к «единому фронту» со Сталиным против Бухарина. Но именно Бухарин призывал левую оппозицию объединиться против Сталина, их общего врага и угнетателя. Когда Бухарин в ужасе шептал: «Он задушит нас и убьет», Троцкий не мог отмахнуться от этих слов, приняв их за плод воображения одуряченного и паникующего человека — он сам неоднократно повторял, что «могильщик революции» готовит партии кровавую баню. Правда, Бухарин воззвал к оппозиции слишком поздно, после того, как сам помог Сталину разгромить ее и уничтожить внутривластную свободу. Но так себя вел уже не первый из противников Сталина. Точно так же поступили Зиновьев и Каменев, однако это не помешало Троцкому объединить с ними усилия. Должен ли он был отказываться от протянутой руки Бухарина? Если Сталин позаимствовал из книги Троцкого один лист — левый курс, то Бухарин стащил другой: он взывал к левой оппозиции от имени пролетарской демократии. Троцкий оказался в тупике: он не мог остаться глухим к обращению Бухарина, не отказываясь от одного из собственных принципов, но и не мог ответить, не нарушив, по видимости или всерьез, другого своего принципа, согласно которому следовало поддерживать «левый курс».

В поисках выхода Троцкий стал более сдержанно относиться к левому курсу Сталина и уже не так подчеркнуто объявлял о том, что оппозиция его поддерживает. Но, помимо призывов Бухарина, у Троцкого имелись для этого собственные причины. Сторонники писали ему со всех концов Советского Союза о терроре, который Сталин развернул весной и в начале лета, и об «оргиях жестокости», которым подвергались крестьяне-средняки и даже бедняки. Официальные лица пытались снять с себя ответственность, заявляя народу, что жесткий подход к крестьянству вызван давлением со стороны троцкистов и зиновьевцев. Все указывало на то, что, если Сталин вернется к левому курсу, это закончится кровавым катаклизмом. Троцкий заранее отказывался от какой-либо ответственности за это. В августе 1928 года, почти за год до того, как началась «ликвидация кулака», он писал своим сторонникам, что, хотя оппозиция поклялась поддерживать левый курс, она никогда не предлагала поступать с крестьянством на сталинский манер. Она выступала за повышение налогов на богатых, за правительствен-

ную поддержку бедных крестьян, за справедливое и взвешенное отношение к середнякам и за поощрение добровольной коллективизации — но не за «левый курс», главной составляющей которого являлось административное насилие и жестокость. При оценке политики Сталина «необходимо принимать во внимание не только то, *что* он сделал, но и *как* он это сделал»¹. Троцкий не предлагал, что оппозиции следует отказаться от поддержки левого курса, но более, чем когда-либо, подчеркивал, что она должна сочетать поддержку с суровой критикой. Он решительно отвернулся от примиренцев, воспрянувших духом при последних вестях о том, что между Сталиным и Бухариным произошел окончательный разрыв и что Сталин готов возобновить «наступление на кулака». Понукания Каменева Троцкий отвергал с презрением и неприязнью, объявив, что не сделает ничего для того, чтобы «облегчить» себе возвращение в партию, и не станет умолять своих гонителей вызывать его в Москву. Они могут сделать это, если желают, но даже тогда он не ослабит своих нападков на них и на капитулянтов.

Таков был ответ Троцкого не только на предложения Каменева, но также на смутные и расплывчатые сталинские намеки. О примирении со Сталиным не шло и речи. Куда более благоприятно Троцкий отозвался на призыв Бухарина в эссе «Беседа начистоту с доброжелательным партийцем», написанном 12 сентября. Этим «доброжелательным партийцем» был некий бухаринец, отправивший Троцкому письмо с вопросом о его отношении к «правому крылу» — ныне правой оппозиции. Троцкий отвечал, что по основным вопросам индустриальной и социальной политики разрыв между двумя фракциями остается столь же широким, как и прежде, но добавлял, что готов сотрудничать с правыми ради конкретной цели, а именно — восстановления внутрипартийной демократии. Если Рыков и Бухарин готовы работать с левыми с целью совместной подготовки честно избранного и неподдельно демократического партийного съезда, Троцкий готов заключить с ними союз.

¹ В письме Раковскому от 13 июля 1928 г. Троцкий пишет, что Радек и Преображенский воображают, будто сталинская фракция, избрав левый курс, оставила за собой «правый хвост» и ее следует уговорить избавиться от него. Даже если дело обстоит так, отмечает Троцкий, это мало чем поможет: «Обезьяна, избавившись от своего хвоста, не становится человеком».

Это заявление вызвало изумление и даже негодование в троцкистских колониях. Против него протестовали многие ссыльные, и не только примиренцы, напоминая Троцкому, сколько раз он сам называл коалиции левых и правых против центра беспринципными, вредными и погубившими не одну революцию. Не был ли Термидор именно таким бесчестным объединением правых и левых якобинцев, направленным против робеспьеровского центра? Не определялось ли донныне все поведение оппозиции ее готовностью на определенных условиях вступить в союз со сталинистами против бухаринцев, но не наоборот? Не сам ли Троцкий только что торжественно подтвердил этот принцип, когда уверял Коминтерн, что левая оппозиция никогда не пойдет на соглашение с теми, кто противостоит сталинизму справа?

Троцкий отвечал, что он по-прежнему считает своими главными антагонистами правых бухаринцев, а не сталинский центр, и не предлагает Бухарину никакой коалиции по политическим вопросам, но не видит причины, почему бы им не объединить усилия ради одной четко заявленной цели — восстановления внутрипартийной свободы. Троцкий готов «вести с Бухариным переговоры точно так же, как дуэлянты через секундантов договариваются о правилах и принципах, которые будут соблюдать». Левым ничего не нужно, кроме возможности продолжать борьбу с правыми по правилам внутрипартийной демократии; если именно этого хотят и правые, то нет ничего более естественного, чем их сотрудничество с целью добиться соблюдения этих правил.

Эти объяснения показались сторонникам Троцкого не особенно убедительными. Они настолько привыкли видеть в бухаринской фракции своего главного врага, что не могли себе представить никакого соглашения с ней. Троцкисты так долго и настойчиво нападали на сталинистов как на двуличных пособников «правого крыла», что приходили в ужас от мысли о том, что сами могут стать его пособниками. Не могли они согласиться и с доводами Троцкого о том, что он предлагает бухаринцам лишь техническое соглашение, нечто вроде правил дуэли. Во-первых, это была не дуэль, а трехстороннее сражение, в котором любое соглашение между двумя сторонами автоматически оказывалось направлено против третьей стороны. Во-вторых, внутрипартийная демократия была сама по себе первостепенной политической

проблемой, имевшей отношение ко всем ключевым вопросам. Союз правых и левых, даже с самыми ограниченными целями, в случае успеха привел бы к свержению сталинской фракции, и это после того, как она объявила о «левом курсе». Его выполнение немедленно бы прекратилось, и дальнейшее зависело бы от неизвестного исхода борьбы между правыми и левыми. Если бы правые победили, они наверняка провозгласили бы тот неонэп, которого так боялись троцкисты. Могли ли те пойти на риск? Могли ли они в тот момент, когда страна находится на грани экономической катастрофы, а среди крестьянства начались беспорядки, подвергать партию потрясениям, в ходе которых сталинисты рискуют оказаться не у дел, но бухаринцы и троцкисты едва ли сумеют разрешить свои разногласия демократическим образом, не говоря уже о совместном правлении? Тем самым они могут против своей воли погубить партию и дать шанс антибольшевистским силам. В результате сложится классическая «термидорианская» ситуация, ведь именно такая коалиция правых и левых, доведенных террором до отчаяния, привела к падению Робеспьера. Так не играет ли Троцкий с «огнем Термидора» — он, который все эти годы предупреждал других о такой опасности?

Троцкий и оппозиция оказались в тупике. Если у них и оставался шанс на спасение, то этот шанс заключался в широком альянсе всех большевиков-антисталинистов, да и тот вряд ли бы спас их — имелись основания опасаться, что такой альянс мог привести к краху большевистской партии. Троцкий и Бухарин обдумывали возможность коалиции, поддавшись мимолетному защитному рефлексу. Однако ни один из них не мог долго руководствоваться этим рефлексом. Обе фракции склонялись к тому, чтобы сохранить партию даже ценой собственной гибели, или же не отдавали себе отчета в неразрешимости вставшей перед ними дилеммы. Некоторые вожди, несомненно, эту дилемму видели: В рассказе Камсенева о разговоре с Бухариным промелькнули такие мрачные слова: «Порой я говорю Ефиму: Не безнадежно ли наше положение? Если наша страна погибнет, мы погибнем вместе с ней, но, если она преодолет трудности, а Сталин вовремя сменит курс, мы все равно погибнем». Радек в письме к товарищам называет вставший перед ними выбор — это выбор «между двумя формами политического самоубийства» — либо оста-

ваться отрезанными от партии, либо вернуться в партию ценой отказа от своих убеждений.

Поэтому паническое предложение Бухарина о союзе и осторожный ответ Троцкого не имели последствий. Бухаринцы не могли не отозваться на идею своего вождя с таким же негодованием, с каким троцкисты встретили ответ своего лидера. Своих главных врагов бухаринцы видели в троцкистах и зиновьевцах и лишь совсем недавно обвиняли Сталина в том, что тот стал скрытым троцкистом (или, как выразился Бухарин, проникся идеями Преображенского). Разве после этого они могли думать о партнерстве с троцкистами? Они знали, что последние и зиновьевцы следят за левым курсом с тайной симпатией — да и Бухарин должен был это понять из разговора с Каменевым. И даже если исключенные троцкисты ужасались тем потрясениям, в которые ввергнет партию коалиция правых и левых, то куда сильнее такой перспективы должны были бояться бухаринцы, до сих пор входившие в правящую группировку. Их тревожили намеки Сталина на то, что в случае их неподчинения он заключит альянс с Троцким, и они решили не давать ему к этому повода. Они вовсе не пытались вести открытую борьбу со Сталиным по примеру троцкистов и зиновьевцев, а даже если пытались, то понимали, что наряду с левыми оппозиционерами лишится свободы выражения и самих себя. Вследствие этого Бухарин не мог перевести свои авансы Троцкому в практическую плоскость или отозваться на идею Троцкого об «ограниченном соглашении».

Такое развитие событий укрепило позицию троцкистов-примиренцев. К Радеку и Преображенскому присоединились три самых авторитетных из сосланных вождей оппозиции — Смилга, Серебряков и Иван Смирнов. Совершенно ясно, утверждали они, что в июле Сталин не сказал «своего последнего слова», когда пошел на уступки кулакам — левый курс продолжается. Троцкий косвенно признавал, что левая оппозиция не должна оставаться в полной изоляции, и ей следует искать союзников; но ее естественными союзниками были сталинисты, а не бухаринцы. Нельзя сказать, чтобы примиренцы особенно радовались тому, как Сталин поступает с правой оппозицией. «Сегодня режим бьет по Бухарину, — писал Смилга, — точно так же, как он бил по ленинской оппозиции... [бухаринцев] душат за спиной партии и рабочего класса». Однако «это не повод для ленинской оппозиции выражать политическое сочув-

ствие правым»; ее лозунгом остается «Долой правых!». Это был лозунг Троцкого летом, но вряд ли осенью. Отношения между ним и примиренцами становились все более напряженными и враждебными. Почти прекратились его контакты с Преображенским, а переписка с Радеком стала желчной и нерегулярной. Радек протестовал против уничижительных нападок Троцкого на Зиновьева, Каменева и прочих капитулянтов. «Смешно считать, — пишет Радек, — что они сделали это только из личной трусости. Тот факт, что одна группа за другой сегодня еще высказывалась против капитуляции, а завтра шла на нее, что этот процесс повторялся несколько раз, — все это показывает, что дело шло о каком-то конфликте принципов, а не только о боязни репрессий». Капитулянты действительно совершили политическое самоубийство; но так же поступают и те, кто отказывается капитулировать. Остается лишь надежда на то, что новые перемены в партии и ее дальнейшая эволюция влево позволят левой оппозиции вернуться в партию, не потеряв лица.

Оправдывая таким образом побуждения Зиновьева и Каменева, Радек распространил среди товарищей длинный трактат, в котором опровергал теорию Троцкого о перманентной революции¹, однако не стал посылать его Троцкому, и тот получил трактат Радека «из вторых рук» — из Москвы. В ироническом ответе Радеку Троцкий припоминает его прежние сочинения в защиту троцкизма, заявляя, что в них Радек найдет наилучшее опровержение своих последних аргументов. Троцкий еще не подозревал Радека в намерении капитулировать. Он был уверен, что присущее Радеку чувство юмора и европейско-марксистский образ мысли не позволят ему пройти через «византийский» ритуал отречения. По-прежнему питая к Радеку любовь и восхищаясь им, Троцкий приписывал его поведение «унынию» и продолжал защищать его и Преображенского от подозрений «молодых непримиримых»².

¹ В ответ Троцкий написал «Перманентную революцию» — самое обширное историко-теоретическое оправдание своей концепции.

² И даже много месяцев спустя, в конце мая 1929 г., находясь на Принцевых островах, Троцкий воспринял первые вести о капитуляции Радека с крайним недоверием и писал: «За спиной у Радека — четверть века революционной марксистской работы... сомнительно, способен ли он присоединиться к сталинистам. В любом случае, он не сможет долго оставаться с ними. Для этого он все-таки слишком марксист и слишком интернационально мыслящий человек».

Даже сейчас все оппозиционеры — и примиренцы и непримиримые — смотрели на Троцкого как на своего бесспорного вождя. Их настроения лучше всего выражаются в протесте, который в октябре послал в ЦК не кто иной, как Радек, когда всех ссыльных крайне встревожили вести об ухудшении здоровья Троцкого.

«Болезнь Троцкого положила конец нашему терпению, — пишет Радек. — Мы не можем молча смотреть на то, как малярия подтачивает силы бойца, отдавшего всю свою жизнь служению рабочему классу и бывшего «Мечом Октябрьской революции». Если поглощенность фракционными интересами убила в вас всех память об общей революционной борьбе, пусть говорят разум и голые факты. Опасности, с которыми борется Советская Республика, множатся... Лишь те, кто не понимает, что требуется, чтобы преодолеть эти опасности, могут оставаться безразличными к медленной смерти боевого сердца — товарища Л.Д. Троцкого. Но те среди вас — а я убежден, что их немало, — кто отдает себе отчет в угрозах, которые несет завтрашний день... должны сказать: «Хватит этой негуманной игры со здоровьем и жизнью товарища Троцкого!»

Летом здоровье Троцкого действительно ухудшилось. Он снова страдал от малярии, сильных головных болей и хронической желудочной инфекции, не оставлявшей его до конца жизни. За сообщениями о его болезни последовал поток писем и телеграмм от ссыльных, выражающих сочувствие своему вождю и протест московским властям. Некоторые ссыльные призывали к более энергичным действиям в защиту Троцкого и планировали коллективную голодовку. Троцкий не без труда отговорил их от такого отчаянного поступка. Нет нужды, отвечал он в своих посланиях ссыльным, чрезмерно беспокоиться о его здоровье, которое не настолько глубоко, чтобы помешать ему работать. Разумно принять меры к более широкому распространению протестов, с которыми уже выступила оппозиция; но было бы безрассудством прибегать к жестким шагам, которые могут лишь ухудшить положение их участников¹.

¹ Например, вот текст телеграммы ссыльным в Енисейск (14 октября 1928 г.): «Категорически возражаю против форм протеста, замысливаемых вами... Моя болезнь не представляет непосредственной опасности. Пожалуйста, соблюдайте общую линию [поведения]. Братский привет. Троцкий».

С наступлением осени над головой Троцкого снова стали сгущаться тучи. В октябре к нему перестали приходить письма от друзей и сторонников — доставлялась лишь корреспонденция от людей, готовых к дезертирству. Цензура работала избирательно. Собственные письма и послания Троцкого также не доходили до назначения. Он не получил даже ответа на телеграммы, в которых осведомлялся о здоровье Зины, — оно продолжало его сильно тревожить. Годовщину революции Троцкий встретил в одиночестве и сомнениях — не пришло ни одно из обычных поздравлений. В дальнейшем дурные предвестия множились. Неожиданно арестовали местного чиновника, тайно сочувствовавшего оппозиции и поддерживавшего связь с Троцким. Бесследно исчез оппозиционер, приехавший из Москвы, устроившийся работать в Алма-Ате шофером и тайком встречавшийся с Троцким в общественных банях, — похоже, что именно он организовал «секретную почту» между Москвой и Алма-Атой. Семейство Троцкого вернулось в унылый город с дачи с ее садами и цветниками. «Начиная с конца октября, — писала Седова другу, — мы не получали писем из дома, не получали ответа на наши телеграммы. Мы оказались в почтовой блокаде. Конечно, на этом дело не остановится. Мы ждем чего-нибудь похуже... Тут стоят суровые морозы. Холод в доме — настоящее бедствие. Дома не приспособлены к холодной погоде. Цена на дрова невероятно высока».

В конце концов до Троцкого из многих источников стали доходить слухи, что его не оставят в Алма-Ате, а вскоре вышлют еще дальше и изолируют куда надежнее. Сперва он отмахивался от этих слухов. «Товарищей сейчас очень занимает вопрос о моем переводе из Алма-Аты. Я этого не жду. Куда?» — писал он Эльцину 2 октября. Зимой он собирался посвятить себя интенсивной научной и литературной работе в Алма-Ате и, разумеется, охотничьим экспедициям в окружающей пустыне. Но слухи упорствовали, а почтовая блокада и другие признаки свидетельствовали, что наверняка случится и «что-нибудь похуже».

Осень выдалась странная. В годовщину революции на Красной площади в Москве звучали такие официальные лозунги: «Опасность справа!», «Ударим по кулаку!», «Обуздаем нэпманов!», «Ускорим индустриализацию!», разносясь по всей стране и проникая в самые глухие места, даже в Алма-Ату. Сколько времени Троцкий пытался убедить партию следовать такой

политике! Всего лишь год назад, в точно такой же день годовщины, его сторонники вышли на улицы Москвы и Ленинграда с точно такими же лозунгами и плакатами, но их разгоняли, избивали и обвиняли в контрреволюции. Можно подумать, что для оппозиции не было большего удовлетворения, чем тот факт, что правящая группировка вынуждена позаимствовать ее идеи. Этого не мог не заметить никто, питающий хоть самый слабый интерес к политике. Свирепые нападки на Троцкого, «ультраиндустриализатора» и «врага мужика», были еще свежи у всех в памяти. Теперь же бесчестность и гнусность этих нападков стали видны всем и зывали к небесам. Не сам ли Сталин превратился в ультраиндустриализатора и врага мужика? — задумывались многие большевики. Однако и в этом году, как и годом раньше, миллионы граждан вышли на официальные демонстрации, следуя предписанным маршрутам и выкрикивая предписанные лозунги, как будто не случилось ничего необычного, как будто они лишились способности думать, размышлять и действовать.

Всеобщая апатия позволила Сталину бесстыдно «рядиться в одежды Троцкого». Тот по-прежнему утешался мыслью, что Сталин не сможет их носить, потому что они ему не годятся. Троцкий все еще ожидал, что с углублением национального кризиса сталинская фракция не сумеет справиться с ним в одиночку. А кризис действительно углублялся. Страна, охваченная крестьянскими бунтами, с городами, оцепеневшими перед угрозой голода, жила в невыносимом напряжении. В воздухе была разлита лихорадочная нервозность и чувство опасности и тревоги. Партийный аппарат непреклонно скапливал силы и призывал всех быть готовыми к суровым, хотя еще непонятно каким, испытаниям, но не выказывал готовности вернуть из ссылки оппозиционеров.

К концу года позиция Сталина чрезвычайно укрепилась по сравнению с осенью. Он уже не так боялся борьбы с двумя оппозициями одновременно. Правые были запуганы и деморализованы и уже начали капитулировать. Левые страдали от разногласий и паралича воли. Сталин следил за дискуссиями между Троцким, Радеком, Преображенским, непримиримыми и децистами, и считал, что время работает на него. Он по-прежнему был занят подготовкой к своей тотальной индустриализации и коллективизации, и примиренцы-троцкисты уже проникались мыслью, что они не должны оставаться в стороне.

Насколько же усилится в них это чувство, когда он перейдет от подготовки к действиям? Правда, они еще не собирались сдаваться, но потихоньку приближались к этой стадии — требовалось только дать им время и немного поощрить. Через своих агентов Сталин подкидывал им любые наживки, бывшие в его распоряжении: ссылался на высшие интересы революции, взывал к большевистской лояльности, перемежал лести угрозами и усиливал террор против непримиримых троцкистов и децистов¹. Таким образом он собирался превратить в реальность свою несколько преждевременную похвальбу, будто бы левая оппозиция находится «у него в кармане». Сталин действительно нуждался в поддержке левых для проведения своего нового курса, но намеревался обеспечить эту поддержку не союзом с левыми — он хотел расколоть их, обуздать большую их часть и настроить против Троцкого. Сталин надеялся нанести Троцкому куда более жестокое поражение, чем все удары, которым тот подвергался до сих пор.

Но и несмотря на всю свою силу, Сталин не мог быть уверен в осуществлении своих намерений. Он собирался затеять грандиозное предприятие, какого не затевал еще ни один властитель: одним махом экспроприировать собственность двадцати с лишним миллионов крестьян и загнать их с семьями в колхозы, а городскую Россию вовлечь в такой индустриальный рывок, в котором все ужасы первоначального капиталистического накопления будут воспроизведены в колоссальном масштабе и в течение очень малого промежутка времени. Сталин не знал, чем ответит на это страна, к какому отчаянию, гневу, насилиям и бунтам приведет его политика, какие опасности могут подстергать его самого и не сумеют ли противники воспользоваться этой возможностью. Если они решатся на это, то наверняка изберут Троцкого себе в вожди. Идеи и личность Троцкого, окруженные ореолом мученического героизма, завораживали большевистскую элиту даже из Алма-Аты. Несмотря на брожение и уныние в среде ссыльных, троцкизм приобретал новых последователей в партийных ячейках. У ГПУ было столько работы, что к концу 1928 года в тюрьму и ссылку было

¹ Осенью полицейский надзор за ссыльными внезапно усилился, и многих из них арестовали. В. Смирнова посадили в тюрьму из-за того, что он явился отметить в ГПУ с пятиминутным опозданием. Бутов, один из секретарей Троцкого, умер в тюрьме после пятидесяти дней голодовки.

направлено от 6 до 8 тысяч левых оппозиционеров, в то время как в начале года численность и троцкистов и зиновьевцев оценивалась всего в 4—5 тысяч человек. Каменев был не одинок в своей мысли, что в минуту крайней опасности партии придется «отправить специальный поезд» за Троцким. Сомнения царили и среди капитулянтов, и даже среди сталинистов — иные из них задумывались, не был ли прав Троцкий с самого начала, если левый курс действительно оправдан; поэтому их возмущала та клевета и жестокость, какой он подвергался. Сталин знал это, так как практически все из шести или восьми тысяч оппозиционеров предпочли тюрьму и ссылку отказу от своих взглядов; один-два капитулянта в глубине души были согласны со своими менее уступчивыми товарищами, а в его собственной фракции завелось несколько примиренцев, или «двурушников», как он их называл. Все они вели себя смиренно, но сохраняют ли они верность, если шансы окажутся не на стороне Сталина?

Не мог Сталин игнорировать и угрозу союза Троцкого с Бухариным. Хотя на этот раз такой союз не материализовался, его угроза сохранялась, пока Троцкий оставался бесспорным вождем левой оппозиции и мог вернуться на «специальном поезде». Поэтому Сталин удвоил свои усилия с целью сломить дух оппозиции. Его агенты подавали всевозможные надежды и всячески искушали Радека, Преображенского и их друзей, обещая реабилитацию, ссылаясь на общие цели и намекая, какую великую, плодотворную и почетную работу те еще могут выполнить на благо партии и социализма. Однако на пути всех этих усилий вставало грозным препятствием влияние Троцкого, проявляемое им из Алма-Аты, которое до сих пор удерживало сосланную оппозицию от распада. Сталин намеревался убрать это препятствие с дороги.

Но как ему следовало поступить? Подослать убийцу он все еще опасался, не осмеливаясь даже бросить своего врага в тюрьму: это вызвало бы слишком большое возмущение, ведь, несмотря на все, что случилось, страна еще слишком хорошо и ярко помнила роль Троцкого в революции. Поэтому Сталин планировал изгнать Троцкого из Союза. Он знал, что даже это потрясет людей, и старался тщательно подготовить общественное мнение. Во-первых, он распускал слухи о высылке; затем приказывал опровергать их и, наконец, снова давал им ход. Таким образом он притуплял чувствительность общества. И лишь

после того, как в результате этой кампании слухов, их опровержения и новых слухов все привыкли к мысли об изгнании Троцкого из СССР и слегка примирились с этим, Сталин смог исполнить задуманное.

Пребывая в полной неизвестности о своей судьбе, Троцкий снова поставил важный и мучительный вопрос: «Куда идет революция?» Советский Союз оказался в сером промежутке между двумя эпохами — эпохой нэпа и сталинской «второй революцией»¹. Контуры грядущего расплывались; в лучшем случае их можно было разглядеть как сквозь мутное стекло, и Троцкий с тревогой начинал понимать, что ряд идей, выдвинутых им в недавние годы, вскоре останутся за кормой событий. Он пытался выйти за пределы этих идей, но те не желали его отпускать. Троцкий старался обрисовать новые перспективы; но привычки мышления, сформировавшиеся в эпоху нэпа и отвечавшие его реалиям, а также историческая память о французской революции упорно вторгались в прогнозы.

Троцкий понял, например, что его концепция «советского Термидора» изжила себя. Отныне было абсурдно утверждать, что Бухарин и Рыков остаются защитниками частной собственности, что Сталин — их безвольный приспешник и им достанутся все выгоды от его политики. Поэтому Троцкий фактически отказался от концепции «советского Термидора»². В «Письме друзьям», написанном в октябре 1928 года, — одном из самых замечательных эссе алма-атинского периода (хотя оно написано с использованием характерной оппозиционной фразеологии) — Троцкий утверждает, что Бухарин и бухаринцы — «неудачники-термидорианцы», которым не хватило храбрости претворить в жизнь свои убеждения. Он дает следующее ироническое и яркое описание их поведения: «Появление статьи Бухарина «Заметки экономиста»... это

¹ Термин «вторая революция» впервые был использован мной в книге «Сталин: политическая биография», что вызвало недовольство критиков, которые утверждали, что коллективизация и индустриализация не являются революцией. Но если перемена в отношениях собственности, ставшая результатом разовой экспроприации двадцати с лишним миллионов мелких собственников, не является экономической и социальной революцией, то как ее иначе назвать?

² Однако он снова поднял ее на щит и отстаивал после высылки в Турцию, но несколько лет спустя опять «пересмотрел» ее.

храбрость отчаянья. Возможно, что Рыков с Томским подтолкнули Бухарина не без задней мысли: «Попробуй, а мы посмотрим»... Но для этого у Бухарина еще кишка слаба. Он сунул ногу в холодную воду [Термидора], а входить пока боится. Стоит и дрожит... от храбрости. А Рыков с Томским сзади глядят, что выйдет, с таким видом, чтобы можно было в любой момент нырнуть в кусты». Соответственно кулаки, нэпманы и консервативные бюрократы, разочаровавшись в вождах правых большевиков, склонны искать себе решительных вождей в других местах, в первую очередь — среди военных. Имея в виду французские прецеденты, Троцкий говорит о грядущей «бонапартистской угрозе», подразумевая, что русская революция может перескочить через фазу Термидора и сразу перейти от большевистской к бонапартистской фазе.

Бонапартистская опасность, продолжал он, может принять две различные формы: либо материализоваться в виде классического военного переворота, как российское 18 брюмера, либо воплотиться в качестве самодержавной власти Сталина. Троцкий полагал вероятным, что армия, обращаясь непосредственно к имущим крестьянам и получив от них поддержку, попытается устранить Сталина и положить конец большевистскому режиму вообще. Встанут ли армейские вожаки во главе движения, было для него вторичным вопросом: при благоприятных условиях даже такие посредственности, как Ворошилов или Буденный, могут взять на себя инициативу и добиться успеха (здесь Троцкий приводит поговорку, которая, по его словам, очень нравилась Сталину: «Из грязи делают князя»). Условия, благоприятствующие перевороту, налицо: крестьянство не испытывает к партии, возглавляемой Сталиным, ничего, кроме враждебности, а рабочий класс пребывает в разочаровании и апатии. Поэтому возможная военная диктатура сможет опираться на широкую базу. Она будет иметь контрреволюционный характер и последствия, ее целями станут гарантия безопасности, стабильности и расширения частного сектора экономики. Социалистический сектор окажется ликвидирован или сильно урезан, результатом чего станет реставрация капитализма. Перед угрозой такой опасности, делает вывод Троцкий, все большевики, готовые защищать социализм, должны объединиться, а левой оппозиции следует сотрудничать со Сталиным и его фракцией, потому что Сталин говорит не от имени собственников, а от имени «про-

летарских выскочек» и до сих пор избегал открытого разрыва с рабочим классом.

С другой стороны, возможно также, что советским Бонапартом станет Сталин. Тогда страна и оппозиция окажутся в иной ситуации. Сталин может осуществлять свою личную власть только через партаппарат, но не через армию. Его диктатура не сразу приведет к таким же контрреволюционным последствиям, которые повлечет за собой военный переворот. Но она будет иметь чрезвычайно узкую базу и поэтому отличаться крайней нестабильностью. Сталин будет вовлечен в хронический конфликт со всеми классами общества; он попытается одолеть то этот класс, то другой и станет постоянно натравливать их друг на друга. Ему придется вести постоянную борьбу, чтобы держать в подчинении партаппарат, госбюрократию и армию; и он будет править в непрестанном и неослабевающем страхе перед возможностью их неповиновения; окажутся подавлены любые спонтанные проявления общественной и политической деятельности и всякая свобода выражения. В таких условиях едва ли реален какой-либо «единый фронт» левой оппозиции и сталинистов — за видимостью примирения будет скрываться ожесточенная борьба.

В этом контексте Троцкий вкратце и с могучим даром предвидения дает анализ социального фона, механизма, формы и контуров сталинского режима, продержавшегося в течение следующих двадцати с лишним лет. Троцкий предсказывает, как Генеральный секретарь превратится в полномочного тоталитарного диктатора. Однако сам автор отнесся к получившейся картине с изрядным недоверием; он полагал, что с учетом всех обстоятельств более реальна опасность чисто военной диктатуры. Ему казалось намного более вероятным, что Ворошилов, Буденный или какой-то другой военачальник поднимет армию против Сталина и троцкистам и сталинистам придется воевать «по одну сторону баррикады». Троцкий прибавлял, что в долговременной исторической перспективе несущественно, кто из них — Сталин или Ворошилов — «поедут на белом коне» и кого из них затопчут. Однако в кратковременном плане это различие имеет значение, будучи различием между открытым и немедленным триумфом антисоциалистических сил (при военном диктаторе) и куда более сложным, путаным и продолжительным процессом (при Сталине). В конечном сче-

те, как полагал Троцкий, диктатура Сталина тоже окончится крахом социализма; он видел торжество кулака и нэпмана даже в конце сталинского пути. «Фильм революции крутится обратно, и Сталин играет в нем роль Керенского наоборот». Керенщина символизировала переход России от капитализма к большевизму; победоносный же сталинизм может проделать лишь обратный переход.

Конечно, в ретроспективе легко увидеть все изъяны этих рассуждений, но еще легче упустить содержавшееся в них зерно истины. То, что Троцкий мог представлять себе Ворошилова или Буденного в роли Бонапарта, кажется чистым абсурдом. Из этой «грязи» не получилось бы никакого князя. Но Троцкому как политическому аналитику приходилось учитывать не только реалии, но и вероятности, а вероятность военного переворота была налицо. Хотя она не стала реальностью, по крайней мере в ближайшие тридцать лет, его угроза неоднократно нависала над Сталиным, а затем над его наследниками, свидетельством чему — конфликт Сталина с Тухачевским и другими полководцами в 1937 году и с Жуковым в 1946 году, а также столкновение Хрущева с Жуковым в 1957 году. В этом отношении Троцкий нащупал скрытую тенденцию в советской политике, но, очевидно, преувеличивал ее значение. Кроме того, он преувеличивал силу социального импульса, стоявшего, согласно марксистской теории, за этой тенденцией, а именно готовность крестьянства встать на защиту своей собственности и его силу, а также его способность посредством армии выступить против города. Сам Троцкий писал в 1906 году, что «история капитализма есть история подчинения деревни городу», и в этом контексте анализировал аморфность и политическую беспомощность русского крестьянства при старом режиме. Подчинение деревни городу наперед определило всю историю Советского Союза. Удары сталинского молота готовы были со всей мощи обрушиться на частное землевладение и сокрушить крестьянство, но они не могли предотвратить сопротивление крестьянства коллективизации. Это сопротивление — бесформенное, разрозненное и долгое — выразалось в хронической неэффективности и отсталости коллективного хозяйства; но ему не было суждено перерасти в эффективные политические действия в масштабах страны. В поражении мужика-собственника и заключался секрет неудач военных, примерявшихся на роль «советского Бонапарта».

Беспомощность и немота крестьянства сыграли ключевую роль в политической летаргии послереволюционного общества в целом; на этом фоне разворачивалась поразительная активность по первой видимости всемогущей правящей бюрократии. Троцкий неоднократно наталкивался на этот аспект ситуации и с такой же регулярностью не желал его замечать. Крупская как-то обронила фразу, которую, по всей видимости, позаимствовала у Ленина, что Троцкий «склонен недооценивать апатию масс». В этом отношении Троцкий оставался верен себе и своей революционной натуре. Революционер оказывается в своей стихии, когда общество бурлит, проявляя всю свою энергию, и все классы общества преследуют свои цели с максимумом пыла и рвения. В такие моменты восприятие революционера оказывается наиболее острым, понимание ситуации — наиболее пронизательным, его взгляд — наиболее быстрым и живым. Но когда общество поддается безразличию, а его классы впадают в летаргию, великие революционные теоретики, такие как Троцкий или даже Маркс, отчасти лишаются своей остроты зрения и пронизательности. Состояние общества не соответствует натуре революционера, и он не может интеллектуально приспособиться к ситуации. Отсюда и ошибки в суждениях Троцкого. Даже принимая в учет послереволюционную усталость масс, он оказывался не способен оценить ее реальные масштабы. Делая прогнозы, он представлял себе все социальные классы и группы — кулаков наряду с рабочими и военачальников наряду с различными большевистскими группировками — в действии и в движении, энергичными и уверенными в своих силах, готовыми броситься друг на друга и сразиться в титанических баталиях. Его разум приходил в недоумение при виде сонных и вялых титанов, которых бюрократия могла обуздать и связать по рукам и ногам.

Поскольку Троцкий в конечном счете отождествлял революционный процесс с социальной сознательностью и активностью трудящихся масс, очевидное отсутствие этой сознательности и активности вело его к выводу о том, что при победившем сталинизме «фильм революции крутится обратно» и Сталин играет роль Керенского наоборот. Заблуждение Троцкого снова очевидно; но не будем забывать о зерне истины в этом суждении. Фильм крутился не так, как ожидали предтечи и творцы революции: он шел отчасти в другую сторону — но не назад.

Сталин играл вовсе не роль Керенского наоборот. Фильм еще идет, и, возможно, пока что рано выносить ему окончательный вердикт. В теории он вполне может закончиться откатом революции, сопоставимым с тем, к которому пришли прежние великие революции — французская и английская. Но такая возможность представляется крайне отдаленной. Когда Троцкий писал, что фильм крутится назад, он имел в виду, что дело идет к реставрации капитализма. В действительности же страна двигалась к плановой экономике, индустриальному развитию и массовому образованию — ко всему тому, что, несмотря на бюрократические извращения и обесценивание, сам Троцкий считал ключевыми предпосылками социализма, непременным условием для полного воплощения революционных обещаний. Естественно, предпосылки еще не есть итог, и у Советского Союза 1950-х годов имеется достаточно оснований оглядываться на сталинскую эпоху — по крайней мере, в каких-то ее аспектах — с мучительным разочарованием. Но в конце сталинского пути не оказалось торжествующих кулаков и нэпманов¹.

Можно ли назвать правление Сталина «бонапартизмом»? Троцкий не использовал этот термин в общепринятом значении, когда под ним подразумевают «власть меча» и единоличное правление. Согласно более широкому марксистскому определению, бонапартизм — это диктатура, осуществляемая государственным аппаратом или бюрократией в целом, и военная автократия является лишь одной из ее разновидностей. По мнению марксистов, сущность бонапартизма состоит в *политической* независимости государства или правителя от каких-либо социальных классов и его абсолютной власти над обществом. В этом смысле правление Сталина, конечно, имело с бонапартизмом много общего. Но их отождествление может дать только очень широкие и смутные намеки к пониманию явления во всей его сложности и противоречивости. Сталин осуществлял свою власть не через «независимый» государственный аппарат, а через «независимый» партийный аппарат, который также помогал ему контролировать государство. Это различие имело колоссальное значение для хода революции и политического климата в Советском Союзе. Партаппарат считал себя

¹ Однако в конце сталинской эпохи Восточная Европа (Венгрия, Польша и Восточная Германия) оказались на грани буржуазной реставрации, которая была остановлена лишь силой советского оружия или угрозой его применения.

единственным законным стражем и толкователем большевистских идей и традиций. Поэтому его правление означало, что большевистские идеи и традиции, несмотря на их многократное переформулирование в прагматическом и схоластическом ключе, продолжали оставаться основополагающей идеей и важнейшей традицией Советского Союза. Это стало возможным лишь потому, что идея и традиция оказались надежно привязаны к социальной структуре Советского Союза, в первую очередь к национализированной городской экономике. Если искать какие-либо параллели к этому состоянию дел в эпоху французской революции, то отыщутся только воображаемые: нам придется представить себе, на что бы походила революционная Франция, если бы термидорианцам не удалось справиться с Робеспьером, если бы он правил Францией от имени изувеченной и запуганной якобинской партии в течение всех тех лет, которые историки сейчас называют эпохой Директории, консульства и империи, — одним словом, как выглядела бы Франция, если бы Наполеон так и не пришел бы к власти и революция до самого конца разворачивалась бы под знаменем якобинства¹.

Мы видели, что правление партаппарата фактически начинается в последние годы ленинской эпохи; к этому неизбежно вела власть одной партии, которую Ленин считал по сути властью большевистской «старой гвардии». Соответственно ленинское правительство последних лет можно, пользуясь троцкистской терминологией, назвать «бонапартистским», хотя в нем отсутствовала черта, присущая истинному воплощению бонапартизма, а именно — единоличная власть. Так, когда Троцкий в 1928 году говорил об угрозе бонапартизма, он считал ту фазу развития, которая в основном завершилась много лет назад, еще только маячившей на горизонте. Со времен Ленина деспотизм партаппарата, естественно, приобретал все больше агрессивности и жестокости. Но специфическое содержание бурной политической истории этих лет — с 1921-го по 1929-й — состояло не только и не сколько в

¹ Огюст Бланки называет Робеспьера «преждевременным» или «недоношенным Наполеоном», в то время как мадам де Сталь говорит о первом консуле: «Это Робеспьер на коне». Однако за спиной Робеспьера «на коне» сидели иные социальные силы, чем те, что за спиной вождя якобинцев: его главной опорой была не мелкая буржуазия, а армия, и его не сковывала якобинская идеология. Мишле сказал о Робеспьере: «У него скорее сердце не царя, а священника». Наполеон был лишь царем, но не священником. В лице же Сталина воплотились и папа, и цезарь.

этом, сколько в трансформации правления одной партии в правление одной фракции. Лишь в такой форме могла выжить и консолидироваться политическая монополия большевизма. На первых страницах этой книги мы выяснили, что термин «однопартийная система» заключал в себе логическое противоречие. Различные большевистские фракции, группировки и школы мысли создавали в рамках одной партии нечто вроде теневой многопартийной системы. Логика однопартийной системы неявно требовала их ликвидации. Сталин выступал голосом этой логики, когда заявил, что большевистская партия должна быть монолитной, иначе она не будет большевистской (конечно, в какой-то момент партия, становясь монолитной, переставала быть большевистской).

Логика однопартийной системы не обязательно бы проявлялась с такой неотвратимостью, она могла бы и не стать такой безжалостной, а ее следствия могли бы остаться скрытыми, или же сама система могла разрушиться в результате развития пролетарской демократии, если бы вся история Советского Союза, окруженного и изолированного в своей вековой нищете и отсталости, не представляла бы собой почти непрерывной последовательности бедствий, опасностей и кризисов, угрожающих самому существованию нации. Почти каждая угроза и кризис ставили все важнейшие проблемы национальной политики на лезвие ножа, сталкивали лбами большевистские фракции и группировки и придавали их борьбе ту неопишемую жестокость и ярость, которая вела к подмене однопартийного правления правлением одной группы. В тот момент, до которого дошел наш рассказ, при столкновении сталинистов и бухаринцев, этот процесс подходил к завершению. Оставалась только квазибонапартистская развязка: подмена в начале 1930-х годов правления одной фракции правлением одного вождя. Именно эту развязку — сталинское самовластие — ясно предвидел Троцкий, хотя и ошибался в других отношениях.

Но даже и сейчас Троцкий не считал установление сталинизма неизбежным итогом большевистской монополии на власть. Наоборот, он видел в нем фактический конец большевистского правления. В то время как Сталин объявлял нераздельную власть своей фракции последствием и окончательным воплощением принципа однопартийного правления, Троцкий полагал, что все обстоит ровно наоборот. В действительности большеви-

стская монополия на власть, установленная Лениным и Троцким, нашла в сталинской монополии и свое подтверждение, и отрицание, и каждый из двух противников сейчас подчеркивал одну из противоположных сторон проблемы. Мы проследили ход эволюции, в течение которой власть одной партии превратилась во власть одной фракции, а ленинизм сменился сталинизмом. Мы видели, что неявные аспекты начального этапа эволюции стали явными на завершающем этапе, проявившись крайним или преувеличенным образом. В этом отношении Сталин был прав, когда утверждал, что в управлении партией он следует линии, которую наметил Ленин. Но и Троцкий был прав в не меньшей степени, решительно отрицая это. Правление одной фракции представляло собой и логический итог, и крайность однопартийного правления. Троцкий, а вслед за ним и многие другие большевистские вожди, указывали, что, устанавливая вместе с Лениным политическую монополию большевиков, они старались сочетать ее с пролетарской демократией, что, вовсе не внедряя в самой партии монолитной дисциплины, они ни разу не подвергли сомнению необходимость внутрипартийной свободы и всегда ее гарантировали. Только слепой и глухой может не заметить разницы между сталинизмом и ленинизмом. Их контраст проявляется в сфере идей, а также в нравственном и интеллектуальном климате большевизма даже сильнее, чем в вопросах организации и дисциплины. В этом отношении фильм революции действительно крутился назад, по крайней мере в том смысле, что сталинизм представлял собой сплав марксизма со всеми архаичными и полуазиатскими сторонами российской жизни: с неграмотностью и варварством крестьянства, с одной стороны, и с абсолютистскими традициями прежних правящих группировок — с другой. Троцкий же всему этому противопоставлял чистый классический марксизм со всей его интеллектуальной и нравственной силой, но одновременно и с политической слабостью — которая была результатом его несовместимости с российской отсталостью и неудач социалистического движения на Западе. Изгоняя из Союза Троцкого, Сталин вместе с ним изгонял классический марксизм.

Но такова была парадоксальная судьба обоих противников, что именно в тот момент, когда Троцкому предстояло покинуть родину, Сталин приступил к ликвидации, на свой варварский манер, той самой российской отсталости и варварства, которые

стояли преградой на пути классического марксизма, а сталинская бюрократия готова была выполнять программу Троцкого о первоначальном социалистическом накоплении. Троцкий был истинным вдохновителем и подстрекателем той «второй революции», которая осуществлялась в следующем десятилетии под практическим руководством Сталина. Бессмысленно размышлять о том, как эту революцию осуществлял бы Троцкий, удалось бы ему провести индустриализацию России в сопоставимом темпе и масштабе, обрекая массы советских людей на лишения, нищету и притеснения, которыми они подвергались при Сталине, сумел бы он убедить крестьян объединяться в колхозы, а не загонять их туда насильно. На эти вопросы нельзя ответить, а историк и так более чем достаточно занят анализом реальных событий и ситуаций, чтобы задумываться еще и над событиями и ситуациями, которые могли бы иметь место. В сущности, политическая эволюция 1920-х годов предопределила те пути, по которым шло социальное преобразование России в 1930-х годах. Эта эволюция вела к автократии и монолитной дисциплине, а соответственно и к *насильственной* индустриализации и коллективизации. Политические орудия, необходимые для первоначального социалистического накопления, были выкованы в 1920-х годах и ждали своего применения. Их выковка осуществлялась не в ходе сознательной и продуманной подготовки к грядущим задачам, а в результате непредумышленной внутривнутрипартийной борьбы, которая превратила большевистскую монополию на власть в сталинскую монополию. Однако если автократия и монолитная дисциплина создают, как сказал бы марксист, политическую надстройку первоначального социалистического накопления, они также находят в ней частичное самооправдание. Приверженцы Сталина могли утверждать, что без автократии и монолитной дисциплины невозможно было осуществить это накопление в таких масштабах. Попросту говоря, из длительной борьбы большевистских фракций выросло «твердое руководство» Сталина, которое, возможно, было целью его стремлений само по себе. Захватив власть, Сталин воспользовался ею для индустриализации Советского Союза, коллективизации сельского хозяйства и полного преобразования страны, а затем стал ссылаться на то, как применил свое «твердое руководство», с целью оправдаться.

Троцкий отвергал самооправдательные претензии Сталина и продолжал обличать своего противника как «узурпатора-бона-

партиста», но был вынужден признать «позитивные и прогрессивные» стороны сталинской «второй революции» и рассматривать их как частичную реализацию собственной программы. Как мы помним, он уже сравнивал свою собственную судьбу и судьбу оппозиции с участием парижских коммунаров, которые не сумели в 1871 году довести пролетарскую революцию до конца, но тем не менее предотвратили реставрацию монархизма, и в поражении одержав победу. Великое преобразование Советского Союза в 1930-х годах стало победой Троцкого в поражении. Но коммунары не примирились с Третьей республикой — буржуазной республикой, которая была установлена отчасти благодаря их борьбе. Они оставались ее врагами. Точно так же и Троцкий никогда не примирился с бюрократической второй революцией; в борьбе с ней он призывал к самоутверждению трудящихся классов в пролетарском государстве и к свободе мысли при социализме. Вследствие этого Троцкий был обречен на политическое одиночество, поскольку слишком многие из его ближайших сторонников позволяли себе — отчасти из-за разочарования и усталости, отчасти вследствие убеждений — увлечься или быть подкупленными сталинской «второй революцией». Оппозиция в ссылке оказалась на грани фактической самоликвидации.

Находился ли Троцкий в конфликте со своей эпохой? Вел ли он безнадежную борьбу «с историей»? Ницше говорит нам:

«Если вы интересуетесь биографиями, то требуйте не тех, в которых повторяется припев «имярек и его эпоха», но только таких, на заглавном листе которых должно значиться: «Борец против своего времени»... Если бы даже вообще история не представляла собой ничего, кроме «мировой системы страсти и заблуждения», то человек должен был бы так читать ее, как Гёте некогда советовал читать «Вертера», т. е. слышать в ней зов: «Будь мужем и не следуй моему примеру!» К счастью, она сохраняет и память о великих борцах против истории, т. е. против слепой власти действительного, и... выделяет в качестве подлинных исторических натур именно те природы, которые, мало заботясь о «так оно есть», с радостной гордостью подчиняют свою деятельность принципу «так должно быть». Не хоронить свое собственное поколение, но создать новое поколение — вот цель, которая неустанно увлекает их вперед».

Превосходные слова, несмотря на скрывающийся за ними субъективный романтизм. Троцкий, безусловно, был «бойцом

против времени», хотя и не в ницшеанском смысле. Как марксист он в первую очередь думал о «так оно есть» и понимал, что «так должно быть» рождается из «так оно есть». Но он не желал поклоняться «слепой власти действительности» и отдавать «так должно быть» на милость «так оно есть».

Троцкий сражался против времени не как Дон-Кихот или ницшеанский Сверхчеловек, а как сражаются первопроходцы — не во имя прошлого, а во имя будущего. Строго говоря, исследуя личность любого великого первопроходца, мы можем найти в нем черты Дон-Кихота; но первопроходец — не Дон-Кихот и не утопист. Очень немногие люди в истории находились в такой торжествующей гармонии со своим временем, как Троцкий в 1917 году и позже; в конфликт со временем он вступил не вследствие какой-либо врожденной оторванности от реалий своего поколения, а вследствие своей личности и темперамента предтечи. В 1905 году он был предвестником 1917 года и Советов; с начала 1920-х годов он выступал за плановую экономику и индустриализацию, а впоследствии оставался великим, хотя и ошибавшимся порой предвестником будущего пробуждения революционных народов (важным, хотя еще довольно смутным признаком этого политического пробуждения служит стремление преодолеть сталинизм, охватившее Советский Союз в 1953—1956 годах). Троцкий сражался «против истории» во имя самой истории; свершившимся фактам, которые чересчур часто являлись фактами притеснения, он противопоставлял иные, будущие достижения, несущие свободу.

В начале декабря Троцкий направил Калинин и Менжинскому протест против «почтовой блокады», которой он подвергался. Ответа пришлось ждать две недели. 16 декабря из Москвы прибыл высокий чин ГПУ и вручил ему «ультиматум»: Троцкий должен немедленно прекратить свою «контрреволюционную деятельность», в противном случае ему грозят «полная изоляция от политической жизни» и насильственная «перемена места жительства». В тот же день Троцкий ответил негодующим письмом к вождям партии и Коминтерна:

«Предъявленное мне требование отказаться от политической деятельности означает требование отречения от борьбы за интересы международного пролетариата, которую я веду

без перерыва тридцать два года, то есть в течение всей своей сознательной жизни... Требовать от революционеров этого отказа... могло бы только вконец развращенное чиновничество. Давать такого рода обязательства могли бы только презренные ренегаты. Я не могу ничего изменить в этих словах».

Далее последовал месяц бессонного ожидания. Посланец ГПУ не возвращался в Москву, а ждал в Алма-Ате новых приказов. Они зависели от решения Политбюро, а то еще ничего не решило. Когда Сталин требовал, чтобы оно дало санкцию на изгнание, Бухарин, Рыков и Томский яростно возражали; Бухарин, раскаиваясь за свое участие в травле Троцкого и еще сильнее ужасаясь приходу «нового Чингисхана», кричал, рыдал и плакал прямо на пленуме. Но большинство проголосовало так, как желал Сталин, и 20 января 1929 года — прошел уже целый год, как Троцкого выслали из Москвы, — вооруженные агенты окружили и заняли дом в Алма-Ате. ГПУ официально вручило Троцкому новый ордер о высылке, на этот раз — «из пределов СССР». «Преступное по существу и незаконное по форме постановление ГПУ, — написал Троцкий на ордере, — мне объявлено 20 января 1929 г.».

Снова настал черед трагикомических сцен, аналогичных тем, что сопровождали арест Троцкого в Москве. Его тюремщики смущались своих приказов и смотрели на арестанта с благоговением; не зная, куда его повезут, и потому встревоженные, они с беспокойством расспрашивали о его семье и потихоньку демонстрировали свою озабоченность и дружелюбие. Но полученные ими приказы не оставляли выбора: следовало разоружить Троцкого, вывезти из города в течение суток и лишь тогда вручить ему извещение с указанием места высылки.

На рассвете 22 января узник, его семья и сильный конвой выехали из Алма-Аты во Фрунзе через пустынные горы и перевал Курдай — по той же самой дороге, по которой ехали в буран год назад. На этот раз путь оказался гораздо тяжелее. Зима выдалась суровая, возможно став самой холодной за столетие. «Могучий трактор, который должен был пробуксировать нас через Курдай, сам увяз по горло в сугробах вместе с семью автомобилями, которые тащил, — пишет Троцкий. — Во время заносов на перевале замерзло семь человек и немалое число лошадей. Пришлось перегружаться в дровни. Свыше семи часов понадобилось, чтоб оставить позади около 30 километров».

Во Фрунзе Троцкого и его семью посадили в специальный поезд, направлявшийся в Европейскую Россию. Лишь тогда пришло сообщение, что его высылают в Константинополь. Троцкий немедленно направил в Москву протест. Правительство, заявил он, не имеет права высылать его за границу без его согласия. Константинополь уже дал убежище остаткам армии Врангеля, прибывшим туда из Крыма. Неужели Политбюро осмелится отдать его на милость белогвардейцам? Может, оно, по крайней мере, получит для него визу Германии или другой страны? Троцкий требовал свидания со своими родственниками, жившими в Москве. Это желание было удовлетворено: Сергей и жена Лёвы приехали из Москвы и присоединились к депортируемому в поезде. Но Троцкий по-прежнему отказывался ехать в Константинополь. Эмиссар ГПУ, сопровождавший его в пути, переслал протесты по инстанции и ждал инструкций. Пока те не прибыли, поезд сходит с главной линии, «останавливается на глухой ветке подле мертвого полустанка и замирает там меж двух полос мелкокося. Так проходит день за днем. Число консервных жестянок вокруг поезда растет. Вороны и сороки собираются все большими стаями на поживу. Дико, глухо... Лисица проложила свой вкрадчивый след к самому поезду. Паровоз с вагоном ежедневно уходит на крупную станцию за обедом и газетами. В вагоне у нас грипп. Мы перечитываем Анатоля Франса и курс русской истории Ключевского... Мороз достигает 38° по Реомюру, наш паровоз прогуливается по рельсам, чтоб не застыть... Мы сами не знаем, где мы».

Так прошло двенадцать суток, в течение которых никому не разрешалось покидать поезд. С газетами до пассажиров поезда доходят лишь отголоски событий внешнего мира — в основном же газеты полны свирепых и грозных выпадов против троцкизма и донесений о разгроме нового «троцкистского центра» и арестах сотен оппозиционеров¹.

На тринадцатые сутки путешествие продолжилось. Поезд на всех парах мчался на юг через знакомые украинские степи. Поскольку немецкое правительство, по утверждению Москвы, отказалось выдавать Троцкому визу, его все-таки решили вы-

¹ Среди арестованных оказались Воронский, редактор «Красной нови», Буду Мдивани и некоторые другие грузинские большевики, с 1921 г. выступавшие против Сталина, а также 140 московских оппозиционеров, распространявших вышеупомянутое «Письмо к друзьям» Троцкого.

слать в Константинополь. Сергей, спешивший на учебу, и жена Лёвы вернулись в Москву, надеясь, что вскоре семья воссоединится за границей. Родители прощались с ними, полные дурных предчувствий, но, не зная, как сложится собственное будущее, не осмеливались звать детей с собой в ссылку. Больше они никогда не встретились.

Из окон поезда в ночной тьме Троцкий в последний раз видел Россию. Поезд, миновав степи, вышел к Одессе — города его детства, первых амбиций и смелых надежд. В своих воспоминаниях Троцкий неизменно отмечал дореволюционного градоначальника Одессы, в котором «неограниченная власть сочеталась... с необузданным темпераментом», и описывал, как тот «стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым голосом испускал на всю улицу ругательства и потрясал кулаком». Новый хриплый голос и новый грозящий кулак — или тот же самый? — и теперь преследовал пятидесятилетнего изгнанника по улицам, где прошло его детство. Когда-то при виде сатрапа он сжался, «подтянул ремни ранца и ускоренным шагом направился домой». Сейчас же тюремный поезд шел через гавань, где предстояло сесть на корабль, который увезет его в неведомое; изгнаннику оставалось лишь размышлять о своей нелепой судьбе. Причал в гавани плотно окружили войска, которые всего лишь четыре года назад подчинялись его приказам. И словно в насмешку, ожидавший Троцкого корабль носил имя «Ильич»! Судно тайком вышло из порта среди глухой ночи, в бурю. В тот год даже Черное море замерзло; перед пароходом почти шестьдесят миль шел ледокол, расчищая путь. Когда «Ильич» поднял якорь, Троцкий, глядя на удаляющийся берег, наверное, чувствовал, что от страны, которую он покидал, осталась лишь промерзшая пустыня, и сама революция превратилась в кусок льда.

Не было на земле такой силы, такого ледокола, чтобы открыть ему дорогу назад.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
<i>Глава 1. Власть и мечты</i>	<i>16</i>
<i>Глава 2. Анафема</i>	<i>91</i>
<i>Глава 3. «Не о политике единой...»</i>	<i>182</i>
<i>Глава 4. Пауза</i>	<i>222</i>
<i>Глава 5. Решающая схватка: 1926—1927 годы</i>	<i>294</i>
<i>Глава 6. Год в Алма-Ате</i>	<i>418</i>

Дойчер Исаак
ТРОЦКИЙ
Безоружный пророк
1921—1929

Ответственный редактор *Л.И. Глебовская*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректоры *О.А. Левина, Т.В. Соловьева*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.01.2006
Формат 84x108¹/₃₂. Бумага типографская. Гарнитура «Лазурского»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 28,47
Тираж 5 000 экз. Заказ № 505

ЗАО «Центрполиграф»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 15, стр. 1,
пом. ТАРП ЦАО

Для писем:
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Исаак Дойчер

ТРОЦКИЙ

БЕЗОРУЖНЫЙ ПРОРОК
1921—1929

Исаак Дойчер — известный историк, журналист и политолог, крупнейший специалист по проблемам Советского Союза и коммунистического движения, автор целого ряда исторических и социологических исследований.

Дойчер рассматривает жизнь Троцкого сквозь формулу слов Макиавелли о том, что «вооруженные пророки всегда побеждали, а безоружные гибли».

Эта книга о времени, наступившем после завершения Гражданской войны, когда Троцкий, еще находясь на вершинах славы и власти, возглавил грандиозную внутрипартийную борьбу после смерти Ленина.

Главный противник Сталина, единственный кандидат на руководство большевиками, «преждевременный» проповедник индустриализации и плановой экономики, критик теории «социализма в одной отдельно взятой стране», защитник «пролетарской демократии» был изгнан из страны, в которой победил.

В талантливом изложении одного из лучших европейских исследователей вы познакомитесь с панорамой политических взглядов и личной жизнью выдающегося публициста и оратора, полмира воспламенившего своими идеями.

ISBN 5-9524-2155-5



ЦЕНТРОЛИГРАФ®